Эдвард Джордж Бульвер-Литтон. Призрак

ТОМ ПЕРВЫЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

КОМПОЗИТОР

I

Во второй половине последнего столетия жил в Неаполе один артист по имени Гаэтано Пизани. Это был гениальный, но неизвестный композитор; во всех его произведениях было что-то капризное и фантастическое, что не нравилось неаполитанским дилетантам. Он любил странные сюжеты; и арии и симфонии, сочиненные им, пробуждали в слушателях что-то вроде ужаса. Заглавий этих опер будет, конечно, достаточно, чтобы дать понятие об их характере. Я нахожу, например, между его манускриптами: "Пиршество гарпий", "Колдуньи Беневенто {Город на Юге Апеннинского полуострова; с 1077 по 1860 г. - папское владение.}", "Сошествие Орфея в ад", "Фурии" - и много других, которые указывают на его сильное воображение и в которых преобладает ужасное и сверхъестественное, несмотря на то что часто среди его мрачных произведений встречается легкая, приятная мелодия.

Выбирая свои сюжеты из древней мифологии, Гаэтано Пизани был верен исконным свойствам и традициям итальянской оперы.

"Сошествие Орфея в ад" было только более смелым и мрачным повторением "Эвридики", которую написал Якопо Пери на бракосочетание Генриха Наваррского и Марии Медичи {Орфей был любимым героем возникающей оперы. "Орфей" Анджелико Политьена был в моде в 1475 г. "Орфей" Монтеверди был исполнен в Венеции в 1667 году.}. Однако, как я уже сказал, стиль неаполитанского композитора не нравился слушателям, которые стали слишком разборчивы касательно мелодии благодаря изысканной тонкости произведений того времени: ошибки и нелепости, легко отыскиваемые в сочинениях Пизани, снабжали критиков темами для многочисленных разборов.

Если бы бедный Пизани был только композитором, он бы, конечно, умер с голоду; но, к счастью для него, он обладал громадным талантом исполнителя на скрипке и был обязан этому инструменту своим скромным существованием как член оркестра большого театра Сан-Карло. Там он должен был исполнять точно определенную, назначенную работу под строгим присмотром, усмирив, конечно, свою дикую фантазию, и все-таки, если верить истории, пять раз его просили о выходе из оркестра по причине своевольных импровизаций - такого странного и ужасного характера, словно гарпии и колдуньи, его вдохновительницы, раздирали своими ногтями струны инструмента. Но в его спокойные и светлые минуты невозможно было найти подобного ему артиста. Ему нужно было часто напоминать об обязанностях, в конце концов он покорился необходимости адажио и аллегро.

Публика, знавшая его слабость, строго следила за ним, и, если он на минуту забывался, что часто обнаруживалось странной судорогой в лице или нервным движением смычка, тотчас подымался общий ропот, который остерегал бедного музыканта и, выводя его из преисподней на землю, возвращал к определенным обязанностям. Тогда можно было видеть, как он вздрагивал, будто очнувшись от сна, бросал вокруг себя, как бы извиняясь, быстрые и испуганные взгляды; потом с потерянным и униженным видом возвращался к должной игре. Но дома, после концерта, он вознаграждал себя. Там, схватив свою несчастную скрипку дрожащими руками, он извлекал из нее, часто до самого утра, странные и фантастические аккорды, и не раз рыбак, испуганный и удивленный этой дикой гармонией, чувствовал себя охваченным суеверным страхом и крестился, как будто какая-нибудь сирена или водяной дух испускал жалобные стоны.

Наружность Пизани была сообразна со свойством его таланта. Его черты были благородны и выразительны, но угрюмы; черные волосы спускались локонами, а большие глаза, глубоко вдававшиеся, бросали мечтательные и странные взгляды. Все его движения были странны, порывисты и резки, как и мысли, волновавшие его; и когда он проходил по улицам, то говорил и смеялся сам с собой. Впрочем, это была Смирная, невинная и бесхитростная натура. Он охотно делил свои деньги с первым негодяем, которого встречал на своем пути. А между тем он был в высшей степени нелюдим. У него не было друзей, он не льстил ни одному из покровителей и не посещал веселых обществ, любимых детьми Юга. Его талант и он сам, казалось, гармонировали друг с другом: оба

были оригинальны, первобытны, суровы! Разлучить его с музыкой было невозможно; она была им самим. Без нее он был ничем... простой машиной. С ней он был светом света, его творением.

Несмотря на все эти странности, у него было одно чудное, неподражаемое произведение: его опера "Сирена". Это великое произведение было мечтой его детства, возлюбленной его молодости, и с приближением старости "Сирена" стояла перед ним, подле него, как воспоминание его молодости. Он напрасно старался издать ее в свет. Даже Паизьелло, простак, совершенно чуждый зависти, и тот покачал своей благосклонной головой, когда автор передал маэстро капеллы одну из своих самых интересных сцен. Но терпение, Гаэтано, жди твоего часа и не теряй твоей любви к искусству.

Как бы странно это ни показалось любезным читательницам, но чудаковатый музыкант имел те связи, на которые обыкновенные смертные охотно смотрят как на свою исключительную монополию: он был женат; у него был ребенок. И еще более странная вещь: его жена была гораздо моложе его, красивая и добрая, с ласковым личиком англичанки; она вышла за него по любви, и (поверите ли, сударыни?) она его еще любила.

Как она решилась выйти за него замуж? И каким образом это робкое, застенчивое, странное существо осмелилось просить у нее руки? Это вопросы, на которые я могу ответить, только если вы объясните мне, каким образом половина мужей и половина жен, которых вы видите, нашли возможность соединиться. Поразмыслив хорошенько, однако, можно было бы заключить, что этот союз не имел ничего особенно странного. Молодая девушка была незаконным ребенком родителей, слишком благородных для того, чтобы признать ее. Ее увезли в Италию для изучения искусства, которое могло бы дать ей средства к жизни, так как она имела художественный вкус и голос; в пансионате она находилась в подчиненном положении и подвергалась дурному обращению; бедный Пизани был ее учителем, и из всех людей он был единственным, который никогда не упрекал и не бранил ее. Так что естественно это или нет, но они поженились. Молодая женщина любила своего мужа; как она ни была молода и неопытна, можно было сказать, что из них двоих жена покровительствовала мужу. Сколько раз он избегал неприятностей в консерватории благодаря тайному и усердному посредничеству своей жены!

Он был слабого здоровья, и она, не щадя себя, ухаживала за ним. Часто, темною ночью, она ждала его у театра, со своим фонарем, чтобы светить ему и поддержать его твердою рукою. И кроме того, она знала и умела с таким терпением и с восхищением слушать эти бури эксцентричных и лихорадочных мелодий и отрывать его, осыпая похвалами, от долгих ночных бдений, принуждая немного отдохнуть и заснуть. Я говорил, что его музыка составляла часть его самого, а его жена, казалось, составляла часть его музыки.

Когда она сидела подле него, все, что было нежного и очаровательного в его несвязных произведениях, воплощалось в его игре. Ее присутствие действовало на его музыку, смягчая ее, он же, никогда не искавший причины своего вдохновения, и не подозревал этого. Он знал только одну вещь: что он любим, и благословлял ее. Он был уверен, что говорил ей об этом двадцать раз на дню; а между тем ни разу и не упомянул. Это был человек неоткровенный, даже со своей женою. Его собеседником была музыка; ей он посвящал все свои заботы! Он был более предрасположен к общению со своим инструментом... С ним он мог говорить в продолжение целых часов; он хвалил его, бранил, ласкал - что я говорю? (таков человек, и человек самый невинный!) - он проклинал его; можно было слышать какое-нибудь бранное слово между двумя нотами; но эта обида сопровождалась постоянно самым искренним раскаянием. Инструмент его имел также свой собственный язык; он умел защищаться при необходимости, и, когда ему приходило на ум побраниться в свою очередь, победа всегда оставалась за ним. Его скрипка была благородной особой, образцовым произведением знаменитого Штейнера.

Ее лета делали ее сокровищем. Сколько рук, теперь превратившихся в прах, заставляли дрожать ее струны, раньше чем она сделалась неразлучной подругой Гаэтано Пизани! Ее футляр также был почтенным; он был превосходно разрисован, как говорят, знаменитым Гарахом. За этот футляр один английский коллекционер предлагал ему больше, чем Пизани когда-либо мог приобрести своей скрипкой.

Но Пизани, совершенно довольный хижиной для самого себя, гордился возможностью дать дворец своему инструменту. Его скрипка была старшая из его детей. Теперь нужно заняться младшей.

Как изображу я тебя, Виола? Музыка, конечно, имела влияние на развитие этой молодой девушки. В ее лице и характере можно было видеть семейное сходство с той странной жизнью - музыкой, которая каждую ночь изливалась в воздушных и фантастических порывах... Она была красива, но особенной красотой; это было соединение

противоположных элементов. Ее волосы были из золота более роскошного и чистого, чем можно его видеть даже на Севере. Но ее глаза светились томным блеском, сильнее чем итальянским, почти восточным. Цвет лица, удивительной чистоты, беспрестанно менялся, то оживляясь, то становясь бледным. С цветом лица и выражение одинаково менялось: то оно было чрезвычайно печально, то ничего не могло быть веселее. Я с сожалением должен сказать: на то, что мы называем образованием, родители молодой девушки не обращали должного внимания. Без сомнения, они многое не могли сообщить ей; науки к тому же не были в моде, как теперь; но случай или природа благоприятствовали молодой Виоле. Она научилась по крайней мере языкам своей матери и отца. Она нашла также скоро средство выучиться читать и писать; а ее мать, католичка, рано научила ее молиться. Только, к сожалению, а может быть, и к счастью, странные привычки Пизани, заботы, которых он требовал у своей жены, оставляли часто ребенка одного со старой служанкой, которая горячо любила девочку, но которая была не в состоянии дать ей воспитание.

Джионетта была с ног до головы итальянка и неаполитанка. Вся ее молодость была любовью, все, что ей оставалось в жизни, было суеверием. Она была болтунья и наполовину сумасшедшая. То она говорила ребенку о князьях, которых видела у своих ног; то леденила в ней кровь сказками и легендами о демонах, о вампирах, о ночных танцах вокруг огромного орехового дерева. Все эти рассказы способствовали тому, что на воображение Виолы легла таинственная завеса, которую более зрелая мысль впоследствии напрасно будет стараться отстранить. Но это романтическое воспитание заставляло ее слушать с удовольствием, исполненным ужаса, музыку своего отца; эти чудные аккорды, старавшиеся донести в разбитых и странных звуках разговор людей неизвестного мира, баюкали ее с самого рождения. Можно было сказать, что ее душа питалась музыкой: собрание мыслей и воспоминаний, ощущение печали и удовольствия - все мешалось необъяснимым образом с этими аккордами, которые то очаровывали, то пугали ее. Они встречали ее, когда она открывала свои глаза при лучах солнца; они будили ее в постели посреди темной ночи. Легенды и сказки Джионетты служили только для того, чтобы дать лучше понять ребенку смысл этой таинственной гармонии... Она составляла целые поэмы к отцовской музыке. Дочь такого отца не могла не выказать какой-нибудь склонности к его искусству. Еще ребенком она божественно пела.

Важный сановник, имевший влияние в консерватории, услышав о ее таланте, велел привести девушку к себе. С этой минуты ее судьба была решена: она должна была стать славой Неаполя, примадонной Сан-Карло. Чтобы пробудить в ней дух соревнования, Его Превосходительство взял ее однажды вечером в свою ложу: для нее, конечно, было событием увидеть представление, еще более - услышать аплодисменты, расточаемые блестящим синьорам, которых ей предстояло превзойти. Каким великолепием казалась для нее эта жизнь сцены, этот идеальный мир музыки и поэзии, единственный, который, казалось, мог соответствовать странным мечтам ее детства!.. Ей казалось, что, заброшенная на чужбину, она вернулась наконец на родину. Она узнавала формы и язык своей родной страны. Это был глубокий и действительный восторг будущего гения! Ребенок, или человек, ты никогда не будешь поэтом, если не почувствовал всего идеала, всего романтического очарования этого острова Калипсо, которое открылось тебе в тот день, когда в первый раз магическая завеса раздвинулась, чтоб пропустить свет поэзии. Посвящение в таинство было начато. Ей нужно было читать, учиться выражать жестом или взглядом любовь, которую она должна была выказывать на сцене, - уроки, опасные, конечно, для многих других, но не для чистого восторга, рождающего искусство, так как душа, которая постигает искусство в его истине, есть только зеркало; чтоб верно отразить образ на своей поверхности, это зеркало должно остаться без пятен.

Ее роли получили в ее устах могущество, которого она не сознавала, ее голос трогал до слез или воспламенял сердце благородным негодованием. Но все эти результаты были только следствием той симпатии, которую гений, даже в своей невинности, чувствует ко всему, что живет и что страдает. Виола не была из тех женщин, скороспелых натур, которые понимают любовь или ревность, выраженные в стихах; ее талант был одной из тех странных тайн, разгадку которых я предоставляю отгадывать психологам. Они, может быть, сумеют объяснить нам, почему дети, с наивным и простым умом, с чистым сердцем, умеют отличить с такой проницательностью в истории, которую вы им рассказываете, в песне, которую вы им поете, истинное и ложное искусство, любовь и злобу. Они скажут нам также, каким образом эти юные сердца могут точно передавать мелодичные звуки естественного волнения.

Вне своих занятий Виола была простым, любящим ребенком, немного капризным, но не с характером (она была ласкова и послушна). Ее расположение духа переходило от грусти к веселости, от радости к унынию без всякой видимой причины. Если и существовала

причина этих капризов, то ее нужно видеть в тех первых и таинственных влияниях, их можно объяснить действием быстрых переливов гармонии, которую она постоянно слышала, - так как необходимо заметить, что у людей, самых впечатлительных в музыкальном отношении, арии и мотивы часто приходят на ум во время самых обыкновенных занятий, мучат их и порою неотступно преследуют их. Раз вошедшая в душу музыка никогда не умирает. Она неясно бродит по изгибам в лабиринте памяти, и даже через много лет ее можно услышать внятно и живо, как в тот день, когда в первый раз она поразила вас.

Так было и с Виолой. Иногда ее фантазия вызывала против ее желания эти звуки; они являлись ей то веселыми, и тогда вызывали сияющую улыбку на ее лице, то грустными, и тогда лоб ее хмурился, они прогоняли ее детскую радость и заставляли задумываться и уединяться. Мы можем справедливо сказать, что это прекрасное создание, столь воздушное, столь гармоничное в своей красоте, в своих поступках и мыслях, могло назваться дочерью не музыканта, а музыки. Потому не было ничего странного в том, что Виола с самого детства, по мере того как она развивалась, думала, что судьба приготовляла ей будущее, которое должно было быть в согласии с романтической и идеальной атмосферой, которой она дышала.

Нередко она бродила между кустарниками, которые украшали соседний грот Позилина, и там, сидя у священной могилы Вергилия, предавалась видениям, которых никакая поэзия не сумела бы ясно передать.

Часто в осенний день она садилась у порога, под тенью виноградных лоз, против неподвижного и синего моря, и строила свои воздушные замки. Кто из нас не делает того же самого, не только в молодости, но и в зрелые лета! Но эти мечты Виолы были более чисты, более торжественны, чем те, которым предается большая часть из нас.

II

Наконец воспитание окончено. Виоле скоро шестнадцать лет! Кардинал объявил, что настало время, когда новое имя должно быть вписано в "Libra d'Oro" {"Золотую книгу" (итал.).}, на блестящие страницы, предназначенные детям искусства и гармонии.

Да, но в какой роли? Какой маэстро должен вдохновить ее? В этом-то и заключалась тайна.

Ходил слух, что неподражаемый Паизьелло, восхищенный ее талантом, собирался написать новое произведение для дебюта Виолы.

Другие предполагали, что она отличается комическим талантом и что Чимароза работает без остановки над вторым "Matrimonio segreto" {"Тайный брак" (итал.).}. А между тем стали замечать, что кардинал в скверном расположении духа.

Он публично сказал, и эти слова не предвещали ничего хорошего:

- Это маленькая дура такая же сумасшедшая, как и ее отец; то, чего она просит, - безрассудно.

Аудиенции быстро следовали одна за другой. Кардинал часто разговаривал в своем кабинете с бедной девушкой.

Неаполь, возбужденный любопытством, терялся в догадках.

Увещания кончились ссорой, и Виола возвратилась в свое угрюмое жилище; она не хочет играть, она уничтожила свой ангажемент! Пизани, слишком неопытный для того, чтобы знать все опасности театральной жизни, надеялся, что кто-нибудь по крайней мере с его именем прибавит славы его искусству.

Упрямство дочери не понравилось ему. Он, однако, ничего не сказал (он никогда не бранился), но схватил свой верный инструмент, и тот бранился ужасно! Он скрежетал, завывал, ворчал.

Глаза Виолы наполнились слезами, так как она понимала этот язык. Она украдкою подошла к матери и шепотом стала говорить с ней; и когда Пизани кончил свое занятие, он увидал их обеих, мать и дочь, в слезах. Он с удивлением посмотрел на них; потом, почувствовав, что был груб, он снова схватил своего неразлучного друга. И теперь вы подумали бы, что слышите пение феи, которая старается успокоить капризный нрав какого-нибудь приемного ребенка. Светлые, серебристые ноты полились с нежным журчанием из-под магического смычка. И величайшая скорбь утихла бы, чтобы слушать; а в промежутках, сквозь тихую и жалобную мелодию, прорывалась вдруг странная, веселая, звучная нота, как взрыв хохота; но не человеческого хохота. Это был один из самых лучших мотивов его любимой оперы: сирена усыпляет своим пением ветры и волны.

Неизвестно, что бы последовало, но его руку остановили. Виола бросилась к нему на грудь и поцеловала его с улыбающимся от счастья взглядом.

В ту же минуту отворилась дверь, вошел посланный кардинала. Он требовал Виолу к себе немедленно.

Ее мать пошла с ней во дворец Его Превосходительства.

Примирение было полнейшее: все устроилось. Виола получила роль и выбрала свою оперу.

Холодные и жесткие нации Севера, не думайте постигнуть волнение неаполитанцев, вызванное известием, что они увидят новую оперу и новую певицу! Никогда интриги государственного совета еще не были так таинственны.

Пизани вернулся однажды вечером из театра в явном волнении и раздражении. Его отрешили от спектакля из боязни, что новая опера и первый дебют его дочери как примадонны станут ужасным испытанием для его нервов. А все его импровизированные вариации, вся чертовщина с сиренами и гарпиями во время такого торжества показалась дирекции театра слишком страшной перспективой.

Видеть себя отстраненным от работы, и именно в тот вечер, когда его дочь должна была петь, устраненным ради какого-нибудь нового соперника! Это было уже слишком для музыканта.

Вначале он спросил дочь, какую дают оперу и какую роль она исполняет. Виола важно отвечала, что она обещала кардиналу хранить это в тайне.

Пизани не настаивал; он исчез со скрипкой, и вскоре с крыши дома (куда артист иногда скрывался, находясь в страшном гневе) послышались унылые, грустные звуки, будто его сердце разбили.

Привязанность Пизани мало выказывалась. Он не был из тех нежных и ласковых отцов, которые любят, чтобы их дети играли и находились непрестанно рядом с ними: его ум и его душа были так погружены в искусство, что домашняя жизнь проходила для него как сон.

Это часто случается у людей, которые погружены в какую-нибудь науку. Эта способность нередко проявляется у математиков.

"Хозяин! Дом горит!" - воскликнула сильно испуганная служанка, обращаясь к французскому ученому. "Скажите об этом моей жене; разве я когда-нибудь занимался хозяйством, глупая?"

И он вернулся к решению своей задачи.

Но что такое задача? Что такое математика в сравнении с музыкой - с музыкой, которая воплощается в оперы и в игру на скрипке?

Знаете, что ответил знаменитый Джиардини новичку, спрашивавшему у него, сколько понадобится времени, чтобы научиться игре на скрипке? Слушайте и отчаивайтесь все те, которые желали бы владеть этим искусством, подле которого искусство Улисса кажется детской игрушкой:

- Двенадцать часов в день в продолжение двадцати лет подряд.

Как же вы хотите, чтоб человек, играющий на скрипке, возился бы со своими детьми?

Не раз бедная Виола убегала из комнаты, чтобы поплакать, думая, что отец ее не любит.

А между тем под этим внешним равнодушием артиста скрывалась глубокая нежность отца; и, делаясь старше, Виола, сама мечтательница, поняла мечтателя. А теперь, лишенный сам славы, он видел себя лишенным возможности видеть славу своей дочери! Видеть эту дочь в заговоре против него! Такая неблагодарность была ужасна...

Наконец наступил торжественный час. Виола поехала с матерью в театр.

Раздраженный музыкант заперся у себя.

Вдруг Джионетта вбежала в комнату.

- Карета Его Превосходительства стоит у дверей; он спрашивает вас. Нужно бросить скрипку, надеть новое платье и кружевные рукава. Вот они! Скорей! Скорей!

И быстро покатилась золоченая карета, и кучер важно сидел на козлах, и важно гарцевали лошади.

Бедный Пизани терялся от удивления. Он приехал в театр, вышел у большого подъезда и начал осматриваться.

Ему чего-то недоставало. Скрипка! Где она? Увы! Его душа, его голос, само его "я" остались дома. Теперь лакеи ведут только бездушный автомат и проводят в ложу кардинала. Но что это за звуки поразили его слух? Не сон ли это?

Первый акт кончился (за ним послали, только когда успех не казался уже сомнительным); первое действие все решило.

Он чувствует это по неподвижности недоумевающей публики, он чувствует это даже по поднятому пальцу кардинала. Он видит свою Виолу на сцене, сияющую камнями и дорогими тканями; он слышит ее голос в тысяче сердец, которые составляют одно. Ведь его музыка - это его второе дитя, его бессмертное дитя, бесплотная дочь его души, та, которую он создал, возвысил, лелеял в продолжение стольких лет, это его образцовое произведение, его "Сирена".

Так вот в чем состояла тайна, раздражившая его; вот что было причиной ссоры с кардиналом, тайна, которую можно было только тогда открыть, когда успех был верен, -

и дочь присоединила сюе торжество к торжеству своего отца. И вот она стоит перед всеми этими людьми, сердца которых она покоряет, более прекрасная, чем сирена, которую он вызвал из глубины пропасти. Где же найдете на земле восторг, равный тому, который охватывает гения, когда, из темной глубины, он выходит наконец на свет в полной славе!

Пизани не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Прикованный к стулу, еле дыша, он сидел неподвижно, с орошенным слезами лицом; только изредка его рука машинально искала скрипку. Отчего ее не было здесь, чтобы разделить с ним его торжество?

Наконец занавес опустился, и его падение вызвало бурю рукоплесканий; все вдруг поднялись, все в один голос произносили любимое имя.

Виола вышла, дрожащая, бледная, и из всей толпы видела только лицо своего отца. Публика видела этот взгляд, полный слез, и поняла восторг девушки. Раздались оглушительные крики одобрения композитору. Добрый кардинал заставил его подняться.

- Артист фантастических аккордов! Твоя дочь дала тебе больше, чем жизнь, которую ты дал ей!

- Моя бедная скрипка, - проговорил он, вытирая глаза, - они не освищут тебя больше!

III

Несмотря на торжество певицы и оперы, в первом действии, и, следовательно, до приезда Пизани, одно время успех казался более чем сомнительным. Это было во время хора, наполненного эксцентричностью. Когда буря фантазий закружилась, оглушая самыми бессвязными звуками, публика вдруг узнала руку Пизани. Опере дали название, которое до тех пор устраняло всякое подозрение о ее композиторе. Увертюра и введение, гармонического и верного стиля, сбили публику до такой степени, что она подумала, что слышит произведение своего дорогого Паизьелло. Привыкшая с давних пор смеяться и почти презирать претензии Пизани как композитора, она заметила, что у ней обманом похитили аплодисменты, которыми она встретила увертюру и первые сцены.

Ропот самого дурного предзнаменования послышался в зале. Актеры и оркестр, мгновенно понимающие реакцию публики, были взволнованы, смущены и потеряли в критическую минуту ту энергию, которая одна могла спасти странную музыку. В каждом театре нет недостатка в соперниках автора и нового актера; враги бессильны, пока все идет хорошо, но становятся опасны с той минуты, как малейший случай становится на пути успеха.

Послышался свист, одинокий, правда, но отсутствие заглушающих его аплодисментов, казалось, предвещало, что приближается минута, когда осуждение станет общим.

В эту критическую минуту Виола, королева сирен, вышла в первый раз из своего морского грота. В ту минуту, как она вышла на авансцену, ее встретило ледяное равнодушие публики, которое не рассеялось даже с появлением особенной красоты; неблагосклонный ропот других актеров, ослепительный блеск света и в тысячу раз более, чем все остальное, этот недавний свист, который дошел до нее, - все это парализовало и подавило ее, и вместо величественной королевы-сирены она превратилась в дрожащего ребенка и застыла, бледная и немая, перед тысячами глаз, холодные и строгие взгляды которых остановились на ней. В ту минуту, когда уже сознание ее таланта, казалось, изменило ей и когда застенчивым взглядом она умоляла неподвижную толпу, она заметила в одной ложе подле сцены лицо, которое разом и как бы чудом произвело на ее душу действие, которое невозможно анализировать, но которое также нельзя забыть. Это лицо пробудило в ней смутное воспоминание, беспрестанно преследовавшее ее, как будто она его уже видела в одном из тех снов, которым любила предаваться с самого детства. Она не могла оторвать своих глаз от этих черт лица, и, по мере того как она вглядывалась в него, ледяной страх, охвативший ее сперва, рассеялся, как туман перед солнцем. В глубоком блеске этих глаз, которые встретились с ее глазами, было действительно столько поощрения, столько ласкового и сострадательного удивления, столько вещей, которые советовали, оживляли и укрепляли ее, что всякий человек, актер или оратор, который когда-нибудь прочувствовал в присутствии огромной толпы действие одного внимательного и дружелюбного взгляда, поймет внезапное влияние, которое произвели на дебютантку взгляд и улыбка иностранца. Она все еще смотрела, и ее сердце согревалось, когда иностранец наполовину поднялся, как бы для того, чтобы напомнить публике чувства вежливости, которые она должна была оказать молодой и прекрасной артистке; и как только прозвучал его голос, вся зала ответила на него великодушным взрывом "браво", так как незнакомец сам был замечательной личностью и его недавний приезд в Неаполь занимал

публику в той же мере, как и новая опера. Потом, когда аплодисменты стихли, полился прелестный голос сирены, чистый, полный и звучный.

С этой минуты Виола позабыла все: толпу, успех, целый мир, за исключением того фантастического мира, которого она была царицей. Присутствие незнакомца, казалось, довершало эту иллюзию, которая похищает у артиста сознание действительности. Она чувствовала, что этот чистый, спокойный лоб, эти блестящие глаза внушали ей силу, до тех пор неизвестную; и ей казалось, что его присутствие вдохновляло ее на такое мелодичное пение.

Когда все было кончено, когда она заметила своего отца и поняла его радость, тогда только странное восхищение дало место более нежному очарованию дочерней любви. Прежде чем уйти за кулисы, она невольно бросила взгляд на ложу незнакомца; его спокойная и почти меланхолическая улыбка глубоко проникла ей в душу, чтобы жить в ней.

Но перейдем к поздравлениям кардинала - виртуоза, чрезвычайно изумленного открытием, что он и весь Неаполь с ним до тех пор ошибались относительно Пизани.

Перейдем к восторгу толпы, осаждавшему слух певицы, когда, надев скромную шляпу и свое девическое платье, она проходила между толпами поклонников, занимавших все проходы.

Как нежен был поцелуй отца и дочери, возвращавшихся снова по безлюдным улицам в карете кардинала.

Не будем останавливаться на воспоминаниях о слезах и восклицаниях доброй и простой матери...

Вот они вернулись; вот хорошо знакомая комната. Посмотрите на старую Джионетту, засуетившуюся, приготовляя ужин, и послушайте Пизани, который пробуждает заснувшую скрипку, чтобы поведать о великом событии своему неразлучному другу. Послушайте этот смех матери, английских смех, полный веселости.

Какое счастливое собрание вокруг скромного стола! Это был праздник, которому бы позавидовал сам Лукулл в своей зале Аполлона; этот сухой виноград, аппетитные сардинки, каша из каштановой муки и эта старая бутылка Lacrima-Christi - подарок доброго кардинала.

Скрипка была поставлена на кресло подле музыканта и, казалось, принимала участие в веселом банкете. Она блестела при свете лампы, и в ее молчании была скромная важность таинственного человека, каждый раз как ее хозяин повертывался к ней, чтобы сообщить какую-нибудь забытую подробность.

Жена Пизани с любовью смотрела на эту сцену; счастье отняло у нее аппетит; вдруг она встала и надела на шею артиста гирлянду цветов, которую приготовила заранее, убежденная в успехе, а "Виола, сидевшая с другой стороны своей сестры, скрипки, нежно надела на голову своего отца лавровый венок и ласково обратилась к нему.

- Не правда ли, вы больше не позволите скрипке бранить меня? - сказала она.

Бедный Пизани, взволнованный двойной лаской, оживленный успехом, повернулся к младшей из своих дочерей - к Виоле, с наивной гордостью:

- Не знаю, которую из вас двоих должен я благодарить больше, вы мне столько даете работы. Дочь моя, я так горжусь тобой и самим собой! Но увы, бедный друг! Мы были так часто несчастны вместе!

Сон Виолы был беспокойный, но это естественно. Чувство гордости и торжества, счастье, которое оно причинило, - все это было похоже на сон.

А между тем ее мысль часто отрывалась от всех этих впечатлений, чтобы вернуться к тому взгляду и улыбке, которые еще стояли перед ней и к которым воспоминание этого торжества и счастья должно было навсегда присоединиться. Ее впечатления, как и характер, были странны и особенны. Это не было то, что испытывает молодая девушка, сердце которой, пронзенное в первый раз мужским взглядом, вспыхивает первою любовью. Это не был именно восторг, хотя лицо, которое отражалось в каждой волне ее неисчерпаемой и подвижной фантазии, было редкой и величественной красоты. Это не было и простым воспоминанием, полным прелести, вызванным видом незнакомца; это было человеческое чувство благодарности и счастья, смешанного не знаю с каким таинственным элементом страха и благоговения. Конечно, она уже видела эти черты лица; но когда и как? Ее мысль старалась начертать свою будущую судьбу, и, несмотря на все ее усилия удалить это видение цветов и блеска, темное предчувствие заставляло ее углубляться в себя.

И она нашла эту тайну, но не так, как молодость открывает существо, которое она должна любить, а, скорее, как ученый, который после долгих бесплодных попыток схватить разгадку какой-нибудь научной проблемы видит истину, светящуюся издали темным и еще мерцающим светом. Она впала наконец в томительную дремоту, населенную непонятными образами.

Проснулась она в ту минуту, когда солнце, после туманной ночи, впустило в окна болезненные лучи; ее отец уж принимался за свое единственное занятие, и она услышала, как скрипка испустила тяжелый, подавляющий аккорд, походящий на зловещее пение смерти.

- Отчего, - спросила она, входя к нему в комнату, - отец, ваше вдохновение так печально после вчерашней радости?

- Не знаю, дитя, я хотел быть веселым и сочинить арию на твое счастие, но инструмент так упрям, что мне пришлось последовать его желанию.

IV

Пизани имел обыкновение, за исключением тех случаев, когда обязанности его профессии занимали его время особым образом, посвящать полдень сну - привычка, которую для человека, мало спавшего по ночам, можно было бы счесть скорее за необходимость, чем за излишество.

По правде сказать, часы середины дня были именно такими, в которые Пизани не мог бы работать, если б даже и захотел. Его гений походил на такой фонтан, который всегда бьет при наступлении и закате дня и который особенно активен ночью, но в полдень совершенно сух. В течение этих часов, посвященных ее мужем сну, синьора обыкновенно выходила для закупки необходимых продуктов или развлекаясь разговором с какой-нибудь соседкой. А сколько поздравлений нужно ей было получить на другой день после этого блестящего триумфа! Это был час, когда Виола также выходила и садилась у порога, не загораживая дороги, и теперь вы могли ее видеть там державшей на коленях партитуру, которую ее рассеянный взгляд просматривал время от времени, за ней и над ее головой виноградная лоза распустила свои капризные листья, а перед ней, на горизонте, сияло море с белым неподвижным парусом, который замер на волнах.

Пока она сидела так, погруженная в свои мечты, скорей чем в мысли, какой-то мужчина прошел медленными шагами и с опущенной головой совсем подле дома. Виола внезапно подняла глаза и вздрогнула в ужасе, узнав незнакомца. У нее вырвалось невольное восклицание.

Молодой человек обернулся и, заметив ее, остановился.

В продолжение нескольких минут он стоял между ней и блестящим видом залива, любуясь робким и прелестным видом молодой девушки полной серьезной скромности. Наконец он заговорил.

- Вы счастливы, мое дитя, - сказал он почти отеческим голосом, - карьерой, которая открывается перед вами? Между шестнадцатью годами и тридцатью в аплодисментах слышится более нежная музыка, чем та, которую творит ваш голос.

- Не знаю, - прошептала Виола сперва робко. Но в голосе, говорившем ей, было столько нежности и ласки, что она продолжала с большей смелостью:

- Не знаю, счастлива ли я теперь; вчера я была счастлива. И я чувствую, ваше сиятельство, что я должна вас благодарить, хотя, возможно, вы и не знаете, за что.

- Вы ошибаетесь, - сказал молодой человек, улыбаясь. - Я знаю, что способствовал вашему заслуженному успеху, но вы почти не знаете как. Вот вам объяснение: я видел в вашем сердце честолюбие более благородное, чем женское тщеславие, я обратил внимание на дочь. Но вам, может быть, хотелось, чтобы я просто любовался артисткой?

- Нет! О нет!

- Хорошо, я вам верю. А теперь, так как мы встретились, я дам вам совет. При вашем первом появлении в театре у ваших ног будет вся золотая молодежь Неаполя. Бедное дитя! Пламя, ослепляющее глаза, может сжечь и крылья. Помните, что единственное почтение, которое не оскверняет, - это то, которого не может предложить глупая толпа обожателей. Какие бы ни были ваши мечты о будущем - а я вижу, какие они у вас необузданные, - пусть осуществятся только те, которые имеют своей целью семейный, домашний очаг!

Он замолчал. Сердце Виолы сильно билось. Потом, едва понимая силу его советов, она воскликнула со взрывом естественного и невинного волнения:

- Ах, ваше сиятельство, вы не знаете, как мне уже дорог этот домашний очаг. А мой отец!.. Без него, синьор, этот очаг не существовал бы!

Темная тучка пробежала по лицу молодого человека. Он посмотрел на мирный дом, почти погруженный в зелень виноградных кустов, потом перевел свой взгляд на оживленное лицо девушки.

- Хорошо, - сказал он. - Простое сердце часто служит себе лучшим проводником. Мужайтесь и будьте счастливы. Прощайте, прекрасная певица!

- Прощайте, ваше сиятельство... Но... - Что-то непреодолимое - беспокойное чувство страха и надежды - вырвало у нее этот вопрос: - Но я вас увижу в Сан-Карло, не правда ли?

- Спустя некоторое время по крайней мере. Я уезжаю из Неаполя сегодня.

- В самом деле?..

И Виола почувствовала, как у нее сжалось сердце: поэзия сцены исчезла.

- И может быть, - проговорил молодой человек, обернувшись и ласково положив свою руку на руку Виолы, - прежде чем мы снова увидимся, вам придется страдать, узнать первые и жестокие испытания жизни, понять: то, что дает слава, бессильно вознаградить за то, что теряет сердце. Но будьте тверды и не уступайте даже тому, что может казаться набожностью и страданием. Посмотрите в сад соседа, на это дерево... Посмотрите, как оно выросло, изуродованное и кривое. Ветер занес семя, из которого оно выросло в расселине скалы; зажатая камнями и строениями, природой и человеком, его жизнь была постоянной борьбой, чтобы видеть свет. Свет, необходимый элемент жизни. Посмотрите, как оно гнулось и корчилось; как, встретив препятствие в одном месте, оно росло и пробивалось в другом, чтоб выйти наконец на свет Божий... Каким образом сохранилось оно, несмотря на все эти невыгодные условия рождения и роста? Отчего его листья так же зелены и свежи, как листья этого виноградника, который широко раскинул свои ветви навстречу солнцу? Дитя мое, они свежи благодаря инстинкту, который заставлял его бороться, благодаря этой борьбе за свет, в которой победил сам свет. Итак, с неустрашимым сердцем, несмотря на все страдания и удары судьбы, стремиться к солнцу всеми силами - вот что дает сильнейшим знание, а слабым - счастье. Прежде чем мы еще встретимся, ваш печальный взгляд не раз остановится на этом дереве; и когда вы услышите пение птиц, когда вы увидите луч солнца, играющий на его листьях, вспомните тогда урок, данный вам природою, и сквозь туман проложите себе дорогу к свету.

Сказав это, он медленно удалился, и Виола осталась одна, удивленная и опечаленная этим темным предсказанием будущего несчастья и между тем, несмотря на печаль, очарованная. Невольно она проследила его глазами; мысленно протянула руки, как бы для того, чтоб вернуть его. Она отдала бы целый свет, чтобы его еще раз увидеть, чтобы услышать один только раз его спокойный серебристый голос, чтоб почувствовать еще эту руку, касающуюся ее руки. Так луч луны придает очарование всем темным углам, на которые он падает, такою было воздействие иностранца. Луч исчезает, и все принимает снова темный, прозаический вид; так и он исчез, и внешний мир лишился своего очарования...

Незнакомец шел по прекрасной длинной дороге, которая примыкала к дворцу напротив городских садов и вела в кварталы, где расположены увеселительные заведения.

Толпа молодых людей стояла при входе в игорный дом, посещаемый самыми богатыми и знатными игроками. Все дали ему дорогу, когда он прошел между ними.

- Смотрите! - проговорил один. - Это не тот ли богатый Занони, про которого так много говорят?

- Да. Говорят, его состояние несчетно.

- Говорят!.. Кто говорит? На каком основании? Он в Неаполе только несколько дней, и до сих пор никто не мог сказать мне что-либо о его родине, семье или, что всего важнее, его состоянии.

- Это правда; но он приплыл на отличном корабле, который принадлежит ему. Вы не можете его видеть в настоящую минуту; он стоит в заливе. Его банкиры говорят с уважением о суммах, которые он вкладывает в банки.

- Откуда он?

- Не знаю, из какого-то восточного порта. Мой лакей узнал от матросов, что он долго жил в Индии.

- И я позволю сказать себе, что в Индии собирают золото, как камни, и что есть долины, где птицы строят свои гнезда из изумрудов, чтоб привлекать бабочек. Вот, кстати, идет князь игроков, Цетокса. Держу пари, что он уж познакомился с таким богачом. У него к золоту такое же влечение, как у магнита к железу. Ну, Цетокса, какие самые свежие новости о червонцах синьора Занони?

- О! - воскликнул небрежно Цетокса. - Мой друг...

- А-а! Слышите - его друг!

- Да, мой друг Занони проведет некоторое время в Риме; он обещал мне по своем возвращении ужинать со мной, и тогда я представлю его вам и лучшему обществу Неаполя. Черт возьми, знаете, этот синьор один из самых умных и самых приятных!

- Расскажите же нам, каким образом вы так скоро сошлись с ним?

- Ничего нет проще, мой дорогой Бельджиозо. Ему хотелось иметь ложу в Сан-Карло. Нечего вам говорить, что ожидание новой оперы (что за прелестное произведение! этот

бедный Пизани! кто бы мог подумать?) и новой певицы (что за красота! что за голос!) передалось и нашему гостю. Я узнал, что Занони желает оказать честь неаполитанскому таланту, и с той любезностью к знатным иностранцам, которая меня характеризует, я отдал свою ложу в его распоряжение. Он ее принял, я представился ему между двумя действиями: он был очарователен и пригласил меня ужинать. Мы долго сидели, я сообщил ему все новости Неаполя, мы делаемся сердечными друзьями, он заставил меня, раньше чем я ушел, принять этот бриллиант, безделицу, как он выразился; ювелиры оценивают его в пять тысяч пистолей! Самый восхитительный вечер, какой я провел когда-либо за десять лет!

Молодые люди окружили его, чтоб полюбоваться бриллиантом.

- Граф Цетокса, - проговорила важная и угрюмая личность, несколько раз крестившаяся в продолжение рассказа неаполитанца, - разве вам неизвестны таинственные слухи, ходящие по поводу этого иностранца, и разве вы можете без страха принимать от него подарок, могущий иметь самые роковые последствия? Разве вы не знаете, что говорят, будто он маг и у него дурной глаз, будто...

- Ради Бога, избавьте нас от ваших старых суеверий, - презрительно отвечал Цетокса. - Они вышли из моды; теперь в моде только скептицизм и философия. И чего стоят все эти слухи, на чем они основаны? Вот вам пример: какой-то старый дурак, восьмидесяти шести лет, чистый пустомеля, торжественно уверяет, что он видел этого самого Занони в Милане семьдесят лет тому назад, в то время как он сам, почтенный свидетель, был только ребенком! А этот Занони, как вы сами видели, по крайней мере так же молод, как вы и я, Бельджиозо.

- Но, - возразил серьезный господин, - в этом-то и есть тайна. Старый Авелли уверяет, что Занони ни на один день не кажется старше того, каким он видел его в Милане. Он прибавляет, что даже в Милане, заметьте это, где, под другим именем, Занони явился с тою же роскошью, с тою же таинственностью, один старик вспомнил, что видел его шестьдесят лет тому назад в Швеции.

- Ба! - воскликнул Цетокса. - То же самое говорят о шарлатане Калиостро; чистые басни. Я поверю им, когда увижу этот бриллиант превратившимся в пучок сена. Впрочем, - прибавил он серьезно, - я считаю этого знаменитого мужа своим другом, и малейшее слово, задевающее его честь или его репутацию, я воспринимаю как личное оскорбление.

Цетокса был опасным бойцом и фехтовальщиком.

Важный господин, несмотря на все участие, которое он проявил к душевному состоянию графа, выказал при этом его заявлении не менее глубокую заботу о своей собственной безопасности: он удовольствовался тем, что бросил на него сострадательный взгляд, вышел в дверь и направился к игорной комнате.

- А-а! - воскликнул со смехом Цетокса. - Этот Лоредано завидует моему бриллианту. Господа! Вы ужинаете со мной сегодня вечером. Клянусь вам, что никогда я не встречал товарища более прелестного, веселого, занимательного, как мой дорогой друг синьор Занони!

V

А теперь, в обществе этого таинственного Занони, я прощаюсь с Неаполем на некоторое время. Садитесь со мной, читатель, на гиппогрифа и устраивайтесь, как вам понравится. Я купил седло у поэта, любившего комфорт. Посмотрите, вот мы уж и подымаемся. Смотрите вниз, пока мы летим; не бойтесь ничего, дорогой читатель, гиппогрифы никогда не спотыкаются: все гиппогрифы Италии очень удобны как средство передвижения для людей почтенных лет! Опустите ваши взоры на пейзажи, которые виднеются под нами! Привет вам, плодоносные долины, и вам, славные виноградники старой Фалерны! Посмотрите на эту землю, могилу Рима, природа еще сеет здесь цветы. Посреди этих античных руин возвышается средневековое строение - приют странного отшельника. Обычно во время малярии крестьяне бегут от миазмов местной флоры, но он, неизвестный иностранец, безопасно дышит этим ядовитым воздухом. У него нет ни друзей, ни товарищей, если не считать его книги и научные инструменты. Его часто видят бродящим по холмам или по улицам нового города, не с равнодушным или рассеянным выражением лица, которое характеризует ученых, а с наблюдательным и проницательным взором, который проникает, по-видимому, в сердца прохожих. Старый, но не дряхлый, прямой, с величественной осанкой, как если бы он еще был молод, проходит он мимо горожан. Никто не знает, богат он или беден. Он не просит милостыни и не дает ее; он не делает зла, но и никакого добра. Это человек, который, как кажется, не имеет другого света, кроме своего собственного, но наружный вид обманчив, и во вселенной наука, как и доброта, может находиться всюду. И в это жилище, в первый раз с тех пор, как там поселился отшельник, входит посетитель: это Занони.

Посмотрите на них, сидящих один против другого и разговаривающих. Много лет прошло после их последнего свидания, по крайней мере с тех пор, как в последний раз они видели друг друга лицом к лицу. Но если это два мудреца, мысль может встретить мысль, ум соединиться с умом, если даже между телами будет находиться пропасть. Смерть и та не разлучает мудрецов. Вы встречаете Платона каждый раз, как ваш глаз останавливается на странице "Федона". Дай Бог, чтобы Гомер всегда жил среди нас.

Они беседуют вместе, они обмениваются признаниями; они вызывают, они вспоминают прошлое, но какие различные ощущения пробуждаются в обоих с этими воспоминаниями!

На лице Занони, несмотря на все его обычное спокойствие, было видно волнение. Он участвовал в прошлом, которое рассматривает; но на хладнокровном лице его товарища нельзя было заметить черты, которая бы говорила о радости и страдании; для него прошлое, как теперь и настоящее, было тем, чем природа является мудрецу, книга - ученому: спокойная и умная жизнь, наука, созерцание. От прошлого они переходят к будущему. Будущее! В конце прошедшего столетия они думали коснуться его и узнать, так сказать, его очертания сквозь опасения и надежды настоящего. Перед концом XVIII столетия этот старик, стоя у одра смерти старого века, смотрел на новое светило, красное и кровавое посреди туч и тумана, не ведая, была ли то комета или солнце.

Посмотрите на ледяное и глубокое презрение на лбу старика и эту гордую и между тем трогательную грусть, которая омрачает благородное лицо Занони. Кажется, что борьба и ее исход были предметом презрения для одного, ужаса и жалости для другого. Мудрость, рассматривая человечество, доходит до сострадания или презрения. Когда верят в существование других миров, то охотно привыкают смотреть на этот, как натуралист на суету муравейника.

Что такое земля в сравнении с бесконечностью? Насколько душа одного человека имеет больше значения, чем история целой планеты? Дитя неба, наследник бессмертия! С каким чувством кинешь ты однажды свой взгляд с какой-нибудь звезды на этот муравейник и на катастрофы, которые потрясали его от Хлодвига до Робеспьера, от Ноя, который спас землю, до огня, который должен истребить ее в последний день! Душа, умеющая рассматривать, живущая только познанием, может уже подняться до этой звезды с середины кладбища, называемого землею, пока она еще живет на ней.

Но ты, Занони, ты отказался жить одним разумом; ты не умертвил своего сердца, оно дрожит еще при трепещущей гармонии страсти; род человеческий, которого ты составляешь часть, есть для тебя что-то более, чем холодное развлечение.

VI

Однажды вечером в Париже, пять месяцев спустя после событий, рассказанных в нашей последней главе, несколько лучших умов того времени собрались у одной личности, одинаково знаменитой своим происхождением и своим талантом.

Почти все члены собрания разделяли мнения, которые были тогда в моде. Точно так же, как позже наступило время, когда ничто не было так нелюбимо народом, как сам народ, так же было время, когда считалось, что нет ничего хуже дворянства. Самый превосходный джентльмен, самый надменный дворянин говорил о равенстве, об успехах просвещения.

Между самыми замечательными гостями там был Кондорсе, находившийся тогда в зените своей славы, переписывавшийся с королем Пруссии, близкий друг Вольтера, член половины академий Европы, благородный по происхождению, изящный по манерам, республиканец по убеждениям.

Здесь находился также почтенный Мальзерб, "любовь и отрада нации", как говорит его биограф Гальяр, и подле него Жан-Сильвен Байи, знаменитый ученый, горячий политик.

Это был один из тех маленьких ужинов, которыми славилась столица роскошных удовольствий.

Разговор, как догадывается читатель, был литературный и философский, оживленный веселостью, исполненный грации. Много женщин этого древнего и гордого сословия (дворянство существовало еще, хотя его часы были сочтены) придавали очарование собравшемуся обществу, и они-то и были самые смелые критики и часто проповедовали самые либеральные идеи.

Для меня было бы напрасным усилием, т. е. напрасным усилием передать на английском языке, блестящие парадоксы, переходившие из уст в уста. Любимой темой было превосходство писателей новых времен над писателями древних. Кондорсе был на эту тему красноречив и, в глазах по крайней мере части своих слушателей, убедителен. Превосходство Вольтера над Гомером было неоспоримо для всех. Какие потоки колких острот лились по поводу тупого педантизма, который провозглашает, что все, что старо, непременно величественно!

- Да, - сказал блестящий маркиз N, держа в руке бокал с шампанским, - ум действует, Кондорсе, как вода - он установит свой уровень. Мой цирюльник говорил мне сегодня утром: "Я только простой бедняк; а между тем это не мешает мне думать и верить более, чем знатные господа!" Революция очевидно приближается к развязке шагами гиганта, как говорил Монтескье в своем бессмертном произведении.

Потом все слились в хор, восславляющий блестящие чудеса, которые должна была произвести большая революция. Кондорсе был красноречивее, чем когда-либо.

- Необходимо, чтобы суеверие и фанатизм уступили бы место философии. И тогда, - говорил он, - тогда начнется эра справедливости и равенства. Большие неудобства для успеха наук происходят от отсутствия всемирного языка и от быстротечности человеческого существования. Что касается первого, то, когда все люди будут братьями, отчего бы не существовать общему языку? Что касается второго, то известно, что органический мир может быть усовершенствован. Разве природа будет менее милостива в отношении к более благородному мыслящему существу, человеку? Устранение самых сильных причин - физической немощи, богатства со своей роскошью и бедности с ужасной нищетой - должно непременно продлить средний срок жизни. Искусство лечения будет тогда почитаемо вместо войны; самые благородные усилия в познании будут способствовать открытию и истреблению причин болезней.

Конечно, жизнь нельзя сделать вечной, но ее можно бесконечно продлить. Самое низкое творение передает силу своему детищу; так и человек передает своим детям физическую организацию и заветы духовного совершенствования. Вот цель, которую наш век приведет в исполнение!

Почтенный Мальзерб вздохнул. Может быть, он боялся, что цель не будет достигнута при его жизни. Прекрасный маркиз N и еще более прекрасные женщины казались убежденными и восхищенными. Но между ними были двое людей, сидевших рядом и не принимавших участия в разговоре: один - иностранец, недавно приехавший в Париж, где его богатство, наружность и ум заставили высший свет его заметить и заискивать перед ним; другой, старик около семидесяти лет, умный, добродетельный, храбрый, беззаботный автор "Влюбленного дьявола" - Казот. Эти двое присутствующих доверительно беседовали и только изредка улыбкой выказывали свое внимание к общему разговору.

- Да, - сказал иностранец, - мы уже встречались.

- Я как будто не забыл ваши черты, а между тем я напрасно силюсь вспомнить.

- Я вам помогу. Помните то время, когда из любопытства или, может быть, из более благородной жажды познания вы старались попасть в таинственный орден Мартиника де Паскалиса {Это намерение приписывают Казоту. О Мартинике де Паскалисе знают очень мало, даже его близкие имеют только смутные предположения. Обряды, церемонии и характер кабалистического ордена, основанного им, также неизвестны. Сен-Мартен был последователь его школы. Несмотря на свой мистицизм, Сен-Мартен был человеком последнего столетия - самым добрым, самым великодушным, самым добродетельным и самым чистым. Никто не отличался более его от простой толпы скептиков своим неутомимым жаром победить материализм и требованием необходимости веры среди хаоса неверия. Стоит также заметить, что, несмотря на сведения, которые Казот мог собрать о школе Мартиника, он ничего не узнал такого, что бы бросило тень на заслуги его жизни и искренность его религии. Кроткий и храбрый в то же время, он никогда не переставал противиться злоупотреблениям революции. Во всем отличавшийся от либералов того времени, он был набожным и искренним христианином. Раньше чем погибнуть на эшафоте, он спросил перо и бумагу, чтобы написать следующие слова: "Жена и дети мои, не оплакивайте меня, не забудьте меня, но помните, никогда не оскорбляйте Господа Бога". (Прим. автора.).}?

- Возможно ли это? Вы член этого теургического братства?

- Нисколько, я присутствовал при их церемониях, но только для того, чтобы показать им, какими невозможными методами они старались обновить старинные чудеса кабалистики.

- Вы любите эти науки? Что касается меня, я отверг влияние, которое они имели прежде на мое воображение.

- Вы его вовсе не стряхнули, - возразил незнакомец, - оно еще владеет вами и в настоящую минуту; оно бьется в вашем сердце, оно озаряет ваш ум; оно хочет говорить вашими устами.

Потом иностранец продолжал разговор вполголоса; он напомнил ему некоторые правила, обряды, объяснил, каким образом они связаны с жизнью самого Казота, удивленного, что незнакомец так хорошо знает подробности его существования. Лицо старика, от природы открытое и благородное, мало-помалу омрачилось, и он бросал изредка на своего товарища быстрые, сверкающие и беспокойные взгляды.

Прелестная герцогиня де ... обратила на них наконец внимание как на не принимавших участия в общем разговоре, а Кондорсе, не любивший, чтобы в его присутствии кто-либо другой, кроме него, привлекал внимание, обратился к Казоту:

- Ну, а вы, какие ваши предсказания по поводу революции? Какое влияние она будет иметь по крайней мере на нас?

При этом вопросе Казот вздрогнул, побледнел, и на лбу у него выступил холодный пот; его губы задрожали.

Все присутствующие посмотрели на него с удивлением.

- Говорите! - сказал ему вполголоса иностранец, положив свою руку на руку старика.

При этих словах лицо Казота содрогнулось, его неподвижные глаза вперились в пустое пространство, и глухим голосом он отвечал {Пророчество, которое я помещаю и которое иные читатели, без сомнения, знают, содержится - с некоторыми легкими изменениями - в предсмертных произведениях Лагарпа. Оригинальный манускрипт его существует еще, как говорят, и подробности рассказаны со слов г. Петито. Не мне проверять точность фактов. (Прим. автора.).}:

- Вы спрашиваете, какое действие она будет иметь на вас - на вас, ее просвещенных, вовсе не корыстолюбивых сторонников? Я вам сейчас отвечу. Вы, маркиз де Кондорсе, вы умрете в тюрьме, но не от руки палача. В тихом счастье этой эпохи философ будет заботиться носить при себе не эликсир, а яд.

- Мой бедный Казот, - проговорил Кондорсе со своей ласковой и проницательной улыбкой. - Темница, я, палачи... Что общего это может иметь с философией, с царством разума?..

- Об этом-то я и говорю. Все это случится с вами именно в царстве разума и во имя философии, человечности и свободы.

- Вы думаете о священниках и об их интригах, а не о философии, - сказал Шамфор. - А что предсказываете вы мне?

- Вы вскроете себе вены, чтобы избегнуть братства Каина. Но можете утешиться: последние капли вашей крови вытекут из вас только через несколько месяцев... Для вас, почтенный Мальзерб, для вас, Эмар де Никола, и для вас, Байи, я вижу строящиеся эшафоты. И даже тогда, о великие философы, у ваших убийц на языке не будет других слов, как слова философии.

Наступило общее глубокое молчание, когда ученик Вольтера, вспыльчивый Лагарп, воскликнул с язвительным смехом:

- О пророк! Не избавляйте меня, из лести, судьбы этих господ. Разве у меня не будет роли в этой драме ваших зловещих фантазий?

При этом вопросе с лица Казота исчезло неестественное выражение пророческого ужаса; ирония, которая обыкновенно выражалась на нем, вернулась и сверкнула в его блестящих глазах.

- Да, Лагарп, и ваша роль будет самой чудесной из всех. Вы станете тогда верующим христианином.

Это было уже слишком для общества, до тех пор серьезного. Все разразились громким смехом, а Казот, как бы уставший от всех своих предсказаний, откинулся на спинку кресла, тяжело дыша.

- Теперь, - проговорила мадам де ..., - после того как вы произнесли столько важных предсказаний на наш счет, скажите же нам, что ожидает вас.

Конвульсивная дрожь пробежала по телу невольного пророка, но он в ту же минуту успокоился, и его лицо озарилось выражением спокойной покорности.

- Мадам, - отвечал он после долгого молчания, - во время осады Иерусалима один человек, свидетельствует историк {Имеется в виду Иосиф Флавий (37-100 н. э.), автор "Истории иудейской войны".}, в продолжение семи дней подряд обходил ограду, крича: "Горе тебе, Иерусалим! Горе мне самому!"

- Ну, так что же?

- На седьмой день, когда он возгласил таким образом, камень, пущенный катапультой римлян, настиг его и убил наповал.

При этих словах Казот встал и вышел, а гости, охваченные против своей воли ужасом, расстались вскоре после его ухода.

VII

Было около полуночи, когда иностранец дошел до своего дома, находившегося в одном из тех обширных кварталов, которые можно назвать маленьким Парижем. Подвалы его были заняты бедными ремесленниками, часто ссыльными или бродягами, избегавшими полиции, а то каким-нибудь дерзким писателем, который, посеяв самые разрушительные идеи, напечатав самые ядовитые пасквили против духовенства, министров или короля, искал

здесь убежища от гонений. Нижний этаж состоял из лавок, антресоль населена была артистами, главные этажи - дворянством, а чердак - ремесленниками или гризетками.

В ту минуту, как иностранец взбирался по лестнице, молодой человек, лицо и вид которого говорили не в его пользу, вышел через дверь антресоли и быстро прошмыгнул перед ним. Его взгляд был какой-то скрытный, зловещий, свирепый и в то же время боязливый. Его лицо было чрезвычайно бледно и конвульсивно вздрагивало. Иностранец остановился и стал внимательно следить за уходившим молодым человеком. Пока он неподвижно стоял таким образом, в комнате рядом послышался стон; дверь закрыли быстро и поспешно, но легкое препятствие, может быть щелка, помешало ей совсем закрыться. Незнакомец толкнул ее и оказался в комнате. Он прошел через маленькую переднюю, бедно меблированную, и очутился в спальне. На постели, корчась от боли, лежал старик. Слабый свет освещал комнату и бросал отблески на сморщенное и мертвенное лицо больного. Подле него никого не было; казалось, его оставили так, чтоб он испустил в уединении свой последний вздох.

- Воды, - проговорил он со слабым стоном, - воды! Жажда мучит меня... я горю.

Незнакомец подошел к постели, нагнулся к умирающему и взял его за руку.

- Будь благословен, Жан! Будь благословен! - произнес больной. - Ты уже привел доктора? Я беден, сударь, но я вам хорошо заплачу. Я бы не хотел еще умирать из-за этого молодого человека. - Он приподнялся на своей постели и с ужасом устремил на незнакомца свои потухшие глаза.

- Что вы чувствуете, что у вас болит?

- Огонь! Огонь в сердце и во внутренностях. Я горю!

- Сколько времени вы не ели?

- Ел! Я поел только этого бульону, уже шесть часов тому назад; чашка стоит еще там. Не успел я его выпить, как начались боли.

Иностранец осмотрел чашку, в которой было еще немного бульону.

- Кто дал вам этого бульона?

- Кто? Жан. Кто же другой может дать мне его? У меня нет прислуги, никого нет. Я беден, сударь, очень беден. Но нет; вы, доктора, вы не заботитесь о бедных. Я богат! Можете вы меня вылечить?

- Да, с Божьею помощью. Будьте только терпеливы.

Старик быстро угасал от действия одного из самых сильных ядов. Незнакомец отправился в свою квартиру и вернулся через несколько минут с противоядием, которое произвело в одну минуту свое действие. Страдания уменьшились, губы потеряли синевато-белый цвет, и старик погрузился в глубокий сон. Иностранец спустил занавески постели, схватил свечу и стал осматривать комнату. Стены были украшены, как и в соседней комнате, великолепно исполненными рисунками; но большая часть этих произведений ужасала взоры и возмущала вкус: здесь было изображено человеческое тело в разных положениях во время пытки; застенок, колесо, виселица - все, что жестокость придумала для того, чтоб сделать смерть более ужасной, - выглядели еще более страшными благодаря любви, которую чувствовал художник к своему произведению. В одном углу комнаты, недалеко от старого письменного стола, был брошен маленький сверток, небрежно прикрытый пальто, которое, казалось, должно было скрывать его. Несколько полок, составлявших библиотеку, были уставлены книгами. Это были почти исключительно произведения философов того времени, философов-материалистов и энциклопедистов.

Одна книга лежала на столе открытой. Это было произведение Вольтера, поля были испещрены карандашными заметками, писанными дрожащей рукой, как бы старческим почерком. Это были иронические опровержения логики фернейского мудреца. Вольтер был слишком сдержанным, по мнению своего толкователя.

Пробило два часа; на лестнице послышались шаги. Незнакомец тихонько сел с другой стороны постели, занавески которой скрывали его от человека, вошедшего с большой таинственностью. Это был тот же юноша, которого он видел на лестнице. Он взял свечку и подошел к постели осторожными шагами.

Лицо больного было повернуто к подушке, но он спал так спокойно, его дыхание было так тихо, что убийца, бросив на него быстрый и беспокойный взгляд, принял этот сон за смерть. Он отошел с адской улыбкой, поставил свечу на место, открыл письменный стол ключом, вынутым из кармана, и взял из ящика несколько свертков золота. В ту же минуту старик проснулся. Он открыл глаза и повернул их к свету; тогда он увидел вора за делом и вытянулся на постели, как пораженный скорей удивлением, чем ужасом. Наконец он соскочил с постели:

- Пречистое небо! Не сон ли это? Ты, ты! Ты, для которого я страдал и переносил нищету и труд! Ты!

Вор задрожал; монеты выпали у него из рук и покатились на пол.

- Как! - воскликнул он. - Ты еще не умер? Уж не потерял ли яд свое действие?
- Яд, дитя!.. Ах!.. - И с ужасным криком старик закрыл себе лицо обеими руками; потом он продолжал со страшной энергией: - Жан! Жан! Скажи мне, что это ложь. Воруй у меня, грабь, если хочешь; но не говори, что ты мог убить человека, который жил только для тебя. Вот бери золото; я для тебя собирал его. Ступай! Ступай!
И утомленный старик упал к ногам убийцы и корчился на полу в агонии, в тысячу раз более нестерпимой, чем та, которую он претерпел перед этим.
Вор посмотрел на него с холодным презрением.
- Что я тебе сделал, несчастный! - воскликнул старик. - Разве я мало любил и ласкал тебя? Ты был сиротой, брошенным всеми. Я взял тебя, воспитал, усыновил. Если я заслужил имя скупого, то лишь для того, чтоб тебя не презирали, тебя, моего наследника, когда меня не будет больше, тебя, обиженного природой. Ты получил бы все мое богатство после моей смерти. Разве ты не мог продлить свою милость еще на несколько месяцев, несколько дней? Что я тебе сделал?
- Ты продолжал жить и не хотел писать завещание.
- Боже мой! Боже мой!
- Слушай: я все приготовил к бегству. Смотри. У меня есть паспорт, лошади ждут меня внизу, запасные заказаны. У меня твое золото.
И, говоря таким образом, негодяй продолжал забирать свертки.
- А теперь, если я оставлю тебе жизнь, какая у меня гарантия, что ты не донесешь на меня?
При этих словах он подошел к старику с угрожающим видом.
Гнев последнего уступил место страху. Он задрожал перед этим чудовищем.
- Оставь мне жизнь... дай мне жить для... для...
- Для чего?
- Для того, чтобы простить тебя! Да, ты можешь жить без страха. Клянусь...
- Ты клянешься? Кем и чем, старик? Я не могу тебе поверить.
Еще одна минута, и рука, уже поднятая убийцей, задушила бы свою жертву. Но между ней и убийцей явилось видение, которое казалось пришедшим с того света, существование которого отвергали оба.
Разбойник отскочил, потом повернулся и бросился вон.
Старик снова упал на пол без чувств...

VIII

Вернувшись к старику на другой день, иностранец нашел его спокойным и был сам удивлен, увидев его оправившимся от волнений и страданий прошлой ночи. Больной выразил благодарность своему спасителю горячими слезами и сообщил ему, что позвал одного из своих родственников, который с этих пор будет заботиться о его безопасности и нуждах.
- Так как, - прибавил он, - у меня еще есть деньги, а впредь мне нет никакой причины быть скупым.
Потом он стал быстро рассказывать об обстоятельствах его союза с тем, который покушался убить его.
Еще в молодости он поссорился со своей семьей на почве религиозных разногласий. У него не было детей; он решился усыновить ребенка из народа и воспитать его своим последователем. Он выбрал сироту самого темного происхождения, уродство и вид которого были для него сперва причиной сострадания, а позже причиной слепой и чрезвычайной привязанности. В этом оборвыше он любил не только сына, но и свою теорию. Он воспитал его согласно философским принципам французских энциклопедистов. Гельвеции доказал ему, что воспитание может все, и до восьми лет любимым девизом маленького Жана было: Свет и Добродетель. Ребенок выказывал способности, в особенности к искусству.
Его покровитель стал искать учителя, такого же, как он сам, и выбрал живописца Давида. Этот художник, такой же отвратительный, каким стал его ученик, был, конечно, также материалистом и атеистом, как того желал покровитель.
Ребенок рано почувствовал свое безобразие. Его благодетель напрасно старался философскими афоризмами тешить его; но когда он объяснял ему, что на этом свете деньги покрывают множество грехов, ребенок жадно слушал его и забывал причину своей тоски. Собирать деньги своему протеже, единственному существу, которое он любил в этом свете, - вот в чем состояла страсть покровителя. Читатель видел, как он получил свою награду.
- Но я рад, что он убежал, - сказал старик, вытирая себе глаза. - Он оставил бы меня в самой ужасной нищете, и я все-таки не мог бы решиться обвинить его.

- Так как вы сами виновник его преступлений.
- Как! Я, который никогда не переставал твердить ему о красоте, добродетели! Объяснитесь.
- Увы! Если ваш ученик не объяснил вам этого вчера своими признаниями, то ангел бы напрасно спустился с неба, чтобы доказать вам это.
Старик беспокойно заметался на постели и собирался возразить, когда его родственник, за которым он посылал, вошел в комнату. Это был человек немного старше тридцати лет, лицо его, сухое, худое, не выражало ничего, глаза были постоянно неподвижны, а губы сжаты. Он выслушал с возгласами ужаса рассказ своего родственника и старался всеми средствами уговорить его донести на своего любимца.
- Нет, Рене Дюма! - воскликнул старик. - Вы адвокат, вы привыкли ни во что не ставить человеческую жизнь. Как только человек нарушил закон, вы кричите: "Повесить его!"
- Я! - закричал Дюма с поднятыми руками и выпученными глазами. - Почтенный философ, вы очень дурно судите обо мне. Никто не сожалеет больше меня о строгости нашего свода законов.
Адвокат остановился, тяжело дыша. Иностранец пристально посмотрел на него и побледнел. Дюма заметил эту перемену и обратился к нему:
- Разве вы не такого же мнения, сударь?
- Простите меня; я старался подавить в себе неопределенный ужас, который кажется мне пророческим.
- И этот страх?..
- Заключался в том, что если мы с вами снова увидимся, то ваши мнения не будут теми же!
- Никогда!
- Вы восхищаете меня, кузен Рене, - сказал старик, жадно прислушивавшийся к словам своего родственника. - Ах! Я вижу, что в вас есть истинное чувство справедливости и филантропии. Отчего я так медлил узнать вас? И, - продолжал старик с некоторым колебанием, - вы не думаете, как этот благородный иностранец, что я ошибся в правилах, которым учил этого несчастного?
- Нет, конечно. Разве можно сердиться на Сократа за то, что Алкивиад был нечестивым изменником.
- Слышите! Слышите! Но у Сократа был Платон. Отныне ты будешь моим Платоном. Слышите! - повторил старик, повертываясь к иностранцу, но последний был уже на пороге. Да и кто стал бы спорить с самым упрямым фанатизмом, фанатизмом неверия?
- Вы уходите, - воскликнул Дюма, - не дав мне поблагодарить вас, благословить за жизнь, которую вы вернули этому почтенному старику? Если когда-нибудь я смогу расплатиться... если когда-нибудь вам понадобится кровь Рене Дюма...
Произнося таким образом свои уверения, он дошел за иностранцем до дверей передней; там он остановил его на минуту, посмотрел назад, чтобы убедиться, что его не могли слышать, и обратился к нему вполголоса:
- Мне бы нужно было вернуться в Нанси; я не люблю терять свое время... Вы не думаете, сударь, что этот разбойник унес все деньги старого дурака?
- Разве, господин Дюма, Платон так говорил о Сократе?
- Вы колки. Да вы и имеете право быть таким. Сударь, мы увидимся с вами в один прекрасный день.
- В один прекрасный день! - пробормотал иностранец и нахмурился.
Он поспешно вернулся к себе, провел целый день и следующую ночь один, углубленный в занятия, которые, какого бы рода они ни были, послужили только для того, чтобы удвоить его мрачную озабоченность. Каким образом его судьба могла связаться с судьбой Рене Дюма или бежавшего убийцы? Отчего легкий воздух Парижа казался ему удушливым? Какой инстинкт заставлял его бежать от этих блестящих людей, от этого очага возникающих надежд света? Какой голос кричал ему не возвращаться? Но к чему эти предсказания и предчувствия?.. Он оставляет Францию, он возвращается, прекрасная Италия, к твоим величественным развалинам! На Альпах его душа вдыхает еще раз свободный воздух. Свободный воздух! Увы! Человек никогда не будет так же свободен на улице, как в горах. И ты тоже, читатель. Вернемся в более высокие страны, местопребывание более чистых обитателей.
Кроткая Виола, сидящая на берегу лазурного залива, подле могилы Вергилия и грота Кимвров, мы возвратимся к тебе!

IX

Ну, Пизани, доволен ли ты теперь? Вот ты снова вернулся к своей должности и сидишь перед пюпитром; твоя верная скрипка получила свою часть твоего торжества, твое образцовое произведение занимает всех; твоя дочь отличается на сцене; артистка и музыка так соединены друг с другом, что, аплодируя одной, аплодируют в то же время другой. Тебе дают место в оркестре; не слышно больше насмешек, не видно насмешливых взоров, когда с пламенной нежностью ты ласкаешь свою скрипку, которая жалуется, плачет, бранится и сердится под твоей безжалостной рукой. Публика понимает теперь, что истинный гений всегда имеет право на неровности. Неровная поверхность луны делает ее светлой и видимой для человека.

Джиованни Паизьелло! Маэстро капеллы, если твоя кроткая и благосклонная душа умеет завидовать, то ты должен страдать, видя Неаполь у ног Сирены, гармония которой заставила тебя печально качать головой. Но ты, Паизьелло, спокойный в своей славе, ты знаешь, что нужно дать место новому.

Чтобы быть превосходным, уважай самого себя.

Целая зала отдала бы сегодня все за те самые вариации, которые она прежде освистывала. Но нет, напрасно ждали от Пизани новых вариаций; в течение двух третей своей жизни он молчаливо работал над своим образцовым произведением; ничего больше не мог он прибавить к нему, несмотря на все желание. Но точно так же критики напрасно желали найти недостатки.

Да, правда, и его шипящий смычок не смилуется над малейшими из чужих ошибок. Но начни он сам сочинять, он уже не видит, что его произведение может выиграть от новых вариаций. Между тем Виола стала идолом целого Неаполя; она царица, избалованный ребенок сцены. Испортить ее игру - вещь легкая. Испортит ли она ее натуру? Не думаю. Дома, у себя, она всегда добра и проста и по-прежнему садится у двери, по-прежнему глубоко задумывается.

Сколько раз, дерево с кривым стволом, она смотрела на твои зеленые ветки! Сколько раз, как и ты, в своих фантастических мечтах боролась она за свет, но не за театральный свет! Ребенок, довольствуйся лампой, - что я говорю - бледным ночником. Для дома грошовая свечка удобнее всех звезд неба...

Недели проходили, незнакомец не показывался; проходили месяцы, а его предсказание страданий еще не исполнилось. Однажды вечером Пизани заболел. После его успеха последовало множество просьб сочинить концерты и сонаты для его любимого инструмента. Он проводил целые недели, дни и ночи за сочинением пьесы, в которой он рассчитывал превзойти себя. Он выбрал, как всегда, один из тех сюжетов, которые, казалось, невозможно положить на музыку и трудности которых он любил преодолевать исключительной силой своего таланта, - ужасную легенду о метаморфозе Филомеля.

Пьеса начиналась с веселого пира. Среди праздника, даваемого королем Фракии, внезапно диссонанс прерывал веселые ноты. Король узнает, что его сын погиб от руки сестер-мстительниц; быстрая, как ветер бури, мелодия сердито льется, выражая страх, ужас, отчаяние. Отец отправляется преследовать сестер. Слушайте! Неприятные, тяжелые звуки ужаса вдруг перешли в тихую жалобу! Метаморфоза совершилась, и Филомель, превратившийся в соловья, издает нежные трели, которые должны поведать свету историю его несчастий... Во время этой трудной и многосложной работы здоровье композитора, возбужденного своим недавним торжеством и возродившимся тщеславием, вдруг надломилось. Он захворал ночью; на другой день, утром, доктор нашел, что у него вредная и заразительная лихорадка. Виола и ее мать приняли на себя трудную задачу ухаживать за ним; но скоро эту обязанность пришлось исполнять одной Виоле. Синьора Пизани заразилась, и в несколько часов ее положение стало более опасным, чем положение ее мужа. Неаполитанцы, как и все жители жарких стран, охотно делаются эгоистами и жестокими под влиянием ужаса, внушаемого эпидемией. Джионетта и та сказывалась больной, чтобы не входить в комнату Гаэтано. На Виолу пала вся тяжесть обязанностей, налагаемых в этом случае любовью и состраданием. Это было для нее ужасным испытанием. Сократим, однако, подробности.

Жена умерла первая.

Однажды, незадолго до захода солнца, Пизани проснулся; впервые после бреда, который в продолжение двух дней его болезни давал ему редкие промежутки покоя, он обвел комнату слабым, потухшим взглядом и с улыбкой узнал Виолу. Он произнес ее имя, приподнялся на постели и протянул к ней руки. Она бросилась к нему на грудь, стараясь остановить обильно лившиеся слезы.

- Твоя мать! - проговорил он. - Разве она спит?

- Да, она спит! - И слезы полились снова.

- Я думал... что я такое думал? Не знаю! Но не плачь... мне теперь будет хорошо; очень, совсем хорошо. Она придет ко мне, когда проснется, не правда ли?

Виола не могла говорить; она поспешила приготовить лекарство, которое больной должен был принять, как только бред прекратится. Доктор приказал ей послать за ним, как только произойдет эта важная перемена. Она пошла к двери, позвала женщину, которая во время притворной болезни Джионетты согласилась заменить ее, но служанка не отвечала. Она напрасно искала ее во всех комнатах.

Пример Джионетты заставил бежать и ее. Что делать? Доктор просил в этой ситуации не медлить ни одной минуты. Ей надо было оставить своего отца и самой идти за доктором.

Она вернулась к больному; успокоительное лекарство, казалось, произвело уже свое целительное действие. Он лежал с закрытыми глазами, дыхание его было спокойно, как во сне. Тогда Виола поспешила за доктором. Но лекарство вовсе не произвело того действия, которое она предположила; вместо благотворного сна оно вызвало что-то вроде лихорадочной спячки, в которой ум, мучимый странным волнением, находил бессвязные мысли, занимавшие его раньше. Это не был сон, это не был бред, это было то положение, наполовину сонное, наполовину бодрствующее, которое производит иногда опиум, и каждый раздраженный нерв передает лихорадочные импульсы всему организму, давая ему обманчивую и болезненную силу.

Пизани чего-то недоставало. Чего? Он чувствовал это, но не сознавал. Это было соединение двух самых существенных нужд его души: ему недоставало голоса его жены и прикосновения его подруги, скрипки.

Едва только Виола ушла, как он поднялся с постели, спокойно надел свой старый халат, тот, который он всегда надевал, когда сочинял.

Он ласково улыбнулся при воспоминании, надевая халат, и, пройдя через комнату нетвердыми шагами, вошел в маленький кабинет, в котором его жена, с тех пор как болезнь разлучила их, проводила мучительные минуты.

Комната была пуста. Он осмотрел ее блуждающими глазами, пробормотал несколько бессвязных слов и потом медленными шагами обошел все комнаты пустого дома. Наконец он добрался до той, где старая Джионетта, верная если не чужой пользе, так по крайней мере своей собственной безопасности, расположилась в самом отдаленном углу дома из боязни заразиться. Когда она увидела это привидение с блуждающими, беспокойными и страшными глазами, она вскрикнула и упала к его ногам. Он нагнулся к ней, провел пальцами по ее наполовину закрытому лицу, тряхнул головой и проговорил едва слышным голосом:

- Я не могу их найти, где они?

- Кто, мой дорогой хозяин? О! Сжальтесь над собою; их здесь нет... Царица небесная! Он тронул меня; я умерла!

- Умерла! Кто умер? Разве есть кто-нибудь мертвый?

- О! Не говорите так... вы хорошо знаете: моя бедная госпожа, она заразилась вашей лихорадкой, ею можно убить целый город. Святой Януарий, помоги мне. Моя бедная госпожа... она умерла, похоронена, а я, ваша верная Джионетта, несчастная!.. Ступайте! Лягте снова в постель, мой дорогой господин... ступайте!

Бедный Гаэтано с минуту простоял неподвижно; потом нервная дрожь пробежала по его телу, он повернулся и исчез, так же как и явился, будто молчаливое привидение. Он пошел в комнату, где имел обыкновение сочинять, где его жена с нежным терпением сидела подле него, восхваляя то, над чем все смеялись. В одном углу он нашел лавровый венок, а недалеко от него, наполовину прикрытый мантильей, покоился в футляре его инструмент.

Виола недолго ходила, она нашла доктора и возвращалась вместе с ним; подходя к дому, они услыхали гармонические, грустные аккорды, раздиравшие душу.

Они обменялись испуганными взглядами и быстро побежали к дому. Пизани обернулся, когда они вошли в комнату. Его взгляд, страшный и повелительный, заставил их в страхе отступить. Черная мантилья и лавровый венок лежали перед ним. Виола все поняла с первого же взгляда; она кинулась к его ногам, она порывисто целовала их:

- Отец! Отец! Ведь я осталась еще у тебя!

Крик отчаяния утих, звуки переменились, печаль, еще живая в мелодии, соединилась с аккордами и с менее зловещими мыслями. Соловей улетел от преследования своих врагов. Легкие, воздушные, прелестные ноты полились из-под смычка и потом вдруг утихли. Инструмент упал на пол, струны лопнули с глухим треском. Артист посмотрел на своего ребенка, потом на лопнувшие струны...

- Похороните меня рядом с ней, - проговорил он спокойным голосом, - а это рядом со мной.

При этих словах все его тело скорчилось. Последняя судорога пробежала по его лицу, и на пол упало безжизненное тело. В своем падении он смял лавровый венок, который тоже упал подле него.

Солнце бросало на всех троих свои последние лучи через окно, увитое виноградными лозами. Так улыбается вечная природа, глядя на останки всего, что делает жизнь славной и знаменитой.

X

Пизани похоронили вместе с его скрипкой в том же гробу.

Виола осталась одна на свете, одна в доме, где с самой колыбели одиночество казалось ей вещью противоестественной. Это уединение, эта тишина были для нее сначала нестерпимыми.

Она приняла с благодарностью предложение убежища в доме и семействе соседа, тронутого ее несчастьем, очень привязанного к ее отцу и к тому же члена того же оркестра. Но в скорби общество чужих, утешения посторонних еще больше раздражают рану. К тому же ужасно слышать от других слова "отец", "мать", "дочь", точно смерть существует только для вас; тяжело видеть спокойную правильность их жизни, какую вы сами вели до сих пор.

Нет! Могила и та напоминает нам о потере менее, чем общество тех, которым некого оплакивать. Вернись к своему одиночеству, юная сирота, вернись в пустой и ледяной дом: скорбь, которая ждет тебя на его пороге, примет тебя, как улыбка на безжизненных устах. Оттуда, через окно, с твоего места у двери, ты увидишь еще дерево, одинокое, как и ты, выросшее в расщелинах утеса и проложившее себе путь к свету. Так и ты, через всякую скорбь, пока время способно возобновлять свежесть молодости, борись постоянно с инстинктом человеческого сердца. Только когда силы истощены, когда молодость уже прошла, только тогда солнце напрасно светит для человека и для дерева.

Проходили недели, длинные и скучные месяцы, но Неаполь не позволял своему идолу пренебрегать долее своими обязанностями. Голос Виолы снова раздался в театре. Золото и слава расточались молодой актрисе; но она от этого не изменила простоты своего образа жизни, своему скромному жилищу, своей единственной служанке, недостатки и эгоизм которой ускользали от неопытности Виолы.

Ее окружали всякие козни, всякие искушения становились на ее пути; но ее добродетель выходила из них незапятнанной. Ведь из уст, которые уже немы, она слышала об обязанностях, возлагаемых на молодую девушку честью и религией, и всякая любовь, не говорившая о венчании, была отвергаема ею, как оскорбление. Но у нее была и другая защита; по мере того как скорбь и уединение давали ее сердцу опытность и развивали в ней чувствительность, смутные видения ее детства обратились в идеальную форму любви. Образ и голос иностранца всегда соединялись в ее душе с идеалом, вызывая в ней невольный ужас.

Прошло около двух лет с тех пор, как он показался в Неаполе. Все, что о нем знали, было то, что несколько месяцев после его отъезда его корабль получил приказ отправиться в Ливорно. Неаполь, любопытство которого было сильно возбуждено его посещением, по-видимому необыкновенным, почти забыл о нем; но сердце Виолы было более верным. Часто образ незнакомца возникал в мечтах артистки, и, когда ветер шелестел листьями дерева, неразрывно связанного с воспоминанием о нем, она вздрагивала, краснея, точно слышала его голос.

В свите ее поклонников был один, которого она слушала с меньшим негодованием, чем остальных, частью, конечно, оттого, что он говорил языком ее матери, а частью оттого также, что его застенчивость не имела ничего, что бы могло беспокоить ее или не нравиться ей. Его положение, менее высокое, чем положение молодых людей неаполитанского высшего круга, которыми она была окружена, делало его ухаживания совсем не оскорбительными; наконец, красноречивый мечтатель, каким он был, часто выражал мысли, которые казались как бы эхом тех, что она хранила в самых глубоких тайниках своего сердца.

Он стал ей очень нравиться. Между ними установились отношения, похожие на отношения между братом и сестрой. Если в сердце англичанина и возникали надежды, недостойные ее, то он по крайней мере никогда не смел их высказывать.

Виола! Бедная, одинокая девушка, не опасно ли это для тебя? Или опасность находится в идеале, который ты ищешь?..

Здесь останавливается наша прелюдия, как увертюра какого-нибудь странного и сверхъестественного представления.

КНИГА ВТОРАЯ

ИСКУССТВО, ЛЮБОВЬ И ТАЙНА

I

Однажды ночью, при бледном свете луны, в садах Неаполя четверо или пятеро молодых синьоров сидели под деревом, ели шербет и прислушивались, в промежутках разговора, к музыке, оживлявшей это любимое место гуляний неаполитанцев. Один из них был молодой англичанин, который до тех пор был душой общества, но уже несколько минут сидел в мрачной и рассеянной задумчивости. Его соотечественник заметил это его состояние и, ударив его по плечу, проговорил:

- Что с вами, Глиндон? Вы больны? Вы ужасно бледны и дрожите. Не внезапная ли это простуда? Вы хорошо сделаете, вернувшись домой: эти итальянские ночи часто бывают опасны для нашего английского темперамента.

- Нет, мне теперь лучше, это была минутная дрожь. Я сам не могу дать себе в этом отчета.

Один молодой человек, около тридцати лет, наружность которого указывала на его замечательное превосходство над всеми окружавшими, быстро обернулся и пристально посмотрел на Глиндона.

- Я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать, и, может быть, - прибавил он с улыбкой, - я объясню это лучше, чем вы сами.

Он повернулся при этом к остальным и продолжал:

- Между вами нет ни одного, господа, который не чувствовал бы, по крайней мере раз в жизни, особенно проведя ночь без сна и в уединении, как странное и необъяснимое впечатление холода и ужаса пробегало по телу: кровь застывала, сердце останавливалось, тело дрожало, волосы поднимались дыбом, вы не смели ни поднять глаз, ни взглянуть в темные углы комнаты; у вас являлась какая-то страшная мысль, что-то сверхъестественное подходило к вам; а потом, когда таинственная тишина нарушалась, вы пытались смеяться над вашей слабостью. Разве вы никогда не испытывали того, что я сейчас описал вам? Если да, то вы можете понять, что перечувствовал наш молодой друг несколько минут тому назад, даже посреди этой волшебной сцены, посреди наполненного благоуханием воздуха июльской ночи.

- Вы совершенно верно определили чувство, охватившее меня, - отвечал Глиндон, очевидно сильно удивленный. - Но какой внешний признак мог так верно обнаружить мои впечатления?

- Мне известны эти явления, - отвечал иностранец. - Человек с моей опытностью не может ошибаться.

Все присутствующие признались, что понимали и испытывали то, что незнакомец сейчас описал.

- Одно из наших национальных суеверий объясняет это так, - проговорил Мерваль (тот, который первый заговорил с Глиндоном), - что в ту минуту, как вы чувствуете, что ваша кровь стынет, а волосы на голове становятся дыбом, кто-то проходит по тому месту, где будет ваша могила. Нет такой страны, которая не объясняла бы каким-либо суеверием это странное чувство; между арабами есть секта, которая полагает, что в такую минуту Бог назначает час вашей смерти или смерти кого-нибудь, кто вам дорог. Дикий африканец, воображение которого омрачено гнусными обрядами мрачного идолопоклонства, воображает, что дьявол тянет его в это время к себе за волосы: вот каким образом смешное соединяется с ужасным.

- Это, очевидно, ощущение чисто физическое и происходит от расстройства желудка или волнения крови, - сказал молодой неаполитанец, с которым Глиндон был приятелем.

- Отчего же в таком случае все народы соединяют с ним какой-нибудь предрассудок, какой-нибудь суеверный ужас и придают ему какое-нибудь отношение связи между материальными элементами нашего существа и невидимым миром, которым, как предполагают, мы окружены? Что касается меня, я думаю...

- Что вы думаете? - спросил Глиндон, любопытство которого было сильно возбуждено.

- Я думаю, - продолжал незнакомец, - что это волнение есть только выражение отвращения и ужаса материи перед чем-нибудь непреодолимым, но антипатичным всему нашему существу, перед какой-нибудь враждебной нам силой, которой, к счастью, мы не в состоянии постичь из-за несовершенства наших чувств.

- Разве вы верите в духов? - спросил Мерваль с недоверчивой улыбкой.

- Я говорю вовсе не о духах; но могут существовать виды материи, невидимые и столь же неосязаемые для нас, как и микроскопические животные воздуха, которым мы дышим, и воды, находящейся в этом бассейне. Эти существа могут иметь свои страсти и качества

так же, как и микроскопические животные, с которыми я их сейчас сравнил. Чудовище, которое живет и умирает в капле воды, питающееся существами еще более микроскопическими, чем оно само, не менее ужасно в своем гневе и дико по своей природе, чем лев пустыни. Вокруг нас могут быть вещи, которые были бы опасны и вредны человеку, если бы Провидение простыми видоизменениями материи не положило преграды между ними и нами.

- И вы думаете, что эта преграда никогда не может быть устранена? - быстро спросил молодой Глиндон. - Неужели всемирные предания магии и чародейства - только простые басни?

- Может быть, да, а может быть, и нет, - небрежно отвечал иностранец. - Но в этом веке, по преимуществу веке Разума, кто будет настолько безумен, чтобы решиться уничтожить преграду, отделяющую его от тигра и льва? Кто станет жаловаться на закон, согласно которому место акуле в обширных морских пучинах? Но оставим этот праздный спор.

Он встал, заплатил за шербет, слегка поклонился обществу и скоро исчез за деревьями.

- Кто этот господин? - с жадным любопытством спросил Глиндон.

Все молча переглянулись.

- Я вижу его в первый раз, - ответил наконец Мерваль.

- И я тоже.

- И я...

- Я его хорошо знаю, - сказал тогда неаполитанец, который был не кто иной, как Цетокса. - Если вы не забыли, он пришел со мной. Он приезжал в Неаполь два года тому назад, а теперь приехал снова; он несметно богат и вообще очень интересен. Мне очень неприятно, что он вел сегодня такой странный разговор, который поощряет и подтверждает смешные слухи, ходящие про него.

- Действительно, - проговорил другой неаполитанец, - события того времени, хорошо вам известные, Цетокса, оправдывают слухи, которые вы хотели бы заглушить.

- Мы так мало вращаемся, мой соотечественник и я, в неаполитанском обществе, - сказал Глиндон, - что многого не знаем из того, что кажется достойным большого внимания. Можно вас спросить, что это за слухи и на какие события вы намекаете?

- Что касается слухов, - отвечал Цетокса, вежливо обращаясь к обоим англичанам, - то достаточно будет сказать, что синьору Занони приписывают такие качества, которые каждый желал бы иметь для себя, но которые весь свет осуждает, когда они принадлежат другому. Случай, о котором упоминает синьор Бельджиозо, особенно проявил эти качества, и, признаюсь, было немало чудесного. Вы, без сомнения, играете, господа?

Здесь Цетокса остановился, и так как оба англичанина время от времени бросали на игорный стол по нескольку червонцев, то они в ту же минуту отвечали утвердительно.

- В таком случае, - сказал Цетокса, - я продолжаю. Несколько дней тому назад, в день приезда Занони в Неаполь, случаю было угодно, чтобы я играл довольно долго и проиграл. Я поднялся со своего места, решившись больше не играть, когда вдруг заметил Занони, с которым я перед тем познакомился и которому был несколько обязан. Не дав мне времени выразить удовольствие, которое я испытал при встрече с ним, он взял меня за руку, говоря:

- Вы проиграли больше, чем вы можете заплатить, не стесняя себя. Что касается меня, я ненавижу игру, но я интересуюсь этой партией. Хотите вы играть на эту сумму за меня? Проигрыш мой; половина выигрыша ваша.

Удивленный этим предложением, я хотел отказаться, но голос и взгляд Занони имели что-то непреодолимое; к тому же я жаждал восполнить свои потери и, конечно, не встал бы из-за стола, если бы у меня в кармане оставалось хоть сколько-нибудь денег. Я сказал ему, что принимаю его предложение с условием, что мы разделим проигрыш, как и выигрыш, пополам.

- Как хотите, - ответил он с улыбкой, - вы можете быть уверенным, что выиграете.

Я снова сел. Занони встал за мной; счастье вернулось ко мне, я все время выигрывал. Короче, когда я кончил играть, я был богат.

- Плутовство не может быть в публичной игре? В особенности в банке?

Этот вопрос был задан Глиндоном.

- Конечно, нет, - ответил граф. - Наше счастье было действительно чудесно, до такой степени, что один сицилиец (сицилийцы вообще дурно воспитаны и вспыльчивы) рассердился и сделался заносчив. "Синьор, - сказал он, повертываясь к моему новому другу, - вы не должны стоять так близко к столу. Не знаю, как это произошло, но вы действовали неблагородно".

Занони спокойно отвечал, что не сделал ничего против правил, что он в отчаянии оттого, что один игрок не может иначе выигрывать, как только за счет остальных, и

что он не мог поступить нечестно, если бы даже и желал. Сицилиец принял сдержанность иностранца за трусость и сделался еще заносчивее. Он встал из-за стола и посмотрел на Занони с слишком вызывающим видом.

- И, - прервал Бельджиозо, - странно то, что все это время Занони, стоявший против меня и за которым я следил, не сделал ни малейшего замечания и не выказал никакого волнения или смущения. Он пристально посмотрел на сицилийца, и я никогда не забуду этого взгляда; я не сумею описать вам его, но у меня кровь застыла в жилах. Сицилиец отступил, шатаясь, точно получив удар. Я заметил, что он вздрогнул и опустился на стул. И тогда...

- Да, тогда, к моему величайшему удивлению, - сказал Цетокса, - наш сицилиец, обезоруженный взглядом Занони, обратил весь свой гнев на меня... но вы, может быть, не знаете, господа, что я составил себе некоторую репутацию в фехтовании.

- Лучший боец во всей Италии! - заметил Бельджиозо.

- Раньше, чем я успел отгадать, как и почему, - продолжал Цетокса, - я был уже в саду, за домом, с Угелли, так звали сицилийца, против меня и пятью или шестью синьорами вокруг нас в качестве секундантов. Занони сделал мне знак, и я подошел к нему. "Этот человек умрет, - сказал он. - Когда он будет лежать, подойдите к нему и спросите, не желает ли он быть похороненным рядом с его отцом в церкви Сен-Дженаро". "Вы разве знаете его семью?" - спросил я его с удивлением.

Занони не отвечал, и минуту спустя я уже стоял против моего противника. Нужно отдать ему справедливость, сицилиец великолепно владел шпагой и я никогда не дрался с таким опытным противником. Однако, - прибавил Цетокса со скромностью, - моя шпага пронзила его. Я подбежал к нему, он уже еле мог говорить. "Не имеете ли вы какого-нибудь желания?" - сказал я. Он покачал головой. "Где вы хотите, чтобы вас похоронили?" Он показал рукой по направлению к Сицилии. "Как? - воскликнул я с некоторым удивлением. - А не рядом с вашим отцом, в церкви Сен-Дженаро?"

При этих словах его лицо исказилось, он пронзительно вскрикнул, кровь хлынула из его рта, и он упал мертвый. Самая странная часть истории будет дальше. Мы похоронили его в Сен-Дженаро. Для этой церемонии приподняли гроб его отца, крышка свалилась, и скелет представился нашим взорам. Во впадине черепа мы увидели тонкое стальное лезвие. Эта находка вызвала подозрения и розыски. Отец, который был богат и скуп, внезапно умер; его похоронили очень скоро, по причине, как говорили, сильной жары. Но подозрения не были устранены, поэтому назначили следствие. Расспросили старика слугу, и он при- знался наконец, что сын убил отца; выдумка была остроумна: железо было так тонко, что вошло в мозг так, что показалась только капля крови, которую скрыли седые волосы. Сообщник скоро будет казнен.

- А Занони дал свои показания? Объяснил он?..

- Нет, - ответил граф. - Он объявил, что совершенно случайно был в церкви в этот день утром и заметил могилу графа Угелли; что его проводник сказал ему, что сын покойного был в Неаполе, где он проматывал свое богатство в игорном доме. Пока мы играли, он услыхал имя сицилийца, и после вызова в суд назвать место погребения графа его заставило неопределенное чувство, которое он не мог и не хотел объяснить.

- Ваша история не слишком ужасна, - сказал Мерваль.

- Да, но мы, итальянцы, суеверны; на это предчувствие многие смотрят как на внушение провидения. На другой день иностранец сделался предметом общего внимания и любопытства. Его богатство, его образ жизни, его красота сделали из него льва; и потом я имел удовольствие представить такую необыкновенную личность самым знатным синьорам и прекраснейшим дамам нашего города.

- Очень интересный рассказ, - проговорил Мерваль, вставая. - Пойдемте, Глиндон, домой; теперь уже около полуночи. До свидания, синьор.

- Что вы думаете об этом рассказе? - спросил Глиндон своего товарища.

- Мне кажется совершенно ясным, что этот Занони какой-нибудь ловкий авантюрист. Неаполитанцу же выгодно превозносить его всюду. Неизвестный авантюрист, которого делают предметом ужаса и любопытства, втирается в общество, он чрезвычайно хорош собой, и женщины в восторге принимают его без всякой другой рекомендации, кроме его наружности и басен Цетоксы.

- Я не согласен с вами. Цетокса хотя и игрок, но он человек знатного происхождения, известный своей честью и храбростью. К тому же этот иностранец с благородной осанкой, гордым и спокойным видом не имеет по наружности ничего общего с высокомерным выскочкой и авантюристом.

- Мой дорогой Глиндон, простите меня. Вы еще не знаете света. Незнакомец пользуется своими физическими преимуществами, и его гордый вид просто уловка. Но, для перемены разговора, скажите, как идут ваши любовные дела?

- Виола не могла принять меня сегодня.

- Не женитесь на ней! Что скажут у нас, в Англии?
- Будем довольствоваться настоящим, - поспешно отвечал Глиндон. - Мы молоды, богаты, образованны, не будем думать о завтрашнем дне.
- Браво, Глиндон! Вот мы и дошли. Спокойной ночи! Спите хорошенько и не думайте о синьоре Занони.

II

Кларенс Глиндон пользовался, не будучи богатым, полной независимостью. Его родители умерли, и у него оставалась в Англии у тетки одна только сестра, многими годами моложе его. Он рано выказывал большую склонность к живописи и скорей по любви, чем по необходимости, решился избрать карьеру, которая для английского художника начинается обыкновенно увлечением картинами на исторические темы.
Друзья Глиндона находили в нем действительно талант, но этот талант имел смелый и даже дерзкий характер. Всякая правильная и последовательная работа была ему ненавистна, и со своим честолюбием он мечтал скорее сорвать плоды, чем сажать деревья. Как большая часть молодых художников, он любил удовольствия и острые ощущения и предавался без осторожности всем увлечениям воображения и страстей. Он объездил все знаменитейшие города Европы с целью и искренним намерением изучить все божественные, образцовые произведения своего искусства; но в каждой местности удовольствия слишком часто отвлекали его от труда и живая красота слишком часто привлекала его внимание, препятствуя поклонению красоте искусства, холодной, но бессмертной.
Храбрый, смелый, тщеславный, беспокойный и жаждавший знания, он любил строить безрассудные планы и подвергать себя опасностям, полным для него прелести. Послушный и слепой раб минутного восторга и капризов своего воображения!
Он жил в ту эпоху, когда лихорадочная жажда перемен приготовляла путь этой отвратительной насмешке над человеческими надеждами - французской революции.
Из этого-то хаоса, в котором уже были уничтожены остатки древней веры, поднимались неопределенные и непонятные химеры.
Нужно ли напоминать читателю, что это время изящного скептицизма и мнимой мудрости было вместе с тем временем самой слепой веры и мистического суеверия, временем, когда магнетизм и магия находили адептов между последователями Дидро, когда пророчества переходили из уст в уста, когда зала философа-деиста превращалась в Гераклею, в которой маг вызывал тени мертвых; наконец, это было время, когда осмеивали религию и верили в Месмера и Калиостро. В этом неопределенном полусвете, предшественнике нового солнца, которое навсегда должно было рассеять мрак невежества и предрассудков, являлись все призраки, вырвавшиеся из своих феодальных могил, когда-либо проходившие перед глазами Парацельса и Агриппы.
Прельщенный зарею революции, Глиндон еще больше увлекался всем таинственным, что сопровождало ее, и для него, как для многих других, было естественно, что воображение, терявшееся посреди мечтаний и утопий, с жадностью хватало все, что обещало не простые научные истины, а какие-нибудь чудные открытия неведомого рая. В продолжение своих путешествий он слушал с живым участием, если не со слепой верой, все, что рассказывали про самых знаменитых духовидцев, и его душа была расположена к впечатлению, произведенному на него таинственным Занони.
Кроме того, его доверчивость можно объяснить еще иначе. Один из первых предков Глиндона со стороны матери составил себе довольно знаменитую репутацию как философа и алхимика. О нем ходили странные истории. Говорили, что его существование перешло обыкновенные пределы жизни и что он сохранил до последнего своего дня наружность человека средних лет. Наконец он умер с горя, как говорили, от потери правнучки, единственного творения, которое он, по-видимому, любил. Сочинения этого философа, хотя и немногочисленные, существовали и находились в фамильной библиотеке Глиндона. Их платоновский мистицизм, их смелые выводы и обещания, которые даны были в эмблематичной форме и аллегорической фразеологии, произвели на молодое воображение Глиндона глубокое впечатление. Его родители, не зная, какая опасность могла заключаться в поощрении идей, которые, по их мнению, должны были быстро исчезнуть под влиянием положительного духа времени, любили в длинные зимние вечера наводить разговор и на традиционную историю их знаменитого предка. Кларенс дрожал от радости, смешанной с таинственным страхом, каждый раз, когда его мать говорила о поразительном сходстве между чертами лица молодого наследника и наполовину стертым портретом алхимика, украшавшим камин и составлявшим славу дома и восторг соседей. Справедливо, что чаще, чем мы воображаем, ребенок бывает отцом человека {Английская пословица, означающая, что от образования и воспитания ребенка зависит его будущее,

что уже в ребенке заложены черты будущего человека: "The child is father of the man" (строка из стихотворения английского поэта У. Вордсворта). (Прим. ред.).}.

Я говорил, что Глиндон любил удовольствия. Легко воспринимавший, как артист, всякие впечатления, он жил без забот, в ожидании, пока серьезный труд заменит это порхание с цветка на цветок. Он насладился почти до пресыщения всеми наслаждениями Неаполя, пока наконец не пленился красотой и голосом Виолы Пизани. Но его любовь, как и честлюбие, была неопределенна и непостоянна. Эта любовь не удовлетворяла его сердца, не наполняла всего его существа, не оттого, что он был не способен к сильной и благородной страсти, но потому, что его душа еще не совсем созрела, чтобы быть в состоянии развернуться. Одно время года благоприятствует цветку, другое плоду, поэтому необходимо, чтобы блестящие цветы воображения завяли раньше, чем страсть, которой они предшествуют, чтобы заставить созреть сердце. Одинаково веселый в своей уединенной мастерской и посреди друзей, Глиндон не способен был любить глубоко, так как необходимо, чтобы человек понял всю обманчивость мелочей жизни, дабы познать великое.

Французские сенсуалисты на своем светском языке называют любовь безумием! Но любовь, вполне понятая, есть мудрость.

К тому же свет занимал слишком много места в уме Глиндона. Честолюбие в занятиях искусством соединялось у него с желанием уважения и одобрения того ничтожного поверхностного меньшинства, которое мы называем светом. Как все те, которые обманывают, он сам постоянно боялся быть обманутым. Он не доверял нежной и наивной невинности Виолы. Он не мог серьезно предложить свою руку итальянской актрисе. Но скромное достоинство молодой девушки и что-то доброе и великодушное в его характере удерживали его до тех пор от менее достойных намерений, так что фамильярность, существовавшая между ними, казалось, была скорей основана на уважении и преданности, чем на любви. Он часто посещал театр, приходил за кулисы, чтобы поговорить с ней, наполняя свой альбом бесчисленными эскизами той красоты, которая очаровывала его как артиста и как влюбленного. Так, день за днем, он плыл наудачу по морю своих чувств, беспрестанно мучимый сомнениями, колебаниями, любовью и подозрениями. Подозрение кончалось всегда победой разума благодаря благоразумным увещаниям его друга, Мерваля, человека положительного и практического. На другой день того вечера, который я описал в начале этой части моего рассказа, Глиндон катался один верхом по берегам Неаполитанского залива, по ту сторону грота Позилипа. Солнце перестало печь, и прохладный ветерок подымался от блестящих волн. В ту минуту, как он нагнулся, чтобы прочесть надпись, высеченную на камне на краю дороги, он заметил шедшего впереди него человека. Он догнал его и, узнав Занони, поклонился ему.

- Открыли ли вы какие-нибудь древности? - спросил он, улыбаясь. - Их можно встретить по дороге так же много, как камней.

- Нет, - отвечал Занони, - если только не считать тех древностей, рождение которых восходит к началу света и которые природа беспрестанно уничтожает и создает снова. - И он показал Глиндону маленькое растение с бледно-голубым цветком, которое он тщательно потом спрятал на груди.

- Вы ботаник?

- Да.

- Это, говорят, самое интересное занятие.

- Да, для тех, которые понимают его.

- Разве это такая редкая наука?

- Редкая! Глубокая и искренняя философия искусства и науки, может быть, совершенно погибла в наше время пустых и поверхностных знаний. Не думаете ли вы, что не было никакой истины в этих таинственных преданиях, которые дошли до нас от самых отдаленных веков... как раковины, собранные сегодня на вершине гор, показывают нам место, где прежде находилось море! Древняя магия Колхиды разве была чем-нибудь другим, как не наукой о природе в ее самых низких творениях? На что указывает сказание о Медее, как не на ту силу, которую можно извлечь из зародыша и листа; может быть, в самом ничтожном растении заключается то, чего мудрецы Вавилона напрасно искали в звездах. Предание говорит нам, что существовала раса, умевшая убивать своих врагов издали, без оружия, без движения. Растение, которое вы топчете ногами, имеет, может быть, силу более разрушительную, чем все страшные истребительные инструменты ваших инженеров. Знаете ли вы, что на берега Италии, на древний мыс Цирцеи, пришли с Востока мудрецы, чтобы собирать растения самые простые, которые игнорируются ботаниками наших дней? Первые собиратели трав, учителя химии были этой расой, которую благоговение древних назвало Титанами. Я помню, что однажды, на берегах Гебруса, в царствование... - Занони вдруг остановился, потом

прибавил с холодной улыбкой: - Но этот разговор ни к чему не ведет, кроме бесполезной траты вашего времени и моего.

Он снова остановился, пристально посмотрел на Глиндона и продолжал:

- Думаете ли вы, молодой человек, что неясное любопытство могло бы заменить серьезную работу? Я читаю в вашем сердце: не это растение хотите вы знать, а меня; но ваше желание не может исполниться.

- Вы не имеете вежливости ваших соотечественников! - воскликнул Глиндон, слегка задетый этими словами. - Допустив, что я желаю познакомиться с вами ближе, зачем вы отклоняете мой первый шаг?

- Я не отвергаю ничьих попыток, - возразил Занони. - Но мне необходимо знать тех, которые непременно этого желают; что же касается меня, то люди никогда не поймут меня. Если вы хотите сблизиться со мной, то вы это можете, но я советую вам избегать меня.

- Почему же вы так опасны?

- На этом свете часто одному человеку суждено быть опасным для другого помимо его воли. Если бы я захотел предсказать вашу будущность по исчислениям астролога, я сказал бы вам на его презренном языке, что моя звезда бросила тень на ваше созвездие в момент вашего рождения. Не встречайтесь со мною, если вы в состоянии избегать меня; я вас предупреждаю в первый и в последний раз.

- Вы презираете астрологов, а между тем ваш язык так же таинствен, как и их. Я не игрок и не дуэлянт. Почему бы мне бояться вас?

- Как вам угодно.

- Поговорим откровенно. Ваш вчерашний разговор живо заинтересовал и занял меня.

- Я это знаю; умы, подобные вашему, тянутся к таинственному.

Глиндон был снова задет этими словами, в которых, однако, не было ничего презрительного.

- Я вижу, что вы не находите меня достойным вашей дружбы. Хорошо... прощайте.

Занони холодно ответил ему на поклон, и, пока англичанин продолжал свою прогулку, он вернулся к своим ботаническим занятиям.

В тот же вечер Глиндон отправился по обыкновению в театр. Он следил за игрой Виолы, исполнявшей одну из своих самых блестящих ролей.

Зал дрожал от рукоплесканий. Глиндон был вне себя от любви и гордости.

"Это гордое создание, - думал он, - может, однако, принадлежать мне!"

Погруженный в эту радужную мечту, он вдруг почувствовал, что чья-то рука опустилась на его плечо; он быстро обернулся и узнал Занони.

- Вам угрожает опасность, - сказал последний. - Не возвращайтесь к себе сегодня вечером пешком или по крайней мере не возвращайтесь один.

Не успел Глиндон прийти в себя от удивления, как Занони исчез. Англичанин заметил его только в ложе какого-то синьора, куда он не мог войти.

Виола сошла со сцены. Глиндон устремился к ней; но Виола, против своего обыкновения, с нетерпением отвернулась, когда Глиндон заговорил с ней. Она отвела в сторону Джионетту, сопровождавшую ее постоянно в театр, и обратилась к ней вполголоса, но с волнением:

- Джионетта, он вернулся, он здесь, иностранец, о котором я тебе говорила... и один из всего зала он не аплодирует мне.

- Который же это, моя милочка? - спросила старуха с нежностью. - Он, должно быть, очень глуп. Он не стоит, чтобы о нем думали.

Актриса подвела Джионетту к сцене и показала ей в одной из лож на человека, отличавшегося от всех других простотой своего костюма и необыкновенной красотой.

- Он не стоит, чтобы о нем думать! - повторила Виола. - Не думать! Ах! Не думать о нем значило бы ни о чем не думать!

Режиссер в это время позвал Виолу.

- Джионетта, узнай его имя, - проговорила она быстро, направляясь на сцену и проходя мимо Глиндона, бросившего на нее взгляд, полный грусти и упрека.

Артистка пела арию в сцене последней катастрофы, где все могущество ее голоса и таланта развертывалось во всем своем блеске. Внимательная толпа, затаив дыхание, прислушивалась к каждому ее слову; но глаза Виолы искали только спокойных и невозмутимых глаз незнакомца. Она превзошла себя. Занони слушал и следил за ней со вниманием, но не выказывал ни малейшего знака одобрения. Ничто не изменило холодного и почти презрительного выражения его лица. Виола, игравшая роль женщины, которая любит, не будучи любимой, никогда так живо не чувствовала своей роли. Она проливала истинные слезы, это было зрелище почти ужасное. Ее унесли со сцены, утомленную в высшей степени, почти без чувств, посреди бури рукоплесканий. Все зрители поднялись

разом, замахали платками, цветы и венки наводнили сцену. Мужчины плакали, женщины рыдали.

- Боже мой! - воскликнул один знатный неаполитанец. - Она зажгла во мне непреодолимый восторг. Сегодня же ночью она будет моею; ты все приготовил, Маскари?

- Все, синьор. А молодой англичанин?

- Этот надменный варвар? Я уж говорил тебе, что он поплатится кровью за свое безумие; я не хочу иметь соперников.

- Но он англичанин! При убийстве англичанина всегда проводят следствие.

- Разве море не достаточно глубоко и земля не довольно обширна, чтоб скрыть тело человека? Наши сбиры {Полицейские стражники в Италии.} немы как могила; а меня... кто осмелится подозревать, обвинять князя N... Подумай об этом!.. Сегодня вечером. Я полагаюсь на тебя... его убьют воры, понимаешь? Страна изобилует ими; ограбьте его, чтоб придать более правдоподобности этому убийству. Возьми с собою трех человек, остальные составят мой конвой.

Маскари пожал плечами и поклонился в знак повиновения.

Улицы Неаполя не были тогда так безопасны, как теперь, и экипажи были роскошью менее дорогою и более необходимой. Экипаж, служивший обыкновенно молодой артистке, не приехал в этот вечер; Джионетта слишком хорошо знала красоту своей барышни и дерзость ее поклонников, чтобы смотреть без ужаса на перспективу возвращения пешком. Она объяснила свое затруднение Глиндону, который стал умолять Виолу, оправившуюся наконец от сильного волнения, взять его карету. До этой ночи она, может быть, и приняла бы такую услугу, но по той или по другой причине на этот раз она наотрез отказалась. Раздраженный Глиндон удалился с довольно грустным видом. Джионетта остановила его.

- Подождите, синьор, - сказала она почти ласковым тоном, - дорогая синьора чувствует себя нехорошо; не сердитесь на нее; я заставлю ее решиться принять ваше предложение.

Глиндон стал ждать.

После короткого разговора между Джионеттой и Виолой последняя согласилась. Они сели в карету, а Глиндон остался у подъезда театра, чтоб вернуться к себе пешком.

Вдруг предостережение Занони пришло ему на память; он забыл о нем во время своей ссоры с Виолой, но сейчас решил внять ему и осмотрелся в надежде увидеть кого-нибудь из своих знакомых. Целая толпа ринулась из дверей театра; его толкали, тискали, но он не видел ни одного знакомого лица.

Стоя таким образом в нерешительности, он вдруг услыхал свое имя, произнесенное голосом Мерваля, и, к своему величайшему облегчению, заметил своего друга, пролагавшего себе дорогу сквозь толпу.

- Я вам нашел, - сказал он, - место в карете графа Цетоксы. Пойдемте, он ждет нас.

- Как вы добры! Как вы меня нашли?

- Я встретил в коридоре Занони. "Ваш друг стоит у подъезда, - сказал он, - не позволяйте ему возвращаться домой пешком; улицы Неаполя не всегда безопасны". Я действительно вспомнил это и, встретив Цетоксу... но вот он сам.

Объяснения дальше не последовало, Глиндон сел в карету, поднял окно и заметил в то же время на тротуаре четырех человек, которые, казалось, внимательно следили за ним.

- Коспетто! - воскликнул один из них. - Вот англичанин.

Глиндон слышал восклицание только наполовину; карета довезла его до дому здравым и невредимым.

Шекспир в "Ромео и Джульетте" не преувеличил фамильярную и нежную интимность, которая всегда существует в Италии между кормилицей и ребенком, которого она вскормила. Одиночество актрисы-сироты скрепило еще сильнее эту связь между нею и Джионеттой. Опытность Джионетты во всем, что касалось слабостей сердца, была совершенна, и, когда три ночи тому назад Виола, вернувшись из театра, горько плакала, няньке удалось вырвать у нее признание, что она увидела снова того, кого, в продолжение нескольких лет, наполненных печальными происшествиями, потеряла из виду, но не забыла, хотя он сам никак не показывал, что узнал ее. Джионетта не могла понять всех смутных и невинных волнений, увеличивавших печаль Виолы, но она своим простым и нехитрым умом сводила их к одному-единственному чувству - чувству любви. Здесь она была в своей сфере и смело могла предлагать свои соболезнования и утешения. Она не могла, правда, быть поверенной всех впечатлений, которые сердце Виолы заключало в своей глубине, так как это сердце никогда не могло бы найти слов для выражения своих тайн; но под каким бы условием Виола ни доверялась ей, она с удовольствием готова была делить с ней ее горе и служить ей чем могла.

- Узнала ли ты, кто он? - спросила Виола, сидя одна в карете с Джионеттой.

- Да, это знаменитый синьор Занони, по которому сходят с ума все знатные дамы. Говорят, что он так богат... гораздо богаче всех англичан... но, конечно, синьор Глиндон все-таки...

- Довольно, - прервала молодая артистка. - Занони! Не говори мне больше об англичанине!

Между тем карета въехала в пустынную часть города, в которой находился дом Виолы; вдруг она остановилась. Испуганная Джионетта высунула голову в окно и заметила при бледном свете луны, что кучер, стащенный с козел, был связан двумя какими-то людьми, минуту спустя дверца быстро отворилась, и высокий человек, в маске и закутанный в длинную мантию, вскочил в нее.

- Не бойтесь ничего, прекрасная Пизани, - сказал он нежно, - с вами не случится ничего дурного.

И, говоря таким образом, он обвил рукой талию артистки и старался вытащить ее из кареты. Но Джионетта была редкой и драгоценной союзницей; она оттолкнула нападающего с силой, удивившей его, сопровождая свою защиту залпом ругательств самого энергичного свойства.

Человек в маске отошел, чтобы привести в порядок свой растрепанный во время борьбы костюм.

- Черт возьми! - воскликнул он, смеясь. - Она хорошо охраняема... Эй! Луиджи, Джиованни, возьмите прочь эту ведьму! Скорее, чего же вы ждете?

И он отстранился, чтобы пропустить своих подчиненных; в это время другой человек, тоже в маске и еще выше первого, подошел к карете.

- Не бойтесь ничего, Виола Пизани, - проговорил он вполголоса, - со мной вы действительно в безопасности.

Он приподнял свою маску, и Виола увидела благородные черты Занони.

- Будьте спокойны, я спасу вас.

Он исчез, оставив Виолу в удивлении, волнении и радости. Всего было девять масок: две держали кучера, третья держала лошадей Виолы, четвертая - лошадей похитителей, еще трое (кроме Занони и того, который первым подошел к Виоле) стояли подле кареты, ждавшей на краю дороги. Занони сделал им знак, они подошли к нему; он показал им на первую маску, которой был не кто иной, как князь N, и, к своему величайшему удивлению, князь почувствовал, как его схватили сзади.

- Измена! - закричал он. - Измена между моими людьми. Что это значит?

- Посадите его в карету! Если он будет сопротивляться, пусть его кровь падет на его голову! - спокойно сказал Занони. Он подошел к людям, которые связывали кучера. - Оставьте его, - сказал он, - ступайте к вашему господину; вас трое, а нас шестеро, вооруженных с ног до головы. Считайте себя счастливыми, что мы оставляем вам жизнь... Ступайте...

Испуганные люди быстро удалились. Кучер снова сел на козлы.

- Подрежьте постромки и вожжи у их лошадей, - сказал Занони.

Потом он сел в экипаж Виолы, дал знак, и карета быстро покатилась, оставляя неудачливого похитителя в страшном гневе и удивлении, которых нельзя было описать.

- Позвольте мне объяснить вам тайну, - проговорил Занони. - Я узнал о заговоре, неважно каким образом, и помешал его исполнению. Виновник этого один дворянин, который долго, но тщетно ухаживал за вами. Он и двое его помощников следили за вами с самого вашего приезда в театр, назначив свидание шестерым остальным на том месте, где на вас напали; я их заменил своими людьми, и они приняли нас за своих сообщников. Перед этим я приехал верхом на место свидания и предупредил шестерых слуг, которые уже дожидались, что их синьор не нуждается сегодня в их услугах. Они мне поверили, удалились, и тогда я позвал своих слуг, ехавших за мной. Вот и все, теперь мы доехали до вашего дома.

III

Занони вошел за молодой неаполитанкой в ее дом; Джионетта исчезла. Они были одни. Одни в той комнате, которая в прежние счастливые дни так часто наполнялась капризными мелодиями Пизани; теперь Виола видела перед собой только таинственного иностранца, связанного с ее судьбой, прекрасного и величественного, стоявшего на том самом месте, где столько раз она садилась у ног своего отца, взволнованная и очарованная его игрой. Она была почти уверена, имея обыкновение олицетворять воздушные мечты с помощью воображения, что дух музыки принял живую форму и стоял перед ней в лучезарном образе.

Она не сознавала, как прекрасна была сама. Она сняла свою накидку и шляпу; ее волосы в беспорядке падали на ее ослепительно белые плечи, ее черные глаза были

полны слез благодарности, а лицо еще горело от недавнего волнения. Никогда бог света и гармонии в своих рощах Аркадий не видел девы или нимфы более прекрасной.

Занони смотрел на нее взглядом, в котором восторг, казалось, смешивался с состраданием. Он сказал несколько слов про себя, а потом вслух обратился к ней:

- Виола! Я спас вас от большой опасности, не только от бесчестья, но, может быть, и от смерти. Князь N при этом деспотическом и корыстолюбивом правительстве ставит себя выше закона. Он способен на любое преступление. Если бы вы не согласились покориться ему, то вы могли быть уверены, что никогда уже не увидите свет Божий, чтобы рассказать вашу историю. У похитителя нет сердца для раскаяния, зато есть руки убийцы. Я вас спас, Виола! Вы, может быть, спросите меня, зачем?

Занони остановился на минуту и, грустно улыбнувшись, продолжал:

- Вы не оскорбите меня, подумав, что тот, который спас вас, такой же подлец, как тот, который вас оскорбил. Бедная сирота! Я не говорю с вами языком ваших поклонников; знайте только одно: что мне известна жалость и что я умею быть благодарным за привязанность и любовь. Зачем краснеть, зачем дрожать при этих словах? Я читаю в вашем сердце и не вижу ни одной мысли, которая бы могла заставить вас стыдиться. Я не говорю, что вы меня уже любите; воображение, к счастью, пробуждается раньше, чем сердце. Но мне было суждено омрачить ваши глаза, повлиять на вашу душу. Для того чтобы предупредить вас об опасности чувства, которое может причинить вам только страдания, - только для этого я пришел к вам. Англичанин Глиндон любит вас, может быть, больше, чем это дано мне.

Если он еще недостоин тебя, дай ему время узнать твой характер, и он, без сомнения, оценит тебя. Он может жениться на тебе, он может увезти тебя на свою свободную и счастливую родину, родину твоей матери. Не забывай его; заслужи его любовь, и я предсказываю, что ты будешь уважаема и счастлива.

Виола слушала с немым, невыразимым волнением; яркая краска разлилась по ее лицу. Когда Занони кончил говорить, она закрыла лицо обеими руками и заплакала. Однако, несмотря на все, что было раздражительного и оскорбительного в его словах, несмотря на стыд и негодование, которое он вызывал, не эти чувства переполнили ее сердце и заставили плакать. Женщина в эту минуту уступила место ребенку; и как ребенок со своим ненасытным и между тем невинным желаньем быть любимым плачет, безропотно страдая, когда отвергают его ласки, так без гнева и стыда плакала Виола.

Занони долго любовался ее грациозной головкой, покрытой роскошными волнами волос и склоненной перед ним; потом он подошел к ней и сказал тоном, исполненным глубокой нежности, и с полуулыбкой на устах:

- Помните, когда я советовал вам бороться за свет, я указал вам на это непобедимое дерево; я не сказал вам тогда, чтобы вы брали пример с бабочки, которая желала бы подняться до звезд и падает, опаленная факелом. Поговорим теперь... этот англичанин...

Виола отошла и заплакала еще сильней.

- Этот англичанин ваших лет, и его происхождение не выше вашего. Вы можете с ним делить ваши мысли при жизни; вы можете заснуть в одной могиле, подле него! А я... Но эта перспектива не должна занимать вас. Посмотрите в ваше сердце, и вы увидите, что до той минуты, когда я снова появился на вашем пути, в вас уже зарождалась к этому иностранцу нежная и чистая привязанность, которая, созревая, превратилась бы в любовь. Разве вы никогда не представляли себе жилища, которое бы вам хотелось разделить с ним?

- Никогда! - отвечала Виола с внезапной энергией. - Никогда! Не такова моя судьба, я это чувствовала. И, - продолжала она, быстро вставая и обратив на Занони красноречивый взор, - и, кто бы ты ни был, что можешь так читать в моем сердце и предсказывать мою судьбу, тебе небезызвестно чувство, которое... которое... - она колебалась с минуту, потом продолжала с опущенными глазами, - которое привлекло к тебе мои мысли. Не думай, чтобы я могла питать любовь, которая не была бы взаимной. Не любовь чувствую я к тебе, иностранец. Любовь? Почему?.. В первый раз ты говорил со мной для того, чтобы предостеречь меня, сегодня ты говоришь для того, чтобы оскорбить меня.

Она снова остановилась, ее голос задрожал; слезы хлынули из глаз, но она вытерла их и продолжала:

- Любовь! О, нет! Если любовь походит на ту, которую мне описывали, или на ту, про которую я читала, или на ту, которую я старалась воспроизвести на сцене... в таком случае я чувствую к тебе только влечение, торжественное, страшное и, как мне кажется, почти сверхъестественное; когда я мечтаю или сплю, я невольно присоединяю тебя к моим видениям, исполненным прелести и в то же время ужаса. Если бы это была любовь, то неужели ты думаешь, я могла бы так говорить? Разве, - она вдруг подняла

на него глаза, - я могла бы так смело глядеть тебе в глаза? Я прошу у тебя только позволения видеть тебя и слушать тебя иногда. Иностранец! Не говори мне о других... Остерегай меня, делай мне выговоры, разбивай мое сердце, отталкивай благодарность, которую оно предлагает тебе и которая достойна тебя, но не являйся ко мне постоянным предвестником страдания и горя. Я иногда видела тебя в своих мечтах, окруженного блестящими и чудными образами, с сияющим взглядом, сверкавшим небесной радостью, которая теперь не оживляет их. Иностранец! Ты спас меня, я благодарю тебя; я благословляю тебя! Неужели же ты оттолкнешь и это чувство?

При этих словах она скрестила руки на груди и опустилась перед ним на колени. Но в этом смирении не было ничего унизительного или противного достоинству ее пола; это не была покорность любовницы своему любовнику, рабыни своему господину; это было скорей повиновение ребенка матери, благоговение новообращенного к священнику.

Занони нахмурился и посмотрел на нее со странным выражением доброты, грусти и в то же время нежной привязанности; но его уста были суровы, а голос холоден, когда он отвечал:

- Знаете ли вы, Виола, чего вы у меня просите? Предвидите ли вы опасность, угрожающую вам, а может быть, и нам обоим, от того, чего вы от меня требуете? Знаете ли вы, что моя жизнь, удаленная от шумной толпы, есть только постоянное поклонение красоте, из которого я стараюсь изгнать чувство, которое прежде всего внушает красота? Я избегаю как бедствия того, что кажется человеку прекраснее всего в мире, - любви женщины. Сегодня мои советы могут спасти вас от многих несчастий; если я вас буду видеть дальше, сохраню ли я ту же власть? Вы меня не понимаете. То, что я скажу дальше, будет вам понятно. Я вам приказываю изгнать из вашего сердца всякую мысль, которая представляла бы меня в ваших глазах иначе, как человеком, которого вам необходимо избегать. Глиндон, если вы примете его благоговение, будет любить вас, пока могила не скроет вас обоих. Я тоже, - прибавил он с волнением, - я тоже мог бы любить тебя!

- Вы! - воскликнула Виола с внезапным порывом счастья и восторга, которого она не могла удержать.

Но минуту спустя она бы отдала все на свете, чтобы вернуть этот крик сердца.

- Да, Виола! Я тоже мог бы любить тебя! Но совсем другой любовью! Сколько страданий! Цветок, растущий на скале, окружает ее благоуханием. Еще немного, и цветок мертв, а скала по-прежнему стоит, покрытая снегом, и солнце по-прежнему освещает ее. Подумай об этом. Опасность постоянно окружает тебя. В продолжение нескольких дней ты еще можешь скрываться от преследователя, но приближается час, когда твое спасение будет только в бегстве. Если ты любима англичанином любовью, достойной тебя, то твое счастье будет ему так же дорого, как его собственное. Если нет, есть еще место, где ты найдешь любовь, более почтительную, и добродетель, менее подвергающуюся опасности от силы и хитрости. Прощай, я могу видеть свою судьбу только сквозь неясный туман. Я знаю по крайней мере, что мы увидимся, но узнай теперь же, нежный цветок, что для твоего отдыха есть места менее грубые, чем скала.

Он встал и дошел до наружной двери, у которой молчаливо стояла Джионетта. Занони осторожно положил свою руку на ее плечо. Потом тоном беспечного кавалера сказал:

- Синьор Глиндон любит твою госпожу; он может жениться на ней. Я знаю твою преданность. Заставь ее отказаться от меня. Я же похож на перелетную птицу.

Он опустил в руку няньки кошелек и исчез.

IV

Дворец Занони находился в одном из кварталов, редко посещаемых. Его и теперь еще можно видеть, но уже в развалинах и с разрушенными стенами, как памятник великолепия рыцарства, давно исчезнувшего из Неаполя вместе с благородными сынами Нормандии и Испании.

При входе в комнаты, предназначенные для уединения, два индийца в национальных костюмах встретили Занони на пороге церемонными восточными поклонами. Он приехал с ними из далеких стран, где, если верить слухам, он жил в продолжение нескольких лет; но они не могли дать каких-либо сведений, которые удовлетворили бы любопытство и подтвердили подозрения. Они говорили только на своем родном языке.

За исключением этих служителей, его поистине царская свита состояла из жителей города, сделавшихся благодаря его расточительной щедрости послушными и скромными орудиями его воли.

Как в доме, так и в привычках хозяина не было ничего, что бы могло подтвердить ходившие слухи. Он не был окружен, как рассказывали, воздушными, сверхъестественными существами Альберта Великого и Леонардо да Винчи; никакое бронзовое изображение,

образец магической механики, не передавало ему влияния светил. У него не было, для объяснения его богатства, инструментов алхимика - ни тигля, ни металлов; он даже, казалось, и не интересовался тайными науками, которые являлись источником высоких идей и часто глубокого знания, которые были характерны для его разговоров. Ни одна книга не занимала его в одиночестве; и если он когда-либо и черпал из них свои познания, то теперь он читал лишь одну великую книгу природы, для всего остального у него не было другого источника, кроме обширной, чудесной памяти. Однако было одно исключение из этого общего правила.

В Риме, в Неаполе, всюду, где он жил, он выбирал в доме одну комнату и запирал ее замком, едва ли большим, чем кольцо, но достаточным, чтобы не поддаться усилиям самых искусных слесарей; по крайней мере один из его слуг, подталкиваемый страшным любопытством, напрасно старался открыть его; и несмотря на то что он выбрал для удовлетворения своего любопытства самую благоприятную минуту, когда ни одна душа не могла его видеть... в самый поздний час ночи... во время отсутствия Занони, однако суеверие или совесть не позволили ему на другой день спросить объяснения, когда мажордом уволил его от должности. Любопытный слуга утешал себя за неудачу тем, что рассказывал свою собственную историю, весьма приукрашенную. Он говорил, что, подходя к двери, почувствовал, как его схватили невидимые руки, старавшиеся удержать его, и что в ту минуту, как он тронул замок, он был поражен как бы параличом.

Один доктор, услыхавший этот рассказ, заметил, к величайшему неудовольствию любителей чудесного, что, может быть, Занони ловко пользовался электричеством.

Как бы то ни было, но в эту комнату, таким образом запертую, никогда и никто не входил, кроме самого Занони.

Торжественный голос времени, раздавшийся на часах соседней церкви, вывел наконец владельца дворца из глубокой задумчивости, похожей скорей на транс, чем на размышление, в которую была погружена его душа.

- Еще одно зерно, упавшее с неизмеримой высоты, а между тем время не прибавляет и не отнимает у бесконечности ни одного атома! Душа моя, светлое существо! Зачем спускаешься ты из своей сферы? Зачем с высот вечного, звездного, чуждого спокойствия бросаешься ты в густой туман мрачного саркофага? Сколько времени, зная из тяжкого опыта, что все, что умирает, может дать только исполненную грустью радость, оставалась ты удовлетворенною твоим величественным одиночеством?

Пока он так размышлял, одна из птиц, которые первые приветствуют зарю, громко запела, и пробужденная пением ее подруга отвечала звучными трелями.

Он стал слушать; но не душа, которую он вопрошал, а сердце ответило ему. Он встал и беспокойными шагами стал быстро ходить по комнате.

- Да будет проклят этот свет! - воскликнул он нетерпеливо. - Время, должно быть, никогда не истребит эти роковые страсти! Одно тяготение поддерживает землю в пространстве; другое прикрепляет душу к земле. Отчего я не далеко от этой темной и мрачной планеты! Разбейтесь, препятствия! Крылья, развернитесь!

Он прошел через галерею, поднялся по лестнице и проник в таинственную комнату...

V

На другой день Глиндон отправился во дворец Занони. Воображение молодого человека было сильно возбуждено тем немногим, что он видел и слышал об этом странном человеке, к которому его влекло таинственное и непреодолимое чувство.

Могущество Занони казалось громадным и почти сверхъестественным, его намерения - прекрасными; а между тем его обращение было холодно.

Почему он игнорирует попытку Глиндона сойтись с ним и в то же время спасает его? Каким образом узнал Занони о неизвестных самому Глиндону врагах? Его любопытство было живо задето, он чувствовал благодарность и решился на новую попытку примирения с угрюмым тайноведом.

Занони был дома и принял Глиндона в обширной и высокой гостиной, в которую вошел вслед за ним.

- Я пришел поблагодарить вас за ваше вчерашнее предостережение, - проговорил Глиндон, - и просить вас еще раз об одолжении, которым я вам обязан, - сообщить мне, с какой стороны я должен ждать опасности и нападений.

- Вы влюблены, сударь, - сказал по-английски Занони, слегка улыбаясь, - но вы плохо знаете Юг; а не то вы знали бы, что здесь нет влюбленных, не имеющих соперников.

- Вы говорите серьезно? - спросил Глиндон, краснея.

- Совершенно серьезно. Вы любите Виолу Пизани, ваш соперник - один из неаполитанских князей, самых могущественных и неумолимых; вы сами видите, подвергаетесь ли вы опасности.

- Но простите меня, как вы узнали об этом?
- Нет ни одного смертного, которому бы я давал отчеты о самом себе, - гордо ответил Занони. - Станете ли вы следовать моим советам или игнорировать их - это меня не касается.
- Ну, если я не должен спрашивать вас, пусть будет по-вашему; но по крайней мере посоветуйте мне, что нужно сделать?
- А вы последуете моему совету?
- Отчего же нет?
- Оттого, что вы храбры, вы любите волнения и тайны; вы захотите быть героем романа. Если бы я вам посоветовал покинуть Неаполь, сделали бы вы это, пока в нем существуют враг и женщина, над которыми вам хотелось бы одержать победу?
- Вы правы, - отвечал англичанин. - Нет, и не вам осуждать это решение.
- Но вам остается другое средство; любите ли вы Виолу искренно, пламенно? Если да, то женитесь на ней и увезите вашу жену на родину.
- Но, - возразил Глиндон, немного смущенный, - Виола не из моего круга. И потом, ее занятие... Одним словом, я раб ее красоты, но не могу жениться на ней.
Занони нахмурился.
- Значит, ваша любовь есть только эгоистическая и чувственная страсть, тогда я не могу вам дать совета. Молодой человек! Судьба не так неумолима, как кажется. Великий Властитель вселенной не отказал человеку в свободе, мы все можем проложить себе дорогу, а Бог даже из наших противоречий может создать гармонию. Вы имеете перед собой выбор. Благородная и великодушная любовь может даже теперь обеспечить ваше счастье и спасение; безумная и эгоистическая страсть приведет вас неминуемо к гибели.
- Вы читаете даже будущее?
- Я сказал все, что было нужно.
- Синьор Занони, вы, который берет на себя роль моралиста, - сказал Глиндон, - неужели вы сами так равнодушны к молодости и красоте, что можете уверенно сопротивляться их очарованию?
- Если бы пример постоянно согласовался с правилом, - отвечал Занони, горько улыбаясь, - то учителя были бы редки. Поведение человека может иметь влияние только на узкий круг; добро или зло, которое он делает другому, заключается скорей в правилах, которые он может распространять. Его действия ограничены во времени и пространстве; его идеи могут распространяться в целой вселенной и вдохновлять людей до последнего дня. Все наши добродетели, все наши законы извлечены из книг и правил, которые суть мысли, а не действия. Юлиан имел добродетели христианина, а Константин все пороки язычника. Поступки Юлиана вернули к язычеству несколько тысяч последователей, мысли Константина, волею небес, помогли обратить к христианству многие народы земного шара. В своем поведении самый скромный рыбак этого залива, с жаром верующий в чудеса святого Януария, может быть лучше Лютера; между тем Бог позволил, чтобы идеи Лютера произвели в новейшей Европе самую большую революцию, которая когда-либо имела место. Наши идеи, молодой человек, - это наш ангельский элемент, наши действия - земной элемент.
- Для итальянца вы много размышляли, - сказал Глиндон.
- Кто вам сказал, что я итальянец?
- Однако, когда вы говорите на моем языке, как англичанин, я...
- Довольно! - воскликнул Занони с сильным нетерпением.
Потом, после минутного молчания, он проговорил спокойным тоном:
- Глиндон, отказываетесь ли вы от Виолы Пизани? Хотите вы несколько дней подумать о том, что я вам сказал?
- Отказаться от нее! Никогда!
- Так вы хотите жениться на ней?
- Это невозможно.
- Хорошо. В таком случае она откажется от вас. Я вам говорю, что у вас есть соперник.
- Да, князь N, но я его не боюсь.
- У вас есть другой, которого вы будете больше бояться.
- Кто это?
- Я.
Глиндон побледнел и встал.
- Вы! Синьор Занони! Вы! И вы смеете мне признаваться в этом!
- Смею? Увы! Бывают минуты, когда мне хотелось бы бояться.
Эти высокомерные слова не имели, однако, ничего надменного, скорее в них звучало что-то печальное. Глиндон был раздражен, уничтожен, но находился под властью какого-

то странного влияния. Однако у него было в груди честное сердце англичанина, и он скоро оправился.

- Синьор, - сказал он, - меня нельзя обмануть громкими фразами и мистическими приемами. Вы можете иметь могущество, которого я не сумею ни понять, ни достичь; но также можете быть только ловким и дерзким авантюристом и обманщиком.

- Ну! Продолжайте.

- Я хочу, - продолжал Глиндон решительно, хотя и немного смущенно, - я хочу, чтобы вы знали, что если я не позволю первому встречному убедить себя жениться на Виоле Пизани, то от этого мое решение никогда не уступать ее другому нисколько не уменьшится.

Занони гордо посмотрел на молодого человека, горевшие глаза и оживленное лицо которого указывали на его мужество и способность подкреплять свои слова делом. Потом он прибавил:

- Какая смелость! Но она к вам идет. Все равно, примите мой совет, подождите еще десять дней, и тогда вы мне скажете, хотите ли вы жениться на самой прекрасной, самой чистой девушке, которую вы когда-либо встречали.

- Но если вы ее любите, почему... Почему?..

- Почему я желаю, чтобы она вышла замуж за другого? Чтобы спасти ее от меня самого! Выслушайте меня. Этот ребенок, кроткий и без образования, имеет в себе зародыш благородных качеств и самых высоких добродетелей. Она может быть всем для человека, которого полюбит, всем, что только человек может видеть в женщине. Ее душа, развитая любовью, возвысит вашу, она повлияет на вашу будущность, на вашу судьбу; вы сделаетесь счастливым и знаменитым. Если же, наоборот, она будет моим достоянием, я не знаю, какая судьба ожидает ее, но я знаю, что есть испытание, которое переносится очень немногими мужчинами и до сих пор ни одной женщиной.

Говоря таким образом, Занони сильно побледнел, и в его голосе было что-то, отчего горячая кровь его собеседника застыла.

- Что это за тайна, окружающая вас? - спросил Глиндон, не будучи в состоянии удержать своего волнения. - Действительно, вы не похожи на других людей! Вы, может быть, как предполагают некоторые, маг или только...

- Замолчите! - проговорил Занони со странной улыбкой. - Разве вы имеете право задавать мне такие вопросы? Италия, правда, еще имеет инквизицию; но могущество ее ослабело, как лист, уносимый ветром. Дни пыток и гонений прошли; человек может жить, как ему нравится, и говорить, как ему хочется, не опасаясь ни позорного столба, ни казни. Я презираю гонения; поэтому простите меня, если я не уступаю любопытству.

Глиндон покраснел и встал. Несмотря на свою любовь к Виоле и естественный страх к такому сопернику, он чувствовал, что его тянуло к этому человеку, которого он имел основания подозревать и бояться более всех. Он протянул руку Занони.

- Ну, - проговорил он, - если мы должны быть соперниками, то оружие впоследствии решит наши права. До тех пор мне хотелось бы быть вашим другом.

- Другом! Вы не знаете, чего просите.

- Опять загадка!

- Загадка! - воскликнул с горячностью Занони. - Да, но не хотели бы вы разрешить ее? Только тогда я дам вам эту руку и назову вас своим другом.

- Я осмелюсь на все, я буду бороться со всем, чтобы достигнуть нечеловеческой мудрости, - отвечал Глиндон, и его лицо засветилось диким и экзальтированным восторгом.

Занони посмотрел на него молча и задумчиво.

- Семена деда живут и во внуке, - сказал он вполголоса, - однако он мог бы... - Он вдруг остановился, потом громко продолжил: - Ступайте, Глиндон, мы еще увидимся; но я спрошу у вас ответа только тогда, когда решение будет необходимо.

VI

Из всех слабостей, которые вызывают насмешки посредственных людей, нет ни одной, которую бы они поднимали более на смех, чем доверчивый ум; прибавим, что из всех признаков испорченного сердца и слабой головы стремление к неверию есть самый верный.

Истинная философия менее старается отрицать, чем понимать. Каждый день мы слышим, как многие ученые говорят о нелепости алхимии и мечтах о философском камне, между тем как ученые менее поверхностные знают, что именно алхимикам мы обязаны самыми великими открытиями, какие когда-либо были сделаны. И многие места, темные в настоящее время, могли бы, если бы у нас был ключ к мистическому языку, который мы находим в их трудах, навести нас на путь научных открытий, еще более драгоценных.

Философский камень и тот не казался химерическим видением некоторым из самых знаменитых химиков нашего века. Человек, конечно, не может оспаривать законы природы; но эти законы природы, все ли они открыты? "Дайте мне доказательство вашего искусства, - сказал один истинный философ, - когда я увижу действие, я постараюсь по крайней мере найти причину".

Таковы приблизительно были мысли Глиндона, когда он выходил от Занони, но Кларенс Глиндон был истинный философ. Чем разговор с Занони делался таинственнее, тем он был более поражен. Против чего-нибудь осязательного он постарался бы бороться, и любопытство его, может быть, было бы удовлетворено. Напрасно по временам он старался укрыться в скептицизм, которого сам опасался, напрасно старался он объяснить то, что слышал, искусством обманщика. Какими бы ни были его притязания, Занони не делал из них, как Месмер или Калиостро, источника для наживы. К тому же положение Глиндона не было так высоко, чтоб влияние, приобретенное над его умом, могло бы служить планам алчности или честолюбия. Однако иногда с подозрительностью, свойственной светским людям, он старался уверить себя, что Занони имел по крайней мере какую-нибудь темную цель довести его до того, на что в своей гордости англичанина он смотрел как на неравный брак с бедной Виолой. Разве нельзя было допустить, что она находится в сношениях с этой таинственной личностью? Может быть, весь этот пророческий и угрожающий тон был только хитростью, чтобы провести его. Он сердился на Виолу за то, что у нее был такой союзник. Но к этому чувству присоединялась еще естественная ревность.

Занони угрожал ему своим соперничеством. Занони, который, оставляя в стороне его тайные искусства и роль, которую ему приписывали, располагал по крайней мере всеми преимуществами, которые ослепляют и порабощают. Утомленный своими сомнениями, Глиндон бросился в тот светский круг, с которым познакомился в Неаполе, преимущественно состоявший из художников, как он сам, литераторов и богатых негоциантов, которые, лишенные привилегий дворянства, старались по крайней мере превзойти его великолепием. Он узнал от них множество подробностей насчет Занони, который был для них, как для всех праздных умов, предметом любопытства и предположений.

Он с удивлением заметил, что Занони разговаривал с ним по-английски с такой удивительной легкостью, что его можно было принять за англичанина. Глиндон узнал, что то же самое впечатление он производил на людей других национальностей. Один шведский живописец утверждал, что Занони швед, а один негоциант из Константинополя, который продавал ему свой товар, был убежден, что только турок или по крайней мере родившийся на Востоке мог так совершенно перенять мягкий азиатский выговор. Между тем во всех этих языках была легкая и почти невоспроизводимая особенность, не в произношении и не в выговоре, но в интонации, которая отличала Занони от туземцев тех стран, на языке которых он говорил.

Эта особенность была характерна для членов одного общества, правила и власть которого были недостаточно знакомы людям, - общества Розенкрейцеров. Глиндон вспомнил, что, будучи в Германии, он слышал о произведении Жана Брингерста {Изданном в 1615 году.}, утверждающем, что все языки земного шара были известны этому обществу. Не принадлежал ли Занони к этому мистическому обществу, которое в более отдаленное время славилось тем, что владело тайнами, из которых философский камень был самой незначительной, которое считало себя хранителями тайн халдеев, волхвов, гимнософистов и неоплатоников и которое отличалось от всех других школ добродетелью, чистотой своих правил, в основании которых были контроль над чувствами и сильная вера. Славная секта, если она говорила правду!

И действительно, если Занони имел преимущество над всеми обыкновенными мудрецами, то нужно признаться, что он употреблял его соответственно своему могуществу. Все, кто знал про его жизнь, свидетельствовали в его пользу. Говорили не о его щедрости, но о его рассудительной благотворительности.

Каждый раз, вспоминая о нем, рассказчики качали головой и спрашивали с удивлением, каким образом иностранец мог владеть такими подробными сведениями о темных и тайных недугах, которым помогал. Двое или трое больных, оставленные всеми докторами, приходили к нему за советами и получили от него тайную помощь. Они поправились и приписывали ему свое выздоровление, а между тем они не могли сказать, с помощью каких лекарств были спасены. Все, что они могли засвидетельствовать, - это то, что они к нему пришли, они с ним говорили и что к ним возвращалось здоровье обыкновенно после долгого и глубокого сна. Отметим еще и другое обстоятельство, которое можно было поставить ему в заслугу. Те, которые обыкновенно составляли его общество - легкомысленная и беспутная молодежь, грешники и мытари большого света, - все они

быстро и незаметно обращали свои сердца к более чистым мыслям и к более порядочной жизни.

Сам Цетокса, король любовных похождений, дуэлей и игры, не походил на самого себя с той самой ночи, происшествия которой он рассказывал Глиндону. Первый признак его превращения выразился в том, что он перестал посещать игорные дома; второй - в его примирении с наследственным врагом его семьи, которого он в продолжение шести лет старался вовлечь в ссору, которая бы кончилась смертью противника.

Когда Цетокса и его молодые товарищи говорили о Занони, то казалось, что эта перемена не была произведена увещаниями или предостережениями, более или менее строгими. Все представляли его как любителя удовольствий, не всегда веселого, но всегда в спокойном расположении духа, всегда готового слушать разговоры других, как бы они ни были незначительны, или восхищать всех неистощимыми блестящими анекдотами и рассказами о жизни. Все обычаи, все нации, все слои общества были ему знакомы. Он был чрезвычайно скрытен только тогда, когда делали намеки на его происхождение или его прошлое. Общее мнение насчет первого из этих двух пунктов казалось и самым правдоподобным.

Его богатство, познания в восточных языках, его пребывание в Индии, некоторая серьезность, никогда не покидавшая его даже в самые веселые минуты, блеск его черных глаз и черных волос и даже особенности сложения, тонкость рук, арабский контур благородной головы - все, казалось, выдавало в нем дитя Востока; наконец, один знаток семитских языков перевел даже имя Занони, носимое в прошлом столетии одним безобидным натуралистом Болоньи.

Zan было халдейское название солнца. Греки, постоянно искажавшие все восточные имена, сохранили этимологию в этом исключительном случае. Zan или Zaun встречается у сидонийцев, восходит к On Zanonas, почитание которого связано с Сидоном, и есть не что иное, как Адонис. Мерваль слушал с глубоким вниманием это ученое объяснение происхождения имени и заметил, что он готов сообщить слушателям открытие, сделанное им очень давно: многочисленное английское семейство Smith происходит от одного фригийского жреца Аполлона. Действительно, разве во Фригии не звали Аполлона Sminthee? Постепенные изменения величественного имени очевидны: Sminhee, Smithee, Smith. И заметьте, сказал он, даже теперь самая древняя ветвь этого знаменитого имени, чтобы быть ближе к предкам, с особенным удовольствием подписывается Smithe.

Знаток семитских языков был восхищен этим открытием и просил Мерваля позволить ему сделать заметку по поводу этого драгоценного доказательства в своем труде о происхождении языков. Произведение это под заглавием "Вавилон" (Столпотворение вавилонское как начало языков) должно было появиться по подписке в трех томах в четвертую долю листа.

VII

Все, что Глиндон мог разузнать о Занони, на прогулках или в посещаемых им местах, не удовлетворяло его...

В этот вечер Виола не играла, а на другой день, преследуемый беспокойными мыслями и не чувствуя охоты к обществу такого положительного и скептического человека, как Мерваль, Глиндон один отправился в городской сад и остановился именно под тем деревом, где в первый раз он услыхал голос, произведший на его душу странное и незабываемое впечатление. В саду не было никого; он сел на одну из скамеек в тени и еще раз, глубоко задумавшись, почувствовал, как его охватил ледяной ужас, который Занони так верно описал и которому он приписал необыкновенную причину.

Он быстро встал и задрожал, увидав подле себя личность достаточно отвратительную, чтобы быть воплощением одного из тех зловредных существ, о которых говорил Занони.

Это был маленький человек, одежда которого особенно разнилась от моды того времени. Какая-то нарочитость и почти бедность отличала широкие панталоны из грубого холста, шерстяную куртку, дырки которой казались сделанными нарочно, и черные неопрятные волосы, торчавшие из-под шерстяной фуражки. Все это никак не согласовалось с относительной роскошью булавки с драгоценными камнями, которая была приколота у ворота его рубашки, и видневшимися из-под куртки двумя тяжелыми золотыми цепями, заканчивавшимися золотыми же часами. Наружность этого типа была если не безобразна, то по крайней мере неприятна. Его плечи были широки и квадратны; грудь плоска и как бы раздавлена; его голые руки с узловатыми суставами уродливо висели. Черты его лица были непропорциональны и искажены, как у человека, разбитого параличом; нос почти касался подбородка; маленькие глаза блестели злым огнем, а рот, скривленный в гримасу, выставлял два ряда неправильных, черных и редких зубов. Но это отталкивающее лицо являло еще неприятную, лукавую и смелую проницательность.

Глиндон, оправившись от первого впечатления, снова посмотрел на своего соседа и устыдился своего страха, узнав в нем французского живописца, с коим был прежде знаком, одаренного талантом, который невозможно было презирать. Этот человек, чья наружность была так безобразна, постоянно выбирал для своих картин сюжеты величественные и возвышенные. Его краски казались прими- тивными и расплывчатыми, что составляло особенность французской школы того времени, но рисунки отличались симметрией, простотой и классической силой, хотя им и недоставало идеальной грации. Он выбирал свои сюжеты больше из римской истории, чем из щедрого мира греческой красоты или из тех величественных рассказов Святого Писания, в которых Рафаэль и Микеланджело черпали свое вдохновение. Величие он выражал не через божественные существа и святых, а изображая простых смертных.

Его тип красоты был таков, что его нельзя было осуждать, но душа не могла признать его. Одним словом, это был антропограф, или живописец людей. Другое противоречие в этой личности, предававшейся с безумной невоздержанностью всем страстям, неумолимой в мести, ненасытной в распутстве, состояло в том, что он имел привычку проповедовать самые прекрасные правила возвышенной чистоты и щедрой филантропии; свет не был к нему добр, сам же он играл роль его наставника. Однако он как будто сам смеялся над правилами, которые проповедовал, точно хотел дать понять, что он выше того света, который хотел бы исправить. Наконец, этот живописец имел обширную корреспонденцию с республиканцами Парижа; на него смотрели как на одного из тех лазутчиков, которых, с первого же периода революции, преобразователи человечества хотели послать в различные государства, находящиеся в оковах тирании или законов. В целом государстве, как заметил историк Италии {Ботта.}, не было города, где бы новые учения встретили такой благосклонный прием, как в Неаполе, частью благодаря подвижному характеру народа, но в особенности благодаря наиболее ненавистным привилегиям феодального права, еще существовавшим там, несмотря на недавние и смелые реформы Танучини. Ежедневные злоупотребления, пережившие эти умные меры, давали обильную пищу для всех жаждавших перемен и особенную силу проповедникам этих перемен.

Поэтому живописец, которого я буду звать Жаном Нико, был оракулом для самых молодых и пылких умов Неаполя; и Глиндон, раньше чем узнать Занони, был не из последних, восхищавшихся красноречивыми теориями гнусного филантропа.

- Мы уже так давно не встречались с вами, дорогой собрат, - сказал Нико, подходя к Глиндону, - что вы не удивитесь, узнав, что я очень рад увидеть вас снова и даже прерываю вашу задумчивость.

- Она не имела ничего приятного, - отвечал Глиндон, - и я очень рад, что вы прервали ее.

- Вы будете счастливы узнать, - сказал Нико, вынимая из кармана несколько писем, - что наше великое дело быстро подвигается. Мирабо нет больше, это правда. Но, черт возьми, теперь все французы Мирабо!

Сказав это, он стал читать и объяснять некоторые восторженные и интересные места, в которых слово "добродетель" встречалось двадцать семь раз. Потом, разгоряченный блестящей перспективой, которая открывалась перед ним, он пустился в рассуждения и преждевременные мечты о будущем, о которых мы уже немного слышали из разговора Кондорсе. Все старые добродетели были низложены ради нового Пантеона. Патриотизм стал чувством узким, филантропия должна была заменить его.

Никакая любовь, которая не охватывала бы все человечество и не была бы одинаково пылкой к индусу, к поляку, равно как и к семейному очагу, не могла считаться достойной великодушного сердца. Мнения должны были быть так же свободны, как воздух; и чтобы достичь этого прекрасного результата, было необходимо начать с истребления всех тех, мнения которых не сходились с мнениями господина Жана Нико.

Во всем этом было много такого, что могло занимать Глиндона, но еще больше такого, что ему было противно. Тем не менее, когда живописец стал говорить о науке, которую все понимали бы, науке, рожденной на почве равенства в учреждениях и равенства в просвещении, которая дала бы всем народам богатство без труда и жизнь более продолжительную, чем жизнь патриархов, и избавленную от всякой заботы, тогда Глиндон принялся слушать со вниманием и восторгом, смешанным с некоторым уважением.

- Заметьте, - говорил Нико, - как много из того, что мы автоматически воспринимаем как добродетели, будет тогда отброшено как слабости.

- А до тех пор, - проговорил кто-то очень тихо подле них, - а до тех пор, Жан Нико?

Оба художника вздрогнули, и Глиндон узнал Занони. Устремленный на Нико взгляд сделался еще строже, чем обыкновенно; этот последний присел на месте, бросил косой взгляд, и выражение испуга и ужаса отразилось на его отвратительном лице.

Жан Нико, ты, который не боишься ни Бога, ни дьявола, почему боишься ты человеческого взгляда?

- Не в первый раз слышу я, как вы проповедуете ваши воззрения на слабость, которую мы называем благодарностью, - проговорил Занони.

Нико посмотрел на Занони мрачным и зловещим взглядом, полным бессильной и неукротимой ненависти, и отвечал:

- Не знаю... не знаю, право, что вам нужно от меня.

- Вашего отсутствия. Оставьте нас.

Нико вскочил со сжатыми кулаками, оскалив все зубы, как разъяренный, дикий зверь. Занони, стоя неподвижно, посмотрел на него с презрительной улыбкой. Нико замер на месте, как будто этот взгляд пронзил его насквозь; он задрожал всем телом, потом неохотно удалился быстрыми шагами.

Удивленный Глиндон следил за ним взглядом.

- Что вы знаете об этом человеке? - спросил Занони.

- Я знал его, когда он, как и я, искал свой путь в искусстве.

- Искусство! Не оскверняйте таким образом это слово. Что природа есть для Бога, тем искусство должно быть для человека, творение высокое, плодотворное, вдохновенное! Этот негодяй может быть живописцем, но художником - никогда!

- Простите меня, если я, в свою очередь, спрошу у вас, что вы знаете о человеке, о котором вы отзываетесь так неблагосклонно.

- Я знаю только то, что вы находитесь под моим покровительством и мне необходимо предостеречь вас от него. Один его вид достаточно указывает на всю грязь его души. Зачем я вам буду перечислять преступления, которые он совершил? Его речи уже есть преступление.

- Кажется, синьор Занони, вы не можете считаться поклонником наступающей революции. Может быть, вы предубеждены против него, потому что не разделяете его мнений.

- Каких мнений?

Глиндон затруднился с ответом; наконец он проговорил:

- Но нет, я несправедлив!.. Так как вы менее, чем кто-либо, можете быть врагом этого учения, проповедующего бесконечное совершенствование человеческого рода.

- Вы правы: во все времена совершенствует толпу меньшинство. Может случиться, что толпа будет так же умна, как прежде было одно меньшинство; но если вы мне скажете, что толпа так же умна, как умно теперь меньшинство, то можно считать, что с прогрессом покончено.

- Я понимаю вас: вы не допускаете закона всемирного равенства.

- Закона! Если целый свет составит заговор, чтобы навязать эту ложь, то и тогда она не станет законом. Уравняйте сегодня все условия, и вы устраните препятствия для завтрашней тирании. Народ, мечтающий о равенстве, недостоин свободы. В целом мире, начиная с ангела и кончая червяком, от Олимпа до песчинки, от яркого светила до туманности, которая, сгустившись за зоны в туман и грязь, становится обитаемым миром, первый закон природы есть неравенство. Что касается неравенства в социальной жизни, то будем надеяться, что оно будет преодолено, но что касается неравенства морального и умственного - никогда! Всемирное равенство понятий, души, гения, добродетели! Не оставить людей более умных, лучших, чем другие! Если бы это даже и не было невозможным условием, то какая безнадежная перспектива для человечества! Нет, пока свет будет существовать, солнце всегда будет освещать сначала вершину горы, а потом уже равнину. Сделайте сегодня всех людей одинаково учеными, и завтра одни будут ученее, чем другие. Это закон любви, закон истинного прогресса. Чем в одном поколении меньшинство умнее, тем в следующем поколении будет умнее большинство.

Во время этого разговора они проходили по цветущим садам, и залив во всей своей красоте развертывался перед ними, сверкая на солнце. В чистоте неба было что-то прельщавшее чувства, на душе среди этой прозрачной атмосферы становилось как будто легче и светлее.

- А эти люди, начиная свою эру прогресса и равенства, завидуют даже Создателю! Они хотели бы отрицать существование разума и Бога! - сказал Занони почти невольно. - Вы художник, а между тем вы спокойно слушаете подобные речи! Между Богом и гением существует неизбежная связь, их язык почти одинаков. Последователь Пифагора прав, говоря, что хороший разум есть хор богов.

Пораженный и тронутый этими мыслями, не ожидая их услышать от человека, в коем предполагал могущество, приписываемое суеверным ребячеством народа существам, враждебным планам Провидения, Глиндон проговорил:

- А между тем вы признались, что ваше существование, отличное от существования других, должно быть для человека предметом ужаса. Разве есть какая-нибудь связь между магией и религией?

- Магия! Что такое магия? Когда путешественник останавливается перед разрушенными дворцами и храмами Персии, невежественные жители говорят ему, что это памятники творчества магов. Невежда не может понять, что у других может быть могущество, которого у него нет. Но если магией вы считаете изучение всех тайн природы, в таком случае я занимаюсь магией; а тот, кто занимается ею, только еще больше приближается к источнику веры. Разве вы не знаете, что в школах древности преподавали магию? Каким образом и кто? Это были последние уроки самих служителей храма. И вы, который желает быть художником, разве вы не находите, что и это искусство имеет свое волшебство? Разве вы не должны, изучив красоту прошедшего, стремиться к новому идеалу? Разве вы не знаете, что как поэт, так и художник в своем искусстве стремятся к истине и презирают действительность, что надо подчинить себе природу, а не быть ее рабом? Разве истинное искусство не покорило себе будущее и прошедшее? Вы хотели бы вызывать невидимые существа; а что такое живопись, как не осуществление невидимого? Разве вы недовольны этим миром? Окружающий нас мир никогда не был создан для гения; чтобы существовать, он должен создать себе новый. Какой маг может сделать больше своей наукой? Кто может достигнуть этого? Чтобы спастись от мелких страстей и ужасных бедствий света, существует два пути, оба ведут к небесам и удаляют от ада: искусство и наука; но искусство божественнее науки: наука делает открытия, искусство создает. Вы имеете способности, которые могут приблизить вас к искусству, будьте же довольны вашим жребием. Астроном, считающий звезды, не может прибавить ни одного атома ко вселенной; поэт из одного атома может создать вселенную. Химик своими составами может вылечить немощи человеческого тела. Живописец, скульптор может дать обоготворенному телу вечную молодость, которую ни болезнь, ни время не могут изменить. Откажитесь от мечтаний вашего непостоянного воображения, влекущих вас то ко мне, то к Жану Нико: он и я - мы два противоположных полюса. Ваша кисть есть волшебный жезл, вы можете произвести на полотне более прекрасные утопии, чем все те, о которых мечтает Кондорсе. Я еще не спрашиваю у вас вашего решения; но какой гений требовал чеголибо другого, кроме любви и славы?

- Но, - прервал Глиндон, устремив на Занони взгляд, - что, если бы существовало могущество, которое могло бы презирать даже смерть?

Занони нахмурился.

- Если бы оно и существовало, - сказал он после минутного молчания, - то разве это такая сладкая судьба - пережить все, что любишь, и чувствовать, как в душе разрываются все человеческие связи? Может быть, лучшее бессмертие на земле есть бессмертие великого имени.

- Вы мне не отвечаете, вы уклоняетесь от моего вопроса. Я читал рассказы о существованиях, продолжавшихся за обыкновенные пределы человеческой жизни, и об алхимиках, которые пользовались этой исключительной долговечностью. Разве эликсир жизни - это только сказка?

- Если не сказка и эти люди знали его, то они умерли, потому что не хотели жить дольше. В вашем предположении есть, может быть, зловещее предостережение. Вернитесь к вашей кисти и палитре!

При этих словах Занони сделал рукой жест прощания и медленными шагами, с опущенной головой повернул к городу.

VIII

Последний разговор с Занони произвел на успокоенную душу Глиндона благотворное впечатление. Из неясного тумана его воображения снова начали формироваться счастливые, светлые мысли, устремленные к искусству. К этим мыслям присоединялось также видение более чистой любви, чем та, которую он испытывал до тех пор. Его душа вернулась к наивному младенчеству гения, когда запретный плод еще не был отведан.

Мало-помалу перед ним начали проходить сцены домашней жизни, оживленной волнениями искусства и счастьем любви Виолы. Но от этих мечтаний о будущности, которая могла сделаться его уделом, его возвратил к действительности чистый и сильный голос Мерваля, человека вполне практического.

Нельзя изучать характеры, в которых воображение сильнее воли, которые не доверяют знанию реальной жизни и которые отдают себе отчет, как они чувствительны к малейшим впечатлениям, не проследив, какое влияние имеет на такие характеры простой чистый и здоровый ум. Так было и с Глиндоном. Его друг часто спасал его от опасности и последствий его неосторожности; даже в голосе Мерваля было что-то, такое, что

охлаждало энтузиазм Глиндона и заставляло его стыдиться более своих поэтических порывов, чем своих недостатков, так как Мерваль, человек глубоко честный, не симпатизировал никаким крайностям и эксцентричностям. Он шел в жизни по проложенной дороге и чувствовал глубокое презрение к тому, кто карабкался на гору, преследуя бабочку или только для того, чтобы посмотреть оттуда на океан.

- Я вам скажу, о чем вы думаете, Кларенс, и не будучи Занони, - смеясь, сказал Мерваль. - Я узнаю это по вашим глазам и полуулыбке. Вы мечтаете о прекрасной волшебнице, о маленькой певице Сан-Карло.

- Маленькая певица Сан-Карло! - повторил Глиндон, краснея. - Стали бы вы говорить о ней так, если бы она была моей женой?

- Нет, тогда все презрение, которое я осмелюсь чувствовать к ней, падет на вас. Тех, кто обманывает других, не любят, но обманутых - презирают.

- Уверены ли вы в том, что я буду обманутым в этом союзе? Где найду я столько красоты и невинности? Женщину, добродетель которой испытана столькими искушениями? Ни малейшая клевета не осмелится очернить имени Виолы Пизани!

- Я не знаю всех сплетен Неаполя и потому не могу отвечать вам, но вот что я превосходно знаю: в Англии нет ни одного человека, который мог бы подумать, что молодой англичанин благородного происхождения женится на неаполитанской певице. Подумайте, сколько оскорблений нанесет вам толпа молодых людей, которые наводнят ваш дом, все молодые женщины, которые станут избегать ее.

- Я свободен выбрать себе карьеру, которая могла бы обойтись без банального общества. Я могу быть обязанным своему искусству уважением света, вместо того чтобы быть обязанным этим уважением случайным обстоятельствам рождения и состояния.

- Это будет означать, что вы упорствуете в своем безумии пачкать полотно. Не дай Бог, чтобы я стал порицать занятия этим искусством того, кто выбрал эту профессию для поддержания своего существования! Но со средствами и связями, обещающими вам такую прекрасную будущность, зачем вам добровольно опускаться до скромного положения художника? Как развлечение ничего не может быть лучше живописи; но как серьезное занятие в жизни это безумие, говорю я вам.

- Есть художники, у которых и князья ходят в приятелях.

- Это редко встречалось в нашей практической стране. Англия - страна здравого смысла. Там, в центре политической аристократии, уважают действительность, а не идеал. Вот, например, позвольте мне представить вам две картины. Кларенс Глиндон возвращается в Англию; он женится на женщине, состояние которой равняется его состоянию, друзья и родные которой не могут унизить его. Кларенс Глиндон, богатый и уважаемый, полный таланта и энергии, которая имеет цель, вступает в практическую жизнь. У него есть дом, где он принимает всех тех, чье общество может принести ему счастье и пользу; у него есть свободное время, которое он может посвящать полезным наукам; его репутация, твердо обоснованная, все больше упрочняется. Он вступает в политическую жизнь; его познания облегчают исполнение его планов. Кем будет примерно к сорока пяти годам Кларенс Глиндон? Вы честолюбивы, я предоставляю вам самому решить этот вопрос. Это первая картина; теперь представьте вторую. Кларенс Глиндон возвращается в Англию с женой, которая может давать ему деньги только с условием принять ангажемент в театре, с женщиной такой прекрасной, что всякий спешит узнать, кто она такая, и каждый получает ответ: "Это знаменитая певица Пизани". Кларенс Глиндон запирается, чтобы приготовлять краски и писать на исторические сюжеты огромные полотна, которые никто не покупает. Все настроены против него: он не учился в академии, он только любитель.

"Кто это такой, Кларенс Глиндон?" - "Ах да, это муж знаменитой Пизани!" - "Но еще кто?" - "Это человек, выставляющий большие картины". - "Бедняга! Они, конечно, не лишены достоинств, но картины Теньера и Ватто гораздо лучше и почти так же дешевы".

Кларенсу Глиндону, состояние которого до женитьбы было велико, а теперь, когда он женился, не увеличивается, еле хватает на воспитание его детей с такими же плебейскими призваниями, как и у него. Он едет в деревню, чтобы жить экономно и больше писать; он не заботится о себе и становится угрюмым. Свет не ценит его, и он избегает света. Чем будет Кларенс Глиндон в сорок пять лет? Еще вопрос, который я предоставляю решить вашему честолюбию.

- Если бы весь свет был так же положителен, как вы, - сказал Глиндон, вставая, - тогда не было бы ни художников, ни артистов, ни поэтов.

- Может быть, и без них обошлись бы превосходно, - отвечал Мерваль. - Но теперь время подумать об обеде, не правда ли?

IX

Учитель без убеждений унижает и портит вкус своего ученика, обращая его внимание на то, что он ошибочно называет естественностью и что в действительности есть только тривиальность. Он не понимает, что красота создана тем, что Рафаэль так верно определяет, говоря: идея прекрасного запечатлена в душе самого художника, и во всяком искусстве, будет ли его содержание передано словами или мрамором, в красках или в звуках, буквальное подражание природе есть удел поденщика и новичка. Точно так же поведение практического и положительного человека искажает и охлаждает благородный энтузиазм образованных натур, подавляя все, что великодушно, и превознося все, что банально и грубо.

Великий немецкий поэт хорошо описал разницу, существующую между осторожностью и мудростью. В последней есть смелость порыва и вдохновения, которой первая не признает.

Близорукий видит только исчезающий берег, а не тот, к которому несет его смелая волна.

Однако в логике осторожных и практических людей есть рассуждения, против которых не всегда легко возражать.

Нужно иметь глубокую, непоколебимую и горячую веру во все самоотверженное и божественное в религии, в искусстве, славе, любви; иначе все тривиальное отвратит вас от преданности и унизит все, что есть в мире высокого и божественного.

Все истинные критики, начиная с Аристотеля и Плиния, Винкельмана и Вазари и кончая Рейнолдсом и Фузели, повторяли художнику, что природе надо не подражать, а идеализировать ее, что самое возвышенное искусство есть беспрерывная борьба человечества, чтобы приблизиться к Божеству. Великий живописец, как и великий поэт, выражает то, что возможно _человеку_, но в то же время несвойственно _человеческому роду_.

Вообще истина есть в Гамлете, в Макбете и его ведьмах, в Дездемоне, в Отелло, в Просперо, в Калибане, истина есть в картине Рафаэля, в Аполлоне, в Антигоне, в Лаокооне. Но ни на Оксфорд-стрит, ни в Булонском лесу вы не встретите этих прообразов.

Все эти творения, говоря словами Рафаэля, рождаются из идеи, которую художник носит в своей душе. Эта идея не врожденна, она есть плод положительного и серьезного изучения идеала, который может отделиться от реальной действительности и возвыситься до великого и прекрасного. Самая простая модель возбуждает вдохновение художника, который имеет этот идеал; для человека же, не имеющего его, Венера превращается в обыденную вещь.

У Гвидо спрашивали, где он берет свои модели. Он позвал носильщика и по этой простой и грубой модели нарисовал голову неподражаемой красоты. Она походила на оригинал, но идеализированный носильщик сделался полубогом. Она была верна, но не была действительна.

Критики говорят, что "крестьянин" Теньера ближе к природе, чем "носильщик" Гвидо! Толпа редко понимает истоки идеала: возвышенное искусство понимается лишь развитым вкусом.

Но возвратимся к нашему сравнению. Этот принцип сходства еще менее понимают в обыденной жизни. Советы практической мудрости чаще сводятся к тому, чтобы внушить вам опасения перед добродетелями, чем подвергнуть наказанию порок; в жизни, как и в искусстве, существует тем не менее идея великого и прекрасного, и поэтому следует возвышать и облагораживать все, что жизнь имеет простого и низкого.

Глиндон понял всю холодную осторожность рассуждений Мерваля и внутренне не соглашался с картиной, что нарисовал его друг, с теми последствиями, к которым должны были привести его талант и истинная страсть. Но ведь они, он чувствовал это в своей душе, верно направленные, могли бы очистить все его существо, как гроза очищает воздух.

И если он не мог решиться начать действовать вопреки благоразумному рассуждению его друга, то еще менее мог он отказаться от Виолы.

Опасаясь влияния советов Занони и советов своего собственного сердца, он избегал в продолжение двух дней свидания с певицей. Но после его последнего разговора с Занони и Мервалем последовала ночь, полная таких ясных снов, что они казались пророческими; они так согласовались со всем тем, что говорил ему Занони, что он мог подумать, будто сам Занони посылал их.

На другой день утром он решился увидеть еще раз Виолу и без определенной цели, без плана поддался влечению своего сердца.

X

Виола сидела на пороге. Перед ней вода залива казалась спящей в объятиях берега; направо от нее возвышались темные скалы с тенистыми розами на могиле Вергилия, посетить которую путешественники обычно считают своим непременным долгом.

Несколько рыбаков бродили по склонам или развешивали свои сети, а в отдалении звуки диких свирелей вместе со звонами колокольчиков ленивых мулов прерывали приятную тишину.

Нет, нужно прочувствовать эту прелесть, чтобы понять смысл dolce far niente {Блаженное безделье (итал.) - состояние сонного, ленивого полузабытья на лоне ласковой южной природы.}; и когда вы узнаете это наслаждение, когда вы подышите атмосферой этой волшебной земли, тогда вы не будете спрашивать себя, отчего сердце так скоро согревается и дает такой богатый плод под светлым небом и солнцем Юга.

Глаза артистки были устремлены на обширную поверхность лазури. Некоторая небрежность ее туалета гармонировала с ее задумчивым видом. Волосы были кое-как собраны под шелковым платком, светлые краски которого придавали новый блеск золотистым роскошным локонам. Один отделившийся локон падал на грациозную шейку. На ней было широкое утреннее платье, стянутое кушаком; маленькая туфелька, достойная ножки Сандрильоны {Героиня весьма распространенной сказки. В русском переводе - Золушка.}, казалась слишком большой для ее ноги. Может быть, дневной жар придавал более живой колорит нежной свежести ее лица и непривычный блеск ее огромным черным глазам. Но никогда, во всей пышности своего театрального костюма, Виола не казалась такой прекрасной, как сейчас. Подле нее стояла на пороге Джионетта.

- Но я вас уверяю, - говорила кормилица отрывистым голосом, - уверяю вас, моя дорогая, что в целом Неаполе нет мужчины более изящного и приятного, чем этот англичанин, а мне говорили, что англичане все гораздо богаче, чем кажутся. У них нет деревьев в их стране, это правда, - бедняжки! - и вместо двадцати четырех часов у них только двенадцать; но зато они делают подковы для своих лошадей из эскудо {Денежная единица в Португалии и других странах.}, и, не имея возможности - бедные еретики - превращать виноград в вино, так как у них нет винограда, они превращают золото в лекарство и принимают один или два стакана пистолей {Название золотых монет, имевших хождение в Испании, Италии и Франции.}, как мне говорили, каждый раз, как чувствуют боль в животе... Но вы меня не слушаете, моя дорогая, вы меня не слушаете.

- Вот какие слухи ходят насчет Занони! - прошептала Виола, не обращая внимания на похвалы, расточаемые Джионеттой Глиндону и всем англичанам вообще.

- Святая Дева Мария! Не говорите про этого страшного Занони. Вы можете быть уверены, что его прекрасное лицо, так же как и пистоли, есть дело чародейства. Я смотрю каждые четверть часа на деньги, которые он мне дал, чтобы удостовериться, что они не превратились в камни.

- Неужели ты действительно веришь, - спросила Виола робко, - что волшебство существует еще?

- Верю ли я?! Спросите меня, верю ли я в святого Эскудо. Каким же образом, думаете вы, вылечил он старого рыбака Филиппе, которого доктора приговорили к смерти? Каким образом мог он жить по крайней мере триста лет? Каким образом может он одним взглядом выражать свою волю?

- Как! Это все волшебство? Похоже на то; должно быть, это так, - прошептала Виола, страшно побледнев.

Джионетта не была более суеверна, чем дочь бедного Гаэтано; в своей невинности, пораженная странным волнением девственной страсти, Виола могла приписывать ее магии, между тем как сердца более опытные объяснили бы это любовью.

- И потом, почему этот князь N так испугался его? Почему он перестал надоедать нам? Разве во всем этом нет колдовства?

- Так ты думаешь, - сказала Виола, - что мы обязаны ему этим спокойствием и безопасностью, которыми мы пользуемся? О! Не разубеждай меня! Молчи, Джионетта! Почему у меня нет советника, кроме своего собственного страха и тебя? Могущественное и светлое солнце, ты освещаешь самые темные места, только это ты не можешь осветить. Джионетта, оставь меня, я хочу побыть одна.

- Да мне и нужно оставить вас, так как вы сегодня еще ничего не ели. Если вы не станете есть, то потеряете свою красоту, и никто не позаботится о вас. Нами не занимаются, когда мы становимся некрасивыми, я это знаю, и тогда вам нужно будет, как и старой Джионетте, искать какую-нибудь Виолу, чтобы бранить и баловать ее в свою очередь. Пойду посмотрю, что поделывает наша каша.

"С тех пор, как я знаю этого человека, - подумала Виола, - с тех пор, как его черные глаза беспрестанно преследуют меня, я не узнаю себя: Я бы хотела бежать от самой себя, скользить вместе с лучами солнца по вершинам гор, сделаться чем-нибудь,

что не принадлежит этой земле. Ночью передо мной проходят какие-то призраки, и я чувствую, как сильно бьется мое сердце, точно хочет выскочить из этой клетки".

Пока она шептала эти слова, кто-то тихо подошел к ней и слегка дотронулся до ее руки.

- Виола! Прекрасная Виола!

Она обернулась и узнала Глиндона. Его ясное лицо успокоило ее. Его приход обрадовал ее.

- Виола, - продолжал англичанин, - послушайте меня.

Он взял ее руку, заставил снова сесть на скамейку, с которой она встала, и сел рядом.

- Вы уже знаете, что я люблю вас. Не одна только жалость и восторг влекут меня к вам. Много причин заставляли меня говорить только глазами. Но сегодня, не знаю почему, я чувствую в себе больше мужества и силы, чтобы открыться вам и просить вас произнести приговор моей судьбе. У меня есть соперники, я это знаю; соперники более могущественные, чем бедный художник; может быть, они в то же время и счастливее меня?

Легкая краска покрыла лицо Виолы. Она опустила глаза, кончиком ноги начертила несколько иероглифических фигур и после минутного колебания отвечала с принужденной веселостью:

- Синьор, когда теряют время, чтобы заниматься актрисой, нужно всегда ожидать соперников. Несчастье нашей судьбы состоит в том, что мы не святы, даже для самих себя.

- Но вы не любите вашего удела, как бы блестящ он ни был, ваше сердце не имеет влечения к карьере, прославляющей ваш талант.

- О! Нет! - отвечала Виола с глазами, полными слез. - Было время, когда я любила быть жрицей поэзии и музыки; сегодня я чувствую только ничтожность своего положения, которое делает меня рабой толпы.

- Так бегите со мной! - воскликнул художник. - Бросьте навсегда эту жизнь, которая разбивает ваше сердце. Сегодня и всегда будьте подругой моей судьбы, моею гордостью, моей радостью, моим идеалом. Да, ты будешь вдохновлять меня; твоя красота сделается святой и знаменитой. В княжеских галереях толпа будет останавливаться перед святой или Венерой и будет говорить: "Это Виола Пизани!" Виола! Я обожаю тебя, о, скажи, что моя любовь не отвергнута.

- Ты добр, ты красив, - отвечала Виола, устремив свои прекрасные глаза на Глиндона, взявшего ее за руку, - но что могу я дать тебе взамен всего этого?

- Любовь, любовь, ничего, кроме любви.

- Любовь сестры?

- О! Не говорите со мной с такой жестокой холодностью.

- Это все, что я чувствую в отношении вас. Послушайте меня, синьор; когда я смотрю на вас, когда я слышу ваш голос, я не знаю, что за тихое счастье успокаивает во мне лихорадочные, безумные мечты! Когда вас здесь нет, мне кажется, что на небе одной тучей стало больше; но эта туча скоро рассеивается. Тогда я не думаю о вас. Нет, я вас не люблю, а я буду принадлежать только тому, кого полюблю.

- Но я научу тебя любить меня, не бойся, невинность и молодость не знают никакой другой любви, кроме той, которую ты описываешь.

- Невинность! - повторила Виола. - Так ли это? Может быть... - Она остановилась и с усилием прибавила: - Чужеземец! Ты женился бы на сироте? Ты по крайней мере великодушен. Не невинность хотелось бы тебе уничтожить.

Глиндон, чрезвычайно удивленный, отодвинулся.

- Нет, этого не может быть, - продолжала она, вставая, но не подозревая о стыде и сомнениях, волновавших душу влюбленного Глиндона. - Оставьте меня, забудьте обо мне. Вы не понимаете, вы не можете понять характера той, которую вы думаете, что любите. С самого моего детства я жила с предчувствием, что избрана для какой-нибудь странной и необъяснимой судьбы, как будто отделенной от судьбы всего рода человеческого. Это чувство, иногда переполненное смутным, но очаровательным счастьем, а временами мрачным ужасом, пронизывает меня все сильнее и сильнее. Как будто туман медленно окружает меня. Мой час приближается, еще немного, и ночь наступит.

Глиндон слушал ее с видимым смущением. Когда она закончила, он сказал:

- Виола, ваши слова более чем когда-либо притягивают меня к вам. То, что чувствуете вы, чувствую и я. Меня тоже постоянно преследовало леденящее предчувствие. В толпе я чувствовал себя одиноким. В моих удовольствиях, в трудах и занятиях какой-то голос беспрестанно повторял мне: "Время готовит тебе в будущем мрачную тайну". Когда вы говорили, я слушал как будто голос моей души!

Виола посмотрела на него с удивлением и ужасом, ее лицо было бледно как мрамор и походило на лицо пророчицы, в первый раз слышащей голос божества, вдохновляющего ее. Постепенно черты ее прелестного лица приняли свое обычное выражение, краска жизни вернулась к ней, кровь снова закипела, сердце оживило тело.

- Скажите мне, - спросила она, оборачиваясь, - скажите, видели ли вы, знаете ли вы иностранца, о котором ходят в городе такие странные слухи?

- Вы говорите о Занони. Я его видел и знаю его, а вы? Ах! Он тоже хотел быть моим соперником, он тоже хотел бы похитить тебя!

- Вы ошибаетесь, - живо отвечала Виола с глубоким вздохом, - он первый сказал мне про вашу любовь: он заклинал меня не... не отталкивать ее.

- Странная личность! Непонятная загадка! Но зачем вы заговорили о нем?

- Зачем?.. Ах да! Я хотела бы знать: в тот день, как вы его видели в первый раз, это предчувствие, о котором вы говорите, не охватило ли оно вас более ужасным образом, не чувствовали ли вы, что он отталкивает и в то же время влечет вас к себе, не чувствовали ли вы, - (здесь она заговорила с большим оживлением), - что с ним связана тайна вашей жизни?

- Все это я чувствовал, - отвечал Глиндон дрожащим голосом, - когда в первый раз находился в его обществе. Вокруг меня все дышало счастьем, подле меня музыка, зеленые рощи, веселый разговор, надо мной безоблачное небо, а между тем колени мои дрожали, волосы становились дыбом, кровь застывала в жилах. С того дня все мои мысли раздваивались между им и тобой.

- Довольно! Довольно! - прервала Виола тихим голосом. - Во всем этом рука Провидения, я не могу больше говорить с вами. Прощайте!

Быстро вошла она в дом и заперла дверь.

Глиндон не пошел за ней; и как бы то ни показалось странным, у него не было подобного желания.

Мысли и воспоминание той звездной ночи, проведенной в городском саду, и странного разговора с Занони заглушили в нем всякое человеческое чувство. Даже Виола если и не была забыта, то исчезла, как тень, в глубоких тайниках его сердца. Он дрожал под палящими лучами солнца и медленными шагами направился к более многолюдным кварталам самой оживленной части города.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ТЕУРГИЯ

I

В это время Виола нашла случай заплатить за доброту, оказанную ей музыкантом, который принял ее к себе в дом после смерти отца и к гери.

Старый Бернарди выбрал трем своим сыновьям ту же карьеру, по которой шел сам, и все трое покинули Неаполь, чтобы зарабатывать деньги в более богатых городах Северной Европы, где не было столько музыки и музыкантов. В его доме, для утешения старой жены, оставалась только маленькая девочка, живая, веселая, с черными глазами, восьми лет, ребенок его второго сына, мать которой умерла при ее рождении.

Месяцем раньше событий, к рассказу о которых мы приступаем, паралич принудил Бернарди отказаться от его профессии.

Он был отличным человеком, добрым, но легкомысленным и жил в основном своим заработком. Он получал, правда за свои прошлые заслуги, небольшое вознаграждение, но его едва хватало на самые скромные нужды, и у него были некоторые долги. К его столу приближалась нищета, отвратительная гостья, которую благодарная улыбка и великодушная игра Виолы выгнали из дому.

Но действительно доброму сердцу недостаточно что-то посылать и давать; есть нечто еще более великодушное: это посещения и утешения. Ни одного дня не проходило, чтобы блестящий идол всего Неаполя не посещал дома Бернарди.

Вдруг испытание более жестокое, чем бедность и паралич, поразило старого музыканта. Его маленькая Беатриса внезапно заболела одною из тех опасных и смертельных лихорадок, которые так хорошо известны жителям юга; Виола объявила, что будет сидеть у изголовья своей маленькой любимицы.

Беатриса очень любила Виолу, и ее старые родственники были уверены, что одного ее присутствия было достаточно, чтобы вылечить дорогую больную.

Но когда пришла Виола, бедная девочка уже потеряла сознание.

К счастью, в этот вечер в Сан-Карло не было спектакля. Виола решила провести ночь у постели больной и делить с родными все опасности этого страшного бдения. Ночью

положение ребенка ухудшилось, доктор (этот почтенный человек никогда не блистал своим искусством в Неаполе) покачал своей напудренной головой, понюхал ароматическую соль, прописал какое-то пустое лекарство и удалился.

Старый Бернарди сел к постели в угрюмом молчании. Это была последняя нить, привязывавшая его к жизни. Когда разобьется этот якорь, слабому кораблю останется только утонуть.

Старик, одной ногой уже стоящий в могиле и сидящий у смертного одра ребенка, представляет самое страшное зрелище человеческой нищеты. Жена была деятельнее; у ней были надежды, слезы. Виола расточала свои заботы всем троим.

Но к утру положение Беатрисы так ухудшилось, что сама Виола начала отчаиваться.

В эту минуту она заметила, что старуха, давно стоявшая на коленях перед образом святого, встала, надела накидку и шляпу и бесшумно вышла из комнаты. Виола осторожно последовала за ней.

- Слишком холодно, матушка, чтобы вы выходили сегодня; позвольте мне сходить за доктором.

- Я не за ним иду, дитя. Мне говорили о человеке, который был добр к бедным и спасал больных, от которых отказывались доктора. Я пойду к нему и скажу: "Синьор, мы бедны во всем, но вчера мы были богаты любовью. Сами мы подходим к концу нашей жизни, но мы живы в нашей внучке; возвратите нам наше сокровище, возвратите нам нашу молодость. Сделайте так, чтобы мы умерли, благословляя Бога, при виде нашего любимого создания, при виде того, что оно переживет нас".

С этими словами она ушла.

Отчего, Виола, твое сердце забилось так сильно? Ужасный крик страдания вернул ее к ребенку; у постели, не зная об уходе своей жены, неподвижно, с сухими глазами, устремленными на агонию маленького создания, сидел старик; мало-помалу крики ослабли и перешли в глухие стоны, конвульсии утихли.

Ясный дневной свет наполнил комнату; на лестнице послышались шаги, старуха быстро вошла и, бросившись к постели, кинула на больную быстрый взгляд.

- Она еще жива, синьор, она еще жива!

Виола прижимала к своей груди голову ребенка; она подняла глаза и узнала Занони. Он улыбнулся ей с выражением ласкового и нежного одобрения и взял ребенка из ее рук.

Даже в эту минуту, когда он молчаливо нагнулся к бледному личику больной, суеверный страх смешивался у Виолы с надеждами.

Законными ли средствами, святыми ли источниками искусства врачевания он собирается...

Она вдруг прервала эти вопросы, которые мысленно задавала самой себе, так как черные глаза Занони были устремлены на нее, точно он читал в ее душе; лицо его пробудило в Виоле угрызения совести, так сильно выражало оно презрение, смешанное с упреком.

- Успокойтесь, - сказал он, тихо повертываясь к старику, - опасность не превышает человеческих познаний.

Он вынул маленький хрустальный флакон и налил в воду несколько капель заключавшейся в нем жидкости.

Лекарство едва коснулось губ ребенка, как уже подействовало. Губы и щеки порозовели; через несколько секунд больная глубоко заснула, а дыхание ее стало совершенно ровным.

Тогда старик встал, нагнулся к больной, прислушался и осторожно удалился в угол комнаты, где залился слезами и стал благодарить небо.

Бедный старый Бернарди был до тех пор плохим христианином; никогда страдание не возвышало его мысли над землею. Несмотря на его лета, он никогда не думал о смерти, как это следовало бы. Подвергавшаяся опасности жизнь ребенка пробудила беззаботную душу старика.

Занони произнес несколько слов на ухо старухе, и она увела своего мужа из комнаты.

- Вы боитесь, Виола, оставить меня на час с этим ребенком? Вы все еще думаете, что это дело дьявола?

- Ах, синьор! - воскликнула Виола. - Простите меня, простите меня! Вы заставляете жить детей и стариков молиться. С этих пор никогда мои мысли не будут несправедливы к вам...

До восхода солнца Беатриса была вне всякой опасности; а в полдень Занони ушел от благодарности и благословений старых супругов; запирая дверь, он увидал ожидавшую его Виолу.

Она робко остановилась перед ним, со сложенными на груди руками и опущенными глазами.

- Неужели вы меня одну оставите несчастной!

- Какого же излечения ждете вы от лекарств? Если вы так скоро начинаете дурно думать о тех, которые помогли вам и хотели бы еще служить вам, то у вас сердце нездорово, и... Не плачьте так, вы, которая заботится о больных и утешает несчастных; я хотел скорее похвалить вас, чем сделать вам выговор. Простить вас! Жизнь нуждается в постоянном прощении; значит, первая обязанность есть прощать.

- О! Нет, не прощайте меня еще. Я этого не стою; так как даже в эту минуту, когда я знаю, как я неблагодарна, думая и подозревая того, который спас меня, счастье, а не угрызения совести, заставляет меня плакать. О! - продолжала она с жаром, не подозревая в своей невинности и благородных чувствах, какие тайны она выдает. - Вы не знаете, как мне было горько не считать вас лучше, чище, непорочнее всех остальных людей. Когда я увидела вас, богатого и благородного, оставляющего свой дворец, чтобы принести в хижину помощь и утешение, когда я услыхала благословения бедных людей, обращенные к вам, я почувствовала тогда, как мое собственное сердце возвысилось. Я почувствовала себя доброй от вашей доброты, благородной во всех своих мыслях, которые не были для вас обидой.

- Неужели, Виола, вы думаете, что стоит так хвалить за простое применение науки к жизни? Первый встречный доктор позаботится о больной за известное вознаграждение. А разве молитвы и благословения не награда, еще более драгоценная, чем золото?

- И мои, значит, имеют тоже свою цену? Вы не станете отталкивать их?

- Ах, Виола, - воскликнул Занони с внезапным жаром, заставившим покраснеть его, - кажется, вы одна на земле владеете силой заставить меня страдать или быть счастливым.

Он замолчал; его лицо снова приняло грустное выражение.

- И это, - продолжал он, переменив тон, - потому, что, если бы вы захотели следовать моим советам, мне кажется, я мог бы направить невинное сердце к счастливой судьбе.

- Ваши советы! Я покорюсь им. Делайте со мной, что хотите. Когда вас здесь нет, я похожа на ребенка посреди тумана; все пугает меня. С вами моя душа расширяется и весь свет кажется мне лучше и прекраснее. Не отказывайте мне в вашем присутствии. Я сирота, неразумная и одинокая!

Занони отвернулся и, помолчав с минуту, спокойно отвечал:

- Пусть будет по-вашему, сестра; я снова увижу вас!

II

Виола была счастлива. Ее сердце было облегчено, ее ножки, казалось, едва касались земли, она готова была петь от радости, возвращаясь к себе.

Для чистого сердца любовь составляет величайшее счастье, но еще большее счастье уважать того, кого любишь.

Между ними могли быть препятствия: состояние, происхождение, положение в свете; но туманной пропасти, на которой не смеет остановиться воображение и которая разделяет душу от души, уже не было.

Он не любил ее взаимно! Любить ее! Просила она, чтобы он любил ее? Она сама, любила ли она? Нет, если бы она любила, она не была бы ни так проста, ни так смела. Как ей было приятно и весело слушать журчание воды! Как она радовалась, видя самого обыкновенного прохожего!

Она дошла до своего дома и посмотрела на дерево, с его капризными ветвями и листьями, как будто игравшими с солнцем.

- Да, мой брат, - проговорила она, улыбаясь от счастья, - как и ты, я боролась, чтобы выйти на свет.

До сих пор она не имела привычки, как дочери Севера, более образованные, чем она, писать дневник; она не знала прелести этой откровенности, где душа изливается на бумаге. Теперь ее сердце почувствовало вдруг непреодолимое побуждение, заставлявшее ее начать беседовать с самой собой, распутывать золотую нить своей фантазии, любоваться собой, как в зеркале.

Из этого союза Любви и Души, Эрота и Психеи, родился в своей бессмертной красоте Гений. Она краснела, вздыхала, дрожала все время, пока писала. Нужно было оторваться от этого нового мира, созданного ею, чтобы приготовиться к обольстительной сцене. Эта музыка, прежде такая прекрасная, стала казаться ей нелепой, как была темна сцена, прежде такая блестящая! Театр - это мир фей в видениях ничтожных душ. Но ты, воображение, гармония которого не касается уха человеческого, твои сцены не меняются под рукой смертного; чем театр служит для настоящего мира, то воображение есть для будущего и для прошедшего.

III

На другой день Занони пришел к Виоле; на следующий день тоже, и на третий, и на четвертый. Эти дни были для нее чем-то отдельным от остальной ее жизни. А между тем он никогда не говорил с ней языком лести, еще меньше обожания, к которому она привыкла. Может быть, эта холодная сдержанность придавала более таинственную прелесть их отношениям. Он много говорил ей о своей внутренней жизни, и она была уже не так удивлена (она уж не боялась больше) тем, что он почти все знал о ее прошлом.

Он заставил ее говорить об ее отце, вспомнить некоторые места странной музыки Пизани, и эти аккорды, казалось, восхищали и ласкали ее мечтательность тайным обаянием.

- Чем была музыка для музыканта, - сказал он, - тем пусть будет наука для мудреца. Ваш отец, глядя вокруг себя, видел, как все в мире чуждо его возвышенным гармониям, устремленным днем и ночью к небесному трону; жизнь с ее честолюбивыми устремлениями и низкими страстями казалась так бедна и презренна! В глубине своей души он создал жизнь и свет, подходившие к его душе. Виола, вы дочь этой жизни; вы будете царицей этого идеального мира!

В свои первые посещения он не говорил о Глиндоне. Но скоро настал день, когда он вернулся к этому разговору. И покорность, которую Виола выказывала теперь к его власти, была так велика, что, несмотря на все, что эта тема имела для нее несносного и неприятного, она пересилила свое сердце и молчаливо слушала его.

- Вы обещали, - говорил он, - следовать моим советам; если бы я стал вас просить, заклинать принять руку этого англичанина, разделить его судьбу, в случае если он сам предложит вам это, отказались бы вы?

Она удержала слезы, готовые политься из ее глаз, и со странной радостью в самом своем страдании, с тою радостью, которую жертвует даже своим сердцем тому, кто является властелином этого сердца, она отвечала со страшным усилием:

- Если вы можете приказать это... тогда...

- Продолжайте!

- Располагайте мною по вашему усмотрению!..

Занони оставался несколько минут в задумчивости: он видел борьбу, которую бедная женщина старалась скрыть; он невольно бросился к ней; он прижал ее руку к своим губам.

Это было первый раз, когда он отступил от некоторой строгости, которая способствовала, может быть, тому, что Виола не остерегалась его самого и своих собственных мыслей.

- Виола, - проговорил он, и его голос задрожал, - опасность, которую я не могу отвратить, если вы будете жить дольше в Неаполе, приближается с минуты на минуту. Через три дня ваша судьба должна быть решена. Я принимаю ваше обещание. Перед последним часом третьего дня, что бы ни случилось, я увижу вас здесь, в вашем доме. А до тех пор прощайте!

IV

Когда Глиндон простился с Виолой, его мысли снова углубились в те мечты и мистические догадки, которые всегда пробуждались в нем при воспоминании о Занони. Он бродил по улицам, не сознавая, что делает, до тех пор, пока наконец не остановился перед роскошной коллекцией живописи, что теперь составляет гордость многих итальянских городов, слава которых заключается в прошлом.

Он имел обыкновение ходить почти каждый день в эту галерею, содержащую несколько самых прекрасных картин учителя, которым он восхищался. Там, перед произведениями Сальватора, он часто останавливался с глубоким благоговением. Особенное, поражающее свойство этого художника состояло в силе воли. Лишенный идеи отвлеченной красоты, которая питает более возвышенных гениев своими типами и моделями, этот человек умел выражать величие в своих творениях. Его картины поражают величественностью не божественной, а дикой; совершенно свободный от всякого банального подражания, он овладевает воображением и заставляет следовать за ним, не на небо, но в самые суровые и дикие места земли. Его очарование не походит на очарование мага, астролога, а скорей на очарование мрачного заклинателя; его душа, полная энергичной поэзии, его сильная рука заставляют искусство идеализировать сцены действительной жизни!

Перед этой волей Глиндон испытывал трепет, благоговение и восторг более сильный, чем тот, который душа испытывает перед спокойной красотой шедевров Рафаэля. И теперь, пробужденный от своей задумчивости, он стоял перед этим диким великолепием

мрачной природы, которая хмурилась на него с полотен художника, и ему казалось, что даже листья деревьев, похожих на призраки, шептали ему зловещие тайны. Эти пейзажи суровых Апеннин с шумящими водопадами более отвечали настроению его души, чем сцены реальной жизни. Строгие и едва обозначенные силуэты человеческих фигур, виднеющиеся на краю пропасти, похожие на карликов на фоне величия окружавших их скал, давали ему чувствовать могущество природы и ничтожество человека. В пейзажах Сальватора дерево, гора, водопад играют главную роль, а человек превращается во второстепенную деталь. Грубая материя царствует безраздельно, между тем как настоящий властелин ее ползает под ее величественной тенью.

Страшная философия искусства! Подобные мысли занимали Глиндона, когда его вдруг кто-то тронул за руку.

Он обернулся и увидел подле себя Нико.

- Великий художник! - воскликнул Нико. - Но его жанр не нравится мне.

- И мне тоже, но я восхищаюсь им. Красота и спокойствие нравятся нам; но к темному и ужасному мы испытываем глубокое чувство, похожее на любовь.

- Это правда, - проговорил Нико. - А между тем это чувство есть только суеверие. Сказки о феях, привидениях и дьяволе, которыми питают нас няньки, суть часто источники впечатлений нашего зрелого возраста. Но искусство не должно потворствовать нашему невежеству, искусство должно показывать только истину. Признаюсь, что Рафаэль нравился бы мне больше, если бы я имел симпатию к его сюжетам; но его святые и мадонны кажутся мне только мужчинами и женщинами.

- Из какого же источника должна живопись черпать свои сюжеты?

- Без сомнения, из истории, - отвечал сурово Нико, - из тех великих римских сражений, которые внушают людям чувство свободы и мужества и в то же время республиканские добродетели... Я жалею, что кисть Рафаэля не изобразила битвы Горациев, но Франции и ее республике предназначено дать потомству новую, настоящую школу в искусстве, которая никогда не могла бы развиться в стране попов и лицемеров.

- Значит, святые и мадонны Рафаэля представляются вам просто мужчинами и женщинами? - спросил с удивлением Тлиндон, не обращая внимания на разглагольствования француза.

- Конечно!.. Ха-ха! - неприятно засмеялся Нико. - Уж не хотите ли вы, чтобы я верил в святцы?

- Но идеал?

- Идеал! - прервал Нико. - Вздор! Итальянские критики и ваш англичанин Рейнольдс вскружили вам голову своими gusto grande и идеальной красотой, которая говорит душе! Во-первых, есть ли еще душа? Я понимаю человека, который просит меня сочинить для тонкого вкуса, для развитого ума, для разума, понимающего истину; но для души... чушь... Мы являемся только видоизменениями материи, и живопись есть одно из таких видоизменений.

Глиндон Переводил взгляд с картины на Нико и с Нико на картину. Догматик выразил мысли, пробужденные в нем видом картины. Глиндон, не отвечая, покачал головой.

- Скажите мне! - воскликнул вдруг Нико. - Этот шарлатан Занони... О! Я знаю теперь его имя и фиглярство... Что он вам говорил про меня?

- Про вас? Ничего; он предупреждал меня только против ваших идей.

- А... это все? - воскликнул Нико. - Это знаменитый обманщик, и при нашем последнем свидании, на котором я обнаружил его хитрости, я подумал, что он станет мстить какими-нибудь сплетнями.

- Обнаружили его хитрости!.. Каким образом?

- Это длинная и скучная история: он хотел открыть одному из моих друзей тайны долгой жизни и секреты алхимии. Советую вам отказаться от такой малопочтенной связи.

Сказав это, Нико поклонился и, не желая, чтобы его расспрашивали на этот счет, пошел своей дорогой.

Душа Глиндона укрылась в искусстве, как в убежище, и слова и присутствие Нико были для него довольно неприятны. Его взгляд перешел с пейзажа Сальватора на "Рождество" Корреджио: разница между двумя жанрами поразила его как новое открытие.

Это прелестное спокойствие, это чувство прекрасного, эта сила без усилий, это живое нравоучение высокого искусства, которое говорит душе и которое возвышает мысль с помощью красоты и любви до религиозного восхищения, - вот где была истинная школа.

Глиндон вышел из галереи с сожалением, унося с собой вдохновенные мысли, и вернулся домой.

Довольный, что не нашел у себя трезвого Мерваля, он задумался, стараясь вспомнить слова Занони при их последнем свидании.

Да, он чувствовал, что даже слова Нико об искусстве были преступлением. Они унижали воображение и ставили его наравне с механизмом. Нико, который видел в душе только вид материи, смел ли он говорить о школах искусства, которые должны были превзойти

Рафаэля? Да, искусство было магией, и так как он признавал истину этого афоризма, то мог понять, что в магии может заключаться религия, так как религия необходима искусству.

Избавившись от холодной осторожности, с которой Мерваль старался профанировать всякое изображение, кроме золотого тельца, Глиндон чувствовал, что его честолюбие снова проснулось, оживилось, зажглось.

Он только что открыл в школе, признаваемой им до тех пор за лучшую, ошибку, которая стараниями Нико еще яснее предстала перед его глазами. Это открытие дало новое направление его воображению.

Не желая пропустить этой благоприятной минуты, он поставил перед собой краски и палитру. Погруженная в создание нового идеала, его душа поднялась к пределам прекрасного.

Занони был прав: материальный свет исчез в его глазах; он видел природу как бы с вершины горы, и, по мере того как беспокойные вибрации его смущенного сердца успокаивались, небесный взгляд Виолы отражался в них как светлая звездочка.

Он заперся в своей комнате и велел всем отказывать, даже Мервалю. Опьяненный чистым воздухом своего нового существования, он в продолжение трех дней и почти стольких же ночей был углублен в свою работу, но на четвертое утро произошел перелом, который следует за всякой усердной работой. Он проснулся рассеянный и усталый, взглянул на свое полотно, и ореол величия, казалось окружавший его, уже исчез.

Ошибки великих учителей, с которыми он желал быть наравне, представлялись ему бесчисленными; недостатки, до тех пор незаметные, приняли в его глазах чудовищные размеры.

Он стал писать и поправлять, но рука изменила ему; с отчаянием он бросил кисти и открыл окно.

День был прекрасный, тихий; улица была оживлена тою жизнью, всегда веселой и живой, которою наслаждаются жители Неаполя. Погода манила его воспользоваться своими радостями и удовольствиями, его мастерская, еще недавно казавшаяся ему достаточно обширной, чтобы вместить в себе небо и землю, казалась теперь тесною, как тюрьма осужденного.

Он с удовольствием услыхал шаги Мерваля на лестнице и открыл дверь.

- И это все, что вы сделали? - спросил Мерваль, небрежно посмотрев на работу своего друга. - Неужели для этого вы скрывались от светлых дней и звездных ночей Неаполя?

- Пока лихорадка продолжалась, я был ослеплен более блестящим солнцем и дышат сладостным ароматом более светлой ночи.

- Лихорадка прошла, вы соглашаетесь с этим. Хорошо; это по крайней мере признак здравого рассудка. Впрочем, гораздо лучше пачкать полотно в продолжение трех дней, чем делаться смешным на всю жизнь. Эта маленькая сирена...

- Довольно! Я ненавижу, когда вы произносите ее имя.

Мерваль подсел ближе к Глиндону, скрестил руки, вытянул ноги и собирался начать серьезные предостережения, как вдруг раздался стук в дверь и, не ожидая позволения войти, показалась отвратительная голова Нико.

- Здравствуйте, мой дорогой друг. Я хотел поговорить с вами. Гм... вы работали, как я вижу. Хорошо! Очень хорошо! Рисунок смел, много легкости в правой руке. Но подождите, хорошо ли исполнение?.. Не замечаете ли вы, что эта фигура не имеет контраста? Правая нога впереди; правая рука должна быть, очевидно, откинута назад. Но вот этот маленький мальчик прекрасен!..

Мерваль ненавидел Нико. Все утописты, реформаторы, все те, которые удалялись под каким бы то ни было предлогом от проторенного пути, были ему одинаково ненавистны. Но в эту минуту он охотно поцеловал бы француза. Он читал в выразительном лице Глиндона все отвращение и ненависть, которую он испытывал.

После восторга вдохновения и работы слушать человека, говорившего о пирамидальных формах, правых руках, правых ногах... видеть непризнаваемую мысль и слышать критику, оканчивающуюся похвалой мизинцу!

- Ба! - воскликнул Глиндон, закрывая свою работу. - Довольно об этом. Что вам нужно было сказать мне?

- Во-первых, - отвечал Нико, садясь на табурет, - во-первых, этот синьор Занони, этот второй Калиостро, критикующий мои учения... я не мстителен; как говорит Гельвеции, наши ошибки происходят от наших страстей; и я умею управлять собой, но ненавидеть из любви к человечеству есть добродетель; и я был бы в восторге, если бы мне представился случай донести на него и судить синьора Занони в Париже.

Маленькие глаза Нико злобно сверкали, он скрежетал зубами.

- Имеете вы какие-нибудь новые причины ненавидеть его? - спросил Глиндон.

- Да, - отвечал с бешенством Нико. - Да, я узнал, что он ухаживает за девушкой, на которой я намереваюсь жениться.
- Вы! О ком вы говорите?
- О знаменитой Пизани. Какая божественная красота! Она составит мое счастье, как только будет провозглашена республика, а республика наступит раньше конца года.
Мерваль со смехом потирал себе руки.
Глиндон покраснел от гнева и стыда.
- Разве вы знаете синьору Пизани? Говорили вы с ней когда-нибудь?
- Нет еще; но когда я на что-нибудь решаюсь, то быстро добиваюсь этого. Я скоро вернусь в Париж, мне пишут, что хорошенькая жена составит неплохую рекомендацию для патриота. Время предрассудков прошло. В Париже начинают понимать самые высокие добродетели. Я хочу привезти с собой прекраснейшую женщину во всей Европе.
- Остановитесь!.. Что вы хотите делать? - воскликнул Мерваль, хватая Глиндона за руку.
Возмущенный художник хотел броситься на француза со сверкающими глазами и сжатыми кулаками.
- Милостивый государь, - проговорил Глиндон сквозь зубы, - вы не знаете, о ком говорите. Уж не предполагаете ли вы, что Виола согласится на ваше предложение?
- Конечно, нет, - отвечал Мерваль, глядя в потолок, - по крайней мере, если она найдет что-нибудь лучше.
- Лучше! - воскликнул Нико. - Вы меня не понимаете. Я, Жан Нико, предлагаю руку Пизани... собираюсь жениться на ней! Другие могут делать ей более лестные предложения, но я не знаю никого, кто бы собирался сделать ей такое почетное предложение. Я один готов проявить жалость к ее одиночеству. К тому же, согласно новому порядку вещей, который устанавливается во Франции, я всегда могу избавиться от жены, если того захочу. У нас будут новые законы о разводе.
- Не думаете ли вы, что итальянская девушка... а кажется, нет страны на свете, где бы молодые девушки были душевно чище, несмотря на то что они довольствуются, когда делаются женщинами, более философскими добродетелями... что итальянская девушка предпочтет предложению художника щедрость и покровительство какого-нибудь князя?
- Нет, я лучшего мнения о Пизани, чем вы; я поспешу представиться ей.
- Желаю вам успеха, господин Нико, - проговорил Мерваль.
Он поднялся и дружески пожал ему руку.
Глиндон посмотрел на обоих с глубоким презрением.
- Может быть, господин Нико, - проговорил он наконец с горькой улыбкой, - может быть, у вас будут соперники.
- Тем лучше! - отвечал небрежно Нико, низко кланяясь.
- Я сам восхищаюсь Виолой Пизани.
- Какой же живописец не станет восхищаться ею?
- Может статься, что и я предложу ей свою руку.
- Для вас это было бы безумием, а для меня это умно. Вы не сумеете сделать себе выгоду из этой партии, дорогой собрат; у вас свои предрассудки.
- Вы предполагаете, что будете спекулировать вашей женой?
- Добродетельный Катон уступил свою жену другу. Я люблю добродетель и постараюсь подражать Катону. Но поговорим серьезнее; вас как соперника я не боюсь. Вы красивы, я нет, но вы нерешительны, а я наоборот. Пока вы будете говорить громкие фразы, я просто скажу: "У меня хорошее положение; хотите за меня выйти замуж?" Итак, будьте счастливы, мой друг, и до свидания.
Нико встал, потянулся, зевнул, показывая отвратительную челюсть, небрежно надел шапку и, бросив на раздраженного Глиндона торжествующий, злобный взгляд, медленно вышел из комнаты.
Мерваль разразился смехом.
- Видите, как оценивает Виолу ваш друг. Вы одержали бы прекрасную победу, вырвав ее из лап самого уродливого животного, которое когда-либо существовало среди лапландцев и калмыков!
Глиндон был слишком взволнован, чтобы отвечать.
В эту минуту вошел новый гость: это был Занони.
Мерваль, которому сам вид этого человека внушал невольное уважение, в чем он не желал признаться, сделал Глиндону знак и сказал:
- Мы в другой раз поговорим об этом. Потом он оставил живописца и его гостя.
- Я вижу, - сказал Занони, приподнимая полотно, закрывавшее картину, - что вы послушались моих советов. Мужайтесь, молодой друг! Подле вас не было ни Нико, ни Мерваля, когда вы задумали этот образ красоты.
Возвращенный к искусству этой неожиданной похвалой, Глиндон скромно отвечал:

- Я восхищался своей работой до сегодняшнего утра, а теперь вдруг разочаровался в моей мечте.

- Скажите лучше, что, не имея привычки к напряженной работе, вы устали от чрезмерных трудов.

- Это правда. Признаться ли вам? Я стал чувствовать недостаток внешнего мира. Мне казалось, что в то время, как я отдавал все свое сердце и молодость идеальным видениям красоты, я терял прекрасную действительность настоящей жизни и завидовал веселому рыбаку, певшему под моими окнами, и влюбленному, говорившему со своей возлюбленной.

- Разве вы не довольны, - проговорил Занони с ласковой улыбкой, - этим естественным и необходимым возвращением к земле, на которой человек с сильным воображением любит искать развлечение и покой? Человеческий гений похож на птицу, которая не всегда может летать. Те, которые больше всего пленяются идеалом, раньше всех наслаждаются действительностью.

Посмотрите на истинного художника, заблудившегося в толпе людей, как он наблюдает, как он углубляется в сердца, как постоянно бодрствует и готов собирать все истины, из которых состоит существование, самые малые, как и самые великие, не боясь опуститься даже до того, что педанты называют низким и суетным! Нет ни одной нити в ткани общественной жизни, из которой он не извлек бы грацию. Для него малейшая пылинка, уносимая ветром, делается под лучами солнца золотым, живым миром. Разве вы не знаете, что вокруг микроскопического животного, находящегося в капле воды, сияет нимб, как вокруг звезды, описывающей в пространстве свой путь? Истинное искусство находит прекрасное повсюду. В улице, на площади, в хижине бедняка он собирает мед, который должен питать его мысли. В грязи политики Данте и Мильтон находили жемчуга для своих поэтических венцов. Кто сказал вам, что Рафаэль наслаждался окружающей его жизнью, нося всюду с собой свой идеал прекрасного? Как некий хозяин лесов ищет свою добычу, он чует, преследует ее по горам и равнинам; наконец он хватает ее и уносит в свою неприступную пещеру. То же самое делает и гений. По лесам и пустыням, неутомимый и пылкий, он ищет, он преследует ускользающие образы материального мира, он схватывает их наконец своим воображением и уносит в потаенные места, которые недоступны другим людям. Ступайте, ищите впечатления внешнего мира; они составляют для искусства неисчерпаемое, изобильное пастбище и одновременно урожай внутреннего мира художника.

- Вы успокаиваете меня, - проговорил Глиндон. - Я смотрел на свою усталость как на доказательство бессилия. Но я бы хотел поговорить с вами сегодня не о моих занятиях. Простите меня, если с работы я перехожу на награду. Вы высказали неясные предсказания насчет моей будущности, если я женюсь на женщине, которая в мнении трезвого света может только повредить моей карьере и убить мои надежды. Говорит ли в вас мудрость, добытая опытом, или та, которая граничит с пророчеством?

- Разве они когда-либо бывают разделены? Разве не тот лучше соображает, кто с одного взгляда может решить всякую задачу в науке вероятностей?

- Вы отклоняетесь от моего вопроса.

- Нисколько; но я хочу вам объяснить свой вопрос: я пришел поговорить с вами о том же предмете. Слушайте.

Занони пристально посмотрел на Глиндона и продолжал:

- Первое условие, чтобы исполнить то, что велико и благородно, - это ясное понимание истин, относящихся к цели, которую желают достигнуть; таким образом, воин сводит результаты сражения к почти математическим расчетам. Он может верно предсказать исход, если только вполне рассчитывает на материальные средства, которые вынужден употреблять. С такими-то потерями он перейдет через этот мост, за столько-то времени он может взять эту крепость. Учитель более чистой науки или божественного искусства может с еще большим успехом, если он однажды усвоил истины, которые находятся в его душе и во внешнем мире, предсказать, чего он может и чего он не может достигнуть. Но усвоению этих истин многое препятствует в характере человека: тщеславие, страсти, боязнь, леность, незнание внешних средств к исполнению своих намерений. Может случиться, что полководец неверно рассчитывает свои силы, что он не знает расположения страны, которую он желал бы завоевать.

Только в особом состоянии душа способна воспринимать истину. Ваша душа горит желанием познать истину; вам хотелось бы заключить ее в свои объятия; вы хотели, чтобы я сообщил вам без испытания и приготовления с вашей стороны величайшие тайны, существующие в природе. Но неподготовленной душе так же трудно увидеть истину, как солнцу освещать мрак ночи. В этом случае душа постигает истину только для того, чтобы осквернить ее; пользуясь сравнением человека, очень близко подошедшего к

высокой тайне, я скажу, что тот, кто льет воду в грязный колодец, только подымает со дна грязь.
- К чему ведете вы этот разговор?
- Вот к чему. У вас есть способности, которые могут достигнуть высокого развития. Вы могли бы стать чародеем, волшебником, и гораздо более высоким, чем маги, в сфере красоты, в сфере, где душа стремится к познанию высших миров. Но чтобы извлечь пользу из этих способностей, вам нужно научиться сосредоточивать все ваши желания на великих намерениях. Для деятельности ума необходимо сердечное спокойствие. В настоящую минуту вы переходите от одной цели к другой. Чем служит балласт кораблю, тем вера и любовь служат для души. Сосредоточьте на одной точке все силы вашего сердца, все ваши привязанности, все, что у вас есть человеческого, и ваш ум в своих стремлениях найдет и равновесие и силу. Виола еще только ребенок; вы а ней не замечаете благородного характера, который в один прекрасный день разовьется испытаниями жизни. Простите меня, если я вам скажу, что ее душа, более чистая, более возвышенная, чем ваша, пленит и возвысит вашу. Вашему характеру недостает той гармонии, той музыки, которая воспламеняет и успокаивает в одно и то же время. Эту гармонию я предлагаю вам в ее сердце.
- Но разве я уверен, что она меня любит?
- Нет, теперь она вас не любит. Она вся отдалась другой любви. Но если бы я передал вам, как магнит передает железу свое магнетическое притяжение, ту любовь, которую она питает ко мне; если бы я сделал так, чтобы она нашла в вас идеал своих мечтаний...
- Разве человек может владеть таким даром?
- Я дам его вам, если ваша любовь чиста, если ваша вера в добродетель и в самого себя глубока и благородна; если нет, неужели вы думаете, что я стану разочаровывать ее в истине, чтобы заставить обожать ложь?
- Но, - проговорил Глиндон, - если она действительно то, что вы про нее говорите, и если она вас любит, то как вы можете отказываться от этого бесценнейшего сокровища?
- О! Как сердце человека эгоистично и низко! - воскликнул Занони со странной пылкостью. - Неужели вы так мало понимаете любовь, что не знаете, что она жертвует всем, даже самой любовью, для счастья любимого существа. Слушайте.
Он побледнел.
- Слушайте, - повторил он, - подчеркиваю это вам: я люблю ее и потому боюсь, что со мной ее жизнь не будет столь прекрасна, как с вами. Почему? Не спрашивайте меня, я не смею ответить вам. Довольно!.. Время идет, я не могу дольше ждать вашего ответа: через три ночи для вас уже не будет выбора...
- Но, - спросил Глиндон, все еще подозревая что-то, - зачем вы меня так торопите?
- Вы недостойны ее, если спрашиваете меня об этом. Все, что я могу сказать вам, вы должны были бы знать сами. Этот похититель, этот влюбленный князь, сын старого Висконти, не похож на вас, он непоколебим, тверд и решителен в своих преступлениях; он никогда не отказывается от своей цели.
Но существует еще одна страсть, которая берет у него верх над сладострастием: это его жадность. На другой день после его попытки похитить Виолу его дядя, кардинал, на богатство которого он возлагает большие надежды, позвал его к себе и запретил ему, под страхом потерять наследство, преследовать своими гнусными предложениями бедную сироту, которую кардинал любит и которой покровительствовал с самого ее детства. Вот причина, по которой он на некоторое время оставил Виолу в покое. Но пока мы беседуем, эта причина перестает действовать. Раньше, чем стрелка часов покажет двенадцать, кардинала не станет. Даже в эту минуту ваш друг Жан Нико находится с князем...
- Он! Зачем?
- Чтобы узнать от него, какое приданое получит Виола Пизани в тот день, когда она выйдет из дворца князя.
- Откуда вы знаете все это?
- Безумец! Повторяю вам, тот, кто любит, бодрствует день и ночь; любовь не спит, когда опасность угрожает любимому существу.
- И это вы сообщили кардиналу?..
- Я. Эта заслуга могла точно так же принадлежать и вам... Ну! Ваш ответ!
- Через три дня вы его получите.
- Пусть будет по-вашему... Откладывай, бедное безумное сердце, свое счастье до последней минуты... Через три дня я спрошу у вас ваше решение.
- А где же мы увидимся?
- Там, где вы меня менее всего ожидаете видеть. Вы не можете избежать меня, если даже будете стараться сделать это!

- Еще одну минуту. Вы упрекаете меня в моих сомнениях, колебаниях, подозрениях. Да разве они по крайней мере не естественны? Могу ли я уступить без борьбы странному влиянию, которым вы околдовали мою душу? Какое участие можете вы принимать в иностранце, как я, чтобы предлагать таким образом одну из самых серьезных вещей в жизни человека? Неужели вы думаете, что нашелся бы человек со здравым смыслом, который не стал бы колебаться и спрашивать себя: почему бы этому чужестранцу интересоваться мною?

- А между тем, - проговорил Занони, - если бы я вам сказал, что могу посвятить вас в тайны магии, на которую философия наших дней смотрит как на вздор или обман, если бы я обещал научить вас повелевать существами воздуха и бездны, собирать богатство с большей легкостью, чем дети собирают каменья на берегу морском, сделать обладателем эликсира, который поддерживает жизнь, открыть тайны того непреодолимого воздействия, которое отвращает опасность, обезоруживает жестокость и усмиряет человека, как змея очаровывает птицу; если бы я вам сказал, что владею всем этим и могу передать вам, тогда вы стали бы слушать меня и повиновались бы мне не колеблясь.

- Да, признаюсь; и я объясняю себе это только неясными воспоминаниями о моем детстве и преданиями, связанными с нашим домом...

- С вашим предком, который старался проникнуть в тайны Аполлона и Парацельса.

- Как! - воскликнул удивленный Глиндон. - Вам известно прошлое такого неизвестного семейства?

- Для человека, стремящегося к знанию, самый скромный алхимик не может быть ему не известным. Вы спрашиваете меня, почему я принимаю такое участие в вашей будущности? Этому есть причина, которой я вам не поведал еще. Существует общество, уставы и тайны которого составляют для самых знаменитых ученых непроницаемую тайну. В силу этих уставов каждый член обязан наставлять, помогать, советовать потомкам, даже самым отдаленным, тем, которые, как ваш предок, принимали участие, как бы оно мало ни было, в таинственных трудах ордена. Мы обязаны давать им советы, которые могли бы способствовать благополучию их жизни; более того, если они желают, мы должны принять их как своих учеников. Я один из членов этого старинного братства. Вот что привязывало меня к тебе, вот что, может быть бессознательно, сын нашего общества, притягивало тебя ко мне.

- Если это так, то во имя законов, которым ты повинуешься, я требую, чтобы ты принял меня как ученика.

- Чего ты просишь? - воскликнул Занони. - Узнай сперва, на каких условиях принимаются ученики. Новообращенный должен во время посвящения в таинства отказаться от всяких земных привязанностей и желаний. Он должен быть свободен от любви к женщине, от скупости и тщеславия, свободен от мыслей даже об искусстве и от всякой надежды на земную славу. Первая жертва, которую ты должен принести, это Виола. А для чего? Для испытания, которое может перенести только самое сильное мужество и которое переносится только самыми возвышенными натурами. Ты недостоин науки, сделавшей из меня и многих других то, что мы есть и что были, так как вся твоя природа есть только страх.

- Страх! - воскликнул Глиндон, покраснев от негодования и гордо выпрямившись.

- Да, страх! И самый худший вид страха - мнения света, боязнь Нико и Мервалей; страх перед своими самыми великодушными порывами; страх перед своей собственной силой, даже когда твой гений смел; боязнь, что добродетель не вечна; опасение, что Бог не живет в небесах и не видит, что творится на земле; боязнь, да, - это боязнь мелких душ, незнакомая великим сердцам.

После этих слов Занони встал и ушел, оставив художника в сильном смятении и потрясении, но не сломленного. Тот долго сидел, глубоко задумавшись, пока бой часов не пробудил его; он вспомнил о предсказании Занони, предвещавшем смерть кардинала, и, охваченный сильным желанием проверить его слова, вышел на улицу и поспешил ко дворцу.

Без пяти минут двенадцать Его Превосходительство скончался после кратковременной болезни.

Пораженный, Глиндон удалился из дворца и, переходя через улицу, увидал Жана Нико, выходившего из дома князя.

V

Тайные архивы этого общества, столь малоизвестного, дали мне материал для этого рассказа; благодаря им в первый раз свет узнает, хотя не вполне, мысли и дела одного из членов вашего ордена. Не один обманщик присваивал себе вашу славу, не один искатель приключений причислял себя к числу вас, бывая вынужден, наконец,

признаться, что ничего не знает о вашем происхождении, обрядах и правилах, даже о месте вашего пребывания. Благодаря вам я, единственный в своей стране, в этом столетии был допущен в вашу таинственную академию и получил от вас позволение применить к понятиям профанов некоторые из светлых истин, сиявших в халдейской мудрости и бросавших отблески на науку, извращенную вашими новейшими учениками, когда они старались оживить огонь древнего знания.

Правда, у нас, жителей старого и охладевшего света, нет разгадки тайны, которая, по словам древних оракулов, стремится в миры бесконечности; но мы можем и должны указать путь к возрождению старых истин в каждом новом открытии астронома или химика. Законы тяготения, электричества и той силы, еще более чудесной, которая, исчезни она из вселенной, превратила бы ее в могилу, - изо всех этих законов древняя теургия черпала свои правила и составила себе из них свою собственную науку {Используя прием "второго рассказчика", Бульвер-Литтон напоминает здесь читателям, что вышеприведенные два абзаца вставлены им в повествование якобы из некоей таинственной розенкрейцеровской рукописи его друга - владельца антикварной книжной лавки. В предисловии к первому английскому изданию автор отмечает, что эту рукопись, написанную на необычном языке символов, после смерти своего друга, согласно его завещанию, он попытался "расшифровать", придав ей "беллетристическую форму". (Прим. ред.).}.

Девственное сердце Виолы трепетало от нового, непостижимого и божественного чувства. Это чувство было, может быть, не чем другим, как быстрым волнением крови и воображения, естественным восторгом зрения перед красотой, слуха перед красноречием?

Я сказал, что с того дня, как она избавилась от страха и ужаса и поддалась влиянию Занони, она старалась перевести свои мысли в слова. Предоставим же ей самой рассказать о своих мыслях.

"Дневной ли свет озаряет меня или воспоминание о твоем присутствии? С какой бы стороны я ни смотрела, свет кажется мне наполненным тобою; в луче света, дрожащем в воде, я вижу только отражение твоего взгляда. Что это за перемена, которая преобразовывает и меня, и целую вселенную?.."

"Каким чудом приобрел ты это могущество, делающее тебя властелином моего сердца? Тысяча людей окружали меня, но я видела только тебя одного. Это было ночью, когда я вступила в свет, который вмещает жизнь в драме и не имеет другого языка, кроме музыки. Какой странной и внезапной связью этот свет соединился навсегда с тобой? Чем мечта о сцене была для других, тем твое присутствие было для меня.

Моя жизнь тоже казалась сосредоточенной в этих нескольких часах, слишком коротких. Я сижу в комнате, где жил мой отец. Здесь, в эту ночь счастья, забывая причину этого счастья, я старалась понять, чем ты был для меня; голос матери пробудил меня, и я подошла к отцу, очень близко... испуганная своими собственными мыслями... А! Как сладок и печален был следующий день, когда ты научил меня остерегаться врагов... Теперь я сирота; к кому могут возноситься мои мысли, мечты, поклонение, как не к тебе. С какой нежностью ты упрекал меня за оскорбление тебя моими несправедливыми подозрениями! Почему я дрожала, когда ты осветил мою мысль, как луч солнца освещает одинокое дерево, с которым ты меня сравнил? Это... это потому, что, как и дерево, я боролась за свет и свет пришел наконец! Все говорят мне о любви, и вся моя жизнь в театре внушает мне язык любви... Нет, тысячу раз нет. Я знаю, что не любовь чувствую я к тебе... это не страсть, а мысль. Я не хочу быть любимой... Я не жалуюсь, что твои слова строги, а взгляд холоден. Я не спрашиваю, есть ли у меня соперницы, я не стараюсь и не желаю быть прекрасной в твоих глазах... Моя душа хотела бы соединиться с твоей. Я бы отдала все на свете, чтобы знать час, когда твой чудный взор обращается к небу, когда твое сердце изливается в молитве. Они говорят мне, что ты прекраснее Аполлона Бельведерского, прекраснее всех, но я никогда не осмеливалась посмотреть на тебя прямо, чтобы сравнить мысленно со всеми другими. Только твой взгляд и ласковая, спокойная улыбка преследуют меня постоянно..."

"Часто, когда кругом все тихо, мне слышатся аккорды музыки моего отца; часто, несмотря на то что они уже давно спят в могиле, они отрывали меня от грез торжественной ночи. Мне кажется, они предупреждают меня о твоем приходе. Мне кажется, что они плачут и жалуются, когда, после твоего ухода, я падаю духом. Ты составляешь часть этой гармонии; ты ее дух, гений. Мой отец должен был видеть и тебя и твою родину, когда ветры утихали, чтобы слушать его музыку, и когда свет считал его сумасшедшим. В моем убежище я слышу далекий плеск воды. Журчите, благословенные

волны! Волны - это пульс берега; они бьются под веселое дуновение утреннего ветерка... Так бьется мое сердце в свежести и свете, вызывая воспоминания о тебе..."

"Часто, еще ребенком, я спрашивала себя, зачем я родилась, и моя душа отвечала моему сердцу: "Ты рождена, чтобы обожать". Да, я знаю, почему свет казался мне всегда ложным и холодным; я знаю, почему блеск сцены всегда восхищал и ослеплял меня. Я знаю, почему мне сладко скрываться в одиночестве и позволять всему моему существу вместе со взглядом подыматься к небесам. Я не создана для этой жизни, какой бы счастливой она ни казалась другим. Для нее необходимо постоянно иметь перед собой более возвышенный образ, чем она сама. Чужестранец! В каких небесных пространствах за могилой душа моя сольется вместе с твоей?.."

"В саду моего соседа есть маленький фонтан. Сегодня утром после восхода солнца я стояла около него. Как его брызги устремлялись навстречу веселым лучам солнца! Я подумала тогда, что увижу тебя сегодня; точно так же стремилась моя душа навстречу новому радостному дню..."

"Да, я увидела тебя снова, я еще раз слушала тебя. Как я была смела! Я пересказала тебе мои детские мысли и воспоминания, как будто я знала тебя с самого моего детства. Вдруг моя смелость поразила меня. Я остановилась и робко посмотрела на тебя.
- Ну что же! А когда вы увидали, что соловей не хотел больше петь?
- Ах! - отвечала я. - Что нужды в этой детской истории?
- Виола, - ответил ты мне ласковым голосом, - мрак детского сердца является часто тенью звезды. Продолжайте! Итак, пойманный соловей не хотел больше петь?
- Я поставила клетку туда, в виноградник, и взяла свою лютню и стала разговаривать с ним звуками инструмента; я думала, что всякая гармония была его естественным языком и что он поймет, что я стараюсь утешить его.
- Да, - проговорил ты тогда. - И наконец он вам ответил, но не пением, а острым, коротким криком, таким печальным, что лютня выпала у вас из рук и слезы закапали из глаз. Потом вы тихо отворили клетку, птица улетела в рощу, и вы увидели при лучах солнца, что она нашла свою подругу. Тогда в густых ветках послышалось звонкое, веселое пение, гимн счастья и гармонии. И вы поняли наконец, что не роща и не луна вдохновляли птицу на восхитительное ночное пение и что тайна ее мелодии состояла в присутствии любимого существа.
Каким образом знал ты мои детские мысли лучше, чем знала я их сама? Каким образом известно тебе мое прошлое и самые незначительные его происшествия? Я удивляюсь, восхищаюсь, но не боюсь тебя больше!.."

"Было время, когда воспоминание о нем давило меня. Как ребенок, который хочет, чтобы ему дали луну, все мое существование было только смутным желанием того, чего я никогда не должна была получить. Теперь мне кажется, напротив, что мне достаточно подумать о тебе, чтобы уничтожить все препятствия, отягощающие мою душу. Я плаваю в океане чистого света; ничто не кажется мне слишком высоким для моих крыльев, слишком прекрасным для моих глаз. Мое невежество делало тебя в моих глазах предметом ужаса. Наука, которой нет в книгах, окружает тебя как атмосфера. Как я мало читала, как я мало училась! А между тем, когда ты подле меня, мне кажется, что для меня подымается завеса над мудростью и над целой природой. Я дрожу, глядя на слова, которые я написала; мне кажется, что они исходят не от меня, но что они составляют звуки другого языка, который ты внушил моему сердцу, и что моя рука быстро пишет под твою диктовку. Иногда, в то время, как я пишу или мечтаю, мне кажется, что легкие крылья касаются меня, что я вижу непостижимые формы красоты, проходящие перед моими глазами. Теперь никогда беспокойный или ужасный сон не смущает меня ночью. Во время сна я прохожу с тобой не по земным дорогам, но по неосязаемым, воздушным странам. Раньше, когда я не знала тебя, я была порабощена землей. Ты дал мне свободу. Прежде это была жизнь, теперь мне кажется, что я вступила в вечность!.."

"Прежде, когда я должна была выходить на сцену, сердце мое билось с большей силой. Я дрожала при встрече с толпой, чье дыхание дает славу или позор. Теперь я ее не боюсь. Я ее не вижу, я ее не слышу, я не думаю о ней. Я знаю, что гармония не изменит моему голосу..."

"Ты никогда не приходишь в театр, и я не сожалею об этом. Ты слишком возвышен, чтобы быть частью этой толпы, и я чувствую себя счастливой, когда тебя там нет и когда толпа имеет право судить меня..."

"Он говорил мне о другом... о другом, которому бы он желал отдать меня. Нет, Занони, не любовь чувствую я к тебе; иначе как бы я слушала тебя без гнева? И почему твое приказание не показалось мне невозможным? Это потому, что рука учителя заставляет сжиматься и дрожать струны послушного инструмента... Если ты этого хочешь, пусть будет по-твоему. Ты властелин моей судьбы, она не может противиться тебе. Я почти чувствую, что, кто бы он ни был, я буду в состоянии любить того, на кого ты укажешь. Я люблю все то, что ты трогал; я люблю всех тех, о которых ты отзываешься хорошо. Твоя рука дотронулась до этих листьев винограда - я ношу их на своей груди. Ты кажешься мне источником любви. Но нет! Не любовь испытываю я к тебе; и вот почему я не краснею, признаваясь в этом. Для меня было бы ужасным стыдом любить тебя, зная, как я недостойна тебя..."

"Другой! Я повторяю это слово: другой! Значит ли это, что я его больше не увижу? Не скуку и не отчаяние чувствую я. Я не могу плакать. Это чувство полнейшего сознания безутешного положения. Я снова окунулась в светскую жизнь, и это одиночество леденит и заставляет меня дрожать. Но я буду повиноваться тебе, если ты этого желаешь. Разве я тебя не увижу за могилой? О! Какое счастье было бы тогда умереть!.."

"Отчего это происходит, что я не борюсь, чтобы освободиться от твоего влияния? Разве ты имеешь право располагать мною таким образом? Возврати мне жизнь, которую я вела перед тем, как я тебя встретила. Возврати мне беспечные мечты моей молодости, свободу моего сердца! Ты разочаровал меня во всем, что не является тобой. Что за преступление было думать о тебе, видеть тебя? Твой поцелуй жжет еще мою руку. Эта рука разве принадлежит мне? Твой поцелуй взял ее и навсегда посвятил ее тебе. Чужестранец, я не хочу повиноваться тебе.

Еще прошел один день, один из трех роковых дней. Странно, с прошлой ночи глубокое спокойствие разлилось в моем сердце. Я чувствую себя такой сильной, что даже мое существо стало частью тебя самого, и я не могу поверить, что моя жизнь может разлучиться с твоей; я убеждена в этом, я даже смеюсь над твоими словами и моими опасениями. Ты любишь одно правило и повторяешь его в разных формах: что красота души - это вера; то, что есть идеальная красота для художника, то вера для сердца; что вера дает нам полную уверенность в нас самих и высокую надежду в будущем; что она есть светило, под влиянием которого подымаются и опускаются волны человеческого моря. Я понимаю теперь эту веру. Я отталкиваю сомнения и опасения. Я знаю, что соединила с тобой всю мою внутреннюю жизнь и что ты не можешь оторвать меня от себя, если бы и захотел того. Этот переход от борьбы к спокойствию произошел во мне во время сна, сна без тревог; я проснулась с бесконечным чувством счастья, со смутным воспоминанием чего-то прекрасного. А вечером мне было так скучно! Цветы закрылись как будто для того, чтоб никогда уже не раскрываться на солнце! И эта ночь, как в моем сердце, так и на земле, заставила распуститься завядшие цветы. Свет стал снова прекрасен; прекрасен в своем покое; ни малейшее дуновение не шевелит твое дерево, ни малейшее сомнение мою душу!"

VI

Это был маленький кабинет, стены были украшены картинами, из которых одна стоила дороже, чем дворец владельца. Да, Занони был прав, живописец действительно тот же волшебник, и золото, которое он добывает из своего тигля, по крайней мере не мечта. Какой-нибудь венецианец мог быть вольнодумцем или убийцей, негодяем или идиотом, но его рисовал Тициан, и его портрет считается бесценным. Подумайте, что несколько дюймов полотна в тысячу раз драгоценнее человека с его телом, его головой и волей, его сердцем и разумом!

В этом кабинете сидел человек лет сорока, с глубокими, неподвижными глазами, резкими, выдающимися чертами лица, крепкими скулами и толстыми, чувственными губами. Это был князь N. Он был среднего роста и отличался полнотой; на нем был надет широкий халат из богатой парчи. На столе подле него лежали шпага и шляпа старинного фасона, маска, портфель и серебряная чернильница изящной работы.

- Ну, Маскари, - говорил князь, глядя на своего любимца, стоявшего в углублении окна, - ну, кардинал покоится со своими предками. Мне необходимы развлечения, чтобы

утешиться в такой жестокой потере, а у кого обворожительнее голос, как не у Виолы Пизани?
- Ваше сиятельство говорит серьезно? Так скоро после смерти Его Превосходительства?
- От этого будут только меньше болтать и подозревать меня. Узнал ты имя наглеца, помешавшего нашему предприятию и предупредившего кардинала на другой день?
- Нет еще.
- Ловок же ты! Я скажу тебе его имя. Это таинственный незнакомец.
- Синьор Занони! Уверены ли вы в этом?
- Уверен, Маскари. В голосе этого человека есть тон, который никогда не вводит меня в заблуждение, что-то ясное, повелительное; когда я его слышу, то начинаю думать, что существует совесть. Но как бы то ни было, нам надо избавиться от этого нахала. Маскари! Синьор Занони еще не сделал чести нашему бедному жилищу своим присутствием. Это знатный иностранец: необходимо дать праздник в честь него!
- Хорошо сказано; и кипрского вина?
- Мы поговорим об этом позже. Я суеверен: странные слухи распространяются насчет могущества и пророческого таланта Занони. Вспомни смерть Угелли. Даже если сам демон его союзник, он и то не сможет похитить у меня мою добычу и мою месть также.
- Ваше сиятельство заблуждается, дива обворожила вас.
- Маскари! - воскликнул князь с гордой улыбкой. - В этих жилах течет кровь Висконти, которые говорили, что женщина никогда не сможет скрыться от их любви, так же, как и мужчина от их мести. Корона моих предков теперь только детская игрушка; но их честолюбие и храбрость не уменьшились. Моя честь замешана теперь в этом деле. Необходимо, чтобы Виола принадлежала мне.
- Еще засада? - спросил Маскари.
- Нет. Почему бы не напасть на ее дом? Он стоит в стороне, и дверь не железная.
- Но если по возвращении она донесет на вашу жестокость? Дом, взятый силою, изнасилованная девушка! Подумайте обо всем этом; феодальное право, правда, еще не уничтожено, но даже Висконти не стоит выше закона.
- В самом деле, Маскари? Ты дурак! В каком столетии, даже если безумные вожди Франции и преуспеют в своих вздорных замыслах, железо и закон не согнутся как прутья под тяжестью могущества и золота? Но не бойся, мой план составлен. В тот день, как она выйдет из этого дворца, она выедет во Францию с Жаном Нико.
Маскари не успел ответить, как лакей доложил о приходе синьора Занони.
Князь невольно протянул руку к лежавшей на столе шпаге; потом, улыбнувшись этому инстинктивному движению, он встал, пошел навстречу чужеземцу и принял его со всею утонченною вежливостью итальянского притворства.
- Я глубоко благодарен за эту честь, - говорил князь, - я уже давно желал пожать руку такого знатного лица.
- Я исполняю ваше желание, - тем же тоном отвечал Занони.
Неаполитанец поклонился, пожимая руку гостю, но в тот же миг, как он дотронулся до нее, дрожь пробежала по всему его телу и его сердце на мгновение перестало биться.
Занони пристально посмотрел на него и сел.
- Вот она и подписана! Я говорю о нашей дружбе, благородный князь. А теперь я объясню вам цель моего визита. Я открыл, ваше сиятельство, что мы соперники. Есть средство примирить наши притязания?
- А, - воскликнул небрежно князь, - так это вы, значит, похитили плод моих подвигов? В любви, как и на войне, все средства хороши. Примирить наши притязания! Вот кости! Поиграем в них! Тот, у которого будет меньшее число, откажется от нее.
- Обещаете вы покориться этому условию?
- Да, клянусь честью Висконти!
- А какое наказание тому, кто нарушит свое слово?
- Шпага лежит на столе, синьор Занони. Тот, который обесчестит себя, умрет от шпаги.
- Вы произносите этот приговор тому из нас, кто изменит своему слову? Пусть синьор Маскари бросит кости для нас.
- Хорошо! Маскари, кости!
Князь откинулся в кресле, и, как он ни был сдержан, он не мог скрыть выражение торжества и радости, оживившее его лицо.
Маскари взял три кости и спустил их в стакан.
Занони, облокотившись на руку, пристально посмотрел на любимца князя.
Маскари напрасно старался укрыться от этого пытливого взгляда; он побледнел, задрожал и поставил стакан на стол.
- Я предлагаю вашему сиятельству начать игру. Синьор Маскари, мы в недоумении; разрешите наши притязания.

Маскари снова взял стакан, его рука задрожала, что было заметно по тому, как застучали кости. Он выкинул; было шестнадцать очков.
- Хорошая игра! - воскликнул спокойно Занони. - Однако, синьор Маскари, я не отчаиваюсь.
Маскари собрал кости, опустил их в стакан и снова выкинул на стол; было восемнадцать очков.
Князь бросил на своего любимца сверкающий взгляд.
Маскари смотрел на кости с разинутым ртом, дрожа с ног до головы.
- Я выиграл, видите, - произнес Занони, - можем мы еще быть друзьями?
- Синьор, - отвечал князь, явно борясь с гневом и стыдом, - победа за вами. Но, простите меня, вы равнодушно говорили об этой девушке; что может заставить вас отказаться от вашего права?
- Имейте лучше мнение о моей любви и не забывайте приговора, произнесенного вашими устами. Князь нахмурился, но удержался от ответа.
- Довольно, - проговорил он с принужденной улыбкой, - я сдаюсь, и чтоб вам доказать, что я охотно сдаюсь, сделайте честь вашим присутствием маленькому празднику, который я хочу дать в честь... - прибавил он с дьявольской улыбкой, - возведения моего родственника, кардинала, на престол святого Петра.
- Я очень счастлив, что могу исполнить ваше желание. Занони переменил разговор, говорил много и весело и вскоре после этого удалился.
- Негодяй! - воскликнул тогда князь, схватив Маскари за шиворот. - Ты изменил мне!
- Уверяю, ваше сиятельство, что кости были приготовлены; они должны были выкинуть двенадцать; но это сам черт в образе человека; это все, что я могу сказать.
- Нечего терять время, - проговорил князь, выпуская его. - Моя кровь кипит. Я хочу иметь эту девушку, хотя бы мне пришлось погибнуть из-за нее... Что это за шум?
- Шпага вашего знаменитого предка упала со стола.

VII

ПИСЬМО ЗАНОНИ К МЕЙНУРУ

"Мое искусство стало менее действенным; я потерял спокойствие, производящее могущество. Я не могу влиять на волю тех, которых бы желал привести как можно скорей к берегу; я вижу, как они мечутся по волнам того бесконечного океана, где наши ладьи устремляются к горизонту, вечно убегающему от нас. Удивленный и испуганный, видя, что я могу только предостерегать там, где бы желал повелевать, я обратился к моей душе. Да, земные желания приковывают меня к настоящему и отдаляют меня от торжественных тайн, в которые может проникнуть только разум, свободный от всяких земных оков. Строгое условие, на котором мы получаем наши божественные дарования, затемняет наше видение будущности тех, к которым мы испытываем человеческие слабости - ревность, ненависть или любовь; Мейнур, вокруг меня все в тумане, я сделал шаг в сторону от нашего существования; из нетленной молодости души вырос темный и ядовитый цветок человеческой любви. Этот человек недостоин ее. Я знаю эту истину; а между тем в его характере есть задатки добродетели и величия, если шипы и плевелы тщеславия и страха допустят их развиться. Если бы она принадлежала ему и я пересадил бы на другую почву страсть, которая затмевает мои глаза и обезоруживает мое могущество, тогда, невидимый, неслышимый и неузнаваемый, я мог бы бодрствовать над его будущностью, тайно внушать ему действия и таким образом способствовать счастью с его помощью. Но время летит.
Сквозь туман, окружающий меня, я вижу, как ее обступают ужасные опасности, от которых она может спастись только бегством. Она может убежать только с ним или со мной. Со мной! Упоительная мысль! Страшное решение! Со мной, Мейнур! Можешь ли ты удивляться, что я желаю спасти ее от самого себя? Одна минута в жизни веков, капля воды в океане - разве может быть чем-либо другим для меня земная любовь? А в ее нежном и чистом характере, более чистом, даже в своих привязанностях, чем я когда-либо встречал из поколения в поколение, существует глубокое чувство, которое говорит мне о неизбежном несчастье, которое должно случиться с ней. Суровый и неумолимый, ты, который старался приобрести нашему обществу всякую душу, казавшуюся тебе благородной и мужественной, ты сам знаешь по своему горькому опыту, как напрасна надежда изгнать из женского сердца страх. Моя жизнь была бы для нее постоянным удивлением. Когда же я буду стараться руководить ее шагами сквозь область ужаса к свету, подумай о Страже Порога и трепещи вместе со мною от страшной опасности, которая могла бы напутать ее. Я пробовал воспламенить душу англичанина честолюбием

истинной славы в его искусстве; но беспокойный ум его предка, кажется, зовет его постоянно и притягивает к той сфере, где потерялась его жизнь.

Есть тайна в наследственности, которую получает человек от своих предков.

Особенности ума, как и болезни тела, остаются спящими в продолжение целых поколений, чтобы пробудиться в каком-нибудь дальнем потомке, обманув всякое лечение и науку.

Приди ко мне из твоего убежища среди развалин Рима. Я желаю иметь живого поверенного, я призываю к себе того, кто прежде также хорошо знал ревность и любовь; я старался войти в общение с Адон-Аи, но его присутствие, внушавшее мне прежде неземной восторг перед наукой и веру в судьбу, теперь смущает и приводит меня в недоумение. С вершин, откуда я стараюсь проникнуть в тень будущего, я вижу угрожающих и раздраженных призраков. Я как будто замечаю роковой предел чудесному существованию, данному мне. Мне кажется, что после столетий идеальной жизни я вижу свой путь погружающимся в бурный водоворот действительности. Там, где светила открывали мне свои врата, я смутно вижу эшафот; густые пары крови поднимаются над бойней. Но удивительнее всего то, что я вижу существо, тип ложного идеала обыкновенных людей, отвратительную насмешку над всем, что искусство называет красотой, над всем, что сердце считает возвышенным, и во всех моих видениях я нахожу его зловещий образ постоянно таким же. Возле этого эшафота, тень которого я вижу, оно стоит и смеется надо мной адским смехом, и с губ его течет кровь. Приди ко мне, о друг прошлых дней! Для меня по крайней мере твоя мудрость не отказалась от человеческой привязанности. Согласно узам нашего ордена, состоящего теперь из нас двоих, последних, переживших стольких благородных и великодушных последователей, ты обязан управлять потомками тех, которым твои наставления в более отдаленные времена помогли проникнуть в великую тайну. Последний отпрыск смелого Висконти, который когда-то был твоим учеником, безжалостно преследует прекрасную, нежную Виолу. Своими преступными и кровавыми планами он роет сам себе могилу; ты еще можешь отвратить его от его роковой будущности. Я, также в силу того же таинственного закона, обязан повиноваться, если он того потребует, всякому потомку одного из наших братьев. Если он станет отталкивать мои советы и настаивать на посвящении в наши таинства, Мейнур, то у тебя будет новый ученик. Приходи ко мне. Эти строки быстро дойдут до тебя. Доставь мне вместо ответа радость пожать твою руку, которую я смею еще пожимать".

VIII

В Неаполе, перед могилой Вергилия, около грота Позилипа люди преклоняются не с тем чувством, с которым они должны бы почитать память поэта, а скорее с таинственным ужасом, окружающим память волшебника. Впадина в коре приписывается его заклинаниям, и предание считает хранителями его могилы духов, которых он вызвал, чтобы образовался грот.

К этому месту, расположенному недалеко от ее жилища, Виола приходила часто. Она любила смутные и неясные видения, которые овладевали ее воображением, когда она погружала взгляды в мрачную глубину грота или когда, стоя у могилы, смотрела с вершины скалы на микроскопических людей толпы, которая роилась в извилине под ней.

В это место она направила свои быстрые шаги. Она прошла по узкой тропинке через мрачные виноградники, окружавшие скалу, и дошла наконец до высшей точки, покрытой мохом и роскошной растительностью, где покоится прах того, который еще теперь усмиряет и возвышает души людей.

Вдали виднелась крепость Сент-Эльм, мрачная и высокая, посреди куполов и колоколов, блестевших на солнце. Море, казалось, глубоко спало; голубоватый дым Везувия на горизонте подымался колышущимся столбом к прозрачному небу.

Стоя без движения на краю пропасти, Виола смотрела на живую и поэтическую картину, развертывавшуюся перед ее глазами.

Она не слышала шагов за собой, подымаясь на гору, и задрожала, услыхав голос, заговоривший около нее.

Человек, стоявший рядом с ней, так внезапно явился между кустарниками, покрывавшими скалу, и его безобразная наружность представляла такую странную гармонию с дикой природой, окружавшей ее, и таинственными преданиями, связанными с этим местом, что Виола страшно побледнела и громко вскрикнула.

- Не пугайтесь моего лица, - проговорил этот человек с горькой улыбкой. - Через три месяца после женитьбы не существует ни уродства, ни красоты. Привычка могущественна. Я собирался зайти к вам, когда вы выходили из дому, а так как мне нужно поговорить о важном деле, то я осмелился последовать за вами. Меня зовут Жаном Нико, имя, уже

известное в искусстве! Живопись и музыка - сестры между собой, а сцена - храм, где они обе соединяются.

В тоне этого человека было что-то откровенное и свободное, рассеявшее страх, который произвело его внезапное появление.

Он сел на камень подле Виолы, пристально посмотрел ей в лицо и продолжал:

- Вы очень хороши, Виола, и я не удивляюсь многочисленности ваших поклонников. Если я смею ставить себя в их ряды, это потому, что я один люблю вас честно и ищу вашей руки. Ради Бога, не сердитесь. Выслушайте меня. Князь N говорил ли вам когда-либо о женитьбе? Или прекрасный шарлатан Занони? Или этот молодой англичанин с голубыми глазами, Кларенс Глиндон? Я предлагаю вам женитьбу, убежище, протекцию, честь. Что вы скажете об этом?

Он попробовал взять ее руку, Виола в негодовании отдернула ее и хотела удалиться. Живописец быстро поднялся и загородил ей дорогу.

- Прекрасная артистка, вам необходимо выслушать меня. Знаете ли вы, что значит жизнь театра в мнении людей? Это значит быть царицей на сцене и парией вне ее. Никто не верит ни в вашу добродетель, ни в ваши клятвы; вы марионетка, которую они хотят украсить мишурой для своего удовольствия. Неужели вы так пленились этой карьерой, что не мечтаете даже о спокойствии и чести? Может быть, вы совсем не то, чем кажетесь? Вы, может быть, смеетесь над предрассудками тех, которые унижают вас? Отвечайте мне, не опасаясь, я тоже не верю в предрассудки, прекрасная Виола; я уверен, что мы сошлись бы. К тому же князь N дал мне к вам поручение; должен ли я его исполнить?

Никогда Виола не испытывала того, что испытывала в эту минуту; никогда она не чувствовала так ясно всех опасностей ее одиночества и славы.

Нико продолжал:

- Занони хочет только позабавиться вашим тщеславием; Глиндон станет презирать себя, если предложит вам свое имя, и презирать вас, если вы примете его предложение, но князь N серьезен и богат. Слушайте!

Нико нагнулся к уху Виолы, и его язык клеветника начал фразу, которую не мог кончить.

Она с презрением отпрянула от него. Он бросился к ней, чтобы схватить ее за руку, но поскользнулся и упал с вершины скалы. Ветка огромной ели помешала ему скатиться вниз, и он повис над зияющей пропастью.

Виола услыхала его крик, быстро спустилась с горы и не оглядываясь добежала до дому.

У дверей стоял Глиндон, разговаривая с Джионеттой. Быстро пройдя мимо него, она вошла в комнату и опустилась на пол, глухо рыдая.

Глиндон, проследовавший за ней, напрасно старался успокоить ее. Она не хотела отвечать на его вопросы, она не слушала его слов любви... но вдруг слова Жана Нико о той карьере, которая казалась ей олицетворением гармонии и красоты, ужасная характеристика этой карьеры всплыли в ее сознании; она подняла голову и, пристально смотря в лицо англичанину, проговорила:

- Вероломный! Смеешь ли ты говорить мне о любви?

- Клянусь честью, мне недостает слов, чтобы выразить вам свою любовь.

- Дал бы ты мне домашний очаг, твое имя? Взял бы ты меня себе в жены?

Если бы в эту минуту Глиндон ответил, как подсказывал ему его добрый дух, может быть, при том состоянии, которое слова Нико вызвали в ее душе, заставив ее презирать самое себя, отчаиваться в будущем и сомневаться в идеале своих мечтаний, может быть, говорю я, он возвратил бы ей уважение к самой себе, получил бы ее доверие и обрел бы ее любовь. Но при этом внезапном вопросе в душе Глиндона поднялись подозрения и колебания, которые, как сказал Занони, были врагами его души.

Неужели он попадется таким образом в западню? Не приказано ли ей было поймать благоприятную минуту, чтобы вырвать у него признание, в котором позднее он стал бы раскаиваться? Не играла ли она заранее выученную роль?

Он обернулся, и, пока в нем боролись противоречивые мысли, ему послышался насмешливый хохот Мерваля. Он не ошибался. Мерваль проходил перед домом, и Джионетта сказала ему, что его друг здесь. Кому неизвестно действие иссушающего смеха светского общества? Мерваль был олицетворением этой среды. Целый свет, казалось, смеялся над Глиндоном этим сухим, звучным смехом. Он отошел от Виолы. Она следила за ним умоляющим взглядом.

Наконец он проговорил:

- Разве таково правило, прекрасная Виола, всех ваших театральных подруг - требовать замужества как необходимого условия любви?

Подлый и жестокий вопрос! Ядовитые слова!

Минуту спустя он раскаивался в них. Он был охвачен тройными угрызениями: ума, сердца и совести. Он видел, как она была поражена этими роковыми словами. Он видел, как ее лицо покраснело, потом побледнело; потом, со взглядом печальным и решительным, скорей жалея себя, чем упрекая его, она нервно сжала руки на груди и проговорила:

- Он был прав. Простите меня. Я вижу теперь, что я действительно пария.

- Послушайте меня, Виола. Виола, простите меня!

Жестом она отстранила его и с улыбкой, полной отчаяния, прошла мимо него в свою комнату. Глиндон не осмелился удерживать ее.

IX

Выйдя из дому, Глиндон почувствовал, что Мерваль схватил его за руку. Глиндон грубо вырвался.

- Все ваши советы, - сказал он горько, - сделали из меня негодяя. Но я вернусь. Я напишу ей и изолью перед ней всю мою душу. Она меня простит еще.

Мерваль, характер которого был всегда одинаково ровен, поправил свои манжеты, немного смятые гневными движениями его друга, дал Глиндону истощить все его восклицания и упреки, а потом, как опытный рыбак, начал поправлять свои сети.

Узнав от Глиндона все, что произошло, он старался успокоить его, а не раздражать.

Нужно отдать ему должное: он не был порочен, он имел даже принципы более твердые, чем их обыкновенно имеют молодые люди. Он вполне искренне осуждал своего друга за намерения, которые он имел в отношении молодой актрисы.

- Из того, что я не хочу, чтобы она была вашей женой, не следует еще, что я желаю, чтобы вы из нее сделали свою любовницу. Между нами будет сказано, глупая женитьба все-таки лучше, чем преступная связь. Но подождите еще. Не действуйте под впечатлением минуты.

- Времени нельзя терять. Я обещал Занони дать ответ завтра. После этого мне уже не будет выбора.

- О! О! - воскликнул Мерваль. - Вот что кажется мне подозрительным. Объяснитесь.

Глиндон в пылу своей страсти рассказал своему другу все, что произошло между ним и Занони, опустив только, без особой причины, все, что касалось его предка и таинственного общества. Все эти подробности послужили в пользу Мерваля. Пречистое небо! С каким глубоким здравым смыслом он говорил! Было ясно, что существовал союз между актрисой и - кто знает - тайным ее любовником. Положение одного было двусмысленно, положение другого не менее. Как вопрос актрисы был ловок! С какой прозорливостью Глиндон под влиянием первого внушения разума проник в заговор и открыл западню! Неужели он женится, подозревая тайную связь и потому, что Занони говорил ему с важным видом, что нужно решиться до известного часа?

- Вот что вы по крайней мере можете сделать, - проговорил Мерваль. - Дайте срок; недостает только одного дня. Уничтожьте Занони. Он говорит, что встретит вас до полуночи, и просит не избегать его! Ба! Уедем из Неаполя в какую-нибудь близкую провинцию, где, если он только действительно не дьявол, он не найдет нас. Покажите ему, что не желаете, чтобы вас подталкивали к решению, которое вы сами намереваетесь принять.

Глиндон не мог оспаривать рассуждения своего друга; он не был убежден и колебался.

В эту минуту мимо них проходил Нико.

- Вы все еще думаете о Пизани?

- Да, а вы?

- Видели вы ее? Говорили вы с ней? Она станет мадам Нико раньше, чем кончится эта неделя. Я иду в кафе Толедо. Как только вы встретите вашего друга, синьора Занони, скажите ему, что два раза он стоял на моей дороге. Жан Нико хоть и живописец, но честный человек и всегда платит свои долги.

- Что касается денег, это хорошее правило, - проговорил Мерваль. - Но что касается мести, это менее морально и не так умно. Но разве он препятствовал вашей любви к Виоле? Да ведь этого не может быть, так как ваши дела в этом отношении идут недурно.

- Спросите у Виолы Пизани. Бедный Глиндон! Она только с вами так сурова. Но я не имею предрассудков. Еще раз прощайте.

- Проснитесь, - воскликнул Мерваль, хлопнув Глиндона по плечу, - что думаете вы о вашей возлюбленной?

- Этот человек лжет.

- Вы хотите написать ей?

- Нет, если все это с ее стороны только обман, то я откажусь от нее без малейшего сожаления. Я буду следить за ней, и, что бы ни случилось, Занони не будет распоряжаться моей судьбой. Вы правы; уедем из Неаполя завтра рано утром.

X

На другой день рано утром оба друга поехали верхом по направлению к Байе. Глиндон сказал в отеле, что если Занони станет спрашивать о нем, то он найдет его недалеко от этого места, столь дорогого древним.

Они проехали мимо дома Виолы; Глиндон превозмог себя, чтобы не остановиться, и, поворотив к гроту Позилипа, он поехал по дороге, которая ведет к Портичи и Помпее.

Было уже довольно поздно, когда они приехали в Портичи и остановились там, чтобы пообедать. Они вошли в довольно плохую гостиницу и обедали в палатке. Мерваль был веселее обыкновенного; он заставлял своего друга пить лакрима и болтал без умолку.

- Ну, мой милый, мы перечеркнули по крайней мере одно из предсказаний Занони; впредь вы не станете так легко верить ему.

- Иды наступили, но еще не прошли!

- Если он астролог, то вы не Цезарь. Ваше тщеславие делает вас легковерным. Слава Богу! Я не считаю себя персоной настолько важной, чтобы порядок в природе мог расстроиться, дабы напугать меня.

- Но зачем же разрушаться порядку в природе? Может быть, существует философия, которая открывает тайны природы, но не изменяет ее процессов.

- Вот, вы снова впадаете в легковерие; вы серьезно предполагаете, что Занони пророк и что он читает в будущем? Может быть, он, по-вашему, живет с гениями и духами?

В эту минуту хозяин гостиницы, маленький, толстенький человек, вошел в палатку с новой бутылкой лакрима.

Он надеялся, что их сиятельства будут довольны; он был тронут до глубины души, что им понравились его макароны. Их сиятельства едут на Везувий? В настоящую минуту происходит маленькое извержение, невидимое из гостиницы; но это красивое зрелище, и оно будет еще лучше после захода солнца.

- Прекрасная мысль! - воскликнул Мерваль. - Что вы об этом думаете, Глиндон?

- Я никогда не видел извержения, мне бы хотелось посмотреть на это зрелище.

- Но это, надеюсь, не опасно? - спросил осторожный Мерваль.

- Нисколько: гора теперь ведет себя очень вежливо. Она только играет, чтобы позабавить их сиятельств англичан, вот и все.

- Хорошо, оседлайте наших лошадей; мы поедем сейчас же. Теперь пируем.

Они допили бутылку, расплатились и вскочили на лошадей; хозяин гостиницы поклонился, и оба всадника направились к Резине. Вино и возбужденное воображение придали Глиндону вид школьника, который вырвался на свободу. Смех всадников веселым эхом отдавался в мрачных окрестностях погребенных городов.

Солнце начинало уже заходить, когда они приехали в Резину.

Они оставили там своих лошадей, взяли мулов и проводника. По мере того как мерк день, пламя вулкана становилось виднее. Наступила ночь, когда они сошли с мулов и продолжали свой путь пешком в обществе проводника и крестьянина с факелом. Проводник, как большая часть его собратов, любил поболтать, и Мерваль воспользовался этим.

- Ах, ваше сиятельство, - говорил проводник, - ваши соотечественники любят вулкан до страсти. Господь Бог да сохранит их! Они дают нам столько денег! Если бы наше состояние зависело от неаполитанцев, мы умерли бы с голоду.

- Это потому, что они нелюбознательны, - отвечал Мерваль. - Помните, Глиндон, с каким презрением сказал нам старый граф: "Вы пойдете смотреть Везувий, конечно? Я никогда не видал его. Да что там и делать? Чувствуешь холод, голод, усталость; опасность угрожает вам, и все это для того, чтобы только посмотреть на пламя, которое имеет тот же вид в камине, что и на вершине горы!" И, - прибавил он, смеясь, - и старый граф был почти прав.

- Но это не все, - проговорил проводник, - некоторые посетители поднимаются на гору без нас. Они заслуживают того, чтобы свалиться в кратер.

- Они должны быть очень храбры, чтобы идти туда без проводников. Но я думаю, не часто приходится вам видеть такую смелость?

- Изредка, синьор. Но однажды ночью я сильно перепугался. Я сопровождал одно английское семейство, дама забыла на горе свой альбом; она предложила мне значительную сумму, чтобы я достал его и принес ей в Неаполь. В тот же вечер я отправился на гору за альбомом. Я действительно нашел его и хотел уже спускаться, когда вдруг заметил человека, который как будто выходил из самого кратера. Воздух

так ядовит в том месте, что я не мог предположить, чтобы человек мог им дышать! Я был так поражен, что остановился как вкопанный. Видение прошло по горящему пеплу и остановилось перед мной. Святая Мария! Какая голова!

- Верно, отвратительная?

- Прекрасная, синьор, но ужасная. Ее вид не имел ничего человеческого.

- А что же сказала эта саламандра?

- Ничего; он как будто и не заметил меня, несмотря на то что я находился от него на таком же близком расстоянии, как теперь от вас. Привидение быстро прошло передо мной и исчезло за горой. Охваченный любопытством, я захотел увериться, буду ли я в состоянии перенести атмосферу, которой дышал таинственный посетитель, но в тридцати шагах от того места, где я его заметил в первый раз, я чуть не задохся. С тех пор я не перестаю харкать кровью.

- Держу пари, Глиндон, что вы воображаете, что этот царь пламени был не кто иной, как Занони! - воскликнул со смехом Мерваль.

В это время они дошли почти до вершины горы, и зрелище, представившееся им, было действительно великолепно. Из кратера выходил густой дым, а посреди этого дыма виднелось пламя особенной и чудной формы, точно пучок громадных перьев, диадема горы; пламя с изумительными отсветами высоко поднималось и потом падало; оно дрожало, как перо на каске воина, и бросало свет вокруг себя на мрачную почву, производя бесконечные разнообразные тени. Серные испарения увеличивали еще больше мрачное величие и зловещий ужас этой картины. На повороте горы, по направлению к едва заметному и далекому морю, контраст был замечательно хорош - чистое небо, неподвижные, спокойные звезды, - можно было сказать, что две силы, добра и зла, открылись разом взорам людей.

Глиндон, предавшись восторгу художника, стоял, глубоко задумавшись, под впечатлением смутных волнений восторга и ужаса в одно и то же время. Облокотившись на плечо своего друга, он смотрел вокруг себя и слушал с немым ужасом глухой шум подземной бури, таинственной работы природы в мрачной и страшной глубине. Вдруг из пасти кратера вылетел громадный камень и, упав с оглушительным грохотом на скалу, разбился в мелкие куски, покатившиеся один за другим с горы. Один из осколков, самый большой, ударился о землю в узком пространстве, отделявшем англичан от их проводника, в трех шагах от путешественников; Мерваль громко вскрикнул, а Глиндон вздрогнул.

- Черт возьми, - воскликнул проводник, - спускайтесь, господа, спускайтесь; не теряйте ни минуты, следуйте за мной.

Проводник и крестьянин побежали как только могли скорее. Мерваль, проворнее своего друга, последовал их примеру, но и Глиндон, более смущенный, чем испуганный, не долго оставался на месте. Не успел он сделать несколько шагов, как страшный клуб дыма вырвался из кратера. Небо исчезло, и внезапно совершенный мрак окружил Глиндона; из темноты послышался вдалеке голос проводника, но мгновенно прервался, заглушенный грохотом взрыва и подземными стонами; Глиндон остановился. Он был далеко от своего друга и проводника; он был один среди мрака и ужаса.

Темный дым рассеивался медленно и как бы неохотно; огонь еще раз осветил ужасы опасной дороги. Глиндон, оправившись от волнения, пошел дальше. Снизу он слышал голос Мерваля, призывавший его, но он не мог его видеть, голос служил ему проводником. Задыхаясь, он бросился вперед; но сперва едва слышный, а потом сильный шум поразил его слух. Он остановился и обернулся. Огненная лава переступила границы кратера и пролагала себе дорогу по извилинам горы.

Поток быстро преследовал его. В отчаянии, работая руками и ногами, взобрался он на скалу, высоко подымавшуюся над общим уровнем. Поток лавы катился вокруг него, под его ногами; потом, почти покрыв камень, на котором он стоял, он пошел дальше. Глиндон не смел спуститься и должен был вернуться к кратеру, чтобы уже оттуда, без проводника, без указаний, найти другой путь. На минуту мужество покинуло его.

В отчаянии он громко вскрикнул, чтобы позвать к себе на помощь. Ответа не было. Покинутый всеми, он почувствовал, как его дух и энергия возросли вместе с опасностью. Он подошел так близко к кратеру, как только позволяли ему удушливые испарения, потом, внимательно осмотревшись, наметил себе путь, следуя которому надеялся избегнуть потока лавы; и тогда, твердыми и быстрыми шагами, он направился к куче горячего пепла. Он сделал около пятидесяти шагов, когда вдруг остановился: непонятный, необъяснимый ужас, который до тех пор посреди всех этих опасностей не мог овладеть им, наполнил теперь все его существо. Он задрожал всем телом, мускулы отказались повиноваться его воле, он чувствовал себя как бы парализованным и пораженным смертью. Ужас, охвативший его, как я уже сказал, был совершенно

безотчетным и мистическим, ибо дорога была ясна и безопасна. Пламя за ним ровно горело вдали. Препятствий не было никаких, опасность более не угрожала ему.

И пока он стоял, пораженный внезапной паникой, прикованный к одному месту, не имея возможности ни двигаться, ни говорить, он заметил перед собой, на некотором расстоянии, постепенно принимающую форму и все более отчетливо выступающую перед его взором колоссальную тень, которая, казалось, принадлежала человеческой фигуре, но была несравненно больше человеческого роста.

Ослепительный свет вулкана, который казался бледным перед этим гигантским и таинственным видением, бросал отблеск и на другую фигуру, тихо и неподвижно стоявшую за первой. Может быть, контраст этих двух фигур - Существа и Тени - поразил Глиндона. Разница между ними казалась такой же, как между Человеком и Сверхчеловеком. Одну только секунду, что я говорю - десятую часть секунды англичанин мог перенести это зрелище. Второе извержение серных испарений, быстрее и гуще первого, разлилось по горе. И ядовитость этих испарений и сила его ужаса оказались таковы, что Глиндон, после отчаянного усилия вдохнуть в себя воздух, упал без чувств, потеряв сознание.

XI

Мерваль и проводник дошли между тем здравы и невредимы до того места, где оставили своих лошадей, и, только немного оправившись, вспомнили о Глиндоне. По мере того как проходило время, а он не показывался, Мерваль начал серьезно беспокоиться. Он настаивал, чтобы вернуться на поиски за своим другом, и наконец, благодаря самым щедрым обещаниям, уговорил проводника следовать за ним.

Они немного прошли, когда заметили две фигуры, медленно шедшие в их сторону.

Приблизившись к ним, Мерваль узнал своего друга.

- Спасен, слава Богу! - воскликнул он, поворачиваясь к проводнику.

- Ангелы небесные, спасите нас! - проговорил итальянец, вздрогнув. - Вот привидение, которое я встретил в прошлую пятницу. Это он! Но у него теперь человеческое лицо.

- Синьор, - сказал Занони, пока бледный, утомленный Глиндон машинально отвечал на восклицания Мерваля, - синьор, я сказал вашему другу, что мы увидимся сегодня ночью, и вы видите, что он не ушел от моего предсказания.

- Но каким образом? - проговорил удивленный и озадаченный Мерваль.

- Я нашел вашего друга лежащим на земле в изнеможении от сильных испарений кратера. Я вынес его на чистый воздух, и так как мне хорошо известна эта гора, я привел вам его здравым и невредимым. Вот вся история. Вы видите, сударь, что без этого пророчества, которого вы желали избегнуть, ваш друг был бы в настоящую минуту безжизненным трупом; еще одна минута, и испарения произвели бы свое действие. Прощайте, желаю вам спокойной ночи.

- Но, мой спаситель, вы нас не покинете! - воскликнул Глиндон. - Разве вы не хотите вернуться вместе с нами?

Занони на минуту задумался и отвел Глиндона в сторону.

- Молодой человек, - сказал он, - мне нужно видеть вас еще раз сегодня ночью. Вы должны до часу утра сами решить свою судьбу. Я знаю, что вы оскорбили ту, которую думаете, что любите. Еще не поздно, вы можете раскаяться, но не советуйтесь с вашим другом: у него есть разум и осторожность, но в настоящую минуту вы не нуждаетесь ни в том, ни в другом. В жизни бывают минуты, когда сердце, а не ум должно дать ответ, а вы близки к такой минуте. Я не спрашиваю у вас теперь ваш ответ. Соберите ваши мысли и вашу истощенную энергию. До полуночи остается еще два часа. До двенадцати я буду с вами.

- Непонятное существо! - воскликнул англичанин. - Я бы хотел оставить в ваших руках жизнь, которую вы мне сохранили; но то, что я видел сегодня ночью, стирает из моего воображения даже образ Виолы. Желание сильнее желания любви горит во мне, желание не походить на других людей, возвыситься над ними, желание проникнуть и разделить тайну вашего собственного существования, желание сверхъестественной науки и неземного могущества. Я сделал свой выбор. Во имя моего предка я заклинаю тебя и напоминаю тебе твою обязанность: учи меня, руководи мной, сделай меня твоим учеником, твоим рабом, и тогда я без ропота оставлю тебе женщину, которую прежде я оспаривал бы у целого света.

- Я настаиваю, чтобы ты подумал еще раз, - сказал Занони. - С одной стороны, рука Виолы, спокойная, счастливая жизнь; с другой - мрак повсюду, мрак, сквозь который мой взгляд и тот не может проникнуть.

- Но ты уж говорил, что если я женюсь на Виоле, то я должен буду довольствоваться общим для всех людей существованием, а если я откажусь от ее руки, то я могу требовать твоей науки и могущества.
- Наука и могущество не составляют счастья.
- Но они больше, чем счастье. Скажи мне, если я женюсь на Виоле, будешь ли ты моим руководителем и учителем? Ответь мне, и я приму какое-нибудь решение.
- Это было бы невозможно!
- Так я отказываюсь от нее, я отказываюсь от любви, я отказываюсь от счастья. Да будут благословенны одиночество и отчаяние, если только благодаря им можно постигнуть твою тайну.
- Я теперь не принимаю твоего ответа. Когда я приду к тебе, ты дашь мне его одним словом - да или нет. А до тех пор прощай.
Занони поклонился ему и исчез.
Глиндон догнал своего друга.
Мерваль посмотрел на него и заметил в его лице большую перемену. Неопределенного выражения молодости уже не было. Черты лица стали мрачны и строги, природная свежесть его поблекла, и можно было подумать, что за один час он пережил страдания многих лет.

XII

Когда путешественники возвращаются с Везувия, они обыкновенно въезжают в Неаполь через самый оживленный неаполитанский квартал. Но теперь, когда англичане молчаливо проезжали по пустынным улицам, освещенным только звездами, везде царило глубочайшее спокойствие. Всадники ехали, не произнося ни слова, так как Глиндон, казалось, не слушал вопросов и рассуждений Мерваля. Да и Мерваль был не менее утомлен, чем лошадь, несшая его. Но вдруг ночное спокойствие было нарушено звуками башенных часов; было без четверти двенадцать.
Глиндон вздрогнул и с беспокойством осмотрелся. При последнем ударе часов послышался лошадиный топот, и из узкой улицы, направо от англичан, показался всадник. Он подъехал к ним; Глиндон узнал Занони.
- Как! - воскликнул Мерваль. - Мы еще раз встречаемся, синьор!
- У меня есть дело к вашему другу, - отвечал Занони. - Но он будет скоро свободен; может быть, вы желаете возвратиться в отель?
- Один?
- Опасности нет никакой! - отвечал Занони с легким оттенком презрения.
- Для меня нет, но для Глиндона?!
- Опасность от меня! Действительно, вы, может быть, правы.
- Поезжайте, дорогой Мерваль, - прервал Глиндон, - я догоню вас раньше, чем вы приедете в отель. Мерваль поклонился и поехал медленной рысью.
- Ваш ответ?
- Я решился. Любовь Виолы исчезла из моего сердца; я отказываюсь от нее.
- Вы решились?
- Решился. Теперь моя награда...
- Твоя награда! Завтра в это же время она будет ждать тебя!
Сказав это, Занони повернулся, и всадник и лошадь исчезли там же, откуда показались. Мерваль с удивлением заметил своего друга, догонявшего его минуту спустя после их разлуки.
- Что такое произошло между тобой и Занони?
- Мерваль! Не спрашивайте меня об этом сегодня; мне кажется, что я все это вижу только во сне.
- Верю вам; я сам будто сплю. Поедемте дальше.
Войдя в свою комнату, Глиндон старался собраться с мыслями. Он сел на постель и крепко сжал свою голову руками. Происшествия этого дня, видение гигантской фигуры, которую сопровождал Занони посреди пламени и вихря Везувия, его странная встреча с самим Занони в таком месте, где ни один человек не мог бы найти его, - все это наполнило его душу волнением. Огонь, первые искры которого дремали, вспыхнул в его сердце, огонь горного льда, который вспыхивает, чтобы никогда не погаснуть. Все его прежние стремления, его тщеславие, его мечты о славе исчезали в пылком желании перейти границы человеческой науки и достигнуть того рубежа между двумя мирами, которого таинственный чужестранец, казалось, достиг уже давно. Он сказал правду: любовь исчезла из его сердца, в котором не осталось спокойного уголка, где бы человеческая привязанность могла жить и дышать. Он отдал бы все, что когда-либо обещала смертная красота, все, о чем мечтала когда-либо пламенная надежда, за один

час, проведенный с Занони за пределами видимого мира. Он встал, возбужденный новыми мыслями, которые жгли его, и открыл окно, чтоб свободнее дышать. Море дремало, освещенное слабым светом звезд, и никогда спокойствие неба не взывало с большим красноречием об успокоении безумных страстей человека. Но таково было расположение духа Глиндона, что эта тишина только разжигала в нем ненасытные желания, пожиравшие его душу. Он все еще смотрел на небо, когда одна звезда отделилась от группы своих сестер и исчезла в глубине пространства.

XIII

Молодая артистка и Джионетта вернулись из театра, и Виола, страшно утомленная, бросилась на софу, между тем как Джионетта убирала роскошные волосы, наполовину скрывавшие артистку. Заплетая косы, старая кормилица рассказывала маленькие происшествия, сплетни и интриги сцены и кулис. Джионетта была добрая и достойная женщина и огорчалась тем, что Виола не выбрала себе кавалера; выбор она вполне предоставляла своей госпоже: Зегри или Абенсерраг, Глиндон или Занони - для нее было решительно все равно, хотя слухи, собранные ею насчет последнего, и те похвалы, с какими Занони отзывался о своем сопернике, давали англичанину некоторое преимущество перед другими в глазах Джионетты. Она неверно воспринимала те глубокие и нетерпеливые вздохи, с которыми Виола встречала ее похвалы Глиндону, и искренне удивлялась, что нынче Виола так мало внимания уделила ему за кулисами. И наконец, истощив все свое красноречие на предполагаемый объект вздохов Виолы, она заметила:

- К тому же и про другого синьора нельзя сказать ничего дурного, разве лишь то, что он уезжает из Неаполя.

- Уезжает из Неаполя, Занони?

- Да, моя дорогая. Проходя сегодня около гавани, я заметила толпу, собравшуюся вокруг нескольких иностранных матросов. Его корабль прибыл сегодня утром и бросил якорь в заливе. Матросы говорят, что им приказано быть готовыми к отплытию при первом попутном ветре; они занимались загрузкой съестных припасов. Они...

- Оставь меня, Джионетта, оставь меня!

Прошло уже то время, когда она могла делать из Джионетты свою поверенную. Ее чувства достигли той точки, когда сердце отказывается от всякого излияния и чувствует, что оно не может быть понято. Одна, в самой большой комнате дома, она ходила взад и вперед; она вспомнила о дерзком предложении Нико, об оскорбительном ответе Глиндона, и сердце ее болезненно сжалось при воспоминании об аплодисментах, которые расточались ей как актрисе, а не как женщине и только оскорбляли ее достоинство.

Воспоминание о смерти отца, об увядших лаврах, разбитых струнах - вся эта печальная сцена припомнилась ей и ужаснула ее. Собственная ее судьба, она чувствовала это, была еще мрачнее; струны могли лопнуть, между тем как лавры были еще зелены. Лампа стала гаснуть, и она инстинктивно отвратила свой взгляд от темного угла комнаты.

Сирота, неужели ты боишься присутствия мертвых в доме своих родителей? Правда ли, что Занони уезжает из Неаполя? Неужели она его не увидит больше? О безумная! Думать, что страдание заключается в чем-то другом! Прошлое. Оно исчезло! Будущее. Без Занони какое будущее существовало для нее? Но это был третий день, а Занони сказал: что бы ни случилось, он увидит ее раньше, чем пройдет этот день. Решительный час ее судьбы приближался, но как могла она пересказать ему дерзкие слова Глиндона? Чистая и гордая душа может передавать другому свое торжество и счастье; обман и страдания - никогда. Но может ли Занони прийти так поздно? Может ли она принять его?

Было около полуночи. Измученная жестоким беспокойством и бесконечным сомнением, она, однако, оставалась все в той же комнате.

Было без четверти двенадцать, царствовала глубокая тишина; только она хотела пройти в свою спальню, как вдруг услыхала лошадиный топот; топот утих, и послышался стук в дверь. Ее сердце сильно билось; но страх уступил место другому чувству, когда она услыхала свое имя, произнесенное голосом, слишком хорошо знакомым.

Она с минуту колебалась; потом, с доверчивым спокойствием невинности, спустилась и отворила дверь.

Вошел Занони. Она последовала за ним в комнату, которую перед тем только покинула; лампа в руке освещала ее лицо и длинные волосы, распущенные по плечам.

- Виола! - проговорил Занони голосом, выдававшим глубокое волнение. - Я еще раз пришел к вам, чтобы спасти вас. Нельзя терять ни минуты. Вы должны бежать со мной, иначе вы станете жертвой князя N. Мне хотелось, чтобы другой исполнил эту задачу, вы знаете. Но он недостоин вас, этот холодный англичанин! Я у ног ваших молю вас, доверьтесь мне и бегите!

Он страстно схватил ее руку, упал на колени и поднял к ней свои блестящие и умоляющие глаза.
- Бежать с вами! - проговорила Виола, едва понимая, что происходит вокруг нее.
- Со мной! Имя, репутация, честь - все погибнет, если вы не пожелаете этого.
- Так, значит, - прошептала Виола, дрожа от волнения и отворачиваясь, - ты ко мне не совсем равнодушен? Ты не хочешь отдавать меня другому?
Занони не отвечал; но его сердце забилось, щеки покрылись румянцем, а глаза загорелись страстью.
- Отвечай, - проговорила Виола.
- Равнодушен! О нет! Но я еще не смею сказать, что люблю вас.
- Тогда какое значение имеет моя судьба? - воскликнула Виола, бледнея и сторонясь его. - Оставьте меня, я не боюсь никакой опасности. Моя жизнь, а следовательно, и честь находятся в моих собственных руках.
- Будьте благоразумны, - произнес Занони. - Послушайте! Моя лошадь ржет! Это знак, предвещающий близость опасности. Скорей! Или вы погибли!
- А что тебе до этого? - воскликнула с горечью Виола. - Ты читаешь в моем сердце, ты знаешь, что сделался властелином моей судьбы. Но быть связанной ледяной тяжестью одолжения, быть нишей в глазах твоего равнодушия, отдаться тому, кто меня не любит! Ах! Это было бы самое ужасное преступление для женщины. Дайте мне лучше умереть!
Она отбросила назад локоны, падавшие на лоб. С опущенными руками, с гордым видом и выражением горечи пламенной души, придававшим необыкновенную прелесть ее странной красоте, она была неотразима для глаз и сердца.
- Не презирайте так опасность, самую смерть, может быть! - воскликнул Занони дрожащим голосом. - Вы не можете себе представить того, что вы требуете; пойдемте. - Он подошел к Виоле и взял ее за талию. - Пойдемте, Виола, верьте по крайней мере моей преданности.
- А не твоей любви! - воскликнула итальянка с упреком.
Ее взгляд встретился с глазами Занони. Он чувствовал, как сердце Виолы билось, он не мог оторваться от ее глаз, ее горячее дыхание касалось его щеки. Он вздрогнул - гордый, таинственный Занони, который, казалось, так отрешен от людей. С глубоким вздохом он прошептал:
- Виола, я люблю тебя! - Он упал к ее ногам и страстно продолжал: - Теперь я не приказываю больше; как должно умолять женщину, так умоляю я тебя. С тех пор как я в первый раз увидел твои глаза и услыхал твой голос, ты стала для меня слишком дорога. Волшебство, о котором ты говорила, оно живет в тебе. Я уехал из Неаполя, чтобы избегнуть твоего присутствия, но твой образ преследовал меня. Проходили месяцы, годы, а твой нежный взгляд все еще озарял мое сердце. Я вернулся, потому что видел тебя одинокой и печальной, потому что я знал, опасности, от которых я мог спасти тебя, угрожают тебе. Прекрасная душа, тебя хотел я отдать кому-нибудь, кто на этой земле мог бы сделать тебя счастливее, чем могу сделать я. Виола!.. Виола!.. Ты не знаешь, ты никогда не узнаешь, до какой степени ты мне дорога!
Невозможно найти слова, чтобы описать восторг, полный, абсолютный восторг, наполнивший сердце неаполитанки. Тот, на кого она смотрела как на стоявшего даже выше любви, был у ее ног и выказал большую покорность и смирение перед ней, чем те ее поклонники, которых она наполовину презирала. Она молчала, но ее глаза говорили; а потом, тихо и как бы замечая наконец, что человеческая любовь овладела его душой, она почувствовала беспокойство чистой и добродетельной натуры. Она не смела, она даже не подумала задать ему вопрос, который бесстрашно предложила Глиндону; но она почувствовала внезапную холодность... ей показалось, что преграда поднимается между нею и любовью.
- Занони, - прошептала она с опущенными глазами, - не проси меня бежать с тобой, не соблазняй меня, - ты хотел защищать меня от других. О! Защити меня от самого себя.
- Бедная сирота! - нежно воскликнул он. - Можешь ли ты думать, что я прошу у тебя величайшей жертвы, какую женщина может принести любви? Ты моя жена, ты соединена со мной навсегда всеми нитями, всеми желаниями, которые могут укрепить и очистить любовь. Увы! Любовь оклеветали в твоих глазах. Те, кто действительно любят, стараются всевозможными узами и клятвами удержать за собою сокровище, которым они владеют. Виола, не плачь! По крайней мере до тех пор, пока ты мне не дашь право стереть эти слезы моими поцелуями!
Ее прекрасное лицо не отворачивалось больше, оно доверчиво опустилось на грудь Занони; он нагнулся, их губы встретились в долгом, горячем поцелуе... опасность, жизнь, свет - все было забыто.
Вдруг Занони быстро вырвался из ее объятий.

- Слышишь ты этот ветер, который вздыхает и затихает? Как этот ветер - сила, которая у меня была, чтобы спасти тебя, защитить, предвидеть грозу на твоем горизонте... этой силы у меня нет больше! Но что мне до этого? Скорей! Скорей! Пусть любовь заменит все, что она решилась потребовать себе в жертву. Пойдем.

Виола уже не колебалась. Она накинула на плечи плащ, собрала свои распущенные волосы; еще одна минута, и она была готова, как вдруг послышался страшный шум в низу лестницы.

- Слишком поздно! Безумный, слишком поздно! - воскликнул Занони, направляясь к двери.

Он открыл ее и был отброшен назад толпой похитителей. Комната наполнилась масками, вооруженными с ног до головы. Двое из этих негодяев уже схватили Виолу - крики ее донеслись до Занони. Он бросился к ней. Виола услыхала его призыв на непонятном языке, увидела оружие бандитов, направленное в его грудь, и потеряла сознание.

Когда же пришла в себя, то поняла, что сидит связанная в быстро мчащейся карете наедине с одетым в маску и неподвижным спутником.

Карета остановилась при входе в мрачное здание. Двери отворились без малейшего шума, широкая лестница, ярко освещенная, представилась ее глазам. Она находилась во дворце князя N.

XIV

Молодую актрису привели и оставили одну в комнате, убранной в роскошном полувосточном вкусе. Ее первая мысль была о Занони. Жив ли он еще? Спасся ли он здравым и невредимым от кинжалов бандитов? Он, ее новое сокровище, новый свет ее жизни, ее руководитель и, наконец, ее возлюбленный!

Ей не долго пришлось думать; послышались шаги; она вскочила, но не испугалась. Смелость, которая не была ей свойственна, которой она до тех пор не знала, наполнила и возвысила все ее существо. Живая или мертвая, но она будет верна Занони! Теперь у нее был новый повод защищать свою честь.

Дверь отворилась, и вошел князь в роскошном наряде, который носили в то время в Неаполе.

- Красавица! - проговорил он, подходя к ней с полуулыбкой на губах. - Ты не будешь строго судить насилие, вызванное любовью?

И он попытался взять ее за руку. Она оттолкнула его.

- Подумай, - продолжал он, - ты теперь во власти человека, который никогда не колебался, если желал достигнуть цели, хотя бы она была менее драгоценна, чем ты. Тот, кто тебя любит, несмотря на всю свою дерзость, не может спасти тебя. Ты принадлежишь мне; но вместо того, чтобы быть твоим властелином, позволь мне быть твоим рабом.

- Князь, - гордо отвечала Виола, - вы напрасно хвастаете. Ваша власть! Я не в вашей власти. Моя жизнь или смерть зависит от меня. Я не хочу вас презирать, но я не боюсь вас. Я чувствую - а в ином чувстве содержится вся сила, все знание божественного, - что мне нечего бояться даже здесь, но вы, князь N, вы сами ввели опасность под ваш кров, привели ее к вашему очагу.

Неаполитанец был поражен смелостью и величием, каких не ожидал. Но это был не тот человек, который отказался бы от плана, раз составленного им.

Он подошел к Виоле и собирался было ответить ей с искренней или наигранной страстью, как вдруг кто-то постучал в дверь комнаты.

Князь, раздраженный этой помехой, отворил дверь, нетерпеливо спрашивая, кто осмелился ослушаться его приказаний и мешать ему.

Вошел Маскари, бледный и сильно взволнованный.

- Ваше сиятельство, - проговорил он вполголоса, - простите меня, но пришел какой-то незнакомец и непременно хочет видеть вас. Судя по некоторым его словам, я нашел нужным даже ослушаться ваших приказаний.

- Незнакомец, в такое время! Что ему нужно? Почему его впустили?

- Он говорит, что дело идет о вашей жизни. Об опасности, которая угрожает ей, он желал бы сообщить лично вашему сиятельству.

Князь нахмурился и побледнел. Он на минуту задумался, потом подошел к Виоле и проговорил:

- Верьте мне, прелестное создание, что я не желаю злоупотреблять своей властью, я тысячу раз предпочел бы ждать внушений любви... В этих стенах вы можете себя чувствовать королевой в гораздо большей степени, чем на сцене. На эту ночь прощайте!.. Да будет ваш сон спокоен и благоприятен моим надеждам.

Сказав это, он удалился, а Виолу окружили прислужницы, которых она с трудом отослала прочь: она не хотела ложиться спать и провела всю ночь в осмотре комнаты и в мыслях о Занони, могущество которого внушало ей почти сверхъестественную веру.

Между тем князь спустился с лестницы и вошел в комнату, куда провели незнакомца.

Он был закутан с ног до головы в длинный плащ, какие иногда носили священники. Черты лица его были замечательны, цвет лица так темен, что казалось, он происходил от народов Востока. Из-под высокого лба сверкал такой проницательный взгляд, что князь старался избегать его, как мы стараемся скрыться от судьи, который проникает в самые преступные мысли нашего сердца.

- Что вам угодно? - спросил князь, прося незнакомца сесть.

- Князь N, - отвечал последний глубоким и приятным голосом с легким иностранным акцентом, - последний отпрыск самого сильного и мужественного рода, который подчинил человеческой воле божественный гений вместе со злобой и величием; потомок великого рода Висконти, история которого есть история самой Италии в ее славные дни и величие которого было делом самого могущественного ума, созревшего в ненасытном честолюбии, я пришел посмотреть на последнюю звезду этого неба, которое навсегда омрачится. Завтра в это же время у нее не будет своего места в пространстве. Ваши дни сочтены, если только не изменится ваш характер!

- Что это означает? - спросил князь с видимым удивлением и тайным ужасом. - Не пришел ли уж ты угрожать мне в моем собственном доме? Или ты желаешь предупредить меня об опасности? Кто ты, шарлатан или незнакомый друг? Отвечай же яснее: что за опасность угрожает мне?

- Занони и шпага твоего предка, - отвечал иностранец.

- А-а!.. - проговорил князь с презрительной улыбкой. - Я был уверен в этом. Ты сообщник или орудие этого ловкого, но теперь уничтоженного мною обманщика? И ты, конечно, пришел сказать мне, что если я освобожу одну пленницу, то опасность исчезнет и рука Провидения сохранит меня.

- Суди обо мне, как желаешь, князь N. Да, я знаю Занони. Ты тоже узнаешь его могущество, но только тогда, когда он победит тебя. Мне хотелось бы спасти тебя, вот почему я и пришел сюда предупредить тебя. Ты спросишь меня, почему? Я сейчас отвечу тебе...

Помнишь ли ты странное предание про твоего деда? Про его жажду знания, более высокого, чем знание школ и монастырей? Помнишь ли, что говорили о чужестранце с Востока, который был его другом и учителем в знании, против которого Ватикан напрасно метал свои бессильные молнии? Помнишь ли судьбу своего предка? Знаешь ли ты, что, наследник одного только имени, не имея другого наследства, после легкомысленной и распутной жизни, подобной твоей, он исчез из Милана? Знаешь ли ты, каким образом после многих лет он снова вернулся в город, где царствовали его предки? Как с ним пришел мудрец с Востока, таинственный Мейнур? Как все, встречавшие их, замечали с удивлением и страхом, что время не наложило своего отпечатка на его лоб, что молодость, казалось, была оставлена ему навсегда? Разве ты не знаешь, что с той минуты счастье не покидало его? Дальние родственники его умирали, поместья одно за другим переходили в руки разорившегося дворянина! Он сделался руководителем принцев, первым магнатом Италии. Он основал род, которого ты последний потомок, и перенес свои владения из Милана в Сицилию. Видения ненасытного честолюбия преследовали его днем и ночью. Если бы он жил дольше, Италия имела бы новую династию и Висконти царствовали бы в сей возрожденной Элладе. Это был человек, каких свет видит редко; но его цели были слишком земные и непропорциональны средствам, которыми он пользовался, чтобы осуществить их. Если бы у него было больше честолюбия или поменьше его, он был бы достоин большего царства, чем Цезарь, - достоин нашего высокого духовного ордена, достоин дружбы Мейнура, которого ты видишь теперь перед собой!

Князь, с глубоким вниманием слушавший своего странного гостя, задрожал при его последних словах и вскочил с места.

- Обманщик! - вскричал он. - Как смеете вы играть таким образом моим легковерием? После смерти моего предка прошло шестьдесят лет; будь он жив, ему было бы теперь сто двадцать лет; а вы, старик еще свежий и сильный, называете себя его современником! Но вы плохо заучили нашу сказку. Вы не знаете, что мой предок, мудрый и знаменитый во всем, кроме доверчивости, которую он питал к этому шарлатану, был найден мертвым в своей постели, в то время когда его громадные планы были готовы к исполнению, и что убийца был этот самый Мейнур.

- Увы, - отвечал иностранец грустно, - если бы он слушался Мейнура, если бы он отложил последнее, самое опасное испытание смелой науки до тех пор, пока не истек бы срок, необходимый для полного посвящения в таинства, ваш предок был бы теперь вместе

со мной на вершине скалы, которую вечно штурмуют волны самой смерти, не в силах сокрушить ее. Ваш предок не исполнил моей просьбы, ослушался моих решительных приказаний, и в смелости души, жаждущей тайн, недоступных тому, кто желает владеть скипетром и короной, он пал жертвой своего собственного безумия.

- Он был отравлен, и Мейнур бежал.

- Мейнур не бежал, - гордо отвечал иностранец, - Мейнур не может бежать от опасности, так как для него она уже давно не существует. Накануне того дня, когда герцог принял роковой напиток, с помощью которого он надеялся достичь бессмертия, я бросил его, видя, что моя власть над ним кончилась. Но довольно об этом. Я любил вашего предка, и мне бы хотелось спасти последнего из его рода... Не противьтесь Занони, не предавайтесь вашим страстям и отойдите от пропасти, пока еще есть время. На твоем челе и в глазах я вижу часть славы, бывшей уделом твоего рода. В тебе есть, Висконти, зачатки наследственного гения; но они подавлены пороками более постыдными, чем обычные пороки твоего рода. Помни, род твой вырос благодаря гению, а порок всегда мешал долговечности его могущества. В законах вселенной написано, что порок не может быть долговечен. Будь умен и слушайся уроков истории. Ты стоишь на границе двух миров, прошлого и будущего; как из одного, так и из другого раздаются голоса, предупреждающие тебя. Я кончил... Прощай.

- Нет, ты не уйдешь из этих стен. Я хочу подвергнуть испытанию твою власть. Эй! Кто-нибудь!..

Князь громко закричал, комната наполнилась его слугами.

- Берите этого человека! - закричал он, указывая на то место, где стоял Мейнур.

К его удивлению, к его невыразимому ужасу, место было пусто.

Таинственный незнакомец исчез, как дым. Только легкий и благовонный пар наполнял комнату.

- Помогите его сиятельству! - закричал Маскари.

Князь без чувств упал на пол.

В продолжение нескольких часов он находился как бы в исступлении. Когда же он очнулся, то отослал всех, и слуги потом долго слышали, как он медленно ходил по комнате взад и вперед. Только за час до назначенного праздника он как будто совершенно пришел в себя.

XV

После своего последнего свидания с Занони Глиндон провел ночь в глубоком и тяжелом сне и проснулся при ярком свете солнца.

Он встал со странным чувством спокойствия, которое было скорей результатом решимости, чем истощения. Происшествия и волнения предшествующей ночи перешли в ясные впечатления. Он только мельком думал о них. Его занимало будущее. Он походил на посвященного в древние египетские мистерии, который переступил порог только для того, чтобы еще сильнее желать проникнуть в святилище.

Он оделся и с радостью узнал, что Мерваль отправился с несколькими соотечественниками на остров Искья. Он провел самые жаркие часы дня в полнейшем одиночестве, погруженный в мысли, и мало-помалу образ Виолы предстал перед ним. Он отказался от нее и не раскаивался, а между тем чувствовал себя смущенным при мысли, что всякое раскаяние будет слишком поздно. Он вскочил со своего места и быстро дошел до дома артистки. Дорога была неблизкая, воздух удушлив. Глиндон пришел к дому усталый и еле дыша.

Он постучался, ответа не последовало. Он отворил дверь и вошел; поднялся по лестнице - ни малейшего звука, ни малейшего признака жизни.

В первой комнате на столе лежала гитара и рукописные партитуры из опер. Он остановился, собрал все свое мужество и постучал в двери следующей комнаты. Она была полуотворена; в комнате было тихо, он вошел. Это была спальня Виолы; священное место для влюбленного, и храм был достоин божества. Все было просто, редкие украшения отличались изящным вкусом; несколько книг на полках, несколько цветов, полузавядших в вазе лепной работы в этрусском стиле.

Солнце бросало свои лучи на белые обои; подле постели, на стуле, лежало несколько туалетных принадлежностей. Виолы не было; а кормилица, разве она тоже ушла? Он громко произнес имя Джионетты - даже эхо не ответило ему.

Но в ту минуту, как он выходил из дому, он издали заметил Джионетту. Старуха радостно вскрикнула, увидев его; но, к их общему отчаянию, ни тот ни другая не могли дать удовлетворительного объяснения случившемуся.

Джионетту разбудил ночью сильный шум; но раньше, чем она собралась с силами, чтобы спуститься, Виолы уже не было; на дверях она заметила следы взлома, и все, что она

узнала от соседей, было то, что один бродяга из своего убежища видел при свете луны карету, которую принял за экипаж князя N.

Глиндон, получив эти сведения от рыдающей старухи, оставил ее и побежал во дворец Занони. Там он узнал, что синьор отправился на праздник князя N и вернется поздно.

Глиндон остановился в растерянности и ужасе, не зная, что думать и что делать. Мерваля и того не было, чтобы посоветоваться с ним. Совесть жестоко мучила его. Он имел возможность спасти женщину, которую любил, и он отказался от этого; но Занони, каким образом не удалось ему?.. Почему он отправился на праздник самого похитителя? Значит, Занони не знал, что произошло? Если так, то разве он должен терять время, чтобы предупредить его?

Нерешительный во всем, что касалось его внутреннего мира, Глиндон был храбр как никто в мире внешнем: он решился идти во дворец князя. Если Занони не удалось предприятие, то он, Кларенс Глиндон, потребует вернуть пленницу, жертву измены и насилия, в апартаментах самого князя, на глазах собравшихся гостей.

XVI

Мы просим читателя вернуться на несколько часов назад. Начинало только что рассветать; двое мужчин стояли на балконе, до которого доходил запах распустившихся цветов. Звезды еще виднелись на небе, птицы еще спали; но какая разница между спокойствием наступающего дня и торжественным покоем ночи!

Стоявшие на балконе одни только, казалось, не спали, это были Занони и таинственный незнакомец, который час тому назад заставил дрожать князя в его собственном дворце.

- Нет! - говорил этот последний. - Если бы ты подождал, чтобы получить высший дар, до тех пор, пока достиг бы зрелых лет и испытал потери, которые меня самого охладили прежде, чем я сделался его обладателем, тогда ты избежал бы проклятия, на которое ты жалуешься теперь; ты не стал бы сожалеть о краткости человеческой привязанности в сравнении со временем твоего существования, так как ты пережил бы всякое желание, всякую мечту о любви женщины. Ты, самый блестящий и, без этой роковой ошибки, самый духовный, может быть, в нашем высоком Братстве, стоящем между человечеством и небожителями, - ты будешь оплакивать безумие, внушившее тебе желание унести красоту и страсти молодости в мрачное величие земного бессмертия.

- Я не раскаиваюсь, я не стану раскаиваться, - отвечал Занони. - Восторг и страдания, странное сочетание которых придало моей судьбе такое разнообразие, лучше, чем спокойное и ледяное течение твоей одинокой жизни; ты ничего не любишь, ничего не ненавидишь, ничего не чувствуешь и проходишь сквозь мир молчаливо и безрадостно.

- Ты ошибаешься, - отвечал тот, которого мы назвали Мейнуром, - я равнодушен к любви, мертв для всех страстей, могущих волновать человеческое сердце, но я не умер для более высших наслаждений. Я переживаю, спускаясь по течению бесчисленных годов, не бурные желания молодости, а спокойные и разумные радости зрелых лет. Я сам благоразумно навсегда отказался от молодости, когда отделил свою судьбу от людских судеб; не будем же друг другу завидовать и упрекать. Мне бы хотелось спасти этого неаполитанца, Занони (если ты хочешь, чтобы тебя так звали), во-первых, потому, что его предок был отделен от нашего ордена только последней и невидимой преградой, а во-вторых, потому, что я знаю, в нем есть задатки мужества и могущества его предков, задатки, которые могут сделать его достойным стать одним из нас. На земле редко встретишь таких людей, которым природа дала бы качества, способные выдержать это испытание. Но время и разврат, притупившие его чувства, притупили также и его воображение, и я его предаю его судьбе.

- Итак, Мейнур, ты питаешь еще надежды возродить при помощи новых учеников орден, состоящий теперь лишь из нас двоих! Конечно же, твоя опытность должна была бы научить тебя, что в тысячу лет едва ли рождается одно существо, которое могло бы пройти сквозь страшные врата, ведущие в другой мир! Твой путь разве не усыпан твоими жертвами? Отвратительный вид их агонии и ужаса, кровавое самоубийство, страшное безумие, разве они не стоят перед тобой и не заставляют тебя отказаться от твоих безумных, тщеславных мечтаний и не указывают на путь, ведущий к человеческим привязанностям?

- А разве, - перебил Мейнур, - у меня не было успехов, вознаграждавших меня за все потери? Могу ли я отказаться от этой высокой надежды, единственной достойной нашего возвышенного ордена, от надежды сотворить могущественную многочисленную расу, имеющую власть и силу заставить людей признать над собою власть нашего могущественного царства, от надежды сделаться действительными властелинами этой планеты, завоевателями, может быть, других миров, властителями враждебных и злобных племен, которые окружают нас теперь, расу, которая в своей бессмертной судьбе могла

бы подняться до небесной славы и стать, наконец, вровень с существами, окружающими Трон Тронов? Что такое тысяча жертв для одного адепта на пути к этой цели?

И вы, Занони, - продолжал Мейнур после минутного молчания, - вы сами должны, если эта привязанность к смертной красоте, которую вы позволили себе вопреки своей натуре, выльется в нечто большее, чем преходящая фантазия... вы должны однажды, в глубине своей души, причастной к высшей и вечной сущности, допустить, что вы можете преодолеть все препятствия на пути к тому, чтобы возвысить любимое вами существо до своего уровня. Не прерывайте меня! Можете ли вы спокойно видеть, как болезни и опасности будут угрожать ей, видеть, как лета обременят ее своей тяжестью, глаза ее поблекнут, красота тоже, между тем как ее сердце будет еще молодо и привязано к вам? Будете ли вы в состоянии видеть все это и знать, что от вас зависит...

- Довольно! - перебил его Занони яростно. - Какую судьбу можно сравнить с судьбой смерти от ужаса? Самых холодных мудрецов, самых пылких энтузиастов, самых суровых воинов с железными нервами находили после их первого шага на страшном пути мертвыми, с помутившимися от ужаса глазами, устремленными на что-то невидимое; не думаешь ли ты, что эта слабая женщина, которая бледнеет при малейшем шуме у окна, при крике ночной птицы, при капле крови на шпаге мужчины, - не думаешь ли ты, что она могла бы выдержать этот взгляд?.. При одной мысли о том, что она должна увидеть, даже я становлюсь трусом.

- Когда вы ей сказали, что любите ее, когда вы прижали ее к своему сердцу, вы отказались от власти предвидеть ее будущее или спасать ее от опасности. С этих пор вы для нее человек, и только человек! Что же вы знаете об искушениях, которые ожидают вас? Разве вы знаете о том, к чему приведет ее любопытство и ее смелость и мужество? Но довольно об этом. Вы настаиваете на вашем решении?

- Роковое слово уже произнесено.

- А завтра?

- Завтра в этот час наш корабль снимется с якоря, и тяжесть веков спадет с моего сердца. Безумный мудрец, мне жаль тебя! Ты отказался от своей молодости!

XVII

Конечно, князь N был не такой человек, которого Неаполь мог бы подозревать в суеверии. Однако на юге Италии существовал тогда и даже теперь существует, среди самых смелых философов и скептиков, дух удивительного легковерия.

В детстве князь слышал рассказы о честолюбии, гении и странной судьбе своего предка, и, может быть, под тайным влиянием этого примера он изучал в молодости науки не только всеми признанные, но еще старался проникнуть в древние и таинственные познания. Я сам видел в Неаполе маленькую книгу с гербом Висконти, которая толкует алхимию наполовину насмешливым, наполовину почтительным тоном, которую приписывают самому князю.

Удовольствия скоро отвлекли его от этих занятий, и его неоспоримые способности были исключительно посвящены безумным интригам или выставлению напоказ пышной роскоши, которую он демонстрировал с какой-то классической грацией. Его огромное богатство, его гордость, дерзкий характер делали его предметом ужаса для слабых и робких придворных душ. А министры ленивого и праздного правительства смотрели сквозь пальцы на его эксцессы. Странное посещение и еще более странное исчезновение Мейнура наполнили удивлением и ужасом сердце неаполитанца, и против этого впечатления его высокомерная гордость и утонченный скептицизм напрасно боролись. Призрак Мейнура представил ему Занони в новом виде, в каком он еще не представлялся ему. Он почувствовал сильное беспокойство при мысли, какого соперника он приобрел, какого врага нажил.

Когда, за несколько часов до праздника, он совершенно пришел в себя, то с мрачной твердостью решился привести в исполнение вероломные планы, уже давно составленные им. Ему казалось, что смерть Занони была необходима для его собственной безопасности, и если уже в начале их соперничества он заранее приговорил Занони, то предостережения Мейнура еще более утвердили его в этом решении.

- Посмотрим, дошло ли его знание до знакомства с противоядием, - проговорил он вполголоса и со зловещей улыбкой.

Потом он позвал Маскари. Яд, который князь смешал своими собственными руками с вином, назначенным гостю, был составлен из субстанций, тайна которых была семейным достоянием рода, давшего Италии самых мудрых и жестоких тиранов.

Действие этого яда было быстро: он не вызывал страдания, не оставлял на лице никаких следов, которые бы могли пробудить подозрение; самые искусные врачи не могли бы найти в теле причины смерти. В продолжение двух часов жертва ничего не

чувствовала, кроме легкого возбуждения в крови. Потом начиналась какая-то слабость, предвестница апоплексии. Тогда уже не было спасения.

Час празднества наступил; гости начали собираться. Это был цвет неаполитанского дворянства. Последним приехал, наконец, Занони, и толпа расступилась, чтобы пропустить блестящего чужестранца к хозяину дома. Князь принял его с многозначительной улыбкой, на которую Занони отвечал вполголоса:

- Иногда можно проиграть даже и с фальшивыми костями.

Князь закусил губу, а Занони прошел мимо и начал разговор с Маскари.

- Кто наследник князя? - спросил он.

- Дальний родственник со стороны матери; мужская линия прекращается с его сиятельством.

- Наследник в числе гостей?

- Нет! Князь никогда не видит его.

- Все равно, завтра он будет здесь.

Маскари с удивлением посмотрел на него, но в эту минуту подали сигнал начала праздника, и гости прошли в залу.

Пир по традиции начался вскоре после полудня. Зала была длинная и овальная, одна сторона выходила в сад, в котором виднелись фонтаны и мраморные статуи, наполовину спрятанные в апельсинных деревьях. Устроители употребили все свое искусство, чтобы свежесть и прохлада сменили душную дневную атмосферу.

Разговор велся более оживленно и умно, чем он обыкновенно ведется на юге, так как князь, сам человек умный и образованный, принимал у себя не только лучшие умы своей страны, но также и людей, веселая и легкомысленная жизнь которых придавала монотонности неаполитанской жизни элемент разнообразия. Между гостями было двое или трое французов, много путешествовавших, и их разговор мог только нравиться обществу, вся вера и философия которого заключалась вкратце в dolce far niente.

Князь, однако, был менее общителен, чем обыкновенно, и в минуты, когда он старался преодолеть себя, в его движениях было что-то принужденное. Он брал тоном ниже или выше естественной веселости.

Занони, напротив того, был совершенно спокоен и ровен в обращении, которое приписывали его знанию света. Его нельзя было назвать веселым, а между тем никто так, как он, не поддерживал общего оживления. Французы в особенности восхищались его превосходным знанием самых мелких событий, происходивших на их родине, и проницательность, которая выражалась в его эпиграммах на главных участников тогдашних событий, была для них предметом глубокого удивления. Глиндон приехал во дворец, когда праздник был уже в полном блеске. По его костюму слуги поняли, что он не из числа приглашенных. Поэтому ему сказали, что его сиятельство нельзя видеть, и только тогда Глиндон понял все, что было странного и затруднительного в решении, которое он принял. Силой войти в залу знатного и могущественного вельможи, окруженного чуть не всем дворянством Неаполя, и обвинить его в том, на что его гости смотрели как на достойный подвиг, значило совершить такой поступок, который все восприняли бы с насмешкой. Он с минуту колебался, потом, опустив золотой в руку слуги, сказал, что ему необходимо видеть Занони и что речь идет о жизни последнего. Благодаря этому средству он смог проникнуть во двор, а потом и во дворец. Он поднялся по широкой лестнице; веселые голоса гостей долетали до него. При входе в комнаты он позвал пажа и послал его с поручением к Занони. Паж повиновался, и Занони, услыхав имя Глиндона, повернулся к хозяину.

- Простите меня, один из моих друзей, англичанин, синьор Глиндон, которого вы, без сомнения, знаете по имени, ждет меня. Придя в такой час, он имеет, вероятно, сообщить мне что-либо крайне важное. Вы позволите мне удалиться на минуту?

- Не лучше ли будет, - отвечал князь с любезной, но зловещей улыбкой, - если ваш друг присоединится к нам? Англичанин всегда желанный гость, но будь он хоть голландец, ваша дружба достаточная для него рекомендация. Мы не можем обойтись без вас, даже одну минуту.

Занони поклонился, а паж вернулся к Глиндону, любезно прося его от имени хозяина принять участие в празднестве.

Молодой англичанин вошел в залу.

- Милости просим. Позвольте мне надеяться, что вы приносите нашему знаменитому гостю приятные новости, - сказал князь. - Если вам нужно передать что-нибудь грустное, то отложите, пожалуйста, это сообщение.

Глиндон был мрачен, он хотел ответить, но Занони тронул его за руку и сказал по-английски:

- Я знаю, зачем вы меня ищете. Молчите и наблюдайте за тем, что произойдет.

- Вы, значит, знаете, что Виола, которую, как вы уверяли, можете оградить от опасностей, находится...
- В этом дворце. Да. И я знаю еще то, что убийца князя сидит по правую руку от него; его судьба и судьба Виолы навсегда разделены, и таинственное зеркало, в котором я читаю, остается светлым и ясным, несмотря на потоки крови. Будьте покойны и узнайте судьбу, ожидающую злодея.
Потом, обращаясь к князю, он продолжал:
- Ваше сиятельство! Синьор Глиндон действительно принес мне новости, которые я до некоторой степени предвидел. Я принужден покинуть Неаполь, однако это обстоятельство дает мне лишний повод весело провести сегодняшнюю ночь.
- А можно узнать причину отъезда, который, без сомнения, огорчит всех наших прекрасных неаполитанок?
- Это близкая смерть человека, который почтил меня своей дружбой, - серьезно отвечал Занони. - Но будет говорить об этом, печаль не возвратит потерю. Мы заменяем старые цветы, которые вянут в вазах, новыми; так мудрость требует, чтобы мы заменяли новыми дружбами те, которые вянут на нашем пути.
- Благоразумная философия! - воскликнул князь. - "Ничему не удивляйтесь" было правилом римского поэта, и "ничем не огорчайтесь" - мое правило. Ничто в жизни не достойно печали, за исключением, может быть, случая, синьор Занони, когда красавица, которой мы поклоняемся, ускользает от нас. Нужно владеть громадной силой воли, чтоб не поддаться отчаянию и не принять с радостью смерть. Как вы думаете, синьор? Вы улыбаетесь. Вы не боитесь подобного несчастья? Поддержите мое пожелание: долгая жизнь счастливому любовнику и быстрый конец тому, надежды которого обмануты.
Кубок Занони наполнили роковым вином; Занони устремил глаза на князя и спокойно проговорил:
- Я пью за ваше здоровье, синьор, даже это вино!
Он поднес кубок к губам. Князь страшно побледнел. Взгляд Занони, твердый и строгий, остановился на нем и заставил его задрожать под тяжестью его преступления.
Занони выпил до дна и проговорил беспечно:
- Вы слишком долго держали это вино, оно потеряло свои достоинства и может повредить некоторым людям, но не бойтесь: мне оно не сделает вреда, князь. Синьор Маскари, вы знаток, скажите нам ваше мнение.
- Я не люблю кипрского вина! - воскликнул Маскари с хорошо подделанным спокойствием. - Оно бросается мне в голову. Синьор Глиндон, может быть, не имеет такого отвращения к нему: англичане любят, как я слышал, теплое, опьяняющее вино.
- Вы желаете, чтоб мой друг испробовал этого вина? Не забудьте, что не все могут пить его, как я, безнаказанно.
- Нет, - отвечал поспешно князь, - если вы не хвалите вино, то Боже сохрани, чтобы мы угощали им своих гостей! Герцог, - продолжал он, поворачиваясь к одному французу, - Франция родина винограда; что вы скажете об этом бургундском вине? Хорошо оно перенесло путешествие?
- Ради Бога, - прервал Занони, - переменимте вино и разговор.
И он стал говорить еще оживленнее. Гости никогда не видали такого легкого, блестящего, веселого ума.
Все были в восторге, даже князь и Глиндон были поражены. Князь, которого слова и взгляды Занони в ту минуту, как он выпил яд, наполнили мрачными предчувствиями, находил теперь даже в блеске его ума неминуемый признак роковой силы напитка.
Один за другим гости пришли в восторженное состояние, между тем как Занони ослеплял их своими нескончаемыми шутками и анекдотами. Но какая горечь была в этом оживлении, какое презрение к своим собутыльникам и их пустому существованию заключалось в его словах!
Стало темнеть. Праздник уже на несколько часов перешел обыкновенные границы подобных собраний. Между тем никто и не думал об уходе, и Занони с блестящими глазами и с насмешливой улыбкой расточал сокровища своего ума, как вдруг показалась луна и осветила цветы и бассейны сада, оставляя залу в таинственной полутьме. Занони встал.
- Господа, - проговорил он, - надеюсь, что мы еще не надоели хозяину, а эти сады представляют новое искушение продлить наш праздник. Нет ли у вас, князь, нескольких музыкантов, которые могли бы занять нас, пока мы вдыхаем аромат ваших апельсинных деревьев?
- Превосходная мысль! - воскликнул князь. - Маскари, пошлите за музыкой.
Все поднялись, чтобы отправиться в сад, и только тогда действие вина, выпитого ими, дало себя чувствовать. Едва держась на ногах, гости отправились в сад.

Как бы для того, чтобы вознаградить себя за долгое молчание, с каким они слушали Занони, все заговорили разом, никто не слушал. Было что-то ужасное в контрасте чудной красоты ночи с криками шумного собрания. Один француз, молодой герцог де Р., человек высшего круга, живой, разговорчивый, как все дети его нации, был особенно шумлив. Так как обстоятельства, воспоминание о которых сохраняется еще до сих пор в некоторых неаполитанских кружках, сделали позже необходимыми показания герцога насчет того, что произошло тогда, я передам здесь краткий рассказ, который я, узнал лично от своего веселого друга, герцога де Р.

"Я не помню, - писал герцог, - чтобы чувствовал когда-либо такое возбуждение, как в тот вечер. Мы походили на школьников, вырвавшихся из класса, мы толкали друг друга локтями, спускаясь в сад с громким смехом и говором. Вино, так сказать, выставляло характер каждого. Одни были шумливы и задиристы, другие грустны и печальны; те же, кого мы считали за скромных и молчаливых, сделались откровенны и разговорчивы. Я помню, как во время этого веселья и криков я посмотрел на синьора Занони, разговор которого очаровал нас всех, и почувствовал какую-то ледяную дрожь, заметив на его лице ту же спокойную и холодную улыбку, которая не сходила с его лица во все время, пока он нам рассказывал любопытные и странные анекдоты двора Людовика XIV.

По правде сказать, я чувствовал себя расположенным поссориться с человеком, спокойствие которого казалось как бы оскорбительной насмешкой над нашей шумливостью.

И не один я испытывал раздражающее действие его насмешливого спокойствия. Некоторые из моих товарищей говорили мне после, что при виде Занони у них кровь кипела и их веселость превращалась в ненависть. Казалось, его холодная улыбка имела особенную способность оскорблять тщеславие и вызывать гнев. В эту минуту подошел ко мне князь, взял меня под руку и увел далеко от остальных гостей. Он пил не меньше нас в продолжение праздника, однако вино не произвело в нем такого же возбуждения. В его наружности и разговоре была какая-то высокомерность, гордое презрение, которые, несмотря на то что он старался оказывать нам самое любезное внимание, раздражали мое самолюбие. Казалось, пример Занони заразил и его, и он стал подражать, злоупотреблять манерой иностранца. Он поднял меня на смех по поводу некоторых придворных слухов, где мое имя произносилось в связи с именем одной сицилийской дамы знатного происхождения и редкой красоты; он выказывал презрение к тому, на что я смотрел бы как на честь.

Он стал говорить, наконец, что один срывал все лучшие цветки Неаполя и с презрением оставлял нам, иностранцам, подбирать их после него! Мое самолюбие, как человека и француза, было задето. Я ответил ему в насмешливом тоне, который, конечно, не позволил бы себе, если бы был хладнокровнее. Он же захохотал и отошел, оставив меня в еще большем раздражении.

Может быть, это вино произвело во мне такое действие, и я стал искать ссоры, только в ту минуту, как он отошел от меня, я обернулся и заметил подле себя Занони.

- Князь фанфарон, - сказал он мне с той же улыбкой, которая мне так не понравилась. - Ему хотелось бы присвоить себе и все богатство, и всю любовь. Отомстим ему.

- Но как?

- В его доме в настоящую минуту находится самая красивая из певиц Неаполя, знаменитая Виола Пизани. Она здесь не по своему желанию, так как он насильно похитил ее; но он уверяет, что она обожает его. Настоим же на том, чтобы он показал нам это сокровище, и когда она войдет, герцог Р. может не сомневаться, что его комплименты и внимание польстят прекрасной Виоле и вызовут ревнивые подозрения ее похитителя. Это было бы справедливое наказание за его дерзкое высокомерие.

Предложение очень понравилось мне. Я поспешил за князем. Музыка только что зазвучала, знаком я остановил ее, и, обращаясь к князю, стоявшему посреди самой оживленной группы молодых людей, стал обвинять его в том, что он предлагает нам таких посредственных музыкантов, а для себя оставляет лютню и голос первой артистки Неаполя. Я попросил наполовину шутливым, наполовину серьезным тоном, чтобы нам показали Пизани. Моя просьба была принята общими криками одобрения.

Хозяин пытался отказать нам, но мы заглушили его слова громкими криками.

- Господа, - проговорил князь, когда наконец мы умолкли, - если бы я даже согласился на ваше предложение, то никогда не смог бы уговорить синьору выйти к такому шумному обществу. Вы слишком благородны для того, чтобы принуждать ее, хотя герцог Р. забывается до такой степени, что поступает так со мной.

Задетый за живое этим упреком, которого я заслуживал до некоторой степени, я отвечал:

- Князь, у меня перед глазами столь благородный пример насилия, что я не колеблясь иду по дороге, на которой вы далеко перегнали меня. Весь Неаполь знает, что Пизани презирает ваше золото и вашу любовь и что одно только насилие могло увлечь ее под

вашу кровлю. Вы отказываетесь представить нам ее, потому что боитесь ее жалоб, потому что достаточно знаете тех людей, которых ваше тщеславие старается осмеять, чтобы быть уверенным: французский дворянин всегда готов предложить красавице и сердце, и защиту.

- Вы правы, - сказал Занони, - князь не смеет показать нам свою добычу.

Князь стоял несколько минут задумавшись, он казался раздраженным. Наконец он разразился оскорбительными восклицаниями насчет Занони и меня. Занони ничего не отвечал. Я был более раздражителен и вспыльчив.

Гости находили удовольствие в нашей ссоре, только один старался восстановить спокойствие, это был Маскари. Но мы не слушали его. Остальное легко отгадать. Мы спросили шпаги; один из присутствующих принес мне две. Я собирался сделать выбор, но Занони подал мне другую, рукоятка которой, искусно вырезанная, свидетельствовала о ее древности.

В ту же минуту он проговорил, глядя на князя с улыбкой:

- Князь, герцог выбирает шпагу вашего предка! Вы слишком храбры, чтобы быть суеверным, но вы не забыли о нашем условии?

При этих словах мне показалось, что хозяин вздрогнул и побледнел, однако ответил на улыбку Занони презрительным взглядом.

В следующую минуту сделалось какое-то непонятное смятение и беспорядок. Между шестью или восемью из присутствующих началась страшная свалка; но мы искали друг друга, князь и я. Шум, окружавший нас, смятение гостей, крики музыкантов, удары наших шпаг только возбуждали нашу ярость. Мы боялись, чтобы нас не разъединили; мы дрались с бешенством, без правил, без методы. Я наносил удары, машинально отражал их, ослепленный, вне себя, как будто сам дьявол был во мне, до тех пор, пока наконец я не увидел князя, лежащего у моих ног в крови, и Занони, говорящего ему что-то на ухо.

Это зрелище отрезвило нас всех. Борьба кончилась. Исполненные стыда, угрызений совести и ужаса, мы окружили нашего несчастного хозяина, но было уже поздно, он закатывал глаза. Я видел многих умиравших, но никогда не случалось мне видеть лица, выражавшего столько ужаса и испуга.

Наконец все было кончено. Занони поднялся и, взяв с большим хладнокровием шпагу, которую я держал в руке, спокойно проговорил:

- Вы свидетели, господа, что князь сам заслужил свою судьбу. Последний из знаменитого рода погиб в ночной драке.

Я больше не видел Занони, я отправился к нашему посланнику и рассказал ему все происшедшее. Меня признали невиновным как неаполитанское правление, так и наследник несчастного князя N.

Подписано: Луи Виктор, герцог де Р.

Этот документ содержит самые мельчайшие подробности происшествия, которое произвело сильное впечатление на весь Неаполь. Глиндон не принимал участия в ссоре.

Когда Занони встал и удалился с места происшествия, Глиндон заметил, что, проходя сквозь толпу гостей, он слегка коснулся плеча Маскари и проговорил что-то, чего англичанин не расслышал.

Глиндон последовал за Занони в банкетный зал, полный мрачных ночных теней и лишь местами освещенный полосами лунного света.

- Каким образом могли вы предсказать это ужасное событие? Он погиб не от вашей руки! - спросил Глиндон дрожащим голосом.

- Генерал, рассчитывающий на победу, лично не сражается, - отвечал Занони. - Оставим прошедшее и мертвых в покое. В полночь вы должны быть на морском берегу, в полумиле направо от вашего отеля. Вы узнаете место по одинокой колонне, к которой привязана сломанная цепь. В этом месте и в этот час, если ты хочешь быть посвященным в наше общество, ты найдешь учителя. Ступай! У меня есть здесь дело. Помни, что Виола еще в этом дворце.

В ту же минуту вошел Маскари; Занони простился с Глиндоном, и тот медленно удалился.

- Маскари, - проговорил Занони, - ваш покровитель умер; ваши услуги будут не нужны его наследнику, человеку порядочному, которого бедность спасла от порока. Что касается вас самого, будьте благодарны, что я не предаю вас палачу! Вспомните о кипрском вине. Не дрожите! Напиток был бессилен против меня, но мог подействовать на других. Я прощаю вас, и если я умру от действия вина, то обещаю вам, что моя тень не станет смущать покой такого достойного человека. Но довольно об этом. Проведите меня в комнату Виолы Пизани. Вам она не нужна, а смерть тюремщика открывает двери тюрьмы. Скорей, я хочу ехать.

Маскари проговорил несколько невнятных слов, поклонился и повел Занони в комнату, где была заперта Виола.

XVIII

За несколько минут до полуночи Глиндон направился к месту свидания. Таинственная власть, которую Занони имел над ним, еще более укрепилась последними событиями вечера; внезапная катастрофа с князем, так точно предсказанная и такая случайная, вызванная, казалось, самыми ординарными причинами, поразила его до глубины души, исполнив ее чувствами восхищения и ужаса. Ему почти казалось, что этот мрачный и таинственный человек владеет силой делать из самых простых обстоятельств орудия своей непреклонной юли.

А между тем, если это так, почему он допустил похищение Виолы? Отчего не предотвратил он преступления, вместо того чтобы наказывать преступника?

Действительно ли Занони любит Виолу? Любить и предлагать ее Глиндону, сопернику, которого он мог так легко уничтожить стоим тайным искусством!

Он теперь видел, что Занони и Виола не хотели обмануть его и женить против воли. Страх и уважение, которое он чувствовал к первому, не позволяли ему подозревать обман.

А сам он, любит ли он еще Виолу? Нет. Когда утром он узнал об опасности, к нему вернулись, правда, симпатия и нежность; но со смертью князя ее образ исчез из его сердца, и он не испытывал ни малейшего чувства ревности при мысли, что она спасена Занони и что в этот самый час она находится, может быть, в его доме.

Кто когда-либо в продолжение своей жизни был пожираем страстью игры, тот может вспомнить, как все другие занятия, все другие помыслы исчезали из его души, как он был порабощен исключительно этою страстью. Благодаря какому-то магическому могуществу демон игры овладевал всеми его мыслями, всеми его чувствами!

В тысячу раз сильнее этой страсти игрока было возвышенное желание, царившее в сердце Глиндона. Он хотел быть соперником Занони, но не в человеческой любви, а в сверхъестественном, вечном знании. Он был готов отдать с радостью, с восторгом свою жизнь, чтобы узнать тайны, отделявшие таинственного иностранца от человечества.

Ночь была светлая, волны едва колыхались у его ног, когда он проходил по морскому берегу. Он дошел наконец до указанного места и увидал там прислонившегося к колонне человека в длинной мантии. Он подошел ближе и произнес имя Занони.

Человек обернулся, Глиндон увидал незнакомца, лицо которого, не имея красоты Занони, имело такое же величественное выражение, только, может быть, еще более властное, благодаря возрасту и спокойной глубине мыслей, на которые указывали его широкий лоб и глубокие, проницательные глаза.

- Вы ищете Занони, - проговорил незнакомец, - он сейчас придет; но тот, кого вы видите перед собой, может быть более связан с вашей судьбой и может скорей исполнить ваше желание.

- Разве на земле есть еще другой Занони?

- Если нет, - отвечал незнакомец, - зачем же вы питаете надежду и желание самому стать Занони? Вы, может быть, думаете, что до вас никто не имел такого же пылкого желания? Кто в своей молодости, когда душа находится ближе к небу, откуда она пришла, и ее божественные, лучшие, первоначальные устремления не стерты еще роковыми страстями и мелочными заботами, не питал веры, что вселенная содержит тайны, не известные никому из простых смертных, и не вздыхал об источниках вод, которые находятся далеко-далеко, в глубине пустыни недоступной науки? Музыка этого источника слышится в душе, пока она на ложном пути не удаляется от священных вод и странник не умирает в огромной пустыне. Думаешь ли ты, что из всех тех, кто питал эту надежду, ни один не нашел истины или что эта жажда тайной науки дана нам напрасно? Нет! В сердце человека нет ни одного желания, которое не было бы предчувствием того, что существует в далеком мире. Нет! На этом свете иногда появлялись более блестящие и более счастливые умы, которые достигли областей, где живут существа выше человека. Занони велик, но он велик не один. У него были свои предшественники, у него будут, может быть, последователи.

- Вы хотите сказать мне, - проговорил Глиндон, - что я вижу в вас одного из тех редких и могущественных духов, которых Занони не превышает ни в силе, ни в мудрости?

- Во мне, - отвечал незнакомец, - вы видите того, кто открывает самому Занони самые высшие тайны. На этом берегу, на этом месте я уже был в те времена, о которых молчат ваши летописи. Финикийцы, греки, римляне, ломбардцы - я их всех видел! - блестящие, легкие листья великого древа вселенской жизни, не раз рассеянные по миру и вновь зеленеющие, пока наконец та же раса, давшая свою славу древнему миру, не одарила

второй молодостью новый свет. Так как эллины, происхождение которых было неразрешимой задачей для ваших ученых, вышли из той же великой семьи, что и нормандское племя, рожденное, чтобы везде быть властелинами мира, а не рабами. Темные предания говорят, что сыны Эллады пришли из обширных стран Северной Фракии, чтобы сделаться покорителями пастушеских племен пеласгов {Древнейшее население Греции.} и основателями расы полубогов. Эти сыны Эллады даруют смуглому местному населению Минерву с голубыми глазами и Ахилла с белокурыми волосами (характерные типы Севера); они вводят в пастушескую жизнь военную аристократию, ограниченную монархию и феодализм классической эпохи. Этих признаков было бы достаточно, чтобы проследить становление первоначальных учреждений эллинов в тех самых странах, откуда в менее отдаленные времена нормандские воины напали на дикие и воинственные орды кельтов, чтобы со временем самим стать греками христианского мира... Но эти вопросы не интересуют вас, и ваше равнодушие к ним оправданно. Не в знании внешних предметов, а во внутреннем совершенстве состоит цель человека, жаждущего стать сверхчеловеком.

- А в каких книгах заключается эта наука? В какой лаборатории производятся эти опыты?

- Сама природа снабжает нас матерьялами, они вокруг вас, под вашими ногами: в траве, которую пожирает животное и которую презирает ботаник, в элементах, в источниках каждого вещества и в воздухе, в мрачных недрах земли - везде открываются смертным сокровища и источники бессмертной науки. Но даже задачи самой простой науки темны для тех, кто не сосредоточивает в себе силы своего ума; как рыбак вон в той лодке не скажет вам, почему два круга могут соприкасаться только в одной точке, точно так же, если бы земля и была наполнена книгами, излагающими божественную науку, они все-таки не имели бы значения для того, кто не захотел бы изучить их язык и медитативно постигнуть истину. Молодой человек! Если твое воображение достаточно пылко, если твое сердце смело, а жажда знания ненасытна, я приму тебя в свои ученики. Но первые уроки суровы и ужасны.

- Если ты их выучил, почему же не выучу их я? - смело спросил Глиндон. - Я чувствовал с самого детства, что странная тайна окружала мою жизнь. И нередко, пренебрегая целями обыкновенного земного честолюбия, я пристально вглядывался в облака и во тьму, простирающуюся за ними. В тот день, как я увидал Занони, я почувствовал, что открыл руководителя и учителя, которого призывала моя молодость в своих бесплодных мечтаниях.

- И его миссия перешла ко мне, - отвечал незнакомец. - Там, в бухте, качается корабль, который должен унести Занони в более прекрасные места. Скоро поднимется ветер, надуются паруса, и Занони умчится, как ветер, уносящий его. Но как ветер, он оставляет в твоем сердце семена, которые могут принести цветы и плоды. Занони исполнил свою задачу, ему больше нечего делать; тот, кто должен кончить его дело, стоит перед тобою... Но я слышу шум его весел. Ты выберешь и решишь, должны ли мы увидеться снова.

С этими словами незнакомец медленно удалился и исчез в тени утесов. На воде показалась лодка, она причалила к берегу, и из нее вышел человек. Глиндон узнал Занони.

- Глиндон! Я не могу уже дать тебе счастливой любви. Час прошел, и ее рука, которая могла бы принадлежать тебе, навсегда соединена с моей. Но у меня есть неистощимые дары, которые я передам тебе, если ты откажешься от надежды, пожирающей твое сердце и последствий осуществления которой я сам не могу предвидеть. Будь твое честолюбие человеческим, я мог бы удовлетворить его. Существуют четыре вещи: любовь, богатство, слава, могущество. Первую я тебе дать не могу, остальные три в моем распоряжении: выбирай, что хочешь, и расстанемся в мире!

- Я этих даров не желаю, я выбираю знание, которым ты владеешь. Для него, и только для него, отказался я от любви Виолы, его одно желаю я иметь в награду!

- Не в моих силах отказать тебе, но я должен предостеречь: желание учиться не всегда заключает в себе способность воспринять знание. Я могу дать тебе, правда, учителя, но остальное зависит от тебя. Будь благоразумен, пока есть еще время, и бери то, что я могу дать тебе.

- Ответьте на мои вопросы, и по вашему ответу я решу. Во власти ли человека влиять на существа стихии? Во власти ли человека повелевать элементами и обезопасить жизнь от шпаги и болезни?

- Все это, - отвечал Занони, - возможно для небольшого числа людей; но на одного, который достигает этого могущества, приходятся тысячи других, которые погибают, пытаясь добиться его.

- Еще один вопрос. Ты...

- Остановись! О себе, как я уже говорил, я не даю отчета.
- Хорошо, а человек, которого я видел сегодня вечером, должен ли я верить его словам? Действительно ли он один из тех избранников, кто, как ты, ведает тайны, которые я желаю узнать?
- Безрассудный! - воскликнул Занони. - Твой выбор сделан. Мне остается сказать тебе одно: "Будь мужествен и да сопутствует тебе успех!" Да, я дам тебе учителя, который имеет власть и волю открыть тебе двери ужасного мира. Мне бы хотелось просить его пощадить тебя, но он не послушает меня. Мейнур! Прими твоего ученика.
Глиндон обернулся, и его сердце забилось при виде незнакомца, приближения которого он не слышал и не заметил.
- Прощай, - продолжал Занони, - твое испытание начинается. Когда мы снова увидимся, ты будешь жертвой или победителем.
Глиндон следил за ним, пока он удалялся. И только когда Занони спустился в лодку, стало видно, что там, кроме гребцов, была женщина.
Она поднялась, махнула Глиндону рукой в знак прощания, и через неподвижный воздух до него долетел чистый голос Виолы:
- До свидания, Кларенс, я прощаю тебя! До свидания! Он хотел отвечать, но голос изменил ему; для него Виола была навсегда потеряна. Она уезжает с ужасным чужестранцем, мрак покрывает ее судьбу! Эту судьбу он решил вместе со своею. Лодка, все уменьшаясь, помчалась по мягким волнам вдоль лунной дорожки, увлекая с собой влюбленных, и превратилась в еле различимое пятно, которое вскоре коснулось борта корабля. В ту же минуту поднялся свежий ветер; Глиндон повернулся к Мейнуру и прервал молчание:
- Скажи мне, можешь ли ты читать в будущем, скажи мне, что судьба ее будет счастливой и что она по крайней мере сделала мудрый выбор.
- Мой ученик, - отвечал Мейнур ледяным тоном, - твоя первая обязанность заключается в том, что ты должен подавлять всякую мысль, всякое чувство, всякую симпатию, привязывающую тебя к другому. Первоначальная ступень знания заключается в том, чтобы сделать из самого себя предмет для твоего изучения, твой мир. Ты выбрал свою участь, ты отказался от любви, от богатства, славы и могущества. Что тебе за дело до человечества? Совершенствовать свои способности, сосредоточивать свои чувства - вот твоя единственная цель!
- А результатом будет ли счастье?
- Если счастье существует, - отвечал Мейнур, - то оно должно заключаться во внутреннем мире, из которого должны быть исключены всякие страсти. Но счастье есть высшая ступень существа, а ты стоишь еще на пороге первой ступени.
Мейнур говорил, а видневшийся вдали корабль распускал паруса и медленно удалялся от берега. Глиндон вздохнул, и учитель вместе с учеником направили свои шаги к городу.

ТОМ ВТОРОЙ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

СТРАЖ ПОРОГА

I

Месяц спустя после отъезда Занони и знакомства Глиндона с Мейнуром двое англичан прогуливались по Толедской улице.
- Я вам повторяю, - говорил один с жаром, - что если в вас осталась хоть капля здравого смысла, то вы возвратитесь со мною в Англию. Этот Мейнур еще более опасный обманщик, чем Занони, потому что смотрит на свою роль еще серьезнее. К чему сводятся, в конце концов, все его обещания? Вы сами сознаетесь, что нет ничего неопределеннее. Вы говорите, что он оставил Неаполь и избрал себе убежище, более подходящее для его занятий, чем многолюдные города, и это убежище находится среди опаснейших бандитов Италии, куда даже правосудие не смеет проникнуть. Нечего сказать, уединение, достойное мудреца! Я трепещу за вас. Что, если этот иностранец, о котором никто ничего не знает, в заговоре с разбойниками? Что, если они только посягают на ваше богатство или даже на вашу жизнь? Очень может быть, что, отдав половину состояния, вы еще дешево отделаетесь! Вы презрительно улыбаетесь. Хорошо! Посмотрим на вещи с вашей точки зрения. Вы собираетесь подвергнуться испытанию, про которое сам Мейнур говорит, что оно не особенно соблазнительно. Выдержите вы его или нет, это еще вопрос. В случае неуспеха вам грозят самые ужасные бедствия, в случае успеха вам будет не лучше, чем этому мрачному и нелюдимому мистику, которого вы

взяли в учителя. Бросьте эти глупости и пользуйтесь вашей молодостью. Вернитесь со мною в Англию, забудьте эти мечты, вступите на поприще, предназначенное для вас, изберите лучший предмет для вашей привязанности, чем эта итальянская авантюристка. Позаботьтесь о вашем состоянии, зарабатывайте деньги, сделайтесь человеком счастливым и известным. Вот вам совет друга, и надо сказать, что эта будущность стоит обещаний Мейнура.

- Мерваль, - возразил Глиндон тоном человека, не желающего быть убежденным, - я не могу, если бы и хотел, последовать вашим советам. Какая-то высшая сила руководит мною, я не могу противиться ее влиянию. Я пойду до конца по странному пути, на который я вступил. Не думайте более обо мне. Идите сами по тому пути, который мне предлагаете, и будьте счастливы.

- Это безумие, - сказал Мерваль, - ваше здоровье и так уже расстроено, вы так переменились, что вас узнать нельзя. Поедем со мной. Я уже вписал ваше имя в свой паспорт. Я через час уеду, и вы, юноша, останетесь без друзей, в руках этого безжалостного шарлатана.

- Довольно, - холодно отвечал Глиндон, - ваши советы теряют всю свою силу, когда вы не скрываете своего предубеждения. И я уже имею основательные доказательства, - и его лицо сильно побледнело, - могущества этого человека, если только он человек, в чем я иногда сомневаюсь, и, будь что будет, я не отступлю ни перед чем. Прощайте, Мерваль; если мы никогда больше не увидимся и вы услышите, что Кларенс Глиндон уснул вечным сном, то вы скажете нашим прежним друзьям: "Он умер достойною смертью, как тысячи до него, отыскивая истину!"

Он пожал руку Мерваля и, быстро оставив его, исчез в толпе.

На углу Толедской улицы его остановил Нико.

- А! Глиндон! Я целый месяц не видал вас. Где вы прятались? Или вы работали?

- Да.

- Я еду в Париж. Едемте со мною. Там нуждаются в талантах, и вы могли бы иметь успех.

- Благодарю, но у меня в настоящее время другие планы.

- Какой лаконизм! Что с вами? Или вас так печалит потеря Пизани? Делайте, как я, я уже утешился с Бианкой Саккини, восхитительной, образованной женщиной, без всяких предрассудков. Она, я полагаю, будет для меня полезна. Что же касается этого Занони...

- Ну, и что же?

- Если я когда-нибудь нарисую сатану, то моделью для него будет Занони. Настоящее мщение художника, не так ли? Кроме шуток, я его ненавижу!

- Почему?

- Почему? Разве он не увез женщину и приданое, которые мне предназначались? Впрочем, - прибавил он задумчиво, - если бы даже вместо вреда он принес мне пользу, я все-таки ненавидел бы его. Его наружность, его лицо были бы для меня предметом ненависти. Я чувствую, что в нас живет взаимная антипатия. Я чувствую также, что когда мы снова встретимся, то ненависть Жана Нико будет не так бессильна. И мы с вами также, дорогой собрат, может быть, еще встретимся. Да здравствует республика! Я еду в мой новый мир.

- А я - в мой. Прощайте.

Мерваль в тот же день уехал из Неаполя; а на другой день утром Глиндон верхом выехал из города.

Он направился к живописной, но опасной части страны, которая в то время была наполнена разбойниками, и немногие путешественники решались проезжать через нее без сильного конвоя даже среди белого дня.

Трудно себе представить более уединенную дорогу, чем та, по которой ехал Глиндон. Перед ним расстилались громадные пространства, вполне предоставленные капризам дикой и роскошной растительности Юга. Время от времени только дикая коза испуганно глядела на него с вершины утеса или крик хищной птицы нарушал безмолвие. Это были единственные признаки жизни, нигде не видно было ни малейшего следа человека.

Погруженный в свои страстные и мрачные думы, молодой человек продолжал свой путь до тех пор, пока солнечный зной не начал наконец сменяться вечерней прохладой и слабый ветерок не поднялся с моря, невидимого и далекого, которое осталось по правую руку. В эту минуту из-за поворота дороги Глиндон увидал деревню, вытянутую вдоль дороги и печальную, какие часто встречались в самой середине Неаполитанского королевства; он подъехал к маленькой часовне на краю дороги, украшенной нишей с изображением Мадонны.

Вокруг этой капеллы находилось около полдюжины грязных и несчастных существ, которых проказа изгнала из среды общества. Они подняли нестройный крик при виде

всадника и, не сходя с места, протянули свои исхудалые руки, моля о милостыне во имя Девы Марии.

Глиндон поспешно бросил им несколько монет, отвернувшись, дал шпоры лошади и замедлил скорость только при въезде в деревню. По обеим сторонам узкой и грязной улицы теснились какие-то мрачные и свирепые фигуры; одни стояли, опершись о стены своих черных хижин, другие сидели на пороге, третьи лежали; вид их возбуждал сострадание и в то же время внушал страх.

Они молча следили взглядом за Глиндоном, иногда обменивались многозначительными словами, но не мешали ему продолжать путь. Даже дети перестали болтать и пожирали его сверкающими взглядами, говоря матерям: "Завтра будет праздник".

Действительно, это были хижины, куда не решалось проникать правосудие и где насилие и убийства царили безраздельно, - деревня, каких было много в самых живописных частях Италии и где слово крестьянин было вежливым синонимом разбойника.

Взглянув вокруг себя, Глиндон почувствовал некоторый страх, и вопрос, который он хотел задать, замер на его губах.

Наконец из одной полуразрушенной хижины вышел человек, казавшийся важнее других. Он был одет более опрятно и щеголевато, чем другие. На его черных вьющихся волосах была надета суконная шапка с золотой кистью, падавшей ему на плечо, усы его были тщательно расчесаны, на его мускулистой шее был повязан пестрый шелковый платок, а на куртке из грубой материи было нашито несколько рядов филигранных пуговиц; тщательно вышитые штиблеты обрисовывали атлетические формы, и за цветной пояс были заткнуты два пистолета с серебряной насечкой и нож, какой носят итальянцы низшего сословия, с рукояткой из слоновой кости и богатой насечкой. Его костюм довершал небольшой карабин прекрасной работы, висевший у него за спиною. Он был среднего роста, имел атлетическую, но стройную фигуру, а его правильное, загорелое лицо выражало скорее смесь смелости и откровенности, чем жестокости, и производило довольно приятное впечатление.

Глиндон внимательно посмотрел на него, остановил лошадь и спросил дорогу в Горный замок.

Услышав этот вопрос, итальянец снял шапку и, подойдя к Глиндону, положил свою руку на шею его лошади.

- Значит, вы тот, кого ждет наш шеф, синьор? - сказал он тихо. - Он поручил мне проводить вас в замок. И надо сказать правду, что иначе с вами могло бы случиться несчастье.

Он отошел немного и крикнул:

- Эй, вы! Друзья, впредь и навсегда уважайте этого кавалера. Это гость нашего возлюбленного патрона из Горного замка. Да живет он долгие годы. И да пребудет он, как и его хозяин, в безопасности днем и ночью, в горах и в ущельях, да минет его нож и пуля в опасности и в жизни. Горе тому, кто тронет хоть один волос на его голове или хоть одну монету в его кошельке. С сегодняшнего дня и навсегда мы будем уважать его и верно служить ему до смерти!

- Да будет так! - хором отвечала сотня голосов, и все собрались вокруг путешественника.

- И, - продолжал странный покровитель, - чтобы его всегда можно было узнать, я повязываю его белым шарфом и говорю ему священный пароль: Мир храбрым! Синьор, пока вы будете носить этот шарф, самый гордый между нами поклонится вам. Если вы произнесете этот пароль, самые храбрые сердца склонятся перед вашей волей. Если вам понадобится убежище, если вы захотите отомстить, или завоевать красавицу, или уничтожить врага, скажите священное слово, и мы ваши! Не так ли, друзья?

И снова грубые голоса закричали "Да будет так!".

- А теперь, - шепотом прибавил итальянец, - если у вас есть несколько лишних монет, то бросьте их толпе, и едем!

Глиндон, восхищенный этим заключением, опорожнил на дорогу весь свой кошелек, и в то время, как мужчины, женщины и дети среди брани, благословений и проклятий оспаривали друг у друга добычу, бандит взял за повод лошадь Глиндона, заставил ее скорой рысью проехать улицу деревни, повернул налево, и через несколько минут деревня и жители исчезли, а по обе стороны дороги отвесно поднимались горы. Тогда проводник выпустил повод и, замедлив шаги, устремил на Глиндона полусерьезный, полунасмешливый взгляд.

- Ваше сиятельство, может быть, не ожидали такого дружеского приема? - сказал он.

- По правде сказать, его трудно было и ожидать, так как синьор, к которому я еду, не скрыл от меня истинного характера соседнего с ним населения... А как ваше имя, друг мой, если я могу вас так назвать?

- О, не церемоньтесь со мной, ваше сиятельство... В деревне меня обыкновенно зовут маэстро Паоло. Прежде у меня, правда, было довольно двусмысленное прозвище, но я забыл его с тех пор, как удалился от света.

- Что заставило вас поселиться в горах?

- Откровенно говоря, синьор, - отвечал с веселой улыбкой бандит, - пустынники моего сорта не особенно любят исповедь. Но, как бы то ни было, когда я здесь, в горах, со свистком в кармане и карабином за спиной, у меня нет тайн.

Затем Паоло три раза кашлянул и начал говорить с большим увлечением. Но по мере того, как его рассказ подвигался, его воспоминания увлекли его более назад, чем он желал сначала, и его беззаботная развязность уступила место воодушевлению, свойственному детям его страны.

- Я родился в Террачине, прекрасная страна, не правда ли? Мой отец был ученый монах знатного происхождения. Моя мать, царство ей небесное, - хорошенькая дочь трактирщика. Само собою разумеется, что брак между ними был невозможен, и, когда я родился, монах пресерьезно объявил, что мое рождение было чудесным. С колыбели я предназначался к духовному званию; по мере того как я рос, монах усердно занимался моим образованием, и я выучился по-латыни так же быстро, как дети, не столь чудесные, выучиваются свистеть. Но старания святого человека не ограничились этим. Обязанный обетом соблюдать бедность, он делал так, что карманы моей матери были всегда полны. Скоро между этими карманами и моими образовалось тайное сообщение, так что в четырнадцать лет я уже носил шапку набекрень, пистоли за поясом и приобрел все манеры щеголя. В это время моя мать умерла, и в это же время мой отец написал историю папских булл в сорока томах, и так как я уже сказал, что он был из знатного семейства, то ему дали кардинальскую шапку. С этого времени он счел удобным отречься от вашего покорного слуги. Он поместил меня к одному почтенному неаполитанскому нотариусу и для начала положил мне двести экю на содержание. Ну, синьор, я скоро изучил право, настолько, чтобы понять свою неспособность отличиться на этом поприще, и вместо марания бумаг стал ухаживать за дочерью нотариуса. Мой патрон открыл наши невинные забавы и выгнал меня вон.

Это было очень неприятно, но моя Нинета любила меня и заботилась, чтобы я не ночевал на улице с лаццарони {Название деклассированных люмпенских элементов в Южной Италии.}. Мне кажется, что я еще теперь вижу ее, как она босиком тихонько отворяет мне двери и проводит в кухню, где голодного влюбленного всегда ждала бутылка вина и кусок хлеба. Однако Нинета наконец охладела, это вечная история: отец нашел ей отличную партию в лице старого, богатого продавца картин. Она взяла мужа и захлопнула дверь перед носом любовника. Я не пришел от этого в отчаяние, напротив того, - когда молод, в женщинах нет недостатка. Не имея ни гроша, я поступил матросом на испанское судно. Занятие было менее веселое, чем я ожидал; к счастью, на нас напали пираты, половина экипажа была убита, другая взята в плен. Я принадлежал ко второй, как вы видите, синьор, так что счастье мне благоприятствовало. Я понравился капитану пиратов. "Будь нашим", - сказал он мне. "С удовольствием", - отвечал я.

Итак, я сделался пиратом! Прекрасная жизнь! Как я благословлял нотариуса, выгнавшего меня. Праздники, битвы, любовь, ссоры! Иногда мы выходили на берег и жили как князья. Я провел таким образом три года, синьор, но тогда во мне разыгралось честолюбие, я начал составлять заговор против капитана, я захотел занять его место. В одну прекрасную ночь мы нанесли удар. Корабль был далеко от земли, море было тихое, ни малейшего ветерка, полная луна. Нас было более тридцати человек, мы бросились в капитанскую каюту. Старый волк предчувствовал опасность и встретил нас с пистолетами в руках. "Сдайся, - закричал я, - твоя жизнь будет пощажена". "Вот тебе", - возразил он.

И просвистела пуля, но святые мне покровительствовали, пуля до меня не дотронулась, а уложила наповал стоявшего сзади меня боцмана. Я бросился на капитана, и другой пистолет разрядился, не причинив никому вреда. Мы схватились врукопашную, но я не мог вынуть своего ножа. Между тем весь экипаж был на ногах, одни за капитана, другие против. Слышались крики, проклятия, выстрелы и стоны умирающих, глухой шум тел, падавших в воду. В этот день акулы хорошо поужинали. Наконец старый Бильбоа оказался сверху, и блеснул его нож. И он вонзил его по рукоятку - не в мое сердце, а в левую руку (я успел подставить ее), и кровь хлынула фонтаном, как у кита. Под силой удара тучный старик согнулся, и наши носы соприкоснулись. Своей правой рукой я успел схватить его за горло и перевернул его, как ягненка, синьор. И клянусь, вскоре с ним было покончено. Брат боцмана, толстый голландец, пригвоздил его пикою к полу. "Старина, - сказал я капитану, когда он уставился на меня страшным взглядом, - я не

желал тебе зла, но ты знаешь - всякий должен преуспеть в этом мире!" Капитан сделал отвратительную гримасу и отдал душу дьяволу.

Я вышел на палубу. Какое зрелище! Двадцать храбрецов лежали убитыми в луже крови на палубе, и луна, синьор, спокойно блестела в ней, как будто это была вода! Но мы победили, корабль стал мой. Я очень весело командовал им полгода. Однажды мы напали на французскую посудину вдвое больше нашей. Какой праздник! У нас давно не было хорошей драки, и мы начинали становиться уже девицами. Но тут мы воспользовались случаем - судно и груз оказались нашими. Они хотели размозжить голову капитану, но это было против наших правил, мы заковали его и оставили с остатками экипажа на нашем судне, которое было страшно повреждено, и смело подняли на французском наш черный флаг. Однако счастье оставило нас с той минуты, как мы бросили нашу старую посудину. Разразилась страшная гроза, и она дала течь, многие из нас бежали на шлюпке. У нас было много золота, но ни капли воды. В течение двух суток мы ужасно страдали и наконец вышли на землю около одного французского порта. Судьба сжалилась над нами. И так как мы имели деньги, то были вне подозрений, ибо люди обычно подозревают тех, кто их не имеет. Тут мы скоро забыли перенесенные страдания, подлатали судно, и меня стали воспринимать как самого великого капитана, который когда-либо вышагивал по палубе. Но, увы, судьбе было угодно, чтобы я влюбился. О, как я любил мою прелестную Клару!.. Да, я так любил ее, что почувствовал отвращение к моей прошлой жизни. Я решил раскаяться, жениться на ней и сделаться честным человеком. Я собрал моих товарищей, сообщил им мое решение, отказался от командования и советовал им уехать. Они последовали моему совету, и я не слыхал о них больше. У меня осталось две тысячи экю, с этой суммой я получил согласие отца на дело, и было решено, что я приму участие в его торговле. Бесполезно говорить, что никто не подозревал о моей морской славе. Я выдал себя за сына неаполитанского ювелира, а не кардинала. Я был счастлив тогда, синьор, очень счастлив! Я не причинил бы тогда зла и мухе. Женись я на Кларе, я сделался бы самым мирным купцом в свете.

Бандит остановился на мгновение, видно было, что он переживал более, чем говорили его слова и тон.

- Но, - продолжал он, - не следует слишком останавливаться на прошлом. День нашей свадьбы приближался. Накануне него Клара, ее мать, ее маленькая сестра и я, мы прогуливались по гавани, как вдруг прямо против меня остановился какой-то тип с рыжими волосами и красным лицом и вскричал: "Черт возьми! Это проклятый пират, захвативший _Ниобию_". "Не шутите", - спокойно сказал я ему. "О! - возразил он. - Я не могу ошибиться. Помогите!"

Он схватил меня за шиворот. Я отвечал тем, что бросил его в канаву. Но это не помогло. Рядом с капитаном оказался лейтенант с такой же прекрасной памятью. Собралась толпа, явились матросы. Силы были неравны. В эту ночь я спал в тюрьме, а несколько недель спустя меня сослали на галеры. Мне подарили жизнь, потому что французский капитан подтвердил, что я спас его жизнь. Но цепи были не для меня, я бежал с двумя товарищами, которые потом отправились работать на большую дорогу и, без сомнения, давно уже пойманы. Как добрая душа, я не желал совершать более преступлений, так как Клара со своим нежным взглядом по-прежнему наполняла мое сердце, так что я взял у одного бедолаги только нищенское рубище, вместо которого оставил ему свой фрак каторжника. Затем, побираясь, я добрался до города, где жила Клара. В ясный зимний день я добрался до окраины города. Я не боялся быть узнанным: мои волосы и борода стоили маски. О, Святая Дева! Навстречу мне попалась похоронная процессия. Теперь вы все знаете, и мне нечего больше прибавить. Она умерла! Может быть, от любви, но вероятнее - от стыда. Знаете вы, как я провел ночь? Я украл заступ каменщика и, не замеченный никем, разрыл свежую землю, вынул гроб, сорвал крышку; я снова увидал ее!.. Смерть не изменила ее. При жизни она всегда была бледна. Я поклялся бы, что она живая.

Это было счастье - увидеть ее, и одному. Но затем, утром, снова положить ее в гроб, закрыть его, забросать землею!.. Слышать, как комья глины стучат о гроб! Это было ужасно, синьор! Я никогда не знал прежде и не желаю думать об этом теперь, как драгоценна человеческая жизнь. С восходом солнца я снова пошел туда, куда глаза глядят, но так как Клары не было больше, то мое раскаяние улетучилось, и я снова оказался не в ладах со своими ближними.

Наконец мне удалось устроиться матросом в Ливорно. Из Ливорно я попал в Рим и стал у дверей дворца кардинала. Он вышел, золоченая карета ждала его у подъезда. "Эй! Отец! - сказал я ему. - Ты меня не узнаешь?" - "Кто вы?" - "Ваш сын", - тихо сказал я.

Кардинал отступил, внимательно поглядел на меня и задумался на минуту. "Все люди мои дети, - спокойно сказал он, - вот вам деньги. Тому, кто просит один раз, дают

милостыню, того, кто просит второй раз, отправляют в тюрьму. Воспользуйтесь моим советом и не надоедайте мне более. Да благословит вас Небо".

Сказав это, он сел в карету и поехал в Ватикан.

Кошелек, который он мне оставил, был туго набит. Я был благодарен и довольный отправился в Террачину. Едва я прошел ворота, как встретил двух всадников. "Ты, наверное, беден, дружище, - сказал мне один из них, - а меж- ду тем на вид ты кажешься сильным". - "Бедные и сильные люди, синьор, полезны и в то же время опасны". - "Хорошо сказано, иди за нами".

Я повиновался и стал бандитом. Мало-помалу я поднимался по ступеням иерархической лестницы, и так как я всегда отнимал кошельки, не перерезывая горло, то у меня отличная репутация, и я могу лакомиться макаронами в Неаполе без особого риска для жизни. Вот уже два года, как я поселился здесь, я тут господин, и у меня есть земля. Меня зовут фермером, синьор, и теперь я ворую только для развлечения и чтобы не разучиться. Надеюсь, что теперь ваше любопытство удовлетворено, мы в ста шагах от замка.

- А каким образом вы познакомились с тем, к кому я еду? - спросил англичанин, которого очень заинтересовал рассказ его проводника. - Что заставило вас и ваших товарищей быть с ним в такой дружбе?

Маэстро Паоло пристально поглядел на собеседника своими черными глазами.

- Но, синьор, - сказал он, - вы, без сомнения, более моего знаете об этом иностранце, с необычным именем. Все, что я вам могу сказать про него, это то, что я стоял у одной лавки на Толедской улице около двух недель тому назад, когда какой-то человек дотронулся до моей руки. "Маэстро Паоло, - сказал он, - я хочу познакомиться с вами, сделайте мне одолжение, выпив со мною бутылку лакрима". "Охотно", - отвечал я.

Мы вошли в таверну, сели, и мой новый знакомый начал так: "Граф О. хочет отдать мне внаем свой старый замок около Б. Вы знаете это место?" - "Отлично; в нем никто не жил около пятидесяти лет, он полуразрушен, синьор! Это странное место для сдачи внаем, надеюсь, что цена умеренная?" - "Маэстро Паоло, я философ и не забочусь о роскоши. Мне нужно спокойное убежище, где я мог бы делать научные опыты. Замок устроит меня, если только вы захотите иметь меня соседом и возьмете меня и моих друзей под свое особое покровительство. Я богат, но я не привезу в замок ничего такого, что можно украсть. Я буду платить за наем двойную плату, одну графу, другую вам".

Мы скоро сошлись, и так как синьор иностранец удвоил сумму, предложенную мною, то он в большом почете у нас. Мы готовы защищать старый замок от целой армии врагов. А теперь, синьор, откровенность за откровенность, скажите, кто этот странный человек?

- Он? Он же вам сказал это, он философ.

- Гм! Он ищет философский камень? Немного колдун, боится попов?

- Вы отгадали.

- Я подозревал это, и вы его ученик?

- Ученик.

- Желаю вам счастья! - серьезно сказал бандит, крестясь. - Я не лучше других, но ведь у человека есть душа, я могу, конечно, решиться на какое-нибудь пустячное, честное воровство или на то, чтобы слегка пристукнуть человека, если возникнет в этом необходимость, но заключать союз с дьяволом! О, берегитесь, молодой человек, берегитесь!

- Не опасайтесь, - возразил Глиндон, улыбаясь, - мой учитель слишком умен и добр, чтобы заключать подобный договор. Но вот мы, кажется, и пришли. Какие величественные развалины! Какой восхитительный вид!

Глиндон в восторге остановился и взглядом художника осматривал окружавшую его местность. Он стоял на широком выступе скалы, покрытой мхом и мелким кустарником. Между этой скалой, на которую они взобрались, и другой, такой же высоты, где стоял замок, пролегало глубокое и узкое ущелье, заросшее буйной растительностью, сквозь которую невозможно было разглядеть неровное дно пропасти. Но бездна легко угадывалась по мощному и монотонному реву невидимой стремнины. И уже вдали прослеживался путь этого бурного, стремительного потока, пересекавшего пустынные, заброшенные долины.

Налево открывался почти безграничный вид. Особая прозрачность лилового воздуха отчетливо фокусировала каждую складку местности, лежащей внизу, которую завоеватель былых времен мог бы счесть за целое царство.

Хотя дорога, по которой Глиндон проследовал сюда, показалась ему пустой и безлюдной, теперь с этой высоты местность виделась ему усеянной замками, шпилями церквей и деревушками.

Вдали, в последних лучах заходящего солнца, белым отблеском светился Неаполь, и розовые тона горизонта таяли в голубизне его знаменитого залива.

На еще большем расстоянии, в другой части открывшейся панорамы, можно было смутно различить покрытые темной листвой руины древней Посейдонии. Там, посреди этой темнеющей и бесплодной области, возвышалась зловещая и мрачная Огненная гора. В другом же направлении, извиваясь через разноцветные, пестрые долины, которым даль придавала магическое очарование, сверкали многочисленные потоки, на берегах которых этруски, сибариты {Жители древнегреческой колонии на юге Апеннинского полуострова, славились богатством и любовью к роскоши.}, римляне, сарацины и норманны, вторгаясь, разбивали свои шатры и палатки.

Все величественные видения прошлого - видения бурной, ослепительной, захватывающей дух истории Южной Италии - пронеслись перед взором художника, когда он пристально разглядывал простирающуюся под ним панораму.

Он медленно обернулся и устремил взгляд на серые, разрушающиеся стены замка, куда он пришел искать тайн, которые сулили ему чудное могущество. Это был один из рыцарских замков, какими Италия была усеяна в средние века; лишенный готической грации и величия, характеризующих церковную архитектуру того же времени, он казался огромным и устрашающим даже в развалинах. Деревянный мост вел через ров и был достаточно широк для проезда двух всадников; доски глухо стучали под копытами усталой лошади Глиндона.

Дорога, которая прежде была вымощена плитами, а теперь заросла высокой травой, вела во внешний двор замка. Ворота были распахнуты, и половина построек в этой части стояли в руинах, они были увиты диким виноградом. Проникнув во внутренний двор, Глиндон был приятно поражен, видя, что там замок сохранился лучше, дикие розы улыбались серым стенам, а посреди двора струился фонтан из пасти громадного Тритона. Тут его с улыбкой встретил Мейнур.

- Добро пожаловать, мой друг и ученик, - сказал он, - тот, кто ищет истину, может найти в этом уединении вечную Академию.

II

Окружающие Мейнура, привезенные им в это уединенное убежище, вполне устраивали философа, потребности которого были ограниченны. Старый армянин, которого Глиндон видел у Мейнура в Неаполе, высокая женщина с грубыми чертами лица, взятая в деревне по рекомендации Паоло, и двое молодых людей с длинными волосами, вкрадчивым языком и свирепыми лицами, взятые там же и по той же рекомендации, составляли всю прислугу.

Комнаты, занятые Мейнуром, были удобны и непроницаемы для дождя и ветра и даже сохранили некоторые остатки прежней роскоши - резную мебель и огромные мраморные столы.

Спальня Глиндона соединялась с террасой или бельведером, с которого открывался восхитительный вид на окрестности и который с другой стороны был отделен от покоев Мейнура длинной галереей и лестничным пролетом в дюжину ступенек. Во всем царила атмосфера строгой, но приятной созерцательности, и она вполне гармонировала с занятиями, для которых предназначалась.

В течение нескольких дней Мейнур отказывался от всякого разговора с Глиндоном о том, что занимало последнего более всего.

- Снаружи все готово, - говорил он, - но внутри не то, ваша душа должна освоиться с этой местностью и проникнуться окружающей ее природой, так как природа есть источник всякого вдохновения.

И Мейнур заговаривал о чем-нибудь менее важном. Он брал с собою англичанина на свои прогулки по окружавшей их романтической местности и улыбался в знак одобрения, когда он предавался восторгу, который эта грандиозная красота внушила бы и менее чуткой душе.

Тогда Мейнур раскрывал перед своим изумленным учеником сокровища знаний, которые казались неистощимы и бесконечны. Он самым тщательным и живым образом описывал характер, привычки, нравы и верования различных народов, один за другим населявших эти места. Правда, его описания не были почерпнуты из книг и не опирались ни на один ученый авторитет, но он обладал в высшей степени даром рассказчика и говорил с уверенностью очевидца. Иногда он говорил о более дивных тайнах природы с красноречием и величием, которые придавали им колорит поэзии. Мысли молодого художника незаметно приобретали более возвышенный характер; благодаря разговорам с Мейнуром его лихорадочные желания стали не столь пылки. Его душа все более и более предавалась созерцанию, он чувствовал себя как бы облагороженным, и в молчании чувств ему слышался голос души.

Именно к такому состоянию Мейнур явно желал подвести неофита. На этой элементарной ступени посвящения ученик еще находится на уровне обычного мудреца. Тот же, кто желает делать открытия, должен начинать с некоторого рода абстрактного идеализма. И только потом, возложив на себя серьезное и радостное бремя ученичества, он может развить в себе способности к созерцанию, к имагинации.

Глиндон заметил, что во время их экскурсий Мейнур охотно останавливался там, где растительность была роскошнее, чтобы сорвать растение или цветок, и вспомнил, что часто видел Занони, занимающегося тем же.

- Неужели, - сказал он однажды Мейнуру, - эти скромные дети природы могут служить тайным наукам? Неужели растения полезны не только для человеческого здоровья, но и для достижения духовного бессмертия?

- Что, если бы, - отвечал Мейнур, - какой-нибудь путешественник посетил дикарей, не имеющих понятия о самых первичных знаниях, сказал бы этим варварам, что растения, которые они попирают ногами, одарены самыми могущественными свойствами, что одно может возвратить здоровье умирающему, другое может поразить идиотизмом мозг самого знаменитого мудреца, третье поразит насмерть самого сильного врага, что слезы, смех, сила, болезнь, безумие, разум, бессонница, летаргия, жизнь, смерть заключаются в этих ничтожных травах, - неужели вы думаете, что его не сочли бы за колдуна или обманщика? Половина свойств растительного мира неизвестна человечеству, и оно находится по отношению к ним в абсолютном невежестве, подобно тем гипотетическим дикарям, о которых я вам сейчас говорил.

В нас есть свойства, сродные с определенными растениями и на которые последние могут оказывать воздействие. Волшебный корень древних - это не сказка.

Вообще характер Мейнура сильно отличался от характера Занони. Он менее очаровывал Глиндона, но зато более подавлял и производил впечатление. Разговор Занони выдавал его глубокий интерес ко всему человечеству, чувство, сходное с энтузиазмом к искусству и красоте. Слухи, ходившие про его жизнь, еще более увеличивали ее таинственный характер, приписывали ему щедрость и благотворительность; во всем этом было что-то человеческое и симпатичное, смягчавшее строгость уважения, которое он внушал, и, может быть, заставлявшее сомневаться в том, что он действительно обладает высшими тайнами. Мейнур, напротив того, казался совершенно равнодушным к внешнему миру. Если он не делал зла, то казался точно так же равнодушен к добру. Его поступки не облегчали страданий нищеты, его слова не сострадали несчастью. Он думал, жил и действовал скорее как спокойная и холодная отвлеченность, чем как человек, еще сохранивший какую-нибудь симпатию к человечеству.

Заметив полное равнодушие, с которым он говорил об изменениях на поверхности земли, свидетелем которых он был, Глиндон осмелился заметить ему однажды про эту разницу.

- Это правда, - холодно отвечал Мейнур. - Моя жизнь есть созерцание, жизнь Занони - наслаждение. Когда я срываю растение, я думаю только о пользе, которую из него можно извлечь, Занони же останавливается, чтобы полюбоваться его красотой.

- И вы думаете, что из двух существований ваше совершеннее и возвышеннее?

- Нет, его существование есть существование молодости, мое - зрелых лет. Мы прорабатываем различные качества, каждый из нас имеет власть, которая недоступна другому. Те, которые учатся у него, живут лучше; те, которые учатся у меня, знают больше.

- Я действительно слышал, что его неаполитанские друзья вели более чистую и благородную жизнь после встречи с ним, но тем не менее это были странные друзья для мудреца. И, кроме того, то ужасное могущество, которым он располагает по своему желанию и которое он продемонстрировал на судьбах князя N и графа Угелли, плохо вяжется с образом того, кто спокойно ищет добра.

- Да, - сказал Мейнур с ледяной улыбкой, - и в этом заключается ошибка философов, желающих вмешиваться в жизнь человечества. Нельзя служить одним, не задевая других, нельзя защищать добрых, не объявив войну злым. Если желаешь исправлять порочных, то надо жить с ними, чтобы узнать их пороки. Таковы мнения Парацельса, великого, хотя и часто ошибавшегося человека. Но я непричастен к подобной глупости, я живу только ради знания.

Другой раз Глиндон спросил Мейнура относительно таинственного братства, на которое намекал Занони.

- Я полагаю, что не ошибаюсь, - сказал он, - думая, что вы оба члены братства Розенкрейцеров?

- Неужели вы думаете, - отвечал Мейнур, - что не было никакого мистического общества, стремившегося к тем же целям и теми же средствами, прежде чем арабы, в 1378 году, передали одному немецкому путешественнику тайны, которые послужили основанием общества Розенкрейцеров?

Однако я допускаю, что Розенкрейцеры составляли секту, происходившую от великой и более древней школы. Они были умнее алхимиков, но их учителя умнее их.

- А сколько существует в настоящее время членов этого первоначального общества?

- Занони и я.

- Только двое! И вы думаете научить всех побеждать смерть?

- Ваш предок обладал этой тайной; он умер потому, что не хотел пережить единственное существо, которое любил. Мы не владеем искусством избавлять человека от смерти независимо от его собственной воли или от воли неба. Эти стены могут раздавить меня на месте. Мы можем только раскрывать тайны природы, знать, почему окостеневают части организма, почему застаивается кровь, и противопоставлять действию времени средства, предохраняющие от болезней. Это не магия, это правильно понятая медицина. В нашем обществе самым лучшим и благороднейшим даром считается наука, возвышающая ум, а потом уже та, которая сохраняет тело. Но только искусство, которое добывает из соков организма животную силу и приостанавливает процесс распада, и даже знание высшей тайны, которую я только укажу здесь и согласно которой теплород, как вы его называете, считающийся, по мудрой доктрине Гераклита, источником жизни, может сделаться постоянным ее обновителем, - этого всего еще недостаточно для безопасности. Наша цель состоит в том, чтобы обезоруживать и отвращать людскую ненависть, обращать мечи наших врагов против них самих и проходить если не бестелесными, то по крайней мере невидимыми для глаз, на которые мы можем набросить пелену мрака, загипнотизировав их. Некоторые наблюдатели приписывают это свойство агату. Я же могу вон в той долине найти растение, которое может загипнотизировать лучше, чем агат. Одним словом, знай, что из самых скромных и простых произведений природы извлекаются самые величайшие субстанции.

- Но, - сказал Глиндон, - если вы обладаете этими великими тайнами, то почему вы так боитесь их распространения? Разве различие между истинной и ложной наукой не заключается в том, что первая передает миру способ своих открытий, тогда как последняя сообщает только чудесные результаты, причины которых отказывается объяснить?

- Хорошо сказано, с точки зрения школьных мыслителей, но подумай еще. Предположи, что мы передадим наше знание всему миру, порочным и добродетельным, - неужели мы сделаем доброе дело? Представь себе тирана, развратника, злодея, одаренных этим ужасным могуществом, - разве это не будут воплощенные дьяволы? Допустим, что те же привилегии будут даны и добрым, но в каком положении будет тогда общество? В титанической борьбе, которая тогда возгорится, добрые будут всегда в оборонительном положении, а злые вечно будут нападать. В настоящем состоянии земли зло преобладает, и оно останется победителем. По этим-то причинам мы не только торжественно обязываемся передавать наше знание только тем, кто не станет злоупотреблять им, но, кроме того, наши испытания состоят в борьбе, которая очищает страсти и возвышает желания. И в этом отношении природа руководит нами и помогает нам, так как она ставит ужасных стражей и непреодолимые преграды между честолюбием порока и небесами божественного знания.

Таков был характер разговоров Мейнура с его учеником, разговоров, которые, обращаясь, по-видимому, к разуму, только возбуждали его воображение. Именно на отрицании каких бы то ни было феноменов, которые при- рода, правильно познанная, не могла бы сотворить, и зиждилась сама возможность существования тех неведомых нам сил, которые, по убеждению Мейнура, она могла бы раскрыть для человека.

Таким образом проходили дни и недели, и душа Глиндона мало-помалу привыкала к этой жизни уединения и созерцания, забывая тщеславие и химеры внешнего мира.

Однажды он довольно поздно гулял, наблюдая звезды. Никогда еще он так сильно не чувствовал, как велика власть неба и земли над человеком и как наш ум зависит от влияния природы. Словно пациент, на котором представитель месмеризма мало-помалу сосредоточивает энергию, он почувствовал в своем сердце все увеличивающуюся силу космического магнетизма, который есть жизнь вселенной. Странное чувство сознания величия, скрытого в тленной оболочке, возбуждало в нем неопределенные и втшышенные стремления, как смутное еще узнание прошлой и более святой жизни. Непреодолимое желание заставило его пойти к Мейнуру. Он хотел потребовать немедленного посвящения в высшие миры; он чувствовал себя готовым дышать божественным воздухом. Он вошел в замок и прошел через мрачную галерею, которая вела в комнаты Мейнура.

III

Мейнур занимал две комнаты, соединявшиеся между собою, и третью, где была его спальня. Все они заключались в четырехугольной башне, возвышавшейся над мрачной

пропастью, заросшей кустарниками. Первая комната, в которую вошел Глиндон, была пуста. Он тихо приблизился к двери во вторую и открыл ее. На пороге он отступил назад, пораженный сильным запахом, наполнявшим ее, что-то вроде тумана делало воздух гуще, но не темнее; этот пар походил на снежное облако, медленно приближавшееся. Смертельный холод охватил сердце Глиндона, и кровь застыла у него в жилах. Он остановился неподвижно, его взгляд невольно старался проникнуть сквозь туман, и ему показалось (так как он не был убежден в действительности виденного), что он видит какие-то смутные и фантастические, но колоссальные призраки, или, может быть, это сам туман принял такой вид.

Рассказывают, что один выдающийся художник древности так искусно нарисовал чудовищ, которые скользят по призрачной Реке Мертвых, что зрители воспринимали и саму Реку как привидение. Бескровные существа сливались с мертвой водой, и взгляд вскоре переставал отличать их от сверхчувственной среды, которую они населяли. Таковы были и скользящие облики, которые, сворачиваясь кольцами и извиваясь, проплывали в этом тумане, надвигаясь на оцепеневшего Глиндона. Но прежде чем успел сделать вдох, он почувствовал, что кто-то схватил его за руку и увлек из комнаты. Он услышал, как дверь затворилась, кровь снова потекла по жилам, и он увидел около себя Мейнура. Тогда все его тело скорчилось в страшных судорогах, и он без чувств упал на пол.

Глиндон пришел в себя на балконе. Звезды сурово глядели на темную бездну внизу, останавливая свой тихий и спокойный взгляд лишь на лике посвященного, который стоял рядом с ним со скрещенными на груди руками.

- Юноша, - сказал он, - судите по тому, что вы испытали, как опасно искать знания, не будучи к нему приготовленным. Еще одно мгновение в воздухе той комнаты, и вы были бы трупом.

- Какого же рода это знание, которое вы, сам бывший прежде таким же смертным, как и я, можете безопасно искать в той леденящей атмосфере, где я не могу дышать! Мейнур, - продолжал он (и его страстное желание, возбужденное опасностью, которой он подвергался, делало его еще отважнее). - Мейнур, я приготовлен достаточно, чтобы сделать первый шаг. Я пришел как ученик к Иерофанту - просить вас о посвящении.

Мейнур положил руку на сердце молодого человека - оно билось сильно, но правильно и смело; тогда спокойное и холодное лицо мудреца выразило почти восторг.

- Судя по такой отваге, я найду наконец истинного последователя, - прошептал Мейнур. Затем он продолжал:

- Пожалуй! Первый шаг есть экстаз. Всякая человеческая мудрость начинается с видений, они служат мостом между этим светом и другим. Посмотрите внимательно на эту звезду.

Глиндон повиновался, а Мейнур исчез в другой комнате, из которой медленно стали выходить благоуханные пары; более бледные и слабые, чем те, которые имели такое ужасное влияние на Глиндона, они действовали на него ос- вежающим образом. Он пристально глядел на звезду, и она, казалось, все более притягивала его взгляд. Какая-то слабость овладела всем его телом, не касаясь, однако, ума, в то же время он почувствовал, что его висков коснулась какая-то летучая эссенция и вместе с тем легкая дрожь пробежала по всему телу. Слабость его все увеличивалась, и он продолжал глядеть на звезду, которая стала увеличиваться, наполнила собою все пространство и поглотила его. Наконец среди блестящей, серебристой атмосферы он почувствовал, как будто в его мозгу что-то разорвалось, точно лопнула какая-то крепкая цепь, и в ту же минуту чувство божественной свободы, свободы от тела и парения, казалось, увлекло его самого в пространство.

- Кого из всех жителей земли желаешь ты теперь видеть? - спросил голос Мейнура.

- Виолу и Занони! - отвечал Глиндон, чувствуя, что его губы не шевелятся.

Едва успела эта мысль промелькнуть в его голове, как в пространстве, наполненном нежным серебристым светом, перед ним быстро замелькали фантастические картины: деревья, горы, города, моря проходили перед ним, точно картинки панорамы, наконец он заметил, что одна картина остановилась; он увидал грот на морском берегу, покрытом миртовыми и апельсинными деревьями. На некотором расстоянии виднелись развалины, и луна ярко освещала двух человек около грота, у ног их плескались синие волны, и Глиндону казалось, что он слышит их шепот. Занони сидел на обломке скалы, Виола, полулежа около него, глядела в его лицо, склоненное к ней, и лицо молодой женщины выражало полное счастье, которое дает любовь.

- Хочешь ты слышать их разговор? - спросил Мейнур.

И Глиндон, не произнеся ни звука, мысленно ответил "да". Их голоса донеслись тогда до его слуха, но звуки их казались ему странны, так были они тихи и отдаленны, - такие голоса должны были слышаться святым затворникам.

- Почему, - спрашивала Виола, - можешь ты находить удовольствие, слушая меня, невежду?

- Потому, что сердце никогда не бывает невежественным, потому что тайны чувства так же чудесны, как и тайны ума. Если иногда ты не понимаешь языка моих мыслей, то и я часто открываю сладостные загадки в языке твоих волнений.

- О, не говори так! - вскричала Виола, обнимая его за шею. - Потому что загадки - это язык любви, и любовь должна разрешать их. Прежде чем узнать тебя, прежде чем жить с тобою, прежде чем научиться ожидать твоих шагов перед твоим возвращением и в твоем отсутствии находить тебя повсюду, я не подозревала, как сильно и всеобъемлюще сродство души с природой. И тем не менее теперь я убеждена в том, что только предполагала прежде, - в том, что чувство, привлекшее меня к тебе, вначале не было любовью. Я понимаю это, сравнивая прошлое и настоящее; тогда это было чувство, имевшее источником исключительно ум! Теперь я не перенесла бы, если бы ты сказал: "Виола, будьте счастливы с другим".

- Но я и сейчас мог бы сказать тебе это! О! Виола! Не уставай никогда повторять мне, что ты счастлива.

- Счастлива, потому что ты счастлив. А между тем, Занони, ты бываешь иногда печален.

- Это оттого, что жизнь человеческая так коротка, оттого, что наступит день, когда нам придется расстаться, потому что луна продолжает светить и тогда, когда соловей уже перестал петь. Пройдет время, и твои глаза потускнеют, твоя красота поблекнет и эти локоны, которыми играет моя рука, поседеют и станут непривлекательны.

- А ты жестокий! - вскричала Виола. - А разве я никогда не увижу в тебе признаков старости! Разве мы не состаримся вместе и наши взгляды не привыкнут к перемене, с которой сердце не будет согласно!

Занони со вздохом отвернулся и, казалось, погрузился в свои мысли. Внимание Глиндона удвоилось.

- Если бы это было так! - прошептал Занони. Затем он пристально поглядел на Виолу и улыбнулся.

- Неужели тебе не интересно узнать более о возлюбленном, которого ты считала прежде служителем духа зла? - сказал он.

- Нет, все, что интересно знать о любимом, я уже знаю, - я знаю, ты любишь меня.

- Я сказал тебе, что моя жизнь не похожа на жизнь других, неужели ты не хотела бы разделить ее?

- Я ее разделяю.

- Но если бы было возможно остаться навсегда молодой и красивой до тех пор, пока весь мир вокруг нас воспламенится, как громадный погребальный костер?

- Мы будем такими, когда оставим этот мир. Занони молчал несколько мгновений.

- Можешь ли ты вызывать блестящие и воздушные видения, которые посещали тебя прежде, когда ты считала себя предназначенной для особенной судьбы, отличной от судьбы остальных людей? - спросил он наконец.

- Занони, но я уже выбрала свою судьбу!

- Но будущее, разве оно не пугает тебя?

- Будущее! Я забываю его. Прошедшее, настоящее и будущее заключаются для меня в твоей улыбке! О! Занони, не играй глупой доверчивостью моей молодости. Я стала лучше и смиреннее с той минуты, как твое присутствие развеяло для меня туман. Будущее! Когда нам надо будет опасаться его, я взгляну на небо и вспомню о Том, Кто руководит нашей судьбой.

Она подняла глаза, темное облако вдруг скрыло всю сцену, оно закрыло деревья, океан и прибрежные пески, но последними скрылись из глаз Глиндона образы Виолы и Занони: лицо одной, озаренное блаженным возбуждением, лицо другого - более суровое, чем обыкновенно, в своей задумчивой красоте и глубоком спокойствии.

- Приди в себя, - сказал Мейнур, - твое испытание началось. Есть обманщики, которые могли бы показать тебе отсутствующих и болтать языком шарлатанов о скрытом электричестве, о магнетическом токе, которых только первоначальные свойства смутно им известны. Я дам тебе книги этих знаменитых простаков, и ты увидишь, как многие из них, в века невежества, доходили неверными шагами до врат всемогущего знания и воображали, что они уже проникли во храм. Гермес, Альберт Великий, Парацельс - я знаю их всех; но, несмотря на всю их славу, им суждено было ошибаться. У них не было ни веры, ни необходимого мужества, чтобы достигнуть цели, к которой они стремились. Подумай, Парацельсий, скромный Парацельсий в своей надменности свысока смотрел на всю нашу тайную науку. Он думал, что может вывести расу людей при помощи химии. Он присвоил себе божественный дар - дыхание жизни. Он сделал бы людей, но он признался в конце концов, что эти люди были бы пигмеями! Мое искусство заключается в том, что

я хочу делать людей, стоящих выше человечества. Я вижу, что мои речи возбуждают твое нетерпение. Но прости меня: все эти люди (великие мечтатели, каким ты хочешь быть) были моими друзьями. Они умерли, превратились в прах. Они говорили о духах и боялись всякого общества, кроме человеческого. Они походили на ораторов, которых я слышал в Афинах: блестящих на трибуне и трусов на поле сражения. Взять хотя бы Демосфена. Мой герой - трус! Каким проворным он оказался, когда, сверкая пятками, улепетывал с Херонси {Во время Фокидской войны (355-346 гг. до н. э.) в битве афинян и фиванцев с Филиппом Македонским на речке Херонеи Демосфен, как сообщает нам Плутарх, бежал, бросив оружие.}. Но ты снова приходишь в нетерпение. Я мог бы открыть тебе, юноша, много тайн прошлого, которые сделали бы тебя оракулом школьного знания. Но ты жаждешь проникнуть сквозь туманное будущее. Твоя страсть будет удовлетворена. Но надо, чтобы ум сначала был приготовлен. Иди к себе, усни, соблюдай строгий пост; не читай; медитируй, имей видения, ставь себе задачи. Мысль всегда распутывает наконец свой хаос. До полуночи возвращайся ко мне.

IV

Было около полуночи, и Глиндон возвратился к учителю. Он соблюдал строгий пост, и в видениях, в которые погрузилось его возбужденное воображение, он был не только нечувствителен к потребностям плоти, но парил выше их.

Мейнур, сидя около своего ученика, говорил так: - Человеческое высокомерие равняется его невежеству. Наклонность к самомнению - естественная наклонность человека. Человек, пребывая на младенческой ступени познания, думает, что весь мир создан для него. В течение многих веков он видел в звездных мирах только малые свечки и факелы, зажженные Провидением не для чего иного, как для того, чтобы сделать ночь более приятной человеку. Астрономия исправила эту ошибку человеческого тщеславия; в настоящее время человек признает, что звезды суть более обширные и славные миры, чем земля, на которой он пресмыкается и которая есть едва заметная точка во вселенной; но в бесконечно малом, как и в бесконечно великом, Бог одинаково щедр на жизнь. Путешественник видит дерево и думает, что его ветви созданы для того, чтобы доставить ему убежище от летнего солнца или топливо в зимнее время. Но из каждого листка на ветке Создатель сотворил целый мир, наполненный различными существами. Каждая капля воды этого рва - мир более населенный, чем человеческое царство. Повсюду наука открывает новые сокровища жизни. Жизнь - всепроникающий принцип, и даже существа, которые кажутся умершими и сгнившими, порождают новую жизнь и переходят в новые формы вещества.

Подумайте тогда, исходя из очевидной аналогии. Если мы возьмем не лист, не каплю воды, а вон ту звезду, то она тоже населенный и дышащий мир. Более того, человек сам является целым миром для других существ: миллионы и миллиарды их живут в потоках его крови, в его теле так же, как человек живет на земле. Простого здравого смысла (если бы ваши школьные учителя имели его) было бы достаточно, чтобы научить людей, что окружающая землю со всех сторон бесконечность, которую вы называете пространством, - бесконечное Неосязаемое, которое отделяет Землю от Луны и звезд, - также наполнена соответствующей этой среде жизнью. Разве не явный абсурд предполагать, что жизнь, кишащая на каждом листе, отсутствует в необъятном, безмерном пространстве? Согласно закону Великой Системы, в ней сохраняется каждый атом, в ней нет места, где бы не было дыхания жизни. Даже склеп, покойницкая - питомники и рассадники жизни, не так ли? Но тогда можно ли считать, что только пространство, которое само - Бесконечность, пусто, только оно безжизненно и менее, так сказать, полезно в плане существования вселенной, чем скелет собаки, чем заселенный существами лист, чем кишащая жизнью капля? Микроскоп показывает вам тварей в капле. Но еще не изобрели никакого механического инструмента, который смог бы обнаружить более высокие, благородные и способные существа, живущие в безграничной воздушной среде. Между ними же и человеком существует таинственная и ужасная, страшная связь. Отсюда, с помощью сказок и легенд, которые не во всем лживы и не во всем правдивы, возникала время от времени вера в существование духов и привидений. И если эта вера была более распространена среди доисторических и примитивных племен, нежели среди людей вашего тупого и бестолкового века, то это потому, что у первых чувства остались более утонченными. И так же как дикарь может за мили видеть следы и чуять присутствие противника, неразличимые для огрубевших чувств цивилизованных животных, так и завеса, отделяющая дикаря от существ, населяющих воздух, более проницаема и более тонка. Слушаете ли вы меня?

- Да, и очень внимательно.

- Но прежде чем приподнять завесу, отделяющую человека от других, ему невидимых существ, душа должна пребывать в состоянии экстаза и быть очищенной от всех земных желаний. Недаром те, кого называли магами во все века, предписывали воздержание, созерцание и пост как условие всякого экстаза. Когда душа приготовлена таким образом, наука может явиться к ней на помощь, зрение может сделаться более проницательным, нервы более чувствительными, ум более широким, саму стихию воздуха, пространство можно очистить с помощью тайн высшей химии, и это не магия в смысле нарушений законов природы, как думают люди. Я уже сказал, что магии нет, это просто наука, которая управляет природой. В пространстве существуют миллионы созданий, не совсем бестелесных, так как все они, как и инфузории, невидимые для невооруженного глаза, имеют известную материальную форму, но настолько тонкую, воздушную, что она служит только как бы неосязаемой оболочкой духа, гораздо более легкой, чем осенняя паутинка, сверкающая в лучах солнца. Отсюда любимые фантомы розенкрейцеров - сильфы и гномы. И между тем все эти существа в высшей степени различны по своим свойствам и силе и отличаются друг от друга более, чем калмык от грека. Посмотрите в каплю воды, какое разнообразие инфузорий! Какой ужасный вид у многих из них! То же самое мы встречаем и в жителях атмосферы: одни обладают высшим знанием, другие странной хитростью; одни враждебны человеку, как демоны, другие кротки и благосклонны, как посланники и посредники между небом и землей. Тот, кто хочет войти в сношения с этими различными существами, подобен путешественнику, вступающему в неизвестную страну. Он подвергается неизвестным опасностям, ужасам, которых он не может предвидеть. Когда ты проникнешь в эту страну, то я уже не смогу защитить тебя от грозящих там опасностей. Я не могу указать тебе там на места безопасные от нападений самых ожесточенных врагов. Тебе одному придется все решать и противостоять опасностям. Но если ты любишь жизнь до такой степени, что твоя единственная забота заключается в том, чтобы жить, неважно с какой целью, возбуждая твои нервы и твою кровь живительным эликсиром алхимиков, то зачем подвергать себя опасностям со стороны этих существ? Ибо этот эликсир, наполняющий тело более совершенной жизнью, делает чувства до того тонкими, что лярвы, носящиеся в воздухе, становятся доступными твоему зрению и слуху, поэтому без постепенной подготовки, делающей тебя способным противиться этим призракам и контролировать их злобный характер, жизнь, одаренная этой способностью, была бы самым ужасным мучением, которое только человек может навлечь на себя. Вот почему этот эликсир, хотя и составленный из самых простых растений, может быть безопасно принят только тем, кто прошел через самые строгие испытания. Некоторые, напуганные и преследуемые совершенно непереносимым страхом при том виде, который открывался им с первым глотком зелья, находили, что агония и нестерпимые боли в физическом мире менее страшны. Скажу более, для неподготовленного одна капля этого эликсира есть смертельный яд. Между стражами входа есть один превосходящий всех остальных своей злобной ненавистью, взгляд его парализовал самых бесстрашных, и власть его над душой увеличивается вместе с возрастающим страхом. Твое мужество поколеблено?

- Напротив, твои слова только воспламенили его.

- Следуй в таком случае за мной и подготовься к работе, необходимой на пути посвящения.

Мейнур повел его во внутреннюю комнату и начал объяснять некоторые химические процессы, простые сами по себе, но, как Глиндон убедился, чреватые самыми чудными результатами.

- В древние времена, - сказал Мейнур, улыбаясь, - наш орден часто был вынужден прибегать к обманам, чтобы спасать истины, а ловкость в механике и знание алхимии создали членам ордена славу колдунов. Заметь, как легко сотворить призрак льва, который бы повсюду сопровождал новоявленного Леонардо да Винчи!

И Глиндон с восторгом и удивлением увидел, как легко и просто устраивать видения, обманывающие воображение.

Все эти чудеса Мейнур показал и объяснил Глиндону, точно человек, показывающий ребенку волшебный фонарь.

- А теперь можешь смеяться над магией, так как все, что я показал тебе, люди воспринимали с ужасом и отвращением, а инквизиция наказывала пыткой и костром.

- Но алхимическая трансмутация металлов...

- Природа есть лаборатория, в которой металлы и элементы изменяются постоянно. Делать золото - вещь легкая, еще легче делать жемчуг, рубины, алмазы. Да, ученые и тут видели колдовство и нее видели его в открытии, котрое при помощи соединения самых простых веществ может тысячами уничтожать их братьев. Откройте то, что может уничтожить жизнь, и вы великий человек; откройте то, что может ее продолжить, и вы обманщик. Придумайте какое-нибудь механическое изобретение, которое делает богача

богаче, а бедняка беднее, и вам воздвигнут статую. Откройте в искусстве какую-нибудь тайну, которая уравнивала бы физическое неравенство, и они камня на камне не оставят от своих собственных домов, чтобы этими камнями побить вас. Вот, мой ученик, каков свет, которым Занони еще интересуется; вы и я предоставим его самому себе. А теперь, когда вы видели несколько результатов знания, начинайте изучать его язык.

Затем Мейнур поставил перед Глиндоном задачи, которые ему пришлось решать ночь напролет.

V

Ученик Мейнура был долгое время погружен в занятия, которые требовали самого тщательного внимания и самых строгих и точных расчетов, но зато удивительные и разнообразные результаты вознаграждали его усилия и увеличивали его усердие.

Эти занятия не ограничивались, однако, химическими открытиями, благодаря которым казалось возможным при помощи опытов с теплотой производить величайшие чудеса физиологии. Мейнур утверждал, что нашел связь между всеми мыслящими существами, которая заключается в невидимой жидкости, сходной с электричеством, но все-таки отличной от того, что мы знаем об этой чудесной силе, жидкости, которая соединяет мысль с мыслью с быстротою телеграфа наших дней, и, по словам Мейнура, это влияние простиралось на самое отдаленное прошедшее, то есть на все места и все времена, где когда-либо человек мыслил. Таким образом, если предположить, что гипотеза верна, то любое знание оказалось бы доступным с помощью контактов между умами и всеми областями мира мыслей. Глиндон с удивлением открыл, что Мейнур был последователем глубоких тайн, которые приверженцы Пифагора приписывали тайной науке чисел. В этом отношении ум его стал приобретать новую ясность, и он начал понимать, что даже способность предсказывать или, скорее, рассчитывать события может с помощью {В этом месте манускрипт испорчен.}...

. . . . . .

Он заметил, что во всех опытах Мейнур делал тайну из окончательного процесса, приводившего к результату. Он заметил это своему учителю и получил от него скорее суровый, чем удовлетворительный ответ:

- Неужели ты думаешь, что я дам простому ученику, способности которого не подвергались еще никаким испытаниям, силу, которая могла бы изменить лик общества? Последние тайны открываются только тому, чьи достоинства известны учителю. Терпение! Ум очищается трудом, и все тайны будут открываться тебе, по мере того как твоя душа будет делаться более способной для их принятия.

Наконец Мейнур объявил, что доволен успехами своего ученика.

- Приближается час, - сказал он, - когда ты будешь в состоянии перешагнуть через громадную невидимую преграду, когда ты постепенно приготовишься к встрече с ужасным _Стражем Порога_. Продолжай твои занятия, научись смирять твое нетерпение видеть результаты, прежде чем исследуешь причины. Я оставлю тебя на месяц; если по окончании того срока, по моем возвращении, задачи, данные мною тебе, будут решены, если твоя душа будет приготовлена созерцанием и строгими мыслями к испытанию, то я обещаю тебе, что испытание начнется. Но я должен предупредить тебя и даже строго приказать, чтобы ты не входил в эту комнату.

Они были в это время в комнате, где совершалась большая часть их опытов и где Глиндон, в ночь, когда искал Мейнура, чуть не стал жертвою своего любопытства.

- Не входи в эту комнату до моего возвращения или, если тебе понадобится взять что-нибудь в ней, берегись зажигать масло, находящееся в этих сосудах, и открывать вазы, стоящие вот на этих полках. Я даю тебе ключ от комнаты, чтобы подвергнуть испытанию твое послушание и самообладание. Юноша, этот соблазн составляет часть твоего испытания.

Мейнур отдал ему ключ и с закатом солнца оставил замок. В течение нескольких дней Глиндон был погружен в занятия, которые поглощали все его умственные силы. Успех до такой степени зависел от полного сосредоточения всех способностей и точности выводов, что в его голове не было места ни для каких других мыслей. Это напряжение всех способностей над предметами, которые, по-видимому, не относились прямо к цели, которой он хотел достичь, было, очевидно, необходимо, по мнению Мейнура. Так в математике есть много теорем, которые не находят применения ни при решении задач, ни в практике, но которые служат для того, чтобы развить ум и сделать его более гибким, чтобы приготовить его к пониманию и анализу общих истин: это своего рода умственная гимнастика.

Не прошло еще и половины срока, назначенного Мейнуром, а Глиндон уже окончил все задачи, оставленные ему учителем; тогда его ум, вырвавшись из-под гнета рутинных и механических занятий, стал искать себе пищи в беспокойных мечтах. Его любопытная и отважная натура была возбуждена приказанием Мейнура, и он сам нашел, что слишком часто посматривает на ключ запретной комнаты.

Он начал возмущаться таким детским испытанием его твердости. Какими еще сказками о Синей Бороде собирался запугать и ужаснуть его учитель? Неужели стены комнаты, в которой он столько занимался, могут вдруг превратиться в живую опасность? Если в ней кто-либо бывал, то разве только призраки, которых Мейнур научил его презирать.

Тень льва; призрак, созданный химией! Он чувствовал, что его уважение к Мейнуру уменьшалось при мысли, что он не брезговал употреблять недостойные хитрости, для того чтобы играть умом, который сам пробудил и образовал! Однако он противился соблазнам своего любопытства и гордости и, чтобы избавиться от их усиливающегося влияния, начал делать прогулки в горы и на равнины, окружавшие замок, стараясь физической усталостью подавить непрерывную работу мозга...

Однажды, когда он выходил из мрачного ущелья, он вдруг попал на один из тех праздников, которые кажутся живым воспоминанием преданий древности. Это был праздник, отмечаемый каждый год окрестными крестьянами.

Старики пили вино, молодежь танцевала, и все были веселы и счастливы. Сторонний свидетель этого веселья, Глиндон почувствовал, что он сам еще молод. Воспоминание обо всем, чем он пожертвовал не колеблясь, охватило его душу раскаянием. Женщины, проходившие мимо него в своих живописных костюмах, их веселый смех - все это вызвало в нем образы прошлого, когда жить значило для него наслаждаться.

Он подошел ближе, и вдруг перед ним появилась шумная группа, маэстро Паоло дружески хлопнул его по плечу.

- Добро пожаловать, - весело сказал он, - мы рады видеть вас.

Глиндон хотел отвечать, когда вдруг его взгляд остановился на молодой девушке, опиравшейся на руку Паоло, красота которой была так поразительна, что он покраснел и почувствовал, что его сердце сильнее забилось, когда взгляды их встретились.

В ее глазах сверкала лукавая веселость, полуоткрытые губки позволяли видеть мелкие блестящие перлы, а ее ножка, как бы в нетерпении и негодовании от паузы, которую устроил ее кавалер, выстукивала такт арии, которую она напевала вполголоса.

Паоло улыбнулся при виде впечатления, которое произвела его спутница.

- Не хотите ли потанцевать? - сказал он Глиндону. - Присоединяйтесь к нам, оставьте вашу торжественную важность и забавляйтесь, как и мы, грешные. Посмотрите, как хорошенькой Филлиде хочется танцевать. Сжальтесь над нею.

Филлида сделала вид, будто надулась, и, высвободив от Паоло свою руку, отошла, бросив через плечо взгляд вызова и ободрения в одно и то же время. Глиндон почти невольно приблизился к ней и заговорил.

Она опустила глаза и улыбнулась. Паоло оставил их с совершенно беззаботным видом. Филлида заговорила, она подняла на ученика кокетливо-вопрошающий взгляд.

Он покачал головой, Филлида засмеялась серебристым смехом. Она указала на красивого горца, весело смеявшегося. Почему Глиндон почувствовал ревность? Почему, когда она ему говорит, он не качает более головой? Он предлагает ей руку. Филлида краснеет и кокетливо берет ее. Что такое? Возможно ли это? Они входят в ряды танцоров... ха-ха! - не лучше ли это, чем дистиллировать растения и иссушать свой мозг над вычислениями? Как легко танцует Филлида! Как ловко сгибается ее стройная талия под обхватывающей ее рукой! Тара-ра, тара-та, тара-ра...

Что это за такт, заставляющий кровь кипеть в жилах? Были ли когда-нибудь глаза, такие, как у Филлиды? Их блеск не похож на холодное и спокойное мерцание звезд, но зато как они сверкают и смеются! А ее розовые губки, которые так скупятся в ответах на любезности, точно слова для них потерянное время и они знают только язык поцелуев!.. О, Ученик Мейнура! О, Будущий Розенкрейцер, платоник магии и уж не знаю кто! Мне стыдно за тебя! Что сталось с твоей суровой созерцательностью? Неужели ты для этого отказался от Виолы? Держу пари, что ты забыл теперь про эликсир и про каббалу. Берегись! Что ты делаешь? Почему жмешь ты эту маленькую ручку, лежащую в твоей? Почему ты? Тара, рара, тарара, тара, рара-ра... тара-ра... тара-ра! Отвернись от этой ножки, от этих плеч. Тара, рара-ра!

Теперь они отдыхают под густым деревом, смех раздается все дальше и дальше, влюбленные пары одна за другой проходят мимо них, с любовью на устах, с любовью во взорах. Но я убежден, что они не видели и не слышали никого, кроме себя самих.

- Ну что, синьор, нравится ли вам ваша напарница? Присоединяйтесь к нашему пиру! После вина танцуется веселей.

Опускается солнце, восходит осенняя луна... И снова танцы. Но танцы ли уже это или это веселый, шумный и дикий вихрь? Как сверкают их взгляды сквозь ночные тени! Эти порхающие фигуры! Какой хаос и какой порядок! Да это тарантелла! Маэстро Паоло смело ведет танец. Сам дьявол! Какие ярость и неистовство! Тарантелла покорила всех. Танцуй или умри! И вот уже перед нами - фурии, корибанды {Дети Аполлона и музы Талии. Их культ имеет экстатический характер.}, менады...

Хо-хо! Больше вина! Шабаш ведьм просто милая шутка по сравнению с этим безумием... От облака к облаку плывет луна, то проливая свое сияние, то исчезая - тусклая, когда краснеет девушка, сияющая, когда девушка улыбается!

- Филлида! Ты волшебница!

- Спокойной ночи, синьор, увидимся ли мы снова?

- А! Юноша, - сказал дряхлый старик, опираясь на палку, - пользуйтесь молодостью. У меня также была своя Филлида! Я тогда был прекраснее вас. Увы! Если бы мы могли быть всегда молоды!

Всегда молоды! Глиндон вздрогнул, сравнивая свежее и розовое личико молодой девушки с тусклыми глазами старика, его желтой и морщинистой кожей, его трясущимся телом.

- Ха! Ха! - продолжал старик, насмешливо улыбаясь. - А между тем я был когда-то молод. Дайте мне на что купить стакан водки!

Тара, рара, ра-рара, тара, рара-ра! Здесь танцует Молодость! Завернись в свое тряпье и уматывай отсюда, Старость!

VI

Глиндон возвратился домой перед рассветом. Разбросанные на столе вычисления привлекли его взгляд, но он сейчас же отвернулся от них со скукой и отвращением. Но увы! Если бы можно было быть всегда молодым! Какой ужасный призрак этот дряхлый старик! Может ли таинственная комната показать более отвратительное и отталкивающее привидение! О да, если бы мы могли быть всегда молоды! Но сохнуть над этими цифрами, корпеть над составлением этих зелий! О, нет, подумал Глиндон, нет! Наслаждаться, любить, быть счастливым! Что более идет к молодости, чем удовольствие? Я могу сейчас же приобрести этот дар вечной молодости! Что значит это запрещение Мейнура? Не есть ли это последствие эгоистической сдержанности, с которой он скрывает от меня окончательную тайну всех своих опытов? Без сомнения, по своем возвращении он снова скажет мне, что великая тайна достижима, но снова запретит мне всякие попытки овладеть ею. Не желает ли он поработить мою молодость в угоду своей старости? Сделать меня вполне зависимым от него?.. Принудить меня к постоянной, однообразной работе, возбуждая мое любопытство и показывая постоянно плоды, к которым не дает мне прикоснуться...

Эти и другие, еще более горькие мысли волновали и раздражали Глиндона. Разгоряченный вином и безумными излишествами ночи, он не мог спать. Отталкивающий образ старости, которая со временем подступит к нему, если он будет побежден, возбуждал еще сильнее его желание добыть для себя эту ослепительную и вечную юность, которая восхищала его в Занони. Запрещение только заставляло его еще более возмущаться. Наконец наступил день и рассеял все мороки ночи. Таинственная комната не представляла никакой разницы с остальными комнатами замка. Какое привидение могло явиться при блеске этого сияющего солнца? В натуре Глиндона было странное и вместе несчастное противоречие: разум его имел склонность к сомнению, а сомнение делало его нерешительным и колеблющимся, но в то же время физически он был храбр до безумия. Это нередкая аномалия. Скептицизм и самонадеянность - родные братья. Когда человек такого характера на что-нибудь решился, никакая личная боязнь не остановит его, тогда как достаточно самого жалкого софизма, чтобы опровергнуть его. Не отдавая себе отчета в состоянии сознания, под влиянием которого его тело пришло в движение, он прошел через коридор, отворил запрещенную дверь и вошел в комнату Мейнура... Все было на своих местах, только на столе, посреди комнаты, лежала открытая книга. Он подошел и заглянул в книгу: она была написана шифром, но он без большого труда разобрал первые фразы. Текст гласил:

"Пить продолжительными глотками внутреннюю жизнь - это видеть жизнь высшую; жить наперекор времени - это жить всеобщей жизнью. Тот, кто открывает эликсир, открывает и то, что находится в пространстве, так как ум, оживляющий тело, укрепляет чувства; свет имеет особую привлекательность. В лампах розенкрейцеров огонь является чистым, элементарным принципом. Зажги лампы в то время, как откроешь сосуд, заключающий в себе эликсир, и свет привлечет к тебе создания, для которых он есть жизнь. Берегись страха. Страх есть смертельный враг науки". Далее шифр становился непонятным. Но разве того, что он прочел, недостаточно? Не достаточно ли этой последней фразы

"Берегись страха"? Казалось, что Мейнур нарочно оставил эту страницу открытой, как если бы испытание состояло в действиях, совершенно противоположных его советам, как будто учитель, делая вид, что хочет испытать его терпение, в сущности хотел испытать его храбрость. Не смелость, а страх был смертельным врагом тайнознания. Он подошел к полкам, на которых стояли хрустальные вазы, и твердой рукой открыл одну. В ту же минуту по комнате распространился приятный запах. Воздух засверкал, точно он состоял из бриллиантовой пыли. Чувство чудного блаженства, чисто духовного, охватило все его существо, в то же время в воздухе раздалась слабая, но чудная музыка. Но в это же время в коридоре послышался голос, его звали по имени, и через мгновение в дверь раздался стук. "Вы тут, синьор?" - говорил голос Паоло.

Глиндон закрыл вазу и поспешно поставил ее обратно на место, приказав Паоло идти ждать его в помещении на другом конце коридора, затем с сожалением оставил комнату. Закрывая дверь, он еще слышал замирающую гармонию и легкими шагами, с веселым сердцем пошел к Паоло, твердо решив возобновить свои опыты в такое время, когда их можно будет окончить, не боясь помехи.

Когда он переступил через порог, Паоло с удивлением отступил.

- Синьор! - вскричал он. - Вас нельзя узнать. Удовольствия, я вижу, украшают молодость. Вчера вы были бледны и расстроены, но прекрасные глаза Филлиды произвели на вас действие, какого никогда не производил философский камень (да простят меня святые за то, что эти слова слетели с моего языка) на самих колдунов!

Глиндон бросил взгляд в старое венецианское зеркало и был не менее Паоло удивлен переменой, происшедшей в его наружности. Его фигура, обыкновенно сгорбленная от трудов и мыслей, показалась ему выше на полголовы, так прям был его изящный стан; его глаза сверкали, цвет лица сиял здоровьем. Если таково было действие простого вдыхания эликсира, то неужели алхимики были не правы, приписывая ему способность сохранять жизнь и молодость?

- Простите, синьор, что я помешал вам, - сказал Паоло, вынимая из кармана письмо, - но ваш патрон написал, что будет здесь завтра, и поручил мне, не медля ни минуты, передать вам это письмо.

- Кто его принес?

- Всадник, который не стал ждать ответа.

Глиндон развернул письмо и прочел:

"Я возвращаюсь неделей раньше, чем думал: ждите меня завтра. Тогда можно будет начать испытание, которого так желаете; но помните, что, приступая к нему, надо сделать все свое существо возможно более духовным. Чувства должны быть побеждены и подавлены; ни одна страсть не должна подавать своего голоса. Можно достигнуть мастерства в каббале и в алхимии, но необходимо еще господствовать над своими чувствами и телом, над любовью, тщеславием, честолюбием и ненавистью. Я надеюсь найти тебя таким. Соблюдай до моего приезда пост и предавайся созерцанию".

Глиндон с презрительной улыбкой смял письмо. Как, снова эти занятия! Снова воздержание! Молодость без удовольствий и любви!

Мейнур! Тебя перехитрили! Твой ученик сумеет без тебя проникнуть в твои тайны.

- А Филлида! Направляясь сюда, я прошел мимо ее хижины: она улыбнулась и покраснела, когда я стал шутить насчет вас, синьор.

- Я должен поблагодарить тебя, Паоло, за такое приятное знакомство. Твоя жизнь, должно быть, полна всяких удовольствий.

- О! Пока человек молод, нет ничего лучше нашей полной приключений жизни, да здравствует вино, веселье и любовь!

- Это правда. Прощай, Паоло, на днях мы поговорим подольше.

Все утро Глиндон был погружен в новое для него чувство блаженства. Он пошел в лес и там, перед радужными красками осенней листвы, испытал восторг, похожий на его прежние восторги художника, но более сильный и утонченный. Природа, казатось, стала ближе к нему. Теперь он лучше понимал все, в чем Мейнур так часто наставлял его, - мистерию симпатий и любви в природе. Теперь он был готов отдаться этой мистерии, подобно этим детям леса. Он должен был познать обновление жизни. Круговорот времен года, который проходит сквозь зимний холод, снова приносит с собой цветение и радость весны. Жизнь человека сравнима с одним годом растительного мира: он имеет свою весну, лето, осень и зиму - но только однажды. А листва столетних дубов вокруг него каждый год так же молода в лучах майского солнца, как зелень совсем юных побегов. "Моей будет твоя весна, но не твоя зима!" - восклицает Стремящийся.

Погруженный в свои мечты, он незаметно вышел из леса и в нескольких шагах перед собою увидал небольшой домик скромной наружности. Дверь его была открыта, и он увидал девушку, работавшую с веретеном. Она подняла глаза, слегка вскрикнула и весело выбежала ему навстречу. Он узнал Филлиду.

- Тсс! - сказала она, таинственно прикладывая палец к губам. - Не говорите громко, моя мать спит; я знала, что вы придете ко мне; как вы добры!

Глиндон, немного смущенный этой незаслуженной похвалой, тем не менее не протестовал.

- Значит, вы думали обо мне, прелестная Филлида?

- Да, - отвечала, краснея, молодая девушка с той открытой и смелой наивностью, которая характеризует женщин Южной Италии, в особенности низшего класса. - Я ни о чем другом не думала. Паоло сказал мне, что знает, что вы придете ко мне.

- Паоло вам родственник?

- Нет, он друг для всех нас. Мой брат из его шайки.

- Из его шайки! Разбойник!

- В наших горах, синьор, мы не зовем горца разбойником!

- Извините, но разве вы не трепещете иногда за жизнь вашего брата? Правосудие...

- Правосудие не решается заглядывать в эти ущелья. Бояться за него! О нет! Мой отец и дед занимались тем же. И я часто сожалею, что я не мужчина.

- Клянусь твоими прелестными губками, я в восторге, что твои сожаления напрасны.

- Вы, значит, меня серьезно любите?

- От всего сердца.

- Я тоже люблю тебя! - сказала молодая девушка и позволила взять себя за руку. - Но, - прибавила она, - ты скоро оставишь нас, а я...

Она остановилась, слезы показались у нее на глазах.

Надо признаться, что во всем этом была опасность. Филлида, конечно, не обладала ангельской прелестью Виолы, но по крайней мере ее красота также имела власть над чувствами. Глиндон, может быть, никогда не любил Виолу, может быть, чувство, внушенное ею, не заслуживало названия любви. Как бы то ни было, но при виде этих черных глаз ему показалось, что он никогда не любил.

- А разве ты не могла бы оставить свои горы? - тихо спросил он.

- Ты меня это спрашиваешь? - сказала она, отступая и глядя на него. - Но знаешь ли ты, каковы мы, дочери гор? Вы, блестящие и легкомысленные жители городов, вы часто говорите несерьезно. У вас любовь только препровождение времени, для нас она - жизнь. Оставить эти горы? О, если бы я могла оставить с ними и мою природу.

- Оставь свою природу при себе, я люблю ее.

- Ты ее любишь, пока ты верен; но если ты непостоянен! Хочешь ли ты знать, какова я, каковы дочери нашей страны? Дочери тех, кого вы зовете разбойниками, мы стараемся быть подругами наших мужей и любовников. Мы любим страстно и смело признаемся в этом. В опасности мы боремся вместе с вами, мы служим вам как рабы, когда опасность миновала, мы никогда не изменяем, а когда вы изменяете нам, мы мстим. Вы можете осыпать нас упреками, ударами, попирать нас ногами, как собаку, - мы безропотно переносим все; измените нам - и тигрица не будет более безжалостна. Будете верны, и наши сердца вознаградят вас; будете фальшивы, и наши руки накажут вас. А теперь скажи мне, любишь ли ты меня?

В то время как итальянка говорила, лицо ее поминутно меняло свое выражение, при последнем вопросе она стыдливо опустила голову и боязливо ждала ответа. Эта бесстрашная гордость только восхитила Глиндона, вместо того чтобы испугать его.

- Да, Филлида! - отвечал он.

Конечно, да, Кларенс Глиндон! Самое непостоянное сердце отвечает да на подобный вопрос, заданный такими свежими губками. Берегись, берегись! О чем ты думаешь, Мейнур, оставляя своего ученика на двадцать четыре часа во власти этих диких горных кошек? Проповедовать пост и возвышенное отречение от чувственного соблазна! Это хорошо для такого человека, как ты, почтенный учитель, которому Бог знает сколько лет, но, когда тебе было двадцать четыре года, твой учитель, верно, держал бы тебя вдали от Филлиды, иначе у тебя было бы мало склонности к каббале.

Они оставались вдвоем до тех пор, пока мать Филлиды не позвала ее из соседней комнаты. Молодая девушка одним прыжком была у своего веретена и снова приложила палец к губам.

"В Филлиде больше волшебного, чем в Мейнуре, - думал Глиндон, весело возвращаясь в замок. - Однако, если поразмышлять хорошенько, я не уверен, нравится ли мне эта склонность к мщению. Но кто владеет действительной тайной, может смеяться даже над мщением женщины и отвратить всякую опасность!"

Несчастный! Ты уже видишь возможность измены! Занони был прав: "Налейте чистую воду в грязный колодец, и вы только поднимете грязь!"

VII

Ночь уже наступила. В старом замке покой и тишина. Теперь пора. Мейнур, суровый Мейнур, враг любви, взгляд которого прочтет в твоем сердце и который откажет тебе в обещанных тайнах, потому что чудная улыбка Филлиды рассеяла безжизненный мрак, который он называет покоем, - Мейнур приезжает завтра; воспользуйся этой ночью. Берегись страха. Теперь или никогда.

Храбрый юноша, храбрый, несмотря на все свои ошибки, он твердой рукой снова открыл дверь запретной комнаты.

Он поставил лампу на стол около книги, которая осталась открытой, он стал переворачивать листы, но мог разобрать только следующее место:

"Когда ученик приготовлен таким образом, пусть он откроет окно, зажжет лампы и намочит себе виски эликсиром. Он должен остерегаться пить эликсир большими глотками, потому что если он сделает это прежде, чем приготовит свое тело постоянным вдыханием, то вместо жизни найдет смерть".

Дальше он не мог прочесть, шифр снова изменялся. Он внимательно и спокойно оглядел комнату. Луна безмятежно светила в открытое им окно, и казалось, что ее свет, который покоился на полу и стенах, обладал призрачной и печальной властью. Он поставил таинственные лампы в количестве девяти в круг посередине комнаты и зажег их одну за другой. Лазурный и серебристый ослепительный свет наполнил комнату, но скоро этот свет стал приятнее и слабее; легкий сероватый туман мало-помалу наполнил комнату; смертельный холод охватил сердце англичанина; с инстинктивным предчувствием опасности он с трудом дотащился до полки, на которой стояли хрустальные вазы; он поспешно стал вдыхать эликсир и смочил им виски. То же ощущение силы, молодости и блаженства, как и утром, мгновенно сменило смертельный ужас, который он только что испытывал. Он стоял выпрямившись, скрестив руки на груди, без страха наблюдал то, что развертывалось перед ним. Между тем туман принял уже плотность и вид снеговой тучи, и лампы сверкали сквозь него, как звезды. Тогда он ясно увидал фигуры, имевшие человеческие контуры, которые медленно проходили сквозь туман. Их тела были прозрачны и вытягивались и свертывались, как кольца змеи. Во время их величественного шествия он услышал слабый звук, точно они вторили друг другу голосами, которые, казалось, сливались в песнопение, наполнявшее душу невыразимым блаженством. Ни одна из этих фигур не обращала на Глиндона никакого внимания. Непреодолимое желание Глиндона принять участие в их движении заставило его протянуть руки и громко закричать; но с его губ сорвался только едва слышный шепот, а движение и звуки продолжались непрерывно, как будто рядом с ними не было никакого смертного. Видения медленно обошли кругом всю комнату и исчезли в открытом окне.

Тогда глаза Глиндона, следившие за ними, увидели чтото неопределенное, появившееся в окне и вдруг превратившее в невыразимый ужас то блаженство, которое он до сих пор испытывал. Мало-помалу он стал различать этот неопределенный предмет. Казалось, что это была человеческая голова, покрытая черным покрывалом, сквозь которое сверкали адским блеском глаза, от которых у Глиндона на сердце похолодело. Это было все, что он мог различить в этом лице, - глаза, взгляд которых невозможно было выдержать. Но его ужас, который, казалось, был выше человеческих сил, увеличился в тысячу раз, когда призрак медленно вошел в комнату. Туман рассеялся перед ним, блестящий свет ламп потускнел, и их пламя закачалось от его присутствия. Вся фигура была так же закутана, как и лицо, но под покрывалом угадывался женский силуэт. Она двигалась не так, как движутся призраки, походящие на живые существа, а, скорее, ползла, как громадная рептилия. Наконец призрак остановился около стола, где лежала мистическая книга, и снова устремил свой взгляд сквозь полупрозрачное покрывало на того, кто так дерзко, неосторожно вызвал его. Самое гротескное и безумное воображение монаха или живописца средних веков не в состоянии было бы придать образу черта или дьявола выражение такой смертельной злобы, исходившей из его глаз, которая бросала в дрожь человека, потрясая до основания все его существо. Все остальное в нем было неопределенно, закутано в покрывало или, скорее, саван. Но его сверкающий взгляд излучал что-то почти человеческое в своей ненависти и страстной иронии, что-то такое, что подсказывало: эта ужасная тень не была вполне духом, она казалась настолько материальной, чтобы являться смертельным и ужасным врагом существ, обладающих физическим телом. Глиндон, у которого волосы встали дыбом и глаза остекленели от страха, в агонии судорожно прижимался к стене, не смея оторвать своего взора от ужасающего взгляда. В это время призрак заговорил. И скорее душой, чем слухом, понял он эти слова.

- Ты вступил в безграничное пространство. Я Страж Порога. Чего ты хочешь от меня? Ты не отвечаешь? Или ты меня боишься? Разве ты не любишь меня? Разве не для меня отказался ты от радостей твоего рода? Ты хочешь стать мудрым? Я обладаю мудростью бесконечных веков! Поцелуй меня, мой смертный возлюбленный.

Ужасный призрак подполз к нему, его дыхание коснулось его щеки! С пронзительным криком Глиндон без чувств упал на пол и не помнил ничего до тех пор, пока на другой день не открыл глаза и не увидел себя в своей постели. Яркое солнце освещало комнату, бандит Паоло стоял у его изголовья и, чистя свой карабин, напевал калабрийскую любовную песенку.

VIII

Занони скрыл свое счастье на одном из тех островов, которым бессмертная слава Афин до сих пор придает меланхолический интерес. Видимый с вершины одной из его зеленых гор, этот остров был похож на чудесный сад и был самым прелестным из всех островов, разбросанных в этом дивном море. Там расточительная красота природы все еще, кажется, оправдывала те очаровательные суеверия, которые слишком привязывали людей к земле и которые скорее низводили богов к ним, нежели подымали людей к менее для них соблазнительному и заманчивому и менее чувственному и сладострастному Олимпу.

Для коренных жителей остров был Великой Матерью, благосклонно улыбавшейся им из далекого прошлого.

Жителям Севера для их счастья важны философия и свобода. На островах же, где Афродита возникает из пены морской, чтобы править ими, и где времена года встречают ее бок о бок на берегах своих, природы вполне достаточно для счастья их обитателей.

Жилище Занони, немного удаленное от города, стоявшее на берегу небольшой бухты, принадлежало одному венецианцу. Оно было невелико, но отличалось редким изяществом. На море, в виду дома, стоял на якоре его корабль. Индусы служили ему, как всегда, с молчаливой торжественностью. Для таинственного знания Занони и невинного незнания Виолы шумный свет был одинаково не нужен. Небо и земля, полные любви, были вполне достаточным обществом для мудрости и незнания, пока они любили друг друга.

Как я уже говорил, ничто в занятиях Занони не указывало на него как на последователя тайных наук, но его привычки были привычками человека размышляющего. Он любил уходить один на далекие расстояния на заре и в сумерки, а в особенности ночью, на восходе или закате луны. Он любил во время прогулок в глубь этого плодородного острова собирать растения и цветы, которые тщательно хранил. Иногда среди ночи Виола вдруг пробуждалась под впечатлением таинственного инстинкта, говорившего ей, что Занони нет более около нее; она протягивала руки и убеждалась, что инстинкт не обманул ее. Она замечала, что он говорил о своих привычках очень сдержанно, и если иногда ее охватывало какое-нибудь предчувствие или подозрение, то она старалась не выказывать его. Но на прогулках он не всегда был одинок, часто, когда море было совершенно спокойно, они вдвоем целые дни проводили на корабле, объезжая остров и посещая все соседние уголки Греции, казалось в совершенстве известные Занони. Его рассказы о прошлом, о легендах этой страны заставляли Виолу любить народ, который дал миру поэзию и искусство. По мере того как Виола узнавала Занони, она открывала в нем тысячи вещей, которые увеличивали и делали более могущественным очарование, которое он производил на нее.

Его любовь была так нежна и предупредительна, он имел драгоценное качество быть еще более благодарным за то счастье, которое он испытывает, нежели гордиться тем счастьем, которое сам мог дать.

Занони был обыкновенно мягок, холоден и сдержан почти до безразличия со всеми, кто имел с ним дело. Никогда никакое гневное слово не сходило с его уст, никогда гнев не сверкал в его глазах.

Однажды они подверглись опасности, нередкой в этих полудиких местах. Пираты, промышлявшие вокруг, узнали о прибытии двух иностранцев, а из болтовни матросов они узнали о богатстве их господина. Однажды ночью Виола, только что уснувшая, была разбужена слабым шумом. Занони с ней не было; она со страхом стала прислушиваться. Вдруг ей послышался стон. Она быстро вскочила и бросилась к двери; все было спокойно. Послышался шум приближающихся шагов: вошел Занони, спокойный и, по-видимому, не подозревавший о ее страхе. На другое утро у главного входа в дом нашли три трупа, соседи опознали в них самых опасных и кровожадных разбойников архипелага, людей, виновных в сотне убийств, которым до сих пор удавались все преступления, внушенные им жаждою грабежа. Затем на берегу нашли следы более многочисленной шайки, как будто после смерти главарей сообщники обратились в бегство. Но когда стали разбирать дело, то смерть разбойников оказалась покрытой необъяснимой тайной. Занони не выходил из своего кабинета. Никто из слуг ничего не слышал, наконец, на трупах не было никаких следов насилия. Они умерли от неизвестной причины. С этой ночи дом Занони и его окрестности стали для обитателей острова священны. Соседние деревни, счастливые, что избавились от такого бича, глядели на иностранца как на человека,

находящегося под особенным покровительством Святой Девы. И еще долго после отъезда Занони впечатлительные греки, пораженные странной и внушающей уважение красотой этого человека, говорившего на их языке так же хорошо, как они сами, голос которого часто утешал их скорби, а рука никогда не уставала удовлетворять их нужды, сохранили о нем благодарное воспоминание. Даже теперь они показывают большой платан, под которым они часто видели его задумчиво сидевшим в одиночестве в полуденное время. Но Занони посещал также места, более скрытые от взглядов, чем тень этого платана. На этом острове существуют смоляные источники, о которых говорил еще Геродот, и часто среди ночи луна видела его выходящим из миртовых кустов, среди которых текут эти горячие источники, влияние которых на органическую жизнь еще, может быть, даже неведомо современной науке. Еще чаще он проводил целые часы в фоте, находившемся в самой уединенной части острова, среди сталактитов, которые, кажется, были созданы рукою человека и которые суеверие жителей связывает с легендами о многочисленных и почти постоянных землетрясениях, колеблющих этот остров.

Каковы бы ни были намерения Занони, заставлявшие его осматривать окрестные места, все они были связаны с одним могущественным желанием, и каждый день, который он проводил в обществе Виолы, усиливал и подтверждал это желание.

Сцена, которую Глиндон видел во время своего экстаза, была верна во всех отношениях. Несколько дней спустя после этой сцены Виола смутно поняла, что какое-то духовное влияние, свойства которого она не посмела анализировать, старалось овладеть ее существом. Чудные и неопределенные видения, как те, которые она знала в юности, но более частые и более поразительные, преследовали ее днем и ночью во время отсутствия Занони; когда он возвращался, они исчезали и казались ей менее прекрасны, чем его дорогое присутствие. Занони тщательно и жадно расспрашивал ее про эти видения и не раз был огорчен и взволнован ее ответами.

- Не говори мне, - сказал он однажды, - об этих неопределенных образах, о движениях звезд, о чудных мелодиях, которые кажутся тебе музыкой и языком небесных сфер. Не видела ли ты более определенного и более прекрасного образа, чем другие? Не слышала ли ты голоса, говорящего тебе на твоем языке и нашептывающего странные тайны священной науки?

- Нет! В этих снах все неопределенно, ночью, как и днем; и когда при шуме твоих шагов я прихожу в себя, моя память сохраняет только смутное воспоминание счастья. Но как оно отлично в своей холодности от счастья слышать твой голос, когда ты говоришь: "Я люблю тебя!"

- Почему же видения менее прекрасные казались тебе прежде столь очаровательными? Почему они охватывали твой ум и наполняли сердце? Прежде ты мечтала о каком-то волшебном мире, а теперь кажешься счастливой обыкновенной жизнью!

- Разве я не объясняла тебе этого? Разве это обыкновенная жизнь - любить и жить с тем, кого любишь? Мой волшебный мир во мне, не говори мне о другом.

Ночь застала их на уединенном берегу, и Занони, оторвавшись от более возвышенных забот и наклонясь над этим дорогим лицом, забыл, что в окружавшей их бесконечности есть другие миры, кроме человеческого сердца.

IX

- Адон-Аи! Адон-Аи! Явись! Явись!

И в гроте, где прежде раздавались предсказания языческих оракулов, вдруг появилась из причудливой, фантастической тени скалы гигантская светящаяся колонна. Она походила на блестящую струю видимого издали фонтана. Блеск ее осветил сталактиты и своды пещеры и отбросил слабый и дрожащий свет на лицо Занони.

- Сын Вечного Света, - сказал маг, - ты, которого я, подымаясь по ступеням лестницы восхождения от воплощения к воплощению, узнал наконец в обширных равнинах Халдеи, ты, от кого я так широко черпал эту невыразимую мудрость, исчерпать которую может только вечность, ты, который тождествен мне, насколько это позволяют различия в нашей природе, ты, который в течение веков был моим добрым гением и другом, отвечай мне и руководи мной.

Из сверкающей колонны вышло чудное видение. Это было лицо человека, очень молодое лицо с печатью вечности и мудрости; свет, похожий на сияние звезд, пульсировал в его прозрачных венах; все его тело было свет, и свет рассыпался искрами между волнами его роскошных блестящих волос. Сложив руки на груди, он остановился в нескольких шагах от Занони.

- Мои советы были прежде тебе дороги, - тихим и нежным голосом заговорил он, - прежде, каждую ночь, твоя душа могла следить за полетом моих крыльев, чрез величие

бесконечности. Теперь ты снова привязал себя к земле самыми крепкими узами и прелесть бренного тела пленяет тебя более, чем расположение сынов звездных пространств. В последний раз, когда твоя душа слышала мой голос, чувства уже смущали твой ум и затемняли видения. Я прихожу к тебе в последний раз; власть, которую ты имеешь, чтобы вызывать меня, уже исчезает из твоей души, как луч солнца исчезает с волны, когда между небом и океаном ветер гонит тучи.

- Увы, Адон-Аи, - печально отвечал Занони, - я слишком хорошо знаю условия существования, в котором некогда твое присутствие разливало радость. Я знаю, что источник нашей мудрости заключается в равнодушии к свету, над которым она властвует. Зеркало души не может отражать в одно время небо и землю, одно исчезает с его поверхности, как только в глубине появляется другое. Но если еще раз, с тяжелым усилием ослабевающего могущества, я призвал тебя, то не для того, чтобы ты снова дал мне ту божественную окрыленность, при помощи которой ум, освобожденный от оков тела, поднимается до небесных сфер.

Я люблю и любовью начинаю жить в сладостной, дорогой мне человеческой природе другого. Если я еще обладаю каким-нибудь знанием, то оно служит мне только для того, чтобы отвращать опасность, угрожающую лично мне или тем, на кого я могу смотреть с высоты моего знания, но я так же слеп, как самый обыкновенный смертный, относительно судьбы той, которая заставляет мое сердце биться страстью, затемняющей мой взор.

- Не все ли равно? - отвечал Адон-Аи. - Твоя любовь только насмешка над любовью; ты не можешь любить, как те, кого ждет смерть и могила. Еще одно мгновение в твоей бесконечной жизни, и та, которую ты любишь, будет прахом. Другие обитатели этого мира идут к могиле рука об руку; рука об руку поднимаются они в новые циклы существования. Для тебя здесь остались еще века, для нее - часы; разве для тебя и для нее возможна общая будущность? Через какие ступени духовного существования пройдет ее душа, когда ты, одинокий и запоздалый, явишься с земли к дверям Света?

- Сын звезды! Неужели ты думаешь, что эта мысль не преследует меня постоянно? Разве ты не видишь, что я вызвал тебя для того, чтобы выслушать меня и служить моим намерениям? Разве ты не читаешь во мне моего желания и моей мечты? Разве ты не знаешь, что я хочу возвысить ее существование до моего? Ты, Адон-Аи, пребывая в небесном блаженстве, не можешь испытывать того, что испытываю я, отпрыск смертного рода. Исключенный из того божественного круга, до которого возвысился мой ум, принужденный жить один среди людей, я искал себе друзей, но напрасно. Наконец я нашел подругу. У хищной птицы и у дикого зверя они есть, и я имею достаточно познаний и достаточно власти, чтобы удалить все вредное с ее пути, который должен вести ее к высшим сферам, пока наконец она будет в состоянии принять эликсир, побеждающий смерть.

- И ты начал ее посвящение и бессилен продолжать. Я это знаю. Ты мог наполнить ее сон чудными видениями, ты вызвал лучших сынов воздуха и приказал им убаюкивать ее сон, но ее душа не слушает их, она возвращается на землю и уклоняется от их влияния. Почему? Слепец, разве ты не видишь? Потому что в ее душе все любовь. Нет никакой соединяющей страсти, которая привязывала бы ее к мирам, с которыми ты хочешь познакомить ее с помощью твоих таинственных чар. Эти вещи привлекательны только для ума. Что имеют они общего с земной страстью, с надеждой, которая сама поднимается к небу?

- Но разве не может существовать никакой общей связи, которая соединяла бы наши души и наши сердца и оказала бы влияние на ее душу?

- Не спрашивай у меня этого, ты не поймешь.

- Заклинаю тебя, говори.

- Разве ты не знаешь, что когда две души разделены, то связь, которая их может соединить, есть третья душа, в которой они встречаются и живут?

- Я понимаю тебя, Адон-Аи, - сказал Занони, и лицо его засияло сильнейшей человеческой радостью, - и если судьба, темная для меня в этом отношении, даст мне счастье последнего смертного, если когда-нибудь будет существовать ребенок, которого я смогу прижать к груди и назвать своим...

- Неужели ты для того мечтал стать выше людей, чтобы в конце концов стать человеком?

- Но ребенок, вторая Виола, - прошептал Занони, не слушая сына Света, - молодая душа, только что спустившаяся с неба, которую я буду воспитывать с той минуты, как она явится на землю, крылья которой я приучу следовать за мною и через которую сама мать возвысится и пройдет сквозь царство смерти!

- Берегись, подумай. Разве ты не знаешь, что твой самый безжалостный враг находит в действительности? Твои желания все более приближаются к желаниям человеческой природы.

- Человеческая природа прекрасна! - отвечал Занони.
При этих словах лицо Адон-Аи осветилось улыбкой.

X

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ ЗАНОНИ К МЕЙНУРУ

1

"Ты ничего не говорил мне об успехах твоего ученика, и я боюсь, что обстоятельства так различно сформировали ум поколений, к которым принадлежим мы, и ум искренних и эксцентричных детей сего века, что все твои заботы и самое тщательное руководство не будут иметь успеха, даже если тебе и попадется неофит с более чистым и возвышенным характером, чем тот, кого ты принял под свою кровлю.

Третье состояние существования, которое индийский мудрец вполне верно называет состоянием средним между сном и бодрствованием и не вполне точно называет экстазом, неизвестно жителям Севера, и немногие из них соглашаются предаваться ему, глядя на это состояние, как на Майю, на иллюзию расстроенной души. Вместо того чтобы возделывать эту эфирную почву, из природы, субстанции которой, если она правильно познается, можно было бы выращивать такие роскошные плоды и такие прекрасные цветы, они смотрят на это усилие ума подняться выше узкого мира людей в обитель бессмертных духов как на болезнь, которую доктор должен лечить с помощью лекарства; они не знают, что этому состоянию, в его еще несовершенной, младенческой форме, они обязаны происхождением поэзии, музыки, искусства, всеми идеалами прекрасного, которых не может дать ни сон, ни бодрствование.

Мейнур, в те отдаленные века, когда мы с тобою были сами неофитами, мы принадлежали к людям, для которых реальный мир был закрыт и недоступен. Наши предки имели в жизни одну цель - сокровенное знание. Мы с колыбели были предназначены и приготовляемы к этому, как к жреческому служению. И то, что для нас было азами науки, на то нынешние ученые смотрят с презрением, как на фантастические химеры, или с отчаянием отворачиваются, как от непроницаемой тайны. Даже самые основополагающие начала теории электричества и магнетизма и те для них темны и неясны и служат предметом яростных споров между различными направлениями их слепой науки, а между тем даже в нашей юности как мало из наших братьев достигли первой ступени посвящения. А те, кто ее достиг, после нерадостного обладания теми преимуществами, которых они так жаждали, добровольно покинули Свет, не делая никаких усилий над собой, нашли свою гибель, как пилигримы в пустыне, не выдержав тишины одиночества и испугавшись бесцельности своего пути. Но ты, в котором живет, кажется, только одно желание знать, не спрашивая, к чему поведет оно, к счастью или несчастью, ты часто предлагал себя в проводники тем, которые хотели идти по пути таинственного знания, ты всегда старался увеличить и часто увеличивал число наших адептов, но они были посвящены в твои тайны только отчасти. Тщеславие, страсти делали их недостойными идти дальше, и теперь ты снова в качестве эксперимента, без любви, без жалости подвергаешь эту новую душу всем случайностям ужасного испытания!

Ты думаешь, что любопытства и бесстрашия достаточно для успеха там, где глубокие умы и самая строгая добродетель часто не имели успеха. Ты думаешь, что хранящийся в его душе росток таланта художника может помочь ему взрастить величественный цветок золотой науки. Для тебя это новый опыт. Щади своего ученика, и если он обманет твои надежды с первых же опытов, то возврати его действительности, пока еще он может пользоваться преходящей чувственной жизнью, которая кончается могилой.

Предупреждая тебя таким образом, я в то же время заставляю тебя смеяться над моими легкомысленными надеждами. Так часто отказываясь посвящать других в наши тайны, я наконец начинаю понимать, почему великий закон, связывающий человека с ему подобными даже в то время, когда он старается уединиться от них, сотворил из твоего холодного и безжизненного знания связь между тобою и человечеством; почему ты также искал учеников и последователей, почему, видя, как ряды нашего общества редеют, ты старался заполнить пробелы, вознаградить потери, почему среди твоих постоянных расчетов, неумолимых, как сама природа, ты всегда в ужасе отступаешь перед мыслью остаться в одиночестве. То же и со мной. Я тоже искал друга, ровню, я тоже содрогался при мысли остаться в одиночестве. И то, против чего ты предупреждал меня, случилось. Любовь. Любовь приводит все к своей мерке. Я должен опуститься до той, которую я люблю, или поднять ее до себя.

Все, что принадлежит истинному искусству, всегда имело для нас привлекательность, так как само наше бытие пребывает в той сфере, из которой проистекает искусство.

Таким образом, в той, которую я люблю, я открыл наконец то, что с первого взгляда призвало меня к ней, дочери гармонии. Музыка, войдя в ее существо, стала поэзией. Ее привлекала не сцена с ее пустой ложью, а тот собственный фантастический мир, который, казалось, представляла для нее сцена. Там ее поэзия находила свой голос, там она пыталась выразить себя в несовершенной форме и вновь возвращалась к себе, убеждаясь, что сцены недостаточно для нее. Поэзия окрашивала ее мысли, переполняла ее душу. Она не выражала себя в словах или творениях ее рук, она порождала чувства и облекалась в видения. А когда наконец пришла любовь, тогда она, как река в море, излила свои беспокойные волны в это чувство, чтобы стать молчаливой, глубокой и спокойной, чтобы СТаТjb вечным зеркалом Небес.

Но благодаря этой поэзии, находящейся в ней, не может ли Виола подняться до поэзии вселенной? Часто, слушая ее безыскусную речь, я открываю в ее словах мудрость, подобно тому как мы обнаруживали странные свойства в каком-нибудь дикорастущем цветке. Я вижу, как ее душа созревает на моих глазах, и какое сокровище вечно новых мыслей, сколько чистоты заключается в ней! О, Мейнур! Сколь многие из нас разгадали законы вселенной, разрешили загадки внешней природы - осветили светом тьму. Но разве поэт, который ничего не изучает, кроме человеческого сердца, не более великий философ, чем все остальные исследователи природы? Знание и атеизм несовместимы. Знать природу - значит знать, что существует Бог. Но так ли это необходимо, чтобы познавать метод и архитектуру самого творения? Когда же я наблюдаю чистый разум, каким бы необразованным и детским он ни был, то мне думается, что я вижу перед собой Божественное, Духовное более ясно, чем во всей массе материи, которая носится в пространстве по Его воле.

Основное правило нашего союза повелевает нам сообщать наши тайны только чистым душам. Самая ужасная часть испытания заключается в соблазне, который наше могущество представляет для злых. Как ужасно было бы, если бы порочный человек достиг нашего могущества. К счастью, это невозможно, его испорченность парализовала бы его могущество. Я надеюсь на чистоту Виолы с большим основанием, чем ты можешь надеяться на храбрость и гений твоих учеников.

Я беру тебя в свидетели, Мейнур, что с самого того дня, когда я проник во все тайны нашей науки, я никогда не старался употребить их для недостойной цели!.. Наше столь долгое пребывание на земле, увы, не оставляет нам ни родины, ни семейства; закон, по которому наши науки и искусство должны стоять в стороне от бурных страстей и стремлений обыденной жизни, запрещает нам оказывать какое-либо влияние на судьбы народов, которыми небо управляет с помощью более грубых и слепых орудий. Несмотря на это, повсюду, где бы я ни был, я старался помогать несчастным и уничтожать зло. Мое могущество было враждебно только злым. Однако, несмотря на все наше знание, мы на каждом шагу принуждены быть только орудиями того Могущества, от которого мы получили наше! Как ничтожна вся наша мудрость в сравнении с той, которая дает малейшему растению его свойства и населяет каждую каплю мириадами живых существ! Но, одаренные властью иметь иногда влияние на счастье других, мы не знаем, что ожидает нас самих в будущем!.. С какой трепетной надеждой лелею я мысль, что мне можно будет сохранить для моего одиночества свет живой улыбки!"

2

"Не считая себя достаточно чистым, чтобы посвятить такую чистую душу, как ее, я стараюсь наполнить ее видения прекрасными и нежными сынами пространства, что подсказали поэзии, которая сама является инстинктивным проникновением в тайны мироздания, идею о сильфах. Но и эти создания менее чисты, чем ее мысли, менее нежны, чем ее любовь. Они не могли поднять ее выше ее человеческого сердца, потому что она имеет в самой себе свое небо..."

"Я только что глядел на нее во время сна. Я слышал, как она шептала мое имя. Увы! То, что для других так сладко, для меня не лишено горечи; я думаю о том, что скоро настанет час, когда этот сон станет непробудным, когда это нежное сердце перестанет биться, когда эти уста, шепчущие мое имя, будут немы. Любовь имеет два различных вида; если мы будем видеть лишь ее плотские узы, ее минутные наслаждения, ее пылкую горячку и отупляющее воздействие, то нам покажется удивительным, что эта страсть есть высший двигатель всего мира, что ей приносились величайшие жертвы, что она оказывала воздействие на все культуры и во все века, что гений, во всем своем величии и божественной красоте, поклонялся ей, что без любви не было бы ни цивилизации, ни музыки, ни поэзии, ни красоты, ни жизни вне животного состояния.

Но если взглянуть на любовь в ее божественной форме, в самоотверженности ее порывов, в ее интимной связи со всем, что есть лучшего в душе, если мы подумаем о ее власти надо всем, что в жизни мелко и ничтожно, о ее победе над идолами более грубого культа, о ее волшебной силе, которая превращает хижину во дворец, пустыню в оазис, а зимний холод в чудесную весну, с той минуты, когда туда проникает ее живительное дыхание, тогда нас удивит то, что так мало людей видят ее святую природу. То, что чувственный человек называет наслаждениями любви, есть самые ничтожные, самые незначительные из ее радостей. Истинная любовь не столько страсть, сколько символ, знак иного состояния бытия. О, Мейнур, может ли быть, чтобы настало время, когда я буду говорить с тобою о Виоле как о существе, переставшем существовать..."

3

"Знаешь ли ты, что с некоторого времени я часто спрашиваю себя, все ли так невинно в науке, отделяющей нас от остальных людей. Правда, что чем более мы поднимаемся и чем более низки и презренны кажутся нам пороки людей, пресмыкающихся один день на земле, тем более пронизывает нас чувство доброты и наше счастье кажется исходящим прямо от нее. Но в то же время сколько добродетелей в тех, кто живет в мире и кого поражает смерть. Разве не утонченный эгоизм наше состояние отъединения, обособленности, это самодостаточное, ушедшее в себя магическое существование, этот отказ от того благородства, которое включало бы в себя наше собственное благополучие, наши радости, наши надежды, наши опасения вместе с другими людьми? Жить, не боясь врага, в безопасности от всякой унижающей тебя болезни, свободным от всяких зол и бед, - такая судьба пленяет нашу гордость. Но в то же время не более ли достоин восхищения тот, кто умирает за другого?

С той минуты, как я ее люблю, Мейнур, мне кажется, что с моей стороны подлость избегать смерти, которая поражает любящие нас сердца. Я чувствую, что земля охватывает и привязывает к себе мою душу.

Ты был прав: вечная старость, спокойная и невозмутимая, есть дар более драгоценный, чем вечная молодость с ее стремлениями и желаниями. До тех пор, пока мы не станем только духами, покой может быть найден только в равнодушии".

4

"Я получил твое письмо... Возможно ли? Твой ученик обманул твои ожидания! Увы! Бедный ученик! Но..."

(Следуют комментарии относительно подробностей жизни Глиндона, которые читатель уже знает или узнает вскоре, и настоятельная просьба к Мейнуру наблюдать еще за судьбой его ученика.)

"Я также питаю надежду иметь ученика. Но ужасы, которые должны сопровождать его испытание, пугают меня! Я хочу снова посоветоваться с сыном Света".

"Да! Адон-Аи, долгое время глухой к моим призывам, наконец явился мне, и его славное появление даровало мне надежду. Возможно, Виола, наконец наши души соединятся!"

ПИСЬМО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

"Мейнур! Пробудись от твоей апатии - радуйся! Новая душа явится в мире. Новая душа, которая назовет меня отцом! Если те, для кого существуют тяготы и радости человеческой жизни, должны трепетать от радости при мысли вновь увидеть свое детство возродившимся в их детях, если при этом в них вновь может возродиться Святая Невинность, которая является первой ступенью существования, если они могут почувствовать, что на человека при этом возлагается почти ангельская обязанность - с колыбели руководить новой жизнью, а душу пестовать для Неба, - то можешь себе представить, как я счастлив, встречая наследника всех этих даров, которые к тому же удваиваются, будучи разделенными! Как я радуюсь при мысли, что могу защищать, отвращать опасность, обучать и вести поток жизни, расширяя, обогащая и углубляя его, к раю, из которого он вытекает! И на берегах этой реки наши души соединятся, возлюбленная Мать. Наше дитя принесет нам таинственную симпатию, которой нам еще

недостает. И тогда какой призрак станет тебя преследовать, какой ужас обеспокоит тебя, когда твое посвящение совершится около колыбели твоего ребенка!"

IX

Да, Виола! Ты теперь уже не то создание, которое на пороге твоего неаполитанского жилища следило за неопределенными образами сшей фантазии; ты уже не та, которая стремилась дать жизнь идеальной красоте на подмостках, где иллюзия на час представляет небо и землю, до тех пор, пока усталый ум не начинает снова видеть только показной блеск и машиниста сцены.

Твоя душа покоится в своем счастии, ее неопределенные стремления нашли себе цель. Одно мгновение заключает в себе иногда чувство вечности, так как, когда мы понастоящему счастливы, мы знаем, что умереть невозможно. Всегда, когда душа чувствует самое себя, она чувствует вечную жизнь.

Твое посвящение отложено. Твои дни и ночи наполнены теперь только теми видениями, которыми счастливое сердце убаюкивает воображение, чуждое зла.

Простите меня, сильфы, если я спрашиваю себя, не лучше ли, не прекраснее ли подобные видения, чем вы...

Они стояли на берегу и глядели на солнце, исчезавшее в волнах. Сколько времени жили они на острове? Не все ли это равно? Месяцы, годы, может быть, - к чему считать это время счастья? Можно пережить целые века в одно мгновение. Так мы измеряем порывы наших чувств или наши скорби длительностью наших мечтаний или количеством чувств, порождаемых этими мечтаниями.

Солнце медленно закатывалось, воздух был душен и тяжел; на море недалеко от берега неподвижно застыл величественный корабль, на деревьях ни один листок не шевелился.

Виола приблизилась к Занони, какое-то предчувствие, которое она не могла определить, заставляло быстрее биться ее сердце; она взглянула на Занони и была поражена выражением его лица: оно являло озабоченность, волнение, беспокойство.

- Это спокойствие пугает меня, - тихо сказала она.

Занони, казалось, не слыхал ее. Он тихо говорил сам с собою, его глаза с беспокойством осматривали горизонт. Она не знала почему, но этот взгляд, вопрошавший пространство, эти слова, произнесенные на неизвестном наречии, смутно оживили в ней суеверное чувство. Она сделалась боязливее с того дня, когда узнала, что должна стать матерью. Странный кризис в жизни женщины и ее любви! Что-то, что еще не родилось, оспаривает уже ее сердце у того, кто до сих пор безраздельно господствовал в нем.

- Занони! Посмотри на меня, - сказала она, беря его за руку.

Он повернулся к ней.

- Ты бледна, Виола! Твои руки дрожат.

- Это правда, я чувствую, точно какой-то враг приближается к нам.

- И твой инстинкт не обманывает тебя. К нам действительно приближается враг. Я вижу его сквозь эту тяжелую атмосферу, я слышу его сквозь молчание. Видишь ли ты, сколько насекомых на листьях? Они почти невидимы. Они следуют за дыханием врага. Это поветрие бубонной чумы!

Он еще говорил, как вдруг с ветвей дерева, под которым они стояли, к ногам Виолы упала птица, она взмахнула несколько раз крыльями, вытянулась и замерла.

- О, Виола, - сказал Занони с глубоким волнением, - вот смерть! Разве ты не боишься умереть?

- Оставить тебя? О да!

- Но если бы я мог передать тебе тайну, как победить смерть, если бы я мог остановить для твоей молодости течение времени, если бы я мог...

Он вдруг остановился, взгляд Виолы выражал ужас, лицо и губы были бледны.

- Не говори мне так, не смотри на меня так, - сказала она, невольно отстраняясь. - Ты меня пугаешь... О! Не говори так, я стала бы бояться, не за себя, но за моего ребенка!

- Твоего ребенка! Но разве бы ты отказалась для твоего ребенка от этого чудного дара?

- Занони!

- Ну, что же?

- Солнце исчезло у нас из глаз, но для того, чтобы показаться другим глазам. Исчезнуть из этого света - это значит жить там, наверху. О, мой возлюбленный! О, мой супруг, - продолжала она со странной и неожиданной живостью, - скажи мне, что ты шутил, что ты хотел посмеяться над моим легковерием! Чума не так ужасна, как твои слова.

Чело Занони омрачилось, он молча глядел на нее несколько секунд.
- Что дает тебе право сомневаться по мне? - почти сурово спросил он.
- О! Прости меня, прости! Ничто! - вскричала Виола, рыдая и бросаясь ему на грудь. - Я не хочу верить даже твоим словам, если они обвиняют тебя.
Он молча вытер поцелуем слезы Виолы.
- Ах! - произнесла она с прелестной детской улыбкой. - Ты хотел дать мне талисман от чумы; видишь, я беру его у тебя сама.
И она положила руку на маленький античный амулет, который он носил на шее.
- Ты не можешь себе представить, до какой степени эта вещица сделала меня ревнивой к твоему прошлому, Занони! Это какой-нибудь залог любви, без сомнения? Но нет, ты не любил ту, которая тебе его дала, так, как ты меня любишь, хочешь, я украду у тебя твой амулет?
- Дитя! - нежно сказал Занони. - Та, которая повесила его на мою шею, принимала это действительно за талисман, потому что она была так же суеверна, как и ты, для меня он больше, чем магический амулет: это воспоминание прекрасного, теперь погибшего времени, когда меня любили, не сомневаясь.
Он сказал эти слова с интонацией печального упрека, который проник в сердце Виолы, но затем его тон вдруг принял торжественность, остановившую порыв чувств Виолы.
- Может быть, наступит день, Виола, - прибавил он, - когда этот талисман перейдет с моей груди на твою, когда ты лучше поймешь меня, _когда законы нашего существования будут одинаковы_.
Он медленно повернулся, и они тихими шагами пошли домой, но страх, несмотря на все усилия изгнать его, оставался в сердце Виолы. Она была итальянка и католичка, она имела все предрассудки своей родной страны. Она ушла в свою комнату и начала молиться перед образом святого Януария, который ее духовник дал ей в детстве и который всюду сопровождал ее. Она считала невозможным с ним когда-нибудь расстаться.
На другой день, проснувшись, Занони нашел у себя на шее образок святого, рядом с мистическим амулетом.
- Теперь тебе нечего бояться чумы, - сказала Виола, смеясь и плача, - а когда ты почувствуешь желание говорить со мною, как вчера, святой будет рядом, чтобы остановить тебя.
Ну что, Занони, ответь теперь - может ли действительно существовать родство мысли душ, кроме как среди равных?
Чума действительно разразилась, надо было оставить остров, их излюбленное убежище. Могущественный маг, _ты не имеешь никакой власти спасти тех, кого любишь_. Прощай, убежище любви и счастья, дорогие места спокойствия и безопасности! Беглецы, вы можете найти страны столь же прекрасные, но это время - может ли оно когда-нибудь вернуться? И кто может поручиться, что сердце не изменяется вместе с местом своего счастья, что оно ничего не теряет, оставляя места, где мы впервые жили с любимой? Малейший уголок заключает в них столько воспоминаний. Прошедшее, наполненное любовью, кажется, отвечает за будущее. Если вами овладевает мысль менее добрая, вам стоит взглянуть на какое-нибудь дерево, под сенью которого было произнесено столько клятв и слезы были стерты поцелуями, и вы возвращаетесь к первым минутам счастья. Но не то под кровлей, где ничто не говорит об этих первых минутах блаженства, где недостает красноречивого голоса воспоминаний. Да и разве тот, кто испытал глубокую привязанность, не скажет вам, что она изменяется с переменой места?
Дуйте же сильнее, благословенные ветры, раздувайтесь паруса, прочь из края, где Смерть сменила царство Любви! Проплывают мимо берега, новые картины сменяют зеленые холмы и апельсиновые рощи Свадебного острова. Вдали уже видны мерцающие в лунном свете колонны храма, который афиняне посвятили Богине Мудрости. И, стоя на корме несущегося вперед судна, посреди крепнущей бури, почитатель, переживший свою Богиню, тихо произнес: "Неужели мудрость веков не принесла мне более счастливых часов, не озарила большими радостями, чем те, что получили от нее Пастух или землепашец, не знающие иного мира, кроме милого их сердцу деревенского уголка, иных наслаждений, кроме поцелуя и улыбки родного очага?"
А луна, равно льющая свой свет и на развалины храма, покинутого богами, отошедшей в прошлое веры, и на хижину крестьянина, и на незапамятную вершину горы с покрывающим ее бренным растительным миром, казалось, спокойно и презрительно улыбалась в ответ человеку, который, возможно, видел, как возводили этот храм, и кто в ходе своей невероятной, таинственной жизни, может быть, еще увидит, как эта гора разрушится до основания.

КНИГА ПЯТАЯ

ВЛИЯНИЕ ЭЛИКСИРА

I

Читатель помнит, что мы оставили Паоло у изголовья Глиндона. Проснувшись от глубокого сна, англичанин вскрикнул и закрыл лицо руками, вспомнив ужасную ночь, проведенную им в таинственной комнате.

- С добрым утром, синьор! - весело сказал Паоло. - Черт возьми, вы крепко спали!

Звук этого здорового голоса рассеял все видения, еще носившиеся в памяти Глиндона.

Он сел на постели.

- Где вы меня нашли? Почему вы здесь?

- Где я вас нашел? - с удивлением повторил Паоло. - В вашей постели. Почему я здесь? Потому что патрон приказал мне ждать вашего пробуждения и спросить, каковы будут ваши приказания.

- Патрон! Мейнур! Значит, он приехал?

- И уехал, синьор. Он оставил вам это письмо.

- Дайте его и ждите, пока я встану.

- К вашим услугам. Я заказал отличный завтрак, вы должны быть голодны. Я неплохой повар, как это и подобает сыну монаха. Вы будете в восторге от моего таланта приготовлять рыбу. Надеюсь, что моя песня вам не надоедает, я всегда пою, приготовляя салат, тогда кушанье выходит вкуснее.

Паоло перебросил через плечо карабин и, оставив комнату, запер дверь.

Между тем Глиндон уже развернул письмо Мейнура.

"В тот день, когда я принял тебя в ученики, - писал Мейнур, - я обещал Занони, что если первые опыты убедят меня, что ты должен увеличить собою число тех, которые напрасно стремились стать членами нашего братства, то я не доведу тебя до несчастья и гибели, я возвращу тебя свету. Твое испытание было самое легкое, какому только подвергается неофит; я потребовал от тебя только одного: воздержаться от твоих чувственных инстинктов и покориться короткому испытанию, которое доказало бы твое терпение и веру. Возвращайся к твоему миру, ты не принадлежишь к числу тех, которые могли бы стремиться к нашему.

Это я поручил Паоло принять тебя в круг танцующих на празднике, это я заставил старого нищего попросить у тебя милостыню, это я оставил открытой книгу, которую ты мог прочесть, не иначе как нарушив мои приказания. Ну, ты видел, что ждет тебя на пороге тайной науки, ты видел, лицом к лицу, первого врага, который угрожает тому, кто еще находится под властью страстей. Ты удивляешься, что я навсегда запираю перед тобой двери? Разве ты не понял на- конец, что нужно иметь душу, очищенную и закаленную не чудесными напитками, но своими собственными достоинствами, чтобы переступить через порог духовного мира и победить врага? Несчастный! Вся моя наука бесполезна для человека дерзновенного и чувственного, для того, кто стремится узнать наши тайны только затем, чтобы профанировать их, чтобы употребить их для грубых удовольствий и эгоистического порока. Почему обманщики и колдуны прошедших веков погибали, стараясь проникнуть в тайны, которые должны очищать, а не развращать? Они утверждали, будто владеют философским камнем, и умерли в нищете, хвастали, что обладают эликсиром бессмертия, и сошли в могилу, поседев раньше времени. Легенды утверждают, будто они были разорваны на клочки дьяволом. Да, это был демон их нечистых желаний и преступных стремлений. Чего они желали, того же и ты желаешь, и, будь у тебя крылья серафима, ты не мог бы подняться над землею. Твоя жажда тайной науки есть только вздорная самонадеянность. Твое желание счастья - болезненная жажда нечистых плотских наслаждений! Даже твоя любовь, которая обыкновенно облагораживает самые низкие души, есть просто первая вспышка похоти, смешанная с отвратительными расчетами холодной измены! И ты - один из нас?! Ты - член нашего возвышенного братства?! Орел может руководить к солнцу только полет орленка. Я оставляю тебя земле.

Но ты, несчастный, непослушный и нечестивый, ты вдыхал эликсир; ты навлек на себя отвратительного и безжалостного врага. Ты один можешь прогнать призрак, который вызвал. Ты должен возвратиться в свет; но только после того, как ты понесешь наказание, и с большим усилием тебе удастся возвратить себе спокойствие и радости жизни, которую ты бросил.

Вот что я могу сказать, чтобы поддержать тебя: кто присвоил себе хоть небольшую дозу жизненной энергии, заключающейся в этом таинственном напитке, тот пробудил в себе способности, которые не будут дремать. Способности, которые могут еще, благодаря терпеливой скромности, непоколебимой вере и мужеству души, а не тела, как у тебя, достигнуть если не высшего знания, то по крайней мере благородных

результатов в человеческой жизни. Это постоянное и деятельное влияние ты найдешь во всем, что ни предпримешь. Твоя душа среди обыкновенных радостей будет стремиться к чему-то более святому, твое честолюбие будет искать недостижимой для тебя цели. Но не думай, что этого одного достаточно, чтобы достичь славы. Это чувство может точно так же привести тебя к позору и преступлению. Это не что иное, как несовершенная и новая сила, которая не будет давать тебе покоя. Направление, которое ты ей дашь, докажет, исходит ли она от твоего доброго или злого гения.

Горе тебе, несчастное насекомое, попавшееся в сети, которыми ты опутал свои члены и крылья! Ты не только вдыхал эликсир, но ты еще вызвал призрак! Изо всех существ, наполняющих духовное пространство, для человека нет более безжалостного врага; ты приподнял завесу, и не в моей более власти прикрыть твои глаза благодетельным мраком. Знай по крайней мере, что все между нами, самые великие и самые мудрые, действительно переступившие через порог, имели первой задачей покорить себе ужасного призрака, сторожащего вход в духовный мир. Знай, что тебе возможно избавиться от его ужасного взгляда; если он и будет преследовать тебя, то не будет в состоянии вредить, пока ты будешь бороться против мыслей, которые он внушает, и против ужаса, который он вселяет. Ты должен его бояться более всего тогда, когда ты его не видишь.

Прощай теперь, ничтожное существо. Все, что я мог тебе сказать, чтобы ободрить, предупредить и научить тебя, я сказал в этих строках. Не я, а ты создал испытание, из которого, я надеюсь, ты выйдешь с миром. От чистого и искреннего ученика я ничего не скрываю, для простого любопытного я - непроницаемая загадка. У человека мысль есть единственное бессмертное достояние, и не в моей власти материализовать или уничтожить идеи и стремления, зародившиеся в тебе. Любой начинающий ученик мог бы взорвать этот замок и сровнять эту гору с равниной, но сам учитель не имеет власти сказать мысли, которую внушила его наука: "Перестань существовать". Ты можешь скрывать мысль под тысячью новых форм, ты можешь передать ее в очищенном и утонченном виде душе более возвышенной, но ты не можешь уничтожить того, что находится в одном уме, что заключается в одной идее. Всякая мысль есть душа. Поэтому ты и я, мы оба напрасно бы старались вычеркнуть прошедшее и возвратить тебе слепую беззаботность твоей молодости. Ты должен выдержать влияние эликсира, который ты вдыхал. Ты должен бороться с призраком, который ты вызвал".

Письмо выпало из рук Глиндона. Различные чувства, сменявшие друг друга по мере чтения письма, завершились отчаянием, которое следует обыкновенно за неожиданной утратой надежды в сердце человеческом. Таинственный мир, цель его страстных желаний, жертв, усилий, был навсегда потерян для него, и потерян по его вине, из-за его дерзости и самоуверенности. Но Глиндон был не такой человек, который стал бы долго обвинять себя. Его негодование не замедлило обратиться против Мейнура, который признавался, что соблазнял его, а теперь бросал на произвол, принес его в жертву этому ужасному призраку.

Упреки Мейнура более раздражили, чем смутили его. Какое преступление он совершил, что заслужил такой суровый и презрительный тон? Разве это было так преступно - находить удовольствие в улыбках и взглядах Филлиды? Разве сам Занони не признавался в своей любви к Виоле? Разве он не увез ее, чтобы сделать из нее свою подругу?

Глиндон никогда не спрашивал себя, существует ли разница между высокой, одухотворенной любовью и чисто инстинктуальной. В чем же было тут преступление, если он уступил соблазну, предназначенному для смелых натур? Таинственная книга, нарочно оставленная Мейнуром, гласила: "Берегись страха". Тогда разве не являлись все действия Мейнура по отношению к нему за последнее время сознательной провокацией?

По мере того как эти мысли проносились в его голове, он начинал глядеть на Мейнура как на устроившего ловушку, нарочно на его несчастье, или как на обманщика, который знал, что не мог осуществить внушенных им больших надежд.

Обдумывая внимательно угрозы и таинственные предостережения Мейнура, он нашел в них чисто аллегорический смысл - жаргон платоников и пифагорейцев. Малопомалу он убедил себя, что даже отвратительный призрак, который он видел, был просто иллюзией, созданной искусством Мейнура. Яркое солнце, освещавшее всю комнату, казалось, рассеяло все ужасы прошедшей ночи. Гордость и досада еще более увеличивали его храбрость, он поспешно оделся и вышел к Паоло с оживленным и самоуверенным видом.

- Итак, Паоло, - сказал он, - патрон, как вы его зовете, приказал вам ждать меня и встретить на деревенском празднике?

- Да, через старого калеку-нищего. Я был сначала удивлен этим, так как думал, что он уже далеко. Но для этих великих философов триста или четыреста миль ничего не значат.

- Почему вы мне не сказали, что получили приказания Мейнура?

- Потому что старый нищий запретил мне это.

- Вы не видели его после танцев?
- Нет.
- Гм!
- Позвольте мне прислуживать вам, - сказал Паоло, переменяя тарелку Глиндона и наполняя его стакан вином. - Я хотел бы, синьор, теперь, когда патрон уехал, чтобы вы пожалели самого себя и спросили себя, для чего вам дана молодость. Конечно, не для того, чтобы вы похоронили себя живым в этих старых развалинах и погубили ваше тело и душу занятиями, которых, конечно, не одобрил бы ни один святой.
- А разве святые покровительствуют вашим занятиям, синьор Паоло?
- Конечно, - отвечал он, немного смущенный, - для джентльмена, у которого карманы полны пистолями, без сомнения, неприлично отбирать пистоли у других, но для нас, бедняков, дело другое. Во всяком случае, я никогда не забываю жертвовать Святой Деве десятую часть моих прибылей, а остальное я великодушно делю с бедными. Ешьте, пейте, веселитесь, да простятся вам на исповеди все ваши грешки, и мой вам совет: не влезайте в слишком большие долги за короткое время. За ваше здоровье, синьор! А пост, между прочим, кроме дней, предписанных всякому доброму католику, только вызывает призраков.
- Призраков?
- Да. Дьявол всегда нападает на пустые желудки. Завидовать, ненавидеть, воровать, грабить, убивать - ют естественные желания голодного человека. Когда же хорошо пообедаешь, синьор, то находишься в мире со всем человеческим родом. Отлично! Вы любите куропаток. Черт возьми! Я сам, когда проведу только два или три дня в горах, не евши ничего, кроме черного хлеба, тоже делаюсь свирепым. И это еще не самое страшное. Иногда я вижу чертиков, прыгающих вокруг меня. Пост так же полон привидений, как поле битвы.
Глиндон нашел, что рассуждения его друга полны здравой философии, и надо сознаться, что чем больше он ел и пил, тем больше воспоминание о прошедшей ночи и разлуке с Мейнуром изглаживалось из его души.
Окно было открыто, и в него дул слабый ветерок, солнце сияло, вся природа была счастлива и весела, а скоро и маэстро Паоло стал не менее весел, чем природа. Он рассказывал о своих впечатлениях, путешествиях, женщинах с увлекательной веселостью. Но Глиндон стал его слушать с еще большим удовольствием, когда бандит с многозначительной улыбкой начал славить глаза, губы, ножки и стан прекрасной Филлиды.
Этот человек казался воплощенным типом животной и чувственной жизни. Он был бы для Фауста соблазнителем более опасным, чем Мефистофель. В его открытой и веселой улыбке не было ни тени иронии, когда он восхвалял разные удовольствия. Для человека, который только что узрел тщету тайных наук, его веселье и беззаботное расположение духа было большим соблазном и опасностью, чем вся холодная насмешливость ученого демона. Но когда Паоло ушел, обещая навестить его завтра, англичанин пришел в более серьезное и сосредоточенное расположение духа. Эликсир, казалось, действительно оказывал влияние, которое ему приписывал Мейнур.
Глиндон медленно ходил по уединенному коридору, изредка останавливаясь, чтобы взглянуть на обширную панораму, развертывающуюся у его ног. Благородное вдохновение, мечты смелого и предприимчивого честолюбия, ослепительные видения славы быстро проносились, сменяя друг друга в его душе.
"Мейнур отказывает мне в своей тайной науке, - думал художник. - Хорошо! Но он не мог лишить меня моего искусства".
Как! Кларенс Глиндон, ты возвращаешься к началу твоей карьеры? Значит, Занони был прав.
Он вошел в комнату Мейнура; она была пуста, ни одной вазы, ни одного растения. Книга исчезла. Никогда более он не вдохнет в себя чудного эликсира! Однако в самой комнате, казалось, как будто еще сохранялась какая-то чарующая атмосфера. В душе Глиндона загорелось страстное желание творить...
Ты мечтаешь о жизни выше чувственной, о жизни, которая открыта гению, которая дышит в бессмертном творении, которая вечно продолжается в бессмертном имени! Где орудия твоего искусства? Истинный художник никогда не имеет в них недостатка... Ты вернулся в свою комнату... белая стена - твое полотно, кусок угля - твоя кисть, этого достаточно, чтобы начертать твой замысел, который завтра может улетучиться.
Идея, наполнявшая воображение художника, была, несомненно, благородна и возвышенна. Она была вызвана одной египетской мистерией, описанной историком Диодором: суд живых над мертвыми. Труп, как следует набальзамированный, клали на берегу священного озера, но прежде, чем помещать его в лодку, которая должна была перевезти его на другую сторону для погребения, особые судьи выслушивали все обвинения в адрес

умершего, и если эти обвинения были доказаны, то тело лишали почестей при погребении.

Мейнур рассказывал об этом ритуале и прибавлял к нему подробности, которых нельзя было найти ни в одной книге; художник невольно заимствовал из его описаний сюжет своей картины, придав ему реальность и силу. Он изобразил могущественного и преступного деспота, против которого при жизни не мог подняться ни малейший ропот, но на которого после смерти обрушились жалобы рабов, скованных цепями, жертв, изувеченных в темницах, которые, бледные и ужасные, точно сами они были мертвецы, требовали правосудия.

Рука художника со смелой свободой чертила эскиз. Несмотря на несовершенство орудий, в его рисунке был виден не ученик, а мастер. Еще оживленный эликсиром, он невольно передавал созданиям своей фантазии ту жизнь, в которой было отказано ему самому. На заднем плане виднелась громадная гробница, воздвигнутая ценою тысяч загубленных жизней.

Судьи сидели полукругом. Озеро тихо катило свои черные волны. Умерший находился тут же. Теперь нечего бояться этого чела, которое уже не может угрожающе нахмуриться. Эти бледные тени рабов, кажется, говорят! Разве не могут рабы после смерти деспота отомстить ему? Твое произведение, Кларенс, гениально, оно может принести тебе славу. Это волшебство не сильнее ли таинственной книги и вазы с эликсиром?

Часы проходили за часами, художник зажег лампу; ночь застала его еще за работой. Но что это?! Как воздух стал холоден! Отчего побледнела лампа? Отчего волосы твои поднялись? Там... там... там... у окна! Он глядит на тебя, этот отвратительный, страшный призрак! Там... на тебя устремлены ужасные глаза с их полной ненависти дьявольской насмешкой.

Глиндон глядел неподвижно... это не была иллюзия. Призрак не говорил, не шевелился. Не будучи в состоянии переносить долее этот сверкающий и беспощадный взгляд, Глиндон закрыл лицо руками, но сейчас же отнял их с тре- петом ужаса; он чувствовал, что существо приближалось к нему. Оно прижалось к стене, около рисунка, и фигуры с рисунка, казалось, сходили со стены. Эти бледные, обвиняющие лица, которые он сам сотворил, смотрели на него, угрожали, смеялись. Страшным усилием, потрясшим все его существо и покрывшим тело холодным потом, Глиндон преодолел свой ужас.

Он подошел к призраку и взглянул ему прямо в глаза, назвал его твердым голосом и спросил о причине его появления, сказав, что не боится его власти.

Тогда призрак заговорил голосом, тихим, как ветер кладбища.

Что он сказал, что он открыл, язык не должен повторять этого. Чтобы пережить эти роковые минуты, Глиндону понадобилась вся энергия его молодости, которой эликсир дал силу, превышающую возможности самого сильного и мужественного из простых смертных.

Не так страшно было бы проснуться в катакомбах, видеть мертвецов в саванах, встающих из гробов, или видеть ужасных ведьм, рвущих трупы, и слышать их вопли на чудовищных оргиях, чем глядеть на этот призрак и слушать его голос.

На другой день Глиндон бежал из развалин замка. С какими надеждами переступил он в первый раз его порог! С какими воспоминаниями, способными всякий раз повергнуть его в дрожь ужаса, бросил он последний взгляд на эти угрюмые, изъеденные временем башни!

II

Подвиньте, дорогой читатель, свое кресло поближе к камину, прочистите как следует горн, снимите нагар. О, милый сердцу домашний лоск, глянец, порядок, настоящий уют! О, какая чудесная вещь - действительность!

Прошло некоторое времени после событий, описанных нами в предыдущей главе. Перенесемся теперь не на острова, освещенные луною, не в полуразрушенные замки, но в большую гостиную, хорошо меблированную, с мягки- ми и прочными креслами, с восемью дрянными картинками в роскошных рамах. Это гостиная Томаса Мерваля, эсквайра, лондонского негоцианта.

Ничего не было легче для Мерваля по возвращении с континента, как снова усесться перед своим бюро, - его сердце не покидало родного дома. Смерть отца дала ему, по праву рождения, высокое положение в уважаемом торговом доме, но второго разряда, в Сити. Его честолюбие заключалось в том, чтобы поднять его до первого разряда. Он недавно женился, и брак его не был браком только по расчету. У него не было романтических идей насчет любви, но он был слишком благоразумен, чтобы не знать, что жена должна быть подругой, а не только выгодной сделкой. Он мало заботился о красоте и развитии ума, но он любил здоровье, хороший характер и здоровый рассудок. Он выбрал жену разумом, а не сердцем, и выбрал весьма удачно.

Мадам Мерваль была молодая женщина, деятельная, разумная, экономная, но добрая и любящая. У нее была своя воля, но она не была упряма. У нее были очень определенные понятия о женских правах и чудесный дар тех качеств, которые обеспечивают домашний уют. Она никогда бы не простила мужу, если бы сочла его виновным в увлечении другой женщиной, но в то же время она в высшей степени обладала чувством приличия. Она питала отвращение ко всякому легкомыслию, ко всякому кокетству, к этим маленьким слабостям, которые часто разрушают семейное счастье и которым так подвержены легкомысленные натуры.

Но, с другой стороны, она находила, что не следует слишком любить своего мужа. Она оставляла себе запас привязанности для всех своих друзей, для некоторых знакомых и для возможного второго замужества, в случае если с г-ном Мервалем случится какой-нибудь неприятный казус.

Она давала хорошие обеды, как это и следовало в ее положении. Ее характер считался, в одно и то же время, твердым и ровным. Она умела в случае надобности сказать колкое слово, когда г-н Мерваль не был пунктуален. Она непременно требовала, чтобы он, приходя, переменял свою обувь, так как ковры были новые и дорогие. Она не была ни сварлива, ни вспыльчива (небеса даровали ей это свойство), но когда она была недовольна, то показывала это замечанием, полным достоинства, намекая на свои добродетели, на своего дядю-адмирала и на тридцать тысяч фунтов стерлингов, которые она принесла в приданое предмету своего выбора. Но так как у Мерваля был хороший характер и он с одинаковой справедливостью признавал свои ошибки и достоинства жены, то неудовольствие последней было всегда кратковременно.

Нет семейств, где не было бы никаких неприятностей, и очень мало таких, в которых их было бы меньше, чем у мистера и миссис Мерваль. Миссис Мерваль, не разоряясь на свои туалеты, в то же время заботилась о них, насколько того требуют приличия. Никогда не выходила она из своей комнаты в папильотках или в утреннем халате (в этом предмете женского туалета, который обычно приводит супруга к сильнейшему разочарованию в своей второй половине). Каждое утро около девяти она была одета на день, то есть до тех пор, пока не переодевалась к обеду; ее платья, как зимой, так и летом, были из хорошего и богатого шелка. Женщины в эту эпоху носили корсажи очень короткие, и мадам Мерваль не отставала от моды. Утром она надевала на себя тяжелую золотую цепь, на которой висели золотые часы, но не ту хрупкую карликовую вещицу, которая так часто выходит из строя, а часы с репетиром, точно измеряющие ход времени; она прибавляла к этому мозаичную брошь и браслет с портретом дяди-адмирала. Для вечера у нее было два убора в полном комплекте: колье, серьги, браслеты, один из аметистов, другой из топазов. Ее костюм состоял по большей части из шелкового платья золотистого цвета и тюрбана. В этом костюме она заставила нарисовать себя.

У миссис Мерваль был нос с горбинкой, хорошие зубы, хорошие волосы, светлые ресницы, немного слишком румяный цвет лица, прекрасные плечи, полные щеки, большие ноги, созданные для ходьбы, большие белые руки с продолговатыми ногтями, под которые никогда, даже в детстве, не попадало ни соринки. Она выглядела немного старше, чем была на самом деле: может быть, это надо было приписать ее достоинству и вышеуказанному носу. Она охотно носила лайковые перчатки. Она не читала никого из поэтов, кроме Голдсмита и Купера. Романы ее не занимали, хотя она не имела против них предубеждения. Она любила спектакли и пантомимы с легким ужином после представления. Но ей не нравились концерты и опера. В начале зимы она обыкновенно выбирала себе книгу для чтения и работу. Книга и работа занимали ее время до весны; тогда она продолжала работать и переставала читать. Она предпочитала занятия историей, и ее руководителем в этом деле был доктор Голдсмит. В литературе ее любимым автором был, разумеется, доктор Джонсон. Невозможно было найти более достойную и уважаемую женщину, разве лишь в эпитафиях!

Это было в один осенний вечер. Мистер и миссис Мерваль, только что возвратившиеся домой, сидели в гостиной.

- Да, уверяю вас, моя милая, - говорил муж, - что Глиндон, несмотря на все свои эксцентричности, был милый и любезный человек, все женщины любили его.

- Мой милый Томас, простите мне мое замечание, но это выражение: все женщины...

- Тысяча извинений, вы правы. Я хотел сказать, что он вообще имел успех у прекрасного пола.

- Я понимаю; он был немного легкомыслен.

- Легкомыслен! Нет, не совсем, скорее, непостоянный, очень странный, самонадеянный, с упрямым характером, но в то же время манеры у него чрезвычайно скромные, даже, может быть, чересчур. Возвращаясь к тому, что я вам говорил, я должен сказать, что я очень озабочен тем, что узнал о нем сегодня. Он, как кажется, вел странную и

беспорядочную жизнь, переезжая с места на место, вероятно, уже много растратил денег.
- Кстати, о деньгах, - сказала миссис Мерваль, - я боюсь, что придется отказаться от нашего мясника, он, очевидно, заодно с поваром.
- Это очень жаль, он поставляет отличное мясо! Эта лондонская прислуга хуже карбонариев... Но я вам говорил, что этот бедный Глиндон...
Раздался звонок.
- Боже мой! - вскричала миссис Мерваль. - Уже одиннадцатый час, кто может прийти так поздно?
- Может быть, ваш дядя-адмирал, - сказал муж с некоторой язвительностью. - Он обыкновенно в это время делает нам честь своим посещением.
- Я надеюсь, друг мой, что все мои родственники являются желанными гостями в вашем доме. Адмирал - человек очень интересный и может располагать своим состоянием как угодно.
- Я никого так не уважаю, как его, - совершенно серьезно отвечал Мерваль.
В эту минуту слуга отворил дверь и доложил о приходе Глиндона.
- Глиндон! Какое странное... - начала миссис Мерваль.
Но прежде чем она успела кончить, Глиндон уже вошел.
Оба друга поздоровались со всем дружелюбием давно не видавшихся приятелей. Затем Глиндон был представлен хозяйке дома. Миссис Мерваль изобразила на своем лице улыбку, бросила испытующий взгляд на сапоги гостя и поздравила друга своего мужа со счастливым возвращением на родину.
Глиндон сильно изменился с тех пор, как Мерваль его не видел. Со времени их разлуки прошло не более двух лет, но в этот промежуток его смуглое лицо приняло более мужественное выражение. Глубокие морщины, проведенные заботой, или мыслями, или беспутным образом жизни, сменили гармонические черты счастливой и беззаботной юности.
Прежние мягкие манеры заменились решительностью тона и манер, показывавшей привычки общества, мало заботящегося о приличиях. Но в то же время какое-то странное благородство, чуждое ему до этого времени, характеризовало его наружность и придавало известное достоинство свободе его языка и манер.
- Так как вы устроились, Мерваль, то я не спрашиваю вас, счастливы ли вы. Богатство, отличная репутация и такая прелестная подруга жизни непременно приносят с собой счастье.
- Не угодно ли вам чашку чая, мистер Глиндон? - спросила хозяйка с любезной улыбкой.
- Благодарю вас, сударыня. Я предлагаю моему другу более приятельский напиток. Вина, Мерваль, вина! Или кружку старого английского пунша! Прошу извинения у вашей супруги, но эта ночь должна быть нашей.
Миссис Мерваль отодвинула свой стул и старалась не показать своего ужаса.
Глиндон не дал своему другу времени отвечать.
- Наконец-то я в Англии, - сказал он и поглядел вокруг себя с едва заметной иронией. - Нет сомнения, что этот трезвый воздух окажет на меня свое влияние: я должен стать таким же, как другие.
- Вы были больны, Глиндон?
- Болен? Да! Гм. У вас прекрасный дом. Нет ли в нем свободной комнаты для одинокого путника?
Мистер Мерваль поглядел на жену, жена пристально глядела в пол.
"Скромен и робок, даже чересчур!.." Миссис Мерваль не находила слов для негодования и изумления.
- Мой друг! - сказал наконец Мерваль умоляющим тоном.
- Мой друг, - повторила миссис Мерваль невинным тоном.
- Я думаю, что мы можем устроить комнату для моего старого друга, не так ли, Сара?
Старый друг развалился в кресле, вытянув ноги к камину и молча глядя в огонь, казалось, он забыл про свой вопрос.
Миссис Мерваль прикусила губу и приняла торжественный вид.
- Конечно, - холодно сказала она наконец, - ваши друзья, мистер Мерваль, хорошо делают, считая себя у вас как дома.
Сказав это, она зажгла свечу и торжественно оставила гостиную.
По ее возвращении друзья исчезли в кабинете Мерваля.
Пробило полночь, час, два часа. Миссис Мерваль три раза посылала в кабинет, сначала спросить, не надо ли чего, потом - имеет ли мистер Глиндон привычку спать на перине или на матраце, и, наконец, надо ли открыть чемодан мистера Глиндона.
К каждому ответу старый друг прибавлял громовым голосом:

- Еще кружку, да покрепче.
Наконец мистер Мерваль появился в спальне... смущенный и раскаивающийся? Нисколько. Его глаза сверкали, щеки горели, ноги заплетались, и он... напевал песенку!

III

На другое утро за завтраком на лице миссис Мерваль можно было прочесть все раздражение оскорбленной женщины. Что касается Мерваля, то он казался воплощением раскаяния и вины, принесенных в жертву мстительной раздражительности. Он говорил только про свою мигрень. Тогда как Кларенс Глиндон, недоступный раскаянию, без стыда и совести, словно закоренелый грешник, пребывал в настроении самой шумной веселости и говорил за троих.
- Бедный Мерваль! Он на короткое время оставил привычку вести себя прилично. Но еще ночь или две, и он снова приобретет ее.
- Позвольте мне напомнить вам, сударь, - с достоинством проговорила миссис Мерваль заранее приготовленную фразу, - позвольте мне напомнить вам, что мистер Мерваль теперь женат, что он может сделаться отцом семейства и уже в настоящее время глава дома.
- Именно поэтому я так ему и завидую. Я сам хочу жениться. Счастье заразительно.
- Вы по-прежнему занимаетесь живописью? - томно спросил Мерваль с целью заставить гостя переменить разговор.
- О, нет. Я последовал вашим советам. Для меня более не существует ни искусства, ни идеала, ничего, что поднималось бы выше обыкновенной жизни. Я думаю, что если бы я теперь рисовал, то вы охотно покупали бы мои картины. Кончайте скорее ваш завтрак, мне надо с вами посоветоваться. Я возвратился в Англию, чтобы заняться моими делами. Мое честолюбие жаждет теперь денег, ваши советы и ваша опытность могут оказать мне большую помощь.
- А! Вы разочаровались в вашем философском камне. Надо вам сказать, Сара, что, когда я расстался с Глиндоном, он решился сделаться алхимиком и магом.
- Вы сегодня остроумны, мистер Мерваль.
- Это чистая правда. Я уже говорил вам об этом. Глиндон быстро встал.
- К чему пробуждать эти воспоминания безумия и самонадеянности? Разве я не сказал, что вернулся в свою родную страну, чтобы жить такой же жизнью, как и мои собратья? Что может быть благоразумнее того, что вы зовете практической жизнью? Если у нас есть способности, то мы должны извлекать из них выгоду. Будем покупать науку, как колониальные товары, по самой низкой цене, чтобы перепродать по самой высокой. Вы еще не кончили вашего завтрака?
Друзья вышли, и Мервалю было не по себе от иронии, с которой Глиндон стал поздравлять его с его положением, занятиями, счастливым браком и восемью картинами в роскошных рамах.
Прежде практический Мерваль изощрялся в остроумии над своим другом, тогда он смеялся, а Глиндон, застенчивый и озадаченный, краснел перед другом, который так ловко умел находить в нем смешное. Теперь роли переменились. В изменившемся характере Глиндона появилась непоколебимая и безжалостная решимость, которая внушала невольный ужас и заставляла умолкать Мерваля. Глиндон, казалось, находил злое удовольствие убеждать себя, что обыкновенная жизнь низка и презренна.
- А! - говорил он. - Как вы были правы, уговаривая меня сделать приличную партию, обеспечить себе прочное положение, жить в страхе перед светом и своей женой, пользоваться завистью бедных и уважением богатых!
Вы приложили к практике ваши правила. Чудное существование! Бюро негоцианта и супружеские выговоры! Ха-ха! Не провести ли нам вторую ночь, как вчера?
Смущенный и раздраженный Мерваль перевел разговор на дела Глиндона. Он был изумлен знанием света, которое вдруг приобрел художник, но еще более изумлен проницательностью и жаром, с которыми он говорил о наиболее известных финансовых спекуляциях на бирже. Да, Глиндон серьезно желал сделаться богатым и уважаемым... и получать за свои деньги по крайней мере десять процентов.
Проведя у банкира несколько дней, которые он добросовестно употребил на то, чтобы расстроить весь распорядок дома, сделать из ночи день, из согласия разногласие, довести бедную миссис Мерваль почти до сумасшествия и убедить ее мужа, что она его безжалостно обирала, зловещий гость так же неожиданно оставил их, как и появился.
Он снял внаем дом, стал искать людей из солидного общества, погрузился в финансовые операции и коммерческую деятельность; его планы были смелы и обширны, расчеты быстры и глубоки.
Он изумил Мерваля своей решимостью и ослепил успехом.

Мерваль начал ему завидовать. Он был недоволен своими собственными менее чем скромными достижениями на этом поприще.

Покупал ли Глиндон или продавал, деньги лились к нему рекой, точно притягиваемые магнитом; то, чего не дали бы ему годы занятий искусством, он добыл за несколько месяцев с помощью успешных спекуляций.

Но вдруг его рвение охладилось, и новые предметы увлекли его честолюбие. Если он слышал на улице барабанщика, то ему казалось, что нет славы почетнее славы солдата. Появлялась новая поэма, и ему казалось, что нет славы более привлекательной, чем слава поэта. Он небезуспешно начинал работать в литературе и с отвращением бросил ее. То вдруг он оставлял общество, которого сначала домогался, и бросался в самые безумные водовороты сладкой жизни великого города, где золото одинаково царит над трудом и удовольствиями. Всюду и во все он вносил с собою какую-то силу и жар души. Во всяком обществе он старался повелевать, на всяком поприще отличиться. Но какова бы ни была его очередная страсть, ее последствия были ужасны. Иногда он погружался в глубокие и мрачные мысли. Казалось, он старался бежать от воспоминаний, но воспоминания снова настигали и терзали его. Мерваль видел его редко, они взаимно избегали друг друга. У Глиндона не было ни одного друга.

IV

Глиндон был выведен из этого состояния беспокойства и волнения посещением одной особы, которая, казалось, имела на него самое благотворное влияние.

Его сестра, сирота, как и он, жила в деревне у тетки. Глиндон в юности, проведенной под родительской кровлей, очень любил эту сестру, которая была гораздо моложе его. По его возвращении в Англию он, казалось, совершенно забыл о ее существовании. После смерти тетки она напомнила ему о себе печальным и трогательным письмом. У нее не было более другого пристанища, кроме его дома, другой поддержки, кроме его привязанности; он плакал, читая эти строки, и нетерпеливо ждал приезда Аделы.

Под спокойной и кроткой наружностью эта восемнадцатилетняя девушка скрывала романтический энтузиазм, который в ее годы характеризовал и ее брата. Но этот энтузиазм, более чистый и более благородный, сдерживался в должных границах отчасти нежностью ее женской натуры, отчасти строгим и методическим воспитанием. Она в особенности отличалась от него застенчивостью и робостью, редкою в ее годы, но которую она так же тщательно старалась скрывать, как и свои романтические стремления. Адела не была красавицей, ее лицо и вся наружность свидетельствовали о слабом здоровье, а утонченная нервная система делала ее восприимчивой ко всем впечатлениям, которые могли иметь опасное влияние на ее физическое состояние.

Но она никогда не жаловалась, и ее спокойная манера держать себя многими принималась за равнодушие. Она долго переносила страдания, не выдавая их, и научилась скрывать их без усилий. Не будучи, как я уже сказал, красивой, она нравилась и возбуждала интерес; в ее улыбке, манерах, в желании нравиться, утешать, оказывать услуги было столько нежной доброты, очарования, что они невольно привлекали к ней сердца.

Такова была сестра, которую Глиндон так долго игнорировал, но теперь принимал с такою любовью.

В течение многих лет Адела была жертвой капризов и нянькой эгоистичной и требовательной тетки. Нежная и почтительная привязанность брата была для нее непривычной и приятной. Ему нравилось окружать ее заботой, мало-помалу он уединился от всякого общества и начал ценить прелесть домашнего очага. И нет ничего удивительного, что это юное существо, свободное от другой, более пылкой привязанности, сосредоточило всю свою благодарную привязанность и любовь на своем дорогом брате-покровителе. Ее дневные старания, ее ночные мечты были преисполнены благоговения и благодарности. Она гордилась его достоинствами и заботилась о его удобствах; самая пустая вещь, как только ею заинтересовывался Кларенс, становилась в ее глазах важным жизненным делом.

Одним словом, весь свой давний энтузиазм, свое опасное наследство, она сосредоточила на единственном предмете своей святой нежности и чистого честолюбия.

Но чем более Глиндон избегал волнений, которыми до сих пор старался наполнить свое время или рассеять свои мысли, тем более глубокой и постоянной делалась его мрачная озабоченность в часы одиночества.

Он всегда и в особенности боялся одиночества; он не мог надолго отпускать от себя свою новую подругу, он ходил с ней гулять пешком и совершал верховые прогулки, а когда в весьма поздний час надо было расставаться, он уходил от нее с видимой неохотой, почти страхом.

Эта мрачная печаль не могла быть названа меланхолией, это было нечто более сильное и походило на отчаяние.

Очень часто после молчания, которое казалось мертвым - так оно было тяжело, - он вдруг быстро вставал, бросая вокруг себя испуганные взгляды; все его тело дрожало, губы были бледны, лоб покрыт потом.

Убежденная, что какое-то тайное горе грызло его душу и подтачивало здоровье, Адела только и желала сделаться его поверенной и утешительницей, но она понимала, что ему не нравится, что она замечает эти припадки мрачной печали и тем более сострадает им. И она научилась скрывать свои чувства и опасения. Она не просила раскрыть ей его тайну, а пыталась украдкой проникнуть в нее. И постепенно она почувствовала, что ей это удается.

Слишком погруженный в свое собственное странное существование, чтобы быть проницательным в распознавании чужих характеров, Глиндон принял великодушную привязанность и смирение за природное мужество, и это качество нравилось ему и морально утешало его. Больная душа требует мужества как необходимого качества от поверенного, которого она выбирает, чтобы излечить себя. Но жажда откровенности непреодолима! Сколько раз он думал про себя: "Если бы я мог открыть мое сердце, мое страдание смягчилось бы".

Он чувствовал, кроме того, что со своей молодостью, неопытностью и поэтической натурой Адела поймет его лучше и будет к нему снисходительнее, чем человек более строгий и более практический.

Мерваль принял бы его откровение за бред безумного, а большая часть людей в лучшем случае приняли бы это за галлюцинации больного. Но наступил наконец момент, когда он решился открыться сестре.

Однажды вечером они были одни; Адела, до некоторой степени обладавшая талантом художника, как и ее брат, занималась рисованием; через какое-то время Глиндон, прогнав беспокойные мысли, впрочем менее мрачные, чем обыкновенно, встал, нежно обнял ее за талию и взглянул на ее работу.

Крик ужаса вырвался у него; он выхватил рисунок из рук сестры.

- Что это? - вскричал он. - Чей это портрет?!

- Дорогой Кларенс! Разве вы забыли оригинал? Это копия портрета нашего мудрого предка, который, по словам нашей матери, был так похож на вас. Я думала сделать вам приятный сюрприз, срисовав его по памяти.

- Да будет проклято это сходство, - мрачно сказал Глиндон. - Разве вы не угадываете, почему я избегал жилища наших предков?.. Потому что я боялся увидеть этот портрет, потому что... потому что... Но простите меня, я вас пугаю!

- О, нет, Кларенс, нет! Вы никогда не пугаете меня, когда говорите, а только тогда, когда молчите. О, если бы вы считали меня достойной вашего доверия! О, если бы дали мне право вместе с вами размышлять над горем, кото- рое я так желаю разделить с вами!

Глиндон не отвечал; несколько времени он ходил по комнате неуверенными шагами. Наконец он остановился и пристально поглядел на сестру.

- Да, вы также его потомок, - проговорил он наконец, - вы знаете, что такие люди жили и страдали. Вы не станете смеяться надо мною, вы не будете столь недоверчивы. Слушайте!.. Что это за шум?

- Это ветер стучит железом на крыше, Кларенс.

- Дайте мне вашу руку, чтобы я чувствовал ее живое пожатие, и когда я все скажу, то не вспоминайте никогда мой рассказ. Никому его не пересказывайте. Поклянитесь, что эта тайна останется между нами... последними из нашего обреченного рода.

- Я никогда не изменю вашему доверию, никогда! Клянусь вам! - твердо сказала Адела.

Она придвинулась к нему, и Глиндон начал свой рассказ.

То, что в книге или для умов, предрасположенных к сомнению и недоверию, может показаться холодным и нестрашным, то приобретает совершенно другой характер, если оно говорится бледными устами, с той истиной страдания, которая убеждает и пугает. Он пропустил много подробностей и многое смягчил, но, во всяком случае, открыл достаточно, чтобы сделать свою историю ясной и понятной для той, которая слушала его, бледная и дрожащая.

- Рано утром, - продолжал он, - я покинул это проклятое место. Мне оставалась только одна надежда - найти Мейнура, где бы он ни скрывался, и потребовать от него успокоить демона, овладевшего моей душой. С этой целью я путешествовал из города в город, я деятельно разыскивал его при помощи итальянской полиции. Я даже требовал помощи инквизиции, власть которой снова поднялась после процесса над Калиостро, который менее опасен, чем Мейнур. Все было бесполезно, я не мог открыть никаких следов его. Я был не один, Адела!..

Здесь Глиндон остановился как бы в смущении: в своем рассказе он только неопределенно намекал на Филлиду, которая, как мог бы предположить читатель, должна была стать его сообщницей.

- Я был не один, но та, которая меня сопровождала, была не из таких, что я мог бы открыть ей мою душу. Верная и преданная, но необразованная, она не имела качеств, необходимых, чтобы понять меня, и обладала скорее интуицией, чем развитым умом; в часы забвения сердце могло отдыхать с нею, но ум не мог найти в ней ничего сродного, а смятенный дух - опоры. Тем не менее в обществе этой женщины демон не мучил меня. Позвольте мне несколько точнее объяснить вам условия его ужасного появления. Среди грубых впечатлений обыденной жизни, в безумии кутежа, в одуряющих и преступных излишествах, в бесчувствии чисто животной жизни его глаза были невидимы, его шепот неслышен. Но когда душа стремилась подняться, когда возбужденное воображение старалось забыться в чудных мечтах, когда совесть начинала бороться против унизительной жизни, которую я вел, тогда, Адела... тогда я находил его около себя среди бела дня или сидящего у моего изголовья ночью - тень, видимую во тьме. Если в галереях, где собраны предметы Божественного Искусства, мечты моей юности пробуждали мой энтузиазм, давно заглохший, если я обращался к мыслям мудрецов, если пример героев или разговор ученых возбуждал заснувший ум, призрак тотчас являлся ко мне.

Наконец однажды вечером в Генуе, куда я приехал искать Мейнура, он сам вдруг появился передо мной самым неожиданным образом. Это было во время карнавала, среди сцен шумного и беспорядочного скорее безумства, чем веселья, когда языческие сатурналии смешиваются с христианским праздником. Утомленный танцами, я вошел в залу, где было много народа, который пил, пел и орал под отвратительными масками и фантастическими костюмами; в этой оргии, казалось, все потеряли человеческий облик. Я занял место среди них и в ужасном возбуждении чувств (счастливы те, которые никогда его не знали) скоро стал шумливее всех. Разговор зашел о революции во Франции: эта тема всегда была неотразимой для меня. Маски заговорили о золотом веке, который эта революция должна принести в мир, но совсем не как философы, провозглашавшие наступление эпохи света и разума, но как головорезы и мерзавцы, которые изъявляли бурный восторг при известии об уничтожении власти закона. Не знаю почему, но их безумные и буйные речи заразили меня; и я, который всегда жаждал быть первым в любом обществе, вскоре превзошел даже этих негодяев и дебоширов в своих декларациях о природе и сущности свободы. Я вопил о том, что свобода должна быть распространена на каждую семью на земле, она должна пронизывать собой не только гражданское законодательство, но и семейную жизнь, которая должна быть свободна от всех оков, что человек искусственно наложил на себя.

В середине этой тирады одна из масок наклонилась ко мне.

- Берегитесь! - прошептала она. - Вас, кажется, подслушивает шпион.

Мои глаза устремились по направлению, указанному маской, и я заметил человека, который, казалось, не принимал никакого участия в разговоре, но взгляд которого был устремлен на меня. Он так же был в маске, как и все мы, но, судя по общей реакции, никто не видел, как он вошел. Его молчание, его внимание испугали это шумное общество; что касается меня, то я только еще более оживлялся. Увлеченный моим сюжетом, я развивал его, не обращая внимания на знаки соседей и адресуясь только к таинственной маске. Я не заметил, как все мои слушатели один за другим потихоньку скрылись, так что я остался вдвоем с незнакомцем.

- А вы, синьор, - сказал я наконец, - что вы скажете относительно этой новой эры? Эры, когда свобода мнений не будет преследоваться, богатство не будет омрачено ревностью, любовь станет свободной...

- А жизнь станет безбожной, - добавила маска, подсказывая мне еще одну характеристику новой эры.

Звук этого хорошо знакомого голоса вдруг изменил направление моих мыслей.

- Обманщик или демон! Я нашел тебя наконец, - вскричал я, бросаясь к нему.

При моем приближении незнакомец встал и снял маску, открывшую черты Мейнура.

Его пристальный взгляд и величественный вид заставили меня остановиться в нерешительности. Я не тронулся с места.

- Да, - сказал он торжественным голосом, - мы встретились, и это я искал этой встречи. Так ты следуешь моим предупреждениям! Разве такие выходки помогут ученику тайной науки избежать встречи с безжалостным и отвратительным врагом? Высказанные тобою мысли, которые уничтожили бы порядок во вселенной, неужели они выражают надежды мудреца, стремящегося возвыситься до Гармонии Небесных Сфер?

- Это твоя вина! Твоя! - закричал я. - Убери призрак, освободи мою душу от его ужасного присутствия!

Мейнур взглянул на меня с холодным презрением, которое внушило мне боязнь и гнев, и ответил:

- Нет, раб и игрушка своих страстей! Нет, ты должен до конца постигнуть опыт иллюзий, которые встречает на своем титаническом пути наука, что хочет без веры подняться до небес. Ты желаешь этой эры счастья и свободы, ты ее увидишь, ты будешь действующим лицом в этой драме. Сейчас, когда я с тобой говорю, я вижу около тебя Призрак, это он руководит тобою, и он имеет еще над тобою власть, власть, которая оспаривает мою. В последние дни той революции, которую ты призывал с таким нетерпением, среди обломков того порядка, который ты проклинал как гнет, ищи исполнения своей судьбы и жди своего исцеления.

В эту минуту шумная толпа пьяных масок хлынула в залу и отделила меня от Мейнура. Я пробивался сквозь толпу, я всюду искал его, но напрасно. Целые недели прошли в бесплодных поисках, я не мог открыть никаких следов Мейнура.

Утомленный погоней за удовольствиями, возбужденный упреками, которые я заслужил, напуганный его предсказаниями, его описанием тех условий, в которых я должен был найти облегчение от моих страданий, я решил наконец, что в трезвой атмосфере моей родной страны, ведя упорядоченную и деловую жизнь, я сумею избавиться от призрака своими собственными усилиями. Я оставил всех, с кем до тех пор был связан. Я приехал сюда. В биржевых спекуляциях я обретал такое же облегчение, как и в кутежах. Призрак стал невидим, но такая жизнь вскоре надоела мне, как и все остальное. Я постоянно чувствовал, что рожден для чего-то более благородного, чем жажда прибылей, что жизнь может быть одинаково бесплодна и душа одинаково унижена как холодной страстью к наживе, так и самыми огненными страстями. Более высокое честолюбие не переставало мучить меня. Но... но, - продолжал он, дрожа и бледнея, - при каждом моем усилии подняться к более благородному существованию ужасный призрак возвращался, я находил его у моего изголовья. Его сверкающие глаза склонялись над строками поэта или философа, и мне слышался его страшный голос, нашептывавший соблазны, которые я никогда не должен разглашать.

Он остановился, холодный пот покрывал его лоб.

- Но я, - сказала Адела, преодолевая свои страхи и обнимая его за шею, - у меня впредь не будет другой жизни, кроме твоей. И в этой чистой и святой любви твой призрак рассеется.

- Нет! Нет! - вскричал Глиндон, вырываясь из ее объятий. - Ты еще не знаешь самого ужасного. С тех пор как ты здесь, с тех пор как я принял непоколебимое решение избегать всех мест, всех притонов, где я находил убежище от своего врага... я... О, Небо, пощади! Вот он стоит около тебя!..

И он упал без чувств.

V

Горячка, сопровождаемая бредом, на несколько дней лишила Глиндона сознания, и когда, скорее благодаря попечениям Аделы, нежели искусству доктора, он возвратился к жизни и обрел рассудок, то был испуган переменой, которая произошла с сестрой.

Сначала он думал, что ее здоровье расстроено бессонными ночами и она поправится вместе с ним, но скоро заметил с болью и раскаянием, что болезнь имела глубокие корни, которых врачебное искусство не могло вырвать. Ее воображение, почти столь же пылкое, как и у брата, было роковым образом поражено странными признаниями, которые она подслушала в его бреду. Тысячу раз он повторял: "Он тут, тут, сестра, около тебя!" И он переселил в ее воображение призрак, который преследовал его.

Он понял это не по ее словам, но по ее молчанию, по ее глазам, напряженно глядевшим в пространство, по неожиданной дрожи, охватывавшей ее, по ее взгляду, не смевшему оглянуться. Он горько раскаивался в своей исповеди и с отчаянием чувствовал, что между его страданиями и человеческой симпатией не могло быть нежной и святой связи; напрасно старался он перечеркнуть результаты своего неосторожного шага, напрасно говорил, что все им рассказанное было только плодом разгоряченного воображения.

В этом отрицании самого себя было мужество и великодушие, так как, много раз говоря таким образом, он видел ужасный призрак, проходивший мимо нее и глядевший на него в то время, как он отрицал его существование.

Но что приводило его в еще большее отчаяние, чем истощенное здоровье и расстроенные нервы его сестры, так это изменение, происшедшее в ее любви к нему, - ее заменил непреодолимый ужас. Она бледнела при его приближении, вздрагивала, если он брал ее за руку. Отделенный от всего остального мира, он видел теперь, как между ним и Аделой разверзлась пропасть ужасных воспоминаний. Он не мог переносить долее присутствия женщины, жизнь которой он отравил.

Он начал придумывать различные предлоги, чтобы не бывать дома, и был удручен, убеждаясь, с какой поспешностью они принимались. С этой роковой ночи он в первый раз увидал на лице Аделы радость, когда сказал ей "прощай"!

В течение нескольких недель он путешествовал по живописнейшим местам Шотландии, но все прелести природы меркли в его глазах. Неожиданно он получил письмо из Лондона. Он бросился туда на крыльях беспокойства и отчаяния; приехав, он нашел рассудок и здоровье сестры в таком состоянии, которое подтверждало его самые мрачные опасения. Ее отсутствующий взгляд, безжизненное выражение лица ужаснули его. Точно он увидел голову Медузы и почувствовал, что все его существо постепенно цепенеет. Это не было ни безумие, ни слабоумие, это была апатия, сон наяву. Но, когда приближался одиннадцатый час вечера, час, когда Глиндон кончил свой рассказ в тот злосчастный вечер, она делалась беспокойной и взволнованной. Ее губы начинали шевелиться, она ломала руки, с отчаянием оглядывалась вокруг и вдруг, когда часы начинали бить, вскрикивала и без чувств падала на землю. С трудом, и только после долгих просьб, она ответила наконец на отчаянные вопросы Глиндона - созналась, то в этот час, и только в этот час, где бы она ни была, чем бы ни занималась, она ясно видела старую ведьму, которая стучала три раза в дверь, входила, приближалась к ней с лицом, искаженным ненавистью, и клала ей на лоб свои ледяные пальцы. В этот момент она теряла сознание и приходила в себя только для того, чтобы с отчаянием ждать возвращения ужасного видения.

Доктор, который был приглашен еще до возвращения Глиндона и письмо которого вызвало его самого в Лондон, был человек простой и ограниченный, бессильный против такого расстройства; он выразил честное желание, чтобы призвали другого, более опытного. Кларенс пригласил одного из светил медицины и подробно описал ему галлюцинации сестры.

Доктор внимательно выслушал его и сказал, что болезнь можно излечить. Он пришел к больной заранее до рокового часа и потихоньку перевел стрелки вперед на полчаса, так, чтобы этого не знала Адела и даже ее брат. Затем он дал больной невинное средство, которое, по его словам, должно было разрушить иллюзию. Это был человек, наделенный неподражаемым даром вести беседу, остроумный и занимательный. Его уверенность пробуждала надежду в самой больной, он продолжал возбуждать ее внимание, рассеивать ее апатию; он смеялся, шутил, а время шло. Часы пробили одиннадцать.

- Какое счастье, брат! - вскричала она, бросаясь в его объятия. - Роковой час прошел!

Затем, как бы освобожденная от заклятия, она развеселилась более обыкновенного.

- Ах, Кларенс, - говорила она, - простите мне, что я забывала вас, что я вас боялась. Я буду жить! Я в свою очередь прогоню призрак, который преследует моего брата.

Кларенс с улыбкой отер ее слезы. Доктор между тем продолжал свои шутки и анекдоты. Вдруг, среди самого оживленного разговора, Глиндон заметил в лице Аделы то же ужасное изменение, тот же испуганный, беспокойный и напряженный взгляд, как и накануне... Он поднялся и подошел к ней. Адела с испугом встала.

- Посмотри! Посмотри! - вскричала она. - Она идет, спаси меня, спаси меня!

И она упала к его ногам в страшных конвульсиях.

В ту же минуту нарочито и бесполезно переставленные часы пробили половину.

Доктор встал.

- Мои самые мрачные предчувствия подтвердились, - сказал он, - это эпилепсия.

На следующий день, в этот же час, Адела умерла.

VI

- О, счастье, о, блаженство! Ты возвратился. Это твоя рука, твои губы! Скажи мне, что ты оставлял меня не для того, чтобы любить другую; скажи это еще раз, говори это всегда, и я прощу тебе все!..

- Ты, значит, вспоминала обо мне?

- Вспоминала! И ты был так жесток, что оставил мне золото: вот оно, я не притронулась к нему!

- Бедное дитя природы! Как же нашла ты себе в Марселе приют и хлеб?

- Честно, душа моей души, честно и, между прочим, с помощью этого личика, которое ты находил когда-то прекрасным; находишь ли ты теперь его таким же?

- Еще прекраснее, чем когда-либо, Филлида, но что ты хочешь сказать?

- Здесь есть один живописец, великий человек, один из важных людей Парижа, я не знаю, как их называют, но он располагает здесь всем, жизнью и смертью, и он щедро

заплатил мне, чтобы нарисовать мой портрет. Он должен подарить его нации, он работает только для славы. Подумай о славе твоей Филлиды.

При этих словах глаза молодой девушки засверкали, ее тщеславие было возбуждено.

- Он женился бы на мне, если бы я хотела, и развелся бы со своей женой, чтобы жениться на мне. Но я ждала тебя, неблагодарный!

В дверь постучали, и вошел мужчина.

- Нико!

- А, Глиндон! Гм. Здравствуйте! Что я вижу! Опять мой соперник! Но Жан Нико не питает зла. Добродетель - моя мечта, моя родина, моя любовница. Служи моей родине, гражданин, и я прощу тебе твои успехи у красавиц.

В то время как Нико говорил, зазвучала и прокатилась по улицам яростная "Марсельеза". Там, внизу, двигалась толпа, масса, народ со знаменами, оружием и песнями. Кто, однако, мог предполагать, что эти вооруженные люди идут не на войну, а на резню - французы на французов: ведь в Марселе существовали две партии. Но этот англичанин - он только что прибыл и, чуждый всем борющимся сторонам, ничего еще в этом не понимал. Он ничего не слышал и не видел, кроме песни, энтузиазма, блеска оружия и знамен, которые как бы протягивали к солнцу начертанную на них поразительную, знаменитую и страшную ложь: "Народ Франции, подымайся против тиранов!"

Мрачное чело несчастного путешественника оживилось при взгляде на толпу, проходившую под окнами. При виде патриота и друга Свободы Нико, стоявшего у окна, в толпе поднялись крики в его честь. Эй, вы, приветствуйте храброго англичанина, который отрекся от всех своих Питтов и Кабуров, чтобы стать гражданином Свободы и Франции!

Тысяча голосов сотрясли воздух, и снова торжественно зазвучала "Марсельеза".

- Может быть, среди высоких надежд этого отважного народа навсегда исчезнет Призрак и наступит излечение, - прошептал Глиндон, и ему показалось, что таинственный эликсир течет в его жилах.

- Ты будешь в отряде Пена и Клота, я все устрою для тебя, - вскричал Нико, ударив его по плечу, - и Парижа...

- О! Если бы я могла только увидеть Париж! - радостно вскричала Филлида.

Радость! Само время, сам город, сам воздух были радостью, если, конечно, не считать тех мест и тех минут, где и когда раздавались стоны умирающих и истошные вопли убиваемых.

Спи спокойно в своей могиле, холодная Адела. Радость! Радость! На Празднике Человечества всякое личное горе должно исчезнуть.

Берегись, бродяга мореход, огромный водоворот затягивает тебя в бурлящую воронку. Там нет места для личного. Там все части принадлежат целому.

Открывай ворота, прекрасный Париж, для гражданина-чужестранца. Принимайте в свои ряды, о мягкотелые, кроткие республиканцы, нового защитника Свободы, Разума, Человечества! "Мейнур прав - если стать участником славной борьбы за Человечество, борьбы, развивающей добродетели, и в первую очередь мужество, то Призрак сгинет во тьму, откуда он пришел!"

Пронзительный и резкий голос Нико восхвалял его, а тощий Робеспьер - "свет, опора и краеугольный камень здания Республики" - зловеще улыбался ему своими налитыми кровью глазами. Филлида страстно прижимала его к сердцу. А между тем днем и ночью, за столом, в постели, всюду, хотя он и был невидим, безымянный Призрак направлял его своим демоническим взглядом к этому морю с его кровавыми волнами и водоворотами.

КНИГА ШЕСТАЯ

СУЕВЕРИЕ ОСТАВЛЯЕТ ВЕРУ

I

Занони и Виола оставили греческий остров, где они провели два счастливых года, некоторое время спустя после приезда Глиндона в Марсель. Виола бежала из Неаполя со своим таинственным возлюбленным в 1791 году, тогда же, когда и Глиндон явился к Мейнуру в роковой замок. Теперь конец 1793 года, и мы снова возвратимся к Занони.

Зимние звезды отражались в лагунах Венеции. Говор на мосту Риальто смолк, последние гуляющие оставили площадь Святого Марка, и только время от времени слышны были удары весел легких гондол, развозящих запоздалых любовников или гостей.

Но за шторами окон одного из больших дворцов, тень которого покоится на Большом канале, еще виден свет, и в этом дворце бодрствуют две Эвмениды {Богини мщения (греч.).}, никогда не спящие и всегда готовые наброситься на человека: страх и страдание.

- Спаси ее, и я сделаю из тебя самого богатого человека в Венеции!

- Синьор, - отвечал доктор, - ваше золото невластно над смертью и над волей Божией. Синьор, если через час не произойдет благоприятной перемены, то приготовьтесь ко всему.

Как, таинственный и могущественный Занони, ты, который невозмутимо прошел через все человеческие страсти, неужели и ты почувствовал наконец страх? Неужели твое мужество начинает колебаться? Неужели ты познал наконец силу и величие смерти?

Бледный и взволнованный, отошел он от врача. Он бросился через громадные залы и длинные коридоры дворца в отдаленную комнату, куда никто не смел заходить, кроме него.

Он открыл сосуды, зажег лампы, и серебристое пламя осветило комнату. Но Сын Звездного Луча не являлся! Адон-Аи был глух к его таинственному призыву. Занони был бледен и дрожал. Каббалист! Неужели твои заклинания напрасны? Неужели твой трон исчез из пространства? Теперь ты стоишь бледный и дрожащий. Но не так ты выглядел, когда могущественные духи являлись на твое заклинание. Никогда эти силы не внимали дрожащему человеку. Душа, а не травы, и не серебристое пламя, и не заклинания каббалы повелевает сынами воздуха. Но душа его от любви и страха смерти потеряла свое могущество.

Наконец пламя заколебалось, и воздух стал холоден, как ветер кладбища. Что-то туманное и бесформенное появилось вдали. Этот молчащий ужас начал приближаться, подкрадываться, укутанный в сумрачную дымку, из-под которой он глядел на Занони лиловато-синими, исполненными злобы глазами.

- А! Это ты, юный халдей! Юный, после твоих бесчисленных веков, юный, как в тот час, когда, равнодушный к удовольствиям и красоте, ты слушал на старой огненной башне, как звездная тишина шептала тебе последнюю тайну, которая торжествует над смертью; неужели ты боишься теперь смерти? Или твоя наука есть круг, который снова привел тебя к тому месту, откуда ты начал свой путь? Много поколений прошло со времени нашего последнего свидания. И вот я снова перед тобой!

- Я смотрю в твои глаза без страха, хотя тысячи твоих жертв не выдерживали их взгляда; они воспламеняют в сердце человека нечистые страсти, и у тех, кого ты можешь покорить своей воле, твое присутствие вызывает безумие, ведет их к преступлению и отчаянию, и, несмотря на все это, ты мне не господин, а раб.

- И, как твой раб, я буду служить тебе. Приказывай твоему рабу, прекрасный халдей... Слушай стоны женщин! Пронзительные крики твоей возлюбленной! Смерть в твоем дворце! Адон-Аи не является на твой призыв. Сыны Звездного Луча только тогда внимают человеку, когда никакая земная страсть не омрачает ясный взгляд его ума. Но я могу помочь тебе, слушай!

Занони даже на этом расстоянии ясно слышал в своем сердце голос Виолы, звавшей в бреду своего возлюбленного.

- О! Виола, я не могу тебя спасти! - вскричал он с отчаянием. - Моя любовь к тебе отняла у меня мое могущество.

- Нет, не отняла! Я могу дать тебе средство для ее спасения.

- Для обоих, для матери и ребенка?

- Для обоих.

Занони вздрогнул, страшная душевная борьба потрясла его человеческую природу, и время пересилило его сопротивляющийся дух.

- Я согласен! Мать и ребенок! Спасай того и другого!

Виола была во власти самых ужасных страданий, какие только может испытывать женщина, жизнь, казалось, готова была оставить ее, среди криков и стонов она призывала Занони, своего возлюбленного.

Доктор глядел на часы; они точно и безжалостно отмечали время.

- Крики затихают, - проговорил он, - еще десять минут, и все будет кончено.

Глупец! В эту самую минуту больной становится лучше. Дыхание делается ровнее, бред затихает. Виоле кажется, что она с Занони, что ее голова отдыхает на его груди, что его взгляд смягчает ее страдания, что его рука уменьшает жар в ее голове; она слышит его голос, и страдания бегут от нее. Доктор глядит на часы, стрелка передвинулась, минуты канули в вечность, но душа, которую он приговорил покинуть мир, все еще живет в нем.

Виола уснула, жар уменьшился, конвульсии утихли, щеки порозовели, кризис прошел. Супруг, твоя супруга жива! Возлюбленный, ты не одинок в своей вселенной! Время идет. Еще минута... одна минута... О радость! О счастье!.. Отец! Поцелуй твоего ребенка!

II

Ребенка положили на руки к отцу. Отец молча наклонился над этим нежным сокровищем, и слезы, человеческие слезы хлынули потоками из его глаз. И сквозь эти слезы Занони увидел, как маленькое создание улыбалось ему.

О! С какими радостными слезами встречаем мы появление нового создания в нашем горестном мире! С какими слезами отчаяния провожаем мы его, когда оно возвращается к ангелам! Как бескорыстна радость! Но как эгоистично горе!

Тогда в молчаливой комнате раздался слабый и нежный голос - голос молодой матери.

- Я здесь, около тебя! - прошептал Занони.

Мать улыбнулась и сжала ему руку, она чувствовала себя умиротворенной.

Виола поправилась с быстротой, изумившей доктора.

Новорожденный процветал, точно любил уже этот мир, в который он снизошел.

С этого времени Занони, казалось, жил жизнью ребенка, и в этой жизни души отца и матери соединялись как бы новыми узами.

Никогда не было более прекрасного ребенка; кормилица удивилась, что, появившись на свет, он не заплакал, а улыбнулся свету, точно чему-то знакомому. Никогда он не плакал, как другие дети. Казалось, что даже во время сна он слушал какой-то счастливый голос, раздававшийся в его сердце. В его глазах уже светился ум, хотя он еще не имел слов для своего выражения. Казалось, он уже знал своих родителей и протягивал ручонки, когда Занони наклонялся над его колыбелью, от которой редко отходил, и глядел на него ясными, полными счастья глазами. Ночью Занони снова сидел там в полудремоте, и Виола часто слышала, как он шептал над ним неясные слова на неизвестном ей языке; иногда, слыша его, она боялась и чувствовала, как к ней возвращались смутные суеверия ее юности. У колыбели новорожденного мать боится всего на свете, даже богов, чтобы они не причинили вреда ее ребенку.

Но Занони, погруженный в свои возвышенные планы, оживленные его любовью, забыл все, даже то, что он потерял в этой слепой любви.

Но мрачное и бесформенное существо, хотя Занони не вызывал и не видел его, часто подкрадывалось к нему, кружило вокруг него и нередко сидело у колыбели ребенка, глядя на него полными ненависти глазами.

III

ЗАНОНИ К МЕЙНУРУ

"Мейнур! Человечество с его печалями и радостями стало моим уделом. День за днем я кую себе свои цепи. Я живу жизнью других, и в них я потерял более половины моего могущества. Не будучи в состоянии возвысить их, я чувствую, что они увлекают меня к земле силою человеческой привязанности. Лишенный общения с созданиями, видимыми только для чистого разума, я опутан сетями Врага, стерегущего Порог духовного мира. Поверишь ли ты, когда я скажу тебе, что принял его дары и готов к расплате? Пройдут века, прежде чем создания света будут вновь повиноваться тому, кто подчинился Призраку и...

Но в этой надежде, Мейнур, я снова торжествую, я имею над этой юной жизнью высшую власть! Молча и нечувствительно моя душа говорит с его душой и уже теперь приготовляет ее. Ты знаешь, что для чистого и непорочного духа ребенка испытание не страшно и не опасно. Я постоянно питаю его священным светом, и, еще не узнав дара, он уже приобретет способности, которыми владею я сам; ребенок, в свою очередь, медленно и незаметно передаст свои свойства матери, и, счастливый при виде Молодости, что будет вечно осиять два существа, которые теперь наполняют всю мою душу, неужели я буду в состоянии сожалеть о призрачном, эфирном мире, который все более ускользает от меня?

Но ты, видения которого по-прежнему ясны и чисты, погрузи твой взгляд в пространства, закрытые теперь для меня, и дай мне совет, предупреди меня. Я знаю, что дары Призрака, чья природа враждебна нашей, столь же обманчивы и опасны, как и сам Призрак. Вот почему, когда на пороге тайнознания, которое прежде называли магией, люди встречали враждебные существа, они верили, что эти призраки - демоны или дьяволы, и воображали себе, что с помощью вымышленных фантастических договоров они могут продать им свою душу, будто человек может предложить в обмен на вечность

то, чем он владеет только при жизни. Демоны, навеки скрытые от людей, живут в своих мрачных и непроницаемых сферах, в них нет ничего божественного. В каждом человеке живет Божественное существо, и только оно может судить его душу после его смерти и назначить ему новое поприще, новую судьбу, новое местопребывание. Если бы человек мог запродать свою душу дьяволу, то тогда он сам себя мог бы судить и высокомерно требовать в свое распоряжение и присваивать вечность! Но эти низшие создания, которые не что иное, как видоизменения материи, одаренные сверхчеловеческой злобой, могут боязливым, слепым и суеверным людям показаться демонами. И от самого мрачного и могущественного из этих созданий я принял дар - тайну, которая удалила смерть от дорогих мне существ. Могу ли я надеяться, что у меня останется достаточно могущества, чтобы победить Призрак, если он захочет обратить во вред мне свои дары? Отвечай мне, Мейнур, так как в окружающем меня мраке я вижу только глаза моего новорожденного и слышу только тихое биение моего сердца. Отвечай мне, ты, мудрость которого не знает любви!"

МЕЙНУР К ЗАНОНИ

"Падший ум! Я вижу перед тобою зло, смерть и горе! Отказаться от Адон-Аи ради этого ужаса, от небесных звезд ради этих ужасных глаз! Ты сделался наконец жертвой этой Лярвы страшного порога, которую, будучи еще учеником, ты заставил бежать побежденную и пораженную молнией твоего величественного взгляда. Когда при первых шагах посвящения ученик, которого я принял от тебя, упал без сознания, поверженный этим Призраком тьмы, я понял, что его душа не создана для познания нездешних миров, так как страх есть самое земное изо всего, что привязывает человека к земле; пока он боится, он не может возвыситься. Но ты! Разве ты не видишь, что любить - значит бояться, что твоя власть над Призраком уже кончилась? Он пугает тебя, он властвует над тобой и обманет тебя. Не теряй ни минуты, приезжай ко мне. Если между нами может существовать достаточно симпатии, то моими глазами ты, может быть, увидишь опасности, которые, пока неразличимые и едва видимые во мраке, опутывают тебя и собираются вокруг тебя и тех, кого погубила твоя безумная любовь. Приезжай, оторвись от всех связей с твоим любимым человечеством, они только туманят твой взор.

Оставь свои опасения, надежды, желания и страсти. Приезжай! Один Ум может быть царем и провидцем, сияющим сквозь свою бренную оболочку, - чистый, недоступный для впечатлений, очищенный, возвышенный Ум".

IV

В первый раз со времени их союза Занони и Виола расставались. Занони отправлялся в Рим по важным делам.

- Я еду всего на несколько дней, - сказал он, и его отъезд был так быстр, что Виола не имела времени выразить ни удивления, ни печали. Но первая разлука всегда тяжелее, чем последующие: она заставляет сердце чувствовать, какой пустой покажется жизнь, когда настанет последняя, неизбежная разлука.

Но у Виолы был новый спутник, она испытывала чудную и новую радость, которая обновляет юность и ослепляет глаза женщины. Как возлюбленная и жена, она опиралась на другого, она получала от другого свое счастье, ее существо, словно планета, получало свет от своего солнца. Но теперь, в свою очередь, как мать, она подымается от зависимости к власти, теперь другое существо может опираться на нее - в пространстве появилась планета, для которой она сама стала солнцем.

Несколько дней - но они будут сладкими благодаря печали. Несколько дней - но каждый их час кажется эпохой для младенца, над которым склонились недремлющие глаза и сердце. Любой его жест примечается, и кажется матери, будто каждая его улыбка прибавляет радости в мир, в который он пришел, чтобы благословить его.

Занони уехал; затих последний всплеск весла, и радужное пятно гондолы уже скрылось за поворотом венецианского канала...

Ребенок спит в колыбельке у ног матери, и она обдумывает сквозь слезы, какие сказки волшебной страны, что распростерлась вдаль и вширь со своими тысячами чудес в этой крошечной кроватке, она должна будет рассказать отцу. Улыбайся же и плачь, юная мать! Уже закрывается для тебя самая прекрасная страница безумной книги, и невидимая рука переворачивает ее.

У моста Риальто прогуливались двое венецианцев - республиканец и демократ, - смотревшие на французскую революцию как на землетрясение, которое должно было развалить их на ладан дышавшую и порочную конституцию и даровать равенство в правах венецианцам.

- Да, Котальто, - говорил один из них, - мой парижский корреспондент обещал мне устранить все препятствия. Мы должны будем выступить, когда французские легионы будут достаточно близки, чтобы услыхать наши пушки. Он должен быть здесь на этой неделе.

Едва он успел вымолвить эти слова, как из узкой улицы по левую сторону вышел человек, закутанный в плащ, и, остановившись перед разговаривавшими, внимательно осмотрел их и шепотом произнес: "Привет".

- И братство! - отвечал тот, который говорил раньше.

- Вы, значит, храбрый Дондоло, с которым мне поручил комитет вести переписку? А этот гражданин?..

- Это Котальто, о котором я часто упоминал в письмах.

- Мой привет и братство, Котальто! Я имею многое сообщить вам обоим. Я вас увижу сегодня вечером, Дондоло. На улице за нами могут следить.

- Я не осмеливаюсь позвать вас в свой дом, где даже стены могут стать ушами тирана. Но место, назначенное здесь, вполне безопасно. - И он сунул адрес в руку незнакомца. - Сегодня вечером, в девять часов, а пока у меня есть другие дела.

Незнакомец остановился и даже изменился в лице.

- В вашем последнем письме говорилось о богатом и таинственном иностранце, - вкрадчивым и взволнованным голосом сказал он, - о Занони. Он все еще в Венеции?

- Я слышал, что он уехал сегодня утром, но его жена еще здесь.

- Его жена, отлично!

- Что вы знаете о нем? Разве вы думаете, что он может сделаться нашим? Его богатства были бы...

- Его дом, его адрес, скорее... - перебил незнакомец.

- Дворец...

- Благодарю, до свиданья в девять часов.

Незнакомец снова исчез, свернув на улицу, из которой появился. Он проходил мимо дома, где остановился накануне по своем приезде в Венецию, когда стоявшая у дверей женщина тронула его за руку.

- Сударь, - сказала она по-французски, - я ждала вашего возвращения. Вы понимаете меня? Я перенесу все, я рискну всем, чтобы только вернуться во Францию вместе с вами, чтобы разделить участь моего мужа.

- Гражданка, я обещал вашему мужу сделать все, чтобы исполнить ваше желание, даже если мне придется пойти на риск. Но подумайте о том, что ваш муж принадлежит к партии, за которой Робеспьер наблюдает, он не может бежать. Вся Франция превращена в тюрьму для подозрительных людей. Возвратясь, вы только подвергнете себя опасности. Откровенно говоря, гражданка, участь, которую вы хотите разделить, может привести к гильотине. Вы получили письмо вашего мужа и знаете, что я говорю по его поручению.

- Я хочу возвратиться вместе с вами, - сказала женщина со слабой улыбкой на бледном лице.

- Как! Вы оставили мужа в безоблачный период Революции, чтобы возвратиться к нему среди ее грома и бурь? - сказал незнакомец с удивлением и некоторым упреком.

- Я уехала потому, что дни моего отца были сочтены; потому, что у него не было другого спасения, кроме бегства в другую страну; потому, что он был стар и беден и, кроме меня, у него никого не было; потому, что мой муж не был тогда в опасности, а мой старый отец был! Теперь он умер, и мой муж в опасности. Обязанности дочери окончились, обязанности жены снова призывают меня.

- Пусть будет по-вашему, гражданка. Я выезжаю на третью ночь, считая сегодняшнюю. Вы еще можете изменить решение.

- Никогда!

Мрачная улыбка промелькнула на лице незнакомца.

- О, Гильотина, - вскричал он, - сколько добродетелей ты выявляешь!

И он продолжал путь, говоря сам с собой, затем крикнул гондолу и вскоре плыл уже по тесным водам Большого канала.

V

Виола сидела у открытого окна. Внизу сверкала широкая гладь канала, отражая холодные, но яркие лучи зимнего солнца. И не один галантный кавалер заглядывался на это прелестное личико, проплывая мимо в гондоле.

Наконец одно из этих темных суденышек остановилось посреди канала, и сидевший в нем устремил взгляд на дворец. Он сделал знак, и гребцы причалили к берегу. Иностранец вышел из гондолы и поднялся по широкой лестнице во дворец.

Слуга вошел в комнату и протянул Виоле карточку с текстом на английском языке: "Виола, я должен Вас видеть! Кларенс Глиндон".

О да, Виола была очень рада его видеть, рассказать ему о своем счастии, о Занони, показать ему своего ребенка! Бедный Кларенс! Она не вспоминала о нем до сих пор, как забыла и всю свою прошлую жизнь, свои мечты, надежды, волнения, обманчивую сцену, шумную толпу и аплодисменты.

Он вошел. Виола вздрогнула при виде его - так изменилось его мрачное чело, его решительные черты, на которых было запечатлено страдание. Его наружность не напоминала более того блестящего и легкомысленного художника и ее поклонника, которого она знала. Его костюм был прост и небрежен. Испуганный, отчаянный и свирепый вид сменил изящную серьезность, характерную прежде для молодого любителя искусства, мечтателя, стремившегося к таинственному знанию.

- Это вы! - сказала она наконец. - Бедный Кларенс, как вы изменились!

- Изменился! - отрывисто сказал он, садясь рядом с нею. - А кому я обязан этой переменой, как не колдунам и демонам, которые овладели вашим существованием так же, как и моим? Виола, выслушайте меня! Несколько недель тому назад я узнал, что вы в Венеции. Под разными предлогами и подвергаясь бесчисленным опасностям, я явился сюда, рискуя свободой, а может быть, и жизнью, если мое имя узнают в Венеции, чтобы предупредить и спасти вас. Я изменился, говорите вы. Изменился внешне, но что значит эта перемена в сравнении с внутренними мучениями? Примите мой совет, пока еще есть время.

Низкий, замогильный голос Глиндона испугал Виолу еще более, чем его слова. Бледный, худой, расстроенный, он казался выходцем с того света, явившимся поразить ее ужасом.

- Как! - сказала она наконец слабым голосом. - Что за дикие, страшные слова я слышу? Разве вы можете...

- Слушайте, - перебил Глиндон, кладя на ее руку свою холодную как лед, - слушайте! Вы слышали старинные рассказы о людях, соединившихся с дьяволами, чтобы приобрести сверхъестественные познания. Эти рассказы не басни, такие люди существуют. Их радость состоит в увеличении числа таких же несчастных, как они. Если их ученики не выдерживают испытания, то демоны овладевают ими, даже в этой жизни, как овладели мною; если они его выдерживают, то горе, вечное горе им! Есть другая жизнь, в которой никакие заклинания не могут ни отогнать духа зла, ни усладить их муки. Я приехал из страны, где кровь льется потоками, где смерть стережет лучших людей, где царствует гильотина, но все эти опасности, которые могут угрожать человеку, ничто в сравнении с этим ужасом, который превосходит смерть.

Тогда Глиндон в кратких и резких выражениях рассказал, так же как Аделе, все подробности своего посвящения. Он описал, в словах, которые заставили похолодеть кровь Виолы, появление бесформенного Призрака, глаза которого иссушали мозг того, кто его видел. Раз увидав, его нельзя было более изгнать. Он являлся по своей воле, внушая мрачные мысли, возбуждая странные соблазны. Он исчезал только среди сцен безумного возбуждения; уединение, стремления души к добродетели вызывали его присутствие.

Виола была изумлена и напугана. Эта безумная, фантастическая исповедь подтверждала ее смутные впечатления, которые в глубине души она никогда не стремилась проанализировать, а, наоборот, немедленно изгоняла их из сознания, как только они появлялись, - впечатления того, что жизнь и свойства Занони не походят на жизнь и свойства простых смертных. Эти впечатления ее любовь осуждала как пустые подозрения, и, смягченные таким образом, они, может быть, способствовали тому, что она еще сильнее привязывалась к нему. Но теперь, после ужасной исповеди Глиндона, наполнившей ее страхом, эти подозрения наполовину ослабили те чары, которыми до этого ее сердце и чувства окутывали ее возлюбленного.

Она встала, испуганная за ребенка, и прижала его к своей груди.

- Несчастная! - вскричал, вздрогнув, Глиндон. - Так это правда, что ты дала жизнь жертве, которую не можешь спасти! Не давай ему пищи, лучше ему умереть, там, по крайней мере, отдых и покой.

Тогда Виола вспомнила ночные бдения Занони около колыбели и боязнь, охватывавшую ее, когда она слышала странные слова, которые он шептал на непонятном языке.

Ребенок глядел на нее ясно и спокойно, и удивительная разумность этого взгляда, казалось, подтверждала ее опасения. Так в тишине стояли мать и тот, кто вызвал ее страхи. Солнце улыбалось им через оконную створку, а у самой колыбели ребенка, хотя они и не замечали этого, расположилась, притаившись, темная ужасная тварь!

Но мало-помалу воспоминания прошлого, лучшие и более приятные, вошли в сознание молодой матери. Лицо ребенка приняло в ее глазах лик отсутствующего отца. Казалось, чрез эти розовые губки слышался его печальный голос.

- Я говорю с тобой через твоего ребенка. В ответ на мою любовь к тебе и ребенку, - шептал этот голос, - ты сомневаешься во мне при первых словах безумца, обвиняющего меня.

Ее сердце затрепетало, она стала как будто выше ростом, и глаза ее зажглись ясным и святым сиянием.

- Уходи, бедная жертва своих иллюзий! - сказала она Глиндону. - Я не поверила бы даже своим собственным чувствам, если бы они обвиняли отца этого маленького существа! И что ты знаешь о Занони? Какое отношение имеют Мейнур и вызываемый им призрак к светлому образу, который ты хочешь присоединить к ним?

- Ты скоро узнаешь это, - мрачно ответил Глиндон, - и сам Призрак, который преследует меня, шепчет мне своими мертвенными устами, что все эти ужасы ожидают тебя и твоих ближних. Я не спрашиваю пока твоего решения; мы еще увидимся, прежде чем я оставлю Венецию.

Сказав это, он исчез.

VI

Увы, Занони, неужели ты думал, что союз между тем, кто пережил века, и дочерью одного дня мог быть продолжителен! Неужели ты не предвидел, что до тех пор, пока испытание не будет пройдено, между твоим знанием и ее любовью не может быть равенства? В то время как ты искал таинственного покровительства для матери и ребенка, ты забыл, что Призрак, который служит тебе, наблюдает за своими дарами, что он господин над жизнями, которые он научил тебя отнять у смерти. Разве ты не знаешь, что боязнь и сомнение, раз посеянные в любящем сердце, вырастают и превращаются в мрачный лес, непроницаемый для звездного света? Ужасные глаза стерегут мать и ребенка!

Целый день душу Виолы терзали тысячи страхов, которые, казалось, исчезали при трезвом рассуждении, но потом снова возвращались, еще более мрачные и мучительные. Она вспомнила, как когда-то сказала Глиндону, что в детстве томилась странным предчувствием, будто ей уготовлена некая сверхъестественная судьба. Она вспомнила, что, когда она рассказывала ему об этом, сидя у моря, дремавшего в объятиях Неаполитанского залива, он тоже говорил о подобном предчувствии, и мистическое сродство, казалось, соединяло их судьбы. Кроме того, она вспомнила, что, сравнивая свои неясные, смутные мысли, оба отметили, что когда они в первый паз увидели Занони, то предчувствия, инстинкт заговорили в их сердцах громче, чем обычно, нашептывая им: "_С ним_ связана тайна неразгаданной жизни".

И теперь, когда Глиндон и Виола встретились снова, их прежние страхи, подтвержденные таким образом, пробудились от заколдованного сна. Она чувствовала, что страх Глиндона против воли овладевал ею, и ее разум и любовь не могли справиться с ним. Но когда ее взор обращался к ребенку, она всегда встречала его твердый и серьезный взгляд, она видела, как его губы шевелились, точно желая что-то сказать ей.

Ребенок не хотел спать. Каждый раз, когда она смотрела на него, эти серьезные глаза, казалось, упрекали и обвиняли ее. Этот взгляд леденил ее душу.

Не в состоянии переносить этот неожиданный кризис всех чувств, которые составляли до сих пор ее жизнь, она приняла решение, естественное для представителя ее страны и веры, - послала за священником, бывшим в Венеции, своим духовником, и со страстными рыданиями и неподдельным ужасом поведала ему охватившие ее сомнения.

Священник был человек достойный и благочестивый, но малообразованный, который даже поэтам приписывал свойства колдунов. Его упреки были живы, потому что его ужас был искренен. Он присоединился к мнению Глиндона, советуя ей бежать, если она чувствует хоть малейшее подозрение, что занятия ее мужа похожи на занятия тех ученых, которых римская церковь во времена инквизиции, спасая их души, сжигала со столь похвальным рвением.

Даже то немногое, что могла сказать Виола, показалось невежественному падре неопровержимым доказательством магии и колдовства; кроме того, ему были известны некоторые слухи, повсюду сопровождавшие Занони, и, следовательно, он был предрасположен толковать все в неблагоприятном смысле. Достойный отец Бартоломео, не колеблясь, отправил бы и Уатта на костер, если бы услышал, что тот говорит о паровой машине.

Виола, столь же малообразованная, как и ее наставник, была потрясена его грубым и сильным красноречием и страшно напугана, ибо Бартоломео с расчетливостью, которую католические священники, какими бы тупыми и занудными они ни были, обычно

приобретают благодаря ежедневному опыту познания человеческого сердца, говорил больше об опасностях, угрожающих не столько самой Виоле, сколько ее ребенку.

- Колдуны, - говорил он, - во все времена старались увлекать и соблазнять юные души, души детей.

Затем он рассказал целый ряд басен и легенд на эту тему, которые выдал за исторические факты. Все, что заставило бы улыбнуться англичанку, испугало наивную суеверную неаполитанку. И когда духовник оставил ее после патетических упреков и страшных обвинений в забвении долга перед ребенком, в том случае, если она станет колебаться в своем решении бежать из этого дома, оскверненного самыми темными силами, дьявольской магией, Виола, все еще во власти воспоминаний о Занони, погрузилась в какое-то летаргическое состояние, которое делало ее. разум беспокойным и неуверенным.

Прошли часы, приблизилась ночь, в доме воцарилась тишина. Виола медленно пробуждалась от оцепенения, безразличия и апатии, которые овладели ее душой.

Она чувствовала, что ее фантазии породили в ее сознании полубредовое состояние и что она находится между сном и бодрствованием, когда вдруг одна мысль вытеснила все другие.

Комната, которую в этом доме и во всех других, где они жили, даже на греческих островах, Занони сохранял для одного себя, куда никто не должен был входить и в которую никогда, в счастливое время их любви, она не думала входить, - эта комната теперь привлекала ее внимание.

Может быть, там она найдет разрешение загадки ее мужа, подтверждение или опровержение своих подозрений - эта мысль глубоко запала в ее душу и, казалось, направила в то место против ее воли.

Она тихо оставила спальню и точно во сне прошла через весь дворец. Луна освещала ее, когда она скользила мимо окон в белом пеньюаре, словно странствующее привидение с тонкими, сложенными на груди руками, застывшими, широко открытыми глазами, с выражением тихого благоговения в них.

Мать! Это твой ребенок, который ведет тебя к заветной комнате. Светлые мгновения проходят перед тобой. Ты еще слышишь, как стенные часы зловеще отбивают время, укладывая эти мгновения в могилу. Скользя, ты уже достигла двери - на ней никаких засовов, никакие магические силы не останавливают тебя перед ней. Дочь праха! Вот ты стоишь наедине с ночью в комнате, где духи пространства, бледные и бесчисленные, собирались вокруг провидца.

VII

Она стояла посреди комнаты и осматривала ее. В помещении не было никаких знаков или предметов, по которым инквизиторы старого доброго времени могли бы определить, что здесь обитает адепт черной магии. Не было ни тиглей, ни котлов, ни фолиантов в медных переплетах, ни колец с шифрами, ни черепов, ни перекрещивающихся костей. Тихо струился широкими полосами лунный свет, освещая белые стены пустой комнаты. Несколько пучков завядших цветов, несколько бронзовых ваз античной формы, оставленных на деревянной скамейке, - вот все, что могло указать любопытному взгляду на занятия отсутствующего хозяина. Магия, если только она здесь существовала, жила в самом маге. И так всегда с твоими трудами и чудесами, о Искатель звездной мудрости. Сами слова принадлежат всем людям, однако из этих слов Ты, архитектор Бессмертия, творишь храмы, которые переживут пирамиды, и каждый лист папируса становится крепостью, о которую бушующий поток веков разбивается, как о неприступную твердыню.

Казалось, в этом уединении ощущалось незримое присутствие того, кто творил все эти чудеса, потому что, пробыв в комнате, немного, Виола почувствовала, что в ней происходит какая-то таинственная перемена. Кровь начала обращаться быстрее, и чувство невыразимого блаженства охватило ее. Она почувствовала, как спали оковы с ее конечностей, как пелена за пеленой удалялась с ее глаз. Все беспорядочные мысли, которые проносились в ее сознании, когда она была в трансе, вдруг успокоились и сконцентрировались на одном страстном желании видеть Отсутствующего, быть с ним. Монады, из которых состоит пространство и воздух, казалось, духовно привлекали ее к себе, стремясь стать средой, сквозь которую ее душа, выйдя из своей оболочки, могла бы устремиться к тому духу, к которому ее влекло невысказанное желание. Она почувствовала слабость и, шатаясь, подошла к скамейке с вазами и растениями; наклонясь, она заметила в одной из ваз маленький хрустальный флакон. Невольно она взяла его и открыла; летучая эссенция, содержащаяся в нем, распространила по комнате чудный запах. Виола вдыхала его и смочила себе жидкостью виски. Тогда в одно

мгновение слабость, которую она испытывала, превратилась в оживление: ей захотелось подпрыгнуть, вспорхнуть, воспарить, полететь на крыльях, расшириться в пространстве.

Комната исчезла у нее из глаз. Прочь отсюда, вдаль, над землями и морями, через неизмеримые пространства устремляется ее освобожденный дух. И вот в каком-то слое не нашего мира она видит возникшие перед ней образы сынов Тайной науки. Они покоятся на фоне зародившегося мира - грубой, бесцветной, разреженной массы вещества одной из туманностей, которые солнца бесчисленных систем разбрасывают на своем пути вокруг Трона Создателя, чтобы эти туманности сами стали новыми мирами гармонии и славы - планетами и солнцами, которые в свою очередь вечно будут умножать расы сияющих существ и порождать будущие солнца и планеты.

И там, среди невообразимого одиночества нарождающегося мира, которому только неисчислимые тысячелетия могли придать форму, дух Виолы узнал Занони или, лучше сказать, похожее на него бестелесное существо, точно душа Занони, подобно тому как сейчас это произошло с ней, оставила свою телесную оболочку. Ведь подобно тому, как солнце, вращаясь и излучая свет, отбрасывает в самые отдаленные пределы пространства свой смутный образ, так и земное существо в деянии своего наиболее духовного, светлого и долговечного ядра запечатлевает свое отображение на новом, возникающем в космосе мире.

Рядом с призраком Занони стоял другой - призрак Мейнура. В окружавшем их гигантском хаосе боролись и бушевали различные элементы: вода, огонь, мрак и свет; пары и тучи собирались в целые горы, и дыхание жизни с неколебимым величием парило над этой бездной.

Вдруг Виола задрожала, увидав, что человеческие призраки были не одни. Вокруг них виднелись какие-то неопределенные чудовищные формы, какие мог породить только хаос: первые представители расы гигантских рептилий, извиваясь, ползали в первозданной бездне, пытаясь бороться за жизнь, свертываясь кольцами в медленно текущей материи или двигаясь сквозь метеорные испарения. Но два призрака смотрели не на них, а на предмет, занимавший самую отдаленную точку в пространстве. Глазами своей души Виола проследила направление их взглядов и с ужасом, более великим и страшным, чем вызывал хаос и его отвратительные обитатели, увидала как бы образ той самой комнаты, где она была, ее белые стены, луч луны, освещавший пол, открытое окно, в которое виднелись крыши Венеции и спавшее внизу море, и в этой комнате свой собственный призрачный образ. Этот двойной призрак, фантом: она сама в форме фантома, созерцающая фантом своего "я", - все это несло в себе ужас, который не передать никакими словами, который будешь помнить всю жизнь.

Но вскоре она увидела, как ее призрачный образ медленно поднялся, тихо оставил комнату и, пройдя через коридор, опустился на колени у колыбели. О Небо! Она глядит на своего ребенка, на его младенческий лик, исполненный чудесной прелести, но около колыбели сидит закутанное в покрывало привидение, тем более ужасное, что его форма неопределенна. Виоле казалось, что стены комнаты раздвинулись, как театральный занавес... она видит мрачную тюрьму, улицы, наполненные фанатической толпой: гнев и ненависть написаны на всех лицах. Она видит место казни, орудие ее и бренную человеческую плоть - она сама, ее дитя, все промелькнуло в этой быстрой фантасмагории. Вдруг призрак Занони обернулся, он, казалось, заметил ее или по крайней мере фантом ее "я". Он бросился к ней, ее душа не могла переносить более. Виола вскрикнула и проснулась.

Она обнаружила, что действительно оставила ужасную комнату, и увидала перед собой колыбель ребенка... все, все, что она видела в трансе, растворилось в воздухе, даже это бесформенное мрачное привидение!

- Дитя мое, дитя мое! Твоя мать спасет тебя!

VIII

ПИСЬМО ВИОЛЫ К ЗАНОНИ

"Итак, вот до чего дошло! Я первая разлучаюсь с тобой! Я изменяю тебе, я навсегда прощаюсь с тобой! Когда твой взгляд остановится на этих строках, я для тебя буду словно мертвая. Для тебя, который был и есть моя жизнь, - для тебя я навсегда потеряна. О мой возлюбленный и супруг! О все еще обожаемый и любимый! Если ты когда-нибудь любил меня, если ты еще можешь меня жалеть, то не старайся искать меня; если твое могущество может настичь меня, то пощади меня, пощади нашего ребенка! Занони, я хочу воспитать его, чтобы он любил тебя, чтобы он звал тебя отцом! Занони, его уста будут молиться за тебя! О, пощади нашего ребенка, ибо младенцы - это святые земли и их голос и заступничество может быть услышано на небесах. Сказать ли тебе, почему я

рассталась с тобой? Нет. Твой ум проникнет в то, чего моя рука не решается написать, и в то время, как я трепещу твоего могущества и бегу от него с ребенком, для меня все-таки утешение знать, что благодаря ему ты можешь прочесть в моем сердце! Ты знаешь, что тебе пишет любящая мать, а не неверная жена. Грешно ли твое знание, Занони? Грех порождает печаль. О, как мне было сладостно утешать тебя! Но ребенок, младенец, душа, что тянется ко мне в поисках защиты! Волшебник! Чародей! Я отбираю у тебя эту душу! О, прости, прости, если мои слова ранят тебя. Видишь - я становлюсь на колени, чтобы писать дальше.

Почему я не отшатнулась от твоего таинственного знания? Почему все, что есть в твоей жизни особенного, странного, непохожего на жизнь других, только еще более восхищало меня? Потому, что, будь ты волшебник или демон, для меня не было опасности, потому что моя любовь была самой надежной небесной защитой. Мое же невежество во всем, кроме моей любви к тебе, отвергало всякую мысль, недостойную в моих глазах твоего светлого и чудесного образа. Но теперь есть другое существо. Почему так странно смотрит на меня ребенок? Почему его глаза, которые никогда не спят, всегда серьезны и полны упрека? Неужели твои чары уже опутали его? Неужели, жестокий чародей, ты хочешь сделать из него жертву твоего ужасного искусства, которое я не смею назвать? Не своди меня с ума!.. Уничтожь чары!

Слышишь ли шум весел?.. - они приближаются, чтобы увлечь меня далеко от тебя! Я гляжу вокруг себя, и мне кажется, что я повсюду вижу тебя, в каждой тени, в каждой звезде ты говоришь мне. Тут, около этого окна, твои уста в последний раз коснулись моих, тут, на пороге, ты обернулся в последний раз, и твоя улыбка казалась так доверчива!.. Занони! Супруг! Я остаюсь! Я не могу расстаться с тобою! Нет! Нет! Я пойду в ту комнату, нежная музыка твоего дорогого голоса успокаивает страдания твоей Виолы, где, среди мрака почти погасшей жизни, он прошептал мне в первый раз: "Виола, ты мать!" Да, я мать... Я встаю с колен. Они идут... я решилась... прощай!.."

Да, так неожиданно, так жестоко, под влиянием слепого суеверия, бессмысленного предрассудка или убеждения, что того требует долг, та, для которой Занони отказался от могущества, оставила его. Это было непредвиденно, неожиданно, но такова судьба всех тех, кто стремится возвысить свой разум над землею и в то же время старается сохранить, как сокровище, земное, человеческое сердце. Невежество всегда будет бежать знания. Но в то же время никогда еще любовь не приносила большей жертвы, исходя из более чистых и благородных побуждений, чем та, которую принесла Виола. Она сказала правду: не жена, а мать оставляла все, в чем заключалось ее земное счастье.

Пока продолжалось обманчивое возбуждение, внушившее Виоле этот поступок, она прижимала к груди своего ребенка и чувствовала себя утешенной и покорной судьбе.

Но какие горькие сомнения в справедливости ее поступка, какие угрызения совести почувствовала она, когда через несколько часов, по дороге в Ливорно, она услышала, как женщина, сопровождавшая ее и Глиндона, просила у Неба помощи, чтобы соединиться с мужем, и силы - разделить грозящие ему опасности. Какой ужасный контраст с ее собственным бегством! И она замкнулась в темноте своего сердца, где ни один голос не подавал ей утешения.

IX

- Мейнур, полюбуйся, что ты сделал! Прочь! Прочь наше мелкое тщеславие мудрецов!.. Прочь наши века жизни и знания!.. Чтобы спасти Виолу от опасности, я ее оставил, но опасность нашла ее!

- Брани не науку, а твои страсти! Откажись от безумной надежды на любовь женщины. Ты видишь, что неизбежно постигает тех, кто хочет соединить небесное с земным... твои желания не поняты, твои жертвы не признаны... Земная душа видит в небесной душе только колдуна или демона... Как! Исполинский дух, ты плачешь!

- Я вижу, я знаю теперь все... Дух, стоявший рядом с нами и вырвавшийся от меня... это была она! О, непобедимое желание материнства! Ты раскрываешь все наши тайны, проникаешь в пространство, ты пролетаешь миры!.. Мейнур! Какое ужасное могущество скрывается в невежестве любящего сердца!

- Сердце! - холодно отвечал Мейнур. - Да, в течение пяти тысяч лет я изучал тайны творения, но все еще не познал всех тайн сердца самой простой души!

- И между тем таинственные предсказания не обманывают нас; пророческие тени, черные от ужаса и красные от крови, предсказали нам, что даже в тюрьме и перед палачом я буду иметь власть спасти их обоих.

- Но при условии какой-то неизвестной и роковой для тебя жертвы.

- Для меня! Равнодушный мудрец! Когда любишь, то "я" не существует: Я еду... один... Я не нуждаюсь в тебе... Я хочу руководствоваться только инстинктом

человеческой любви... Нет такой глубокой пещеры, нет такой обширной пустыни, которая могла бы скрыть их... Да, мое искусство оставило меня... Да, звезды безжалостны... Да, небо для меня теперь только пустая лазурь... Мне остаются только любовь, молодость и надежда, но когда же они были бессильны, чтобы победить и спасти!

КНИГА СЕДЬМАЯ

ЦАРСТВО ТЕРРОРА

I

С ревом несется река Преисподней, рычание которой подобно напеву стремительного потока, несущегося к вратам Элизиума. Какими надеждами расцвели благородные сердца, вскормленные алмазными росами розовых зорь, когда Свобода пришла из темных глубин океана, вырвавшись из старческих объятий Рабства, подобно Авроре, покинувшей ложе Тифона {В греческой мифологии стоглавое огнедышащее чудовище. Зевс, добелив Тифона, навалил на него гору? Этну, из вершины которой дыхание Тифона извергается потоком огня, камней и лавы.}! Надежды! Вы расцвели и превратились в плоды, и эти плоды всего лишь кровь и пепел! Прекрасный Ролан, красноречивый Верньо, провидец Кондорсе, благороднейший Мальзерб! - остроумцы, философы, государственные мужи, патриоты, - мечтатели! Вот тысячелетие, ради которого вы дерзали и трудились! Я вызываю призраки! Сатурн, пожиратель собственных детей, живет в одиночестве, как и подобает Молоху!

Это Царство Террора, и Робеспьер его король! Битвы между Львом и Удавом стали достоянием прошлого; удав проглотил льва и почувствовал сытую тяжесть; Дантон повергнут, повергнут и Камилл Демулен. Перед смертью Дантон сказал: "Этот трусливый Робеспьер - лишь я один мог бы его спасти". С того часа поистине кровь поверженного гиганта заслонила собой хитрость и лукавство "Максимилиана Неподкупного", когда наконец среди рева возмущенного Конвента она заглушила его голос. И если бы после той последней жертвы, возможно весьма существенной для его безопасности, Робеспьер провозгласил завершение Царства Террора и действовал по законам милосердия, которое стал проповедовать Дантон, он мог бы остаться жить и умереть монархом. Однако тюрьмы продолжали пополняться, меч гильотины - падать на головы осужденных; Робеспьер же не мог понять, что чернь пресытилась кровью, и самым острым блюдом, которое вождь мог предложить ей, было бы возвращение человека от дьявола к самому себе.

Перенесемся в одну из комнат дома, принадлежащего гражданину Дюпле, столяру. Дело происходит в июле 1794 года. Согласно революционному календарю, это Термидор Второго Года со дня образования Республики, Единой и Неделимой!

Несмотря на небольшие размеры, комната обставлена с явной претензией на изысканную элегантность. Во всем читается явное желание хозяина избежать в убранстве как низменной грубости, так и чрезмерной роскоши. Безукоризненно строгий вкус виден во всем - в классических линиях стульев и кресел, великолепно подобранных драпировках, утопленных в стены зеркалах, расположении бюстов и бронзовых скульптур, величественно взирающих со своих пьедесталов, и уютных ниш, заполненных рядами книг в добротных переплетах. Наблюдатель мог бы заметить: "Этот человек хочет сказать вам: я не богат; я не выставляю себя напоказ; я не склонен к роскоши; я не изнеженный сибарит, любящий пуховые кушетки и картины, возбуждающие чувственную негу; я не надменный аристократ, предпочитающий просторные залы и галереи, в которых каждый звук порождает гулкое эхо. Ну что ж, тем большего уважения заслуживает мое презрение к излишествам комфорта и тщеславной гордости, так как я люблю все изысканное, но обладаю настоящим вкусом! Другие могут быть простодушны и честны в силу лишь неотесанной простоты своих привычек; если же я, наделенный такой утонченной и чуткой к прекрасному душой, остаюсь простым и честным - воздайте должное и восхититесь мной!"

Стены этой комнаты увешаны множеством портретов, большинство из которых изображает одно и то же лицо; на строгих пьедесталах стоит множество бюстов, большинство из которых изображает одну и ту же голову. В этой небольшой комнате владычествует Эгоизм, для которого Искусство не что иное, как его очки. В кресле у большого стола, заваленного письмами, гордо восседает сам оригинал, хозяин квартиры. Он сидит в одиночестве, тем не менее вся его прямая, напряженная фигура говорит о том, что даже в собственном доме он не чувствует себя свободным. Его платье полностью гармонирует с его позой и атмосферой комнаты; оно само по себе является как бы символом строгости и опрятности, которым равно чужды как пышность моды низложенного

дворянства, так и безобразное уродство одежды санкюлотов. Его волосы завиты и причесаны волосок к волоску, ни пылинки на синей ткани сверкающего чистотой сюртука, ни морщинки на белоснежном, с нежнейшим розоватым оттенком жилете. С первого взгляда на этом лице нет ничего, кроме бросающихся в глаза следов явного нездоровья. Со второго взгляда вы замечаете, что оно выражает силу и незаурядный характер. Его лоб, несколько низкий и как бы сжатый, не лишен следов мысли и ума, - впечатление, которое неизменно вызывается широким расстоянием между бровями над переносицей; рот решительный и твердый, с плотно сжатыми губами, которые тем не менее находятся в состоянии постоянного и беспокойного движения. Взгляд, хмурый и мрачный, однако пронизывающе острый, полон сосредоточенной энергии, явно контрастирующей с хрупким и немощным телом и зеленоватым цветом лица, свидетельствующим о постоянной тревоге и нездоровье его владельца.

Таким был Максимилиан Робеспьер; такова гостиная над столярной мастерской, откуда исходили эдикты, посылавшие целые армии в походы за славой и залившие кровью метрополию самого воинственного народа земли! Таким был человек, решивший скорее отказаться от высокого назначения в суде (предмет его ранних честолюбивых замыслов), чем нарушить свои принципы человеколюбия, поставив свою подпись под смертным приговором единственному близкому товарищу; таким был заклятый враг смертной казни, и таким, ставши теперь Кровавым Диктатором, был человек, чье незапятнанно чистое и суровое естество, чья неподкупная честность, чья ненависть ко всякого рода излишествам, толкающим к любви и вину, могли бы, умри он пять лет назад, сделать из него образец для благоразумных отцов и благонамеренных граждан, ставивших бы его в пример своим сыновьям. Таким был человек, в котором, казалось, не было пороков, до тех пор пока обстоятельства, этот катализатор всех пороков, не выявили два из них, запрятанных в потайных глубинах любого человеческого сердца, - Трусость и Зависть. К одному из этих источников ведут следы каждого из преступлений, совершенных этим воплощением дьявола. Трусость его была необычного и странного свойства, так как она была неотделима от ни перед чем не останавливающейся решимости и воли, - воли, с которой считался Наполеон, воли, выкованной из железа, в то время как его нервы обладали нежной трепетностью осины. Его голова была головой героя, его тело - телом труса. При малейшей опасности оно трепетало от страха, в то время как воля изгоняла эту опасность на бойню. Итак, он сидел в кресле, прямой как штык, его изящные, тонкие пальцы конвульсивно сжимались, его угрюмый взгляд устремлен в пространство, белки глаз тронуты желтизной и покрыты красными прожилками нездоровой крови, его уши буквально напряглись, подобно ушам более низких тварей, ловящих малейшие звуки, - настоящий Дионисий в своей пещере, - однако его поза живописна и полна достоинства, ничто не упущено, каждая деталь на месте.

- Да, да, - пробормотал он, - я слышу их; мои добрые якобинцы находятся на своих постах на лестнице. Жаль, что они так бранятся! У меня готов закон, запрещающий сквернословие, - манеры бедного и добродетельного люда должны быть изменены. Когда жизнь станет безопасной, пара примеров для добрых якобинцев возымеет свой эффект. Верные товарищи, как они любят меня! Гм-м, что это они там кричат? Не подобает так громко сквернословить - да к тому же еще на лестнице! Это подрывает мою репутацию. Ага! Чьи-то шаги!

Произнеся сей монолог, он посмотрел в зеркало на противоположной стене и взял в руки толстый фолиант; казалось, он погрузился в чтение, когда человек высокого роста, с дубинкой в руке, пояс которого был украшен пистолетами, открыл дверь и объявил о приходе двух посетителей. Один из них оказался молодым человеком, внешне походившим на Робеспьера, но с более твердым и решительным выражением лица. Он вошел первым и, кинув взгляд на книгу в руках Робеспьера, который, казалось, и не собирался отложить ее в сторону, воскликнул:

- Как! "Элоиза" Руссо? Повесть о любви!

- Дорогой Пэйян, меня очаровывает вовсе не любовь, а философия этой книги. Какие благородные чувства! Какая пылкая добродетель! Как жаль, что Жан-Жак не дожил до сегодняшнего дня!

В то время как диктатор комментировал таким образом своего любимого автора, которому с большим рвением старался подражать в своих речах, в комнату вкатили в кресле-каталке второго визитера. Этот человек также был в том возрасте, который большинство считает периодом расцвета для мужчины, иначе говоря, ему было около тридцати восьми лет; в то же время его ноги были в буквальном смысле мертвы. Весь перекошенный и парализованный калека, он был тем не менее, как покажет ближайшее будущее, поистине титаном зла. Однако на губах его играла нежнейшая улыбка, а черты лица отличались почти ангельской красотой. Сердца тех, кто видел его впервые, не могли Не поддаться обаянию исходящей от него какой-то невыразимой словами доброты и

смирению перед страданием, сочетавшимся с выражением доброжелательной веселости. Поистине ласкающим слух голосом, напоминающим серебристый звук флейты, гражданин Кутон приветствовал почитателя Жан-Жака:

- О нет! Не убеждайте меня, что не любовь вас привлекает! Именно любовь, а не примитивное чувственное влечение мужчины к женщине. Нет! Возвышенная и нежная любовь ко всему человеческому роду и ко всему, что живет!

Нагнувшись, гражданин Кутон слегка потрепал маленького спаниеля, которого он неизменно носил у себя на груди, даже идя в Конвент, чтобы дать выход переполнявшим его нежное сердце чувствам.

- Да, ко всему, что живет, - тихо повторил 'Робеспьер. - Мой добрый Кутон, бедный Кутон! Ах, эта человеческая злоба! В каком же дурном свете она нас представляет! Она клевещет, делая из нас палачей своих соратников! Именно это жестоко ранит сердце. Вселять ужас во врагов отечества - благороднейший удел; но внушать страх добрым патриотам, тем, кто любит и чтит, - это и есть самая безжалостная и бесчеловечная пытка; по крайней мере для чувствительного, и честного сердца!

- Как я люблю его слушать! - воскликнул Кутон.

- Гм! - сказал Пэйян с некоторым нетерпением. - А теперь к делу!

- Значит, к делу! - произнес Робеспьер, бросив на него зловещий взгляд налитых кровью глаз.

- Пришло время, - сказал Пэйян, - когда безопасность Республики требует полной концентрации власти. Эти крикуны из Комитета общественного спасения способны лишь разрушать, но не созидать. Они возненавидели тебя, Максимилиан, с того самого момента, как ты попытался заменить анархию институтами власти. Как они издевались и высмеивали празднество, на котором было провозглашено признание Высшего Существа! Им не нужен никакой правитель, даже на небесах! Твой ясный и энергичный ум провидел, что, разрушив старый мир, нужно создать новый. Первым шагом к созиданию должно стать уничтожение разрушителей. Пока мы рассуждаем, твои враги действуют. Лучше сегодня ночью напасть на горстку охраняющих их жандармов, чем столкнуться с батальонами, которые они поднимут завтра.

- Нет, - сказал Робеспьер, ужаснувшись непримиримой решительности Пэйяна. - У меня есть лучший и более безопасный план. Сегодня шестой день термидора; десятого - десятого весь Конвент примет участие в десятидневном празднестве. Там организуется целое сборище; артиллеристы, отряды Анрио, юные питомцы Школы Марса смешаются с толпой. Тогда нам будет легко нанести удар по заговорщикам, к которым мы приставим наших агентов. В тот же самый день Фукье и Дюма будут трудиться не покладая рук; и немало голов, "подозреваемых" в недостаточном проявлении революционных чувств, падут под мечом правосудия. Десятое станет великим днем действия. Пэйян, ты подготовил список этих последних обвиняемых?

- Он у меня, - лаконично ответил Пэйян, вручая бумагу.

Робеспьер быстро просмотрел ее.

- Колло Д'Эрбуа! - хорошо! Барер! - да-да, Барер сказал: "Давайте нанесем удар - мертвые не возвращаются". Вадье, свирепый шут! - хорошо, хорошо! Вадье-горец. Это он кричал про меня: "Магомет! Злодей! Богохульник!"

- Магомет идет к горе, - сказал Кутон своим мягким, серебристым голосом, лаская спаниеля.

- Но что это? Я не вижу здесь Тальена! Тальен - я ненавижу этого человека; вернее, - поправил себя Робеспьер с лицемерием, свойственным окружению этого фразера, - вернее, его ненавидят Добродетель и Страна! Никто во всем Конвенте не вселяет в меня такой ужас, как Тальен. Кутон., там, где сидит Тальен, я вижу тысячу Дантонов!

- У Тальена всего лишь одна голова, которая принадлежит телу калеки, - молвил Пэйян, чья свирепость в преступлении, как и у Сен-Жюста, сочеталась с талантами весьма неординарного свойства. - Не лучше ли было бы снять эту голову? Пока что можно попытаться перетянуть его на нашу сторону, подкупив его, а затем, в подходящий момент, когда он останется один, расправиться с ним. Он может ненавидеть тебя, но он любит _деньги!_

- Нет, - сказал Робеспьер, занося в список имя Жана-Ламбера Тальена неспешной рукой, выводя с неумолимой четкостью каждую букву. - Эта голова _необходима для меня!_

- У меня здесь _небольшой_ список, - мягко произнес Кутон. - _Очень_ небольшой список.

Ты имеешь дело с Горой; нужно преподать несколько уроков Равнине {Гора - в период Великой французской революции название якобинской группировки Конвента, занимавшей верхние скамьи. Внизу располагались жирондисты - Равнина.}. Эти умеренные подобны соломе, уносимой ветром. Вчера они выступили против нас в Конвенте. Немного террора,

и мы сможем повернуть флюгер в другую сторону. Жалкие создания! Я не желаю им зла; я буду оплакивать их. Но превыше всего дорогое отечество!

Грозным взглядом Робеспьер буквально впился в список, врученный ему человеком с чувствительным сердцем гуманиста.

Вот поистине точный выбор! Люди, чьи достоинства не настолько велики, чтобы жалеть о них. Наилучшая политика, чтобы избавиться от остатков этой партии. Некоторые из них к тому же иностранцы - прекрасно, у них нет родителей в Париже. Жены и родители начинают подавать на нас в суд. Их жалобы мешают нормальной работе гильотины!

- Кутон прав, - сказал Пэйян. - В моем списке имена тех, кого будет безопаснее схватить среди толпы, собравшейся на празднество. В его списке те, кого мы сможем, действуя осмотрительно, передать в руки закона. Я думаю, он должен быть подписан незамедлительно.

- Он уже подписан, - сказал Робеспьер, из любви к порядку переставив перо на чернильном приборе. - А теперь займемся более важными делами. Смерть этих людей не вызовет волнений: однако Колло д'Эрбуа, Бурдон Дэ Луаз, Тальен, - это последнее имя Робеспьер произнес с каким-то всхлипывающим придыханием, - они стоят во главе партий. Для них и для нас это вопрос жизни или смерти.

- Их головы послужат скамеечкой для ног у твоего курульного кресла, - произнес полушепотом Пэйян. - Нет никакой опасности, если мы будем действовать смело. Все судьи и присяжные отобраны тобой лично. В одной руке ты держишь армию, в другой - закон. А твой голос имеет власть над людьми.

- Бедными и добродетельными людьми, - пробормотал Робеспьер.

- И даже если, - продолжил Пэйян, - мы не сможем осуществить твой план во время празднества, мы не должны отказываться от тех средств, которые все еще в нашей власти. Подумай! Анрио, генерал французской армии, даст тебе солдат для проведения арестов; клуб Якобинцев - людей, которые одобрят твои действия; неумолимый Дюма - судей, которые никогда не вынесут оправдательного приговора. Мы должны действовать решительно и смело!

- Именно это мы и делаем! - воскликнул Робеспьер с внезапной страстью и с силой ударил рукой по столу, поднимаясь из кресла. Его голова напоминала голову кобры, готовой к смертельному броску. - Когда я вижу все те многочисленные пороки, которые революционный вихрь смешал в одну кучу с гражданскими добродетелями, меня пробирает дрожь от страха быть запятнанным в глазах потомства из-за близости ко всем этим патологическим типам, проникшим в ряды искренних защитников человечности. Что - они думают растащить страну подобно награбленному добру! Я благодарен им за их ненависть ко всему достойному и добродетельному! Эти люди, - он схватил список Пэйяна, - это они, а не мы провели разделительную черту между собой и патриотами Франции.

- Верно, мы одни должны править страной! Другими словами, государству необходима единая воля, - пробормотал Пэйян, делая практический вывод из неумолимой логики слов своего коллеги!

- Я пойду в Конвент, - продолжал Робеспьер. - Я слишком долго отсутствовал - чтобы не внушать слишком сильный страх Республике, которую создал. Прочь все сомнения и угрызения! Я подготовлю народ! Я уничтожу предателей одним своим взглядом!

С вселяющей ужас твердостью оратора, который никогда не ошибается, он говорил о силе морального чувства, подобно воину, без страха идущему на пушки. В этот момент его прервали: ему принесли письмо; он распечатал; лицо его внезапно осунулось, по телу пробежала нервная дрожь; это была одна из тех анонимных угроз, при помощи которых ненависть и месть пока еще остающихся в живых для устрашения пытала этого распорядителя смерти.

"Ты запятнал себя, - бежали перед ним строки письма, - кровью лучших людей Франции. Прочти свой приговор! Я с нетерпением жду часа, когда люди поставят тебя на колени перед палачом. Если же мои надежды обманывают меня, если судьба промедлит, тогда - трепещи - и читай! Эта рука, которую ты тщетно будешь искать, пронзит твое сердце. Я ни на один день не спускаю с тебя глаз. Где бы ты ни был, я всегда рядом, каждый час моя рука поднимается, чтобы нанести тебе смертельный удар. Несчастный! Поживи еще несколько безрадостных дней и думай обо мне, даже в своих снах! Твой ужас и твои мысли обо мне - вестники твоей гибели. Прощай! В сей Судный день вселю в тебя я ужас!"

- Твои списки недостаточно полны! - промолвил тиран безжизненным голосом, в то время как лист бумаги выпал из его дрожащей руки. - Дай мне их! Дай мне их! Подумай, подумай хорошенько, Барер прав - прав! Нанесем удар! Мертвые не возвращаются!

II

В то время как объятый страхом Робеспьер вынашивал свои планы, общая опасность и общая ненависть, все то, что еще оставалось от сострадания и добродетели в деятелях Революции, помогло объединить странным образом непохожих людей в их ненависти к этому носителю смерти. Против него зрел настоящий заговор со стороны людей, не намного меньше запятнанных невинной кровью. Но заговор сам по себе имел бы мало шансов на успех, несмотря на усилия Тальена и Барраса (единственных его "вождей", достойных этого имени благодаря своей энергии и предусмотрительности). Неумолимое Время и Природа Вещей были теми разрушительными элементами, которые грозно сгустились вокруг Тирана. Первому он больше уже не соответствовал, второй же он вызвал к жизни сам, возбудив ненависть в сердцах многих. Самая ужасная из партий Революции, партия приверженцев Эбера, которым он также вынес свой приговор, эти кровавые безбожники, осквернившие небо и землю и в то же время нагло претендовавшие на неоспоримую добродетель, были тоже возмущены казнью своего мерзкого главаря и провозглашением Верховного Существа. Несмотря на всю свою свирепость, население как бы очнулось от кровавого кошмара, когда его кумир Дантон покинул сцену террора, ставшего популярным благодаря той смеси присущей Дантону небрежной откровенности и бросающейся в глаза энергии, которая так нравится толпе в ее героях. Нож гильотины пал на них самих. Они вопили, кричали, пели и плясали, когда почтенную зрелость или галантную юность, аристократов или ученых мужей везли по улицам к месту казни в вызывающих ужас двуколках. Но они закрыли свои лавки и возроптали, когда стали хватать людей из их сословия, когда портных, сапожников, ремесленников и чернорабочих поволокли скопом в объятия Непорочной Девы Гильотины с таким же непочтительным презрением, как если бы они принадлежали к роду Монморанси или Ла Тремуилей, Мальзербов или Лавуазье. Как справедливо сказал Кутон: "Сегодня среди нас проходят тени Дантона, Эбера и Шомета". Среди тех, кто разделял учение и теперь страшился разделить судьбу Эбера, был живописец Жан Нико. Униженный и разъяренный тем, что смерть его патрона положила конец его карьере и что в зените Революции, ради которой он работал не покладая рук, он вынужден скрываться в грязных каморках и подвалах, еще более бедный и безвестный, чем в ее начале, не смеющий даже заниматься своим искусством и каждый час с трепетом ожидающий, что его имя пополнит списки приговоренных, он стал, разумеется, одним из самых заклятых врагов Робеспьера и его правительства. Он тайно встречался с Колло д'Эрбуа, разделявшим его настроения, и со свойственным ему тайным коварством умело замышлял и распространял брошюры, изобличающие Диктатора, и готовил "бедных и исполненных добродетели" людей к громадному взрыву. И все же слишком прочной, даже для более проницательных, чем Жан Нико, политиков, казалась угрюмая власть Максимилиана Неподкупного. Движение против него было настолько слабым и робким, что Нико, подобно многим, возлагал надежды скорее на кинжал убийцы, чем на восстание толпы. Однако, не будучи трусом, Нико все же страшился судьбы мученика. Он понимал, что партии с равным пылом будут приветствовать как убийство Робеспьера, так и казнь совершившего его убийцы. Он не обладал неустрашимой твердостью Брута. Его целью было вдохновить на убийство нового Брута, и, принимая во внимание взрывоопасные настроения толпы, эта цель была вполне достижима.

Среди самых грозных и суровых противников кровавого правления, среди самых разочарованных в результатах этой Революции оказался, как и следовало ожидать, небезызвестный англичанин Кларенс Глиндон. Остроумие и разнообразные достоинства, изменчивые добродетели, внезапными сполохами озарявшие ум Камилла Демулена, пленяли Глиндона более, нежели любые другие качества в деятелях Революции. И когда (а Камилл Демулен носил в груди сердце, которое у большинства его современников было либо мертво, либо спало) это живое дитя гения и ошибок ужаснулось резне, устроенной жирондистам, и раскаялось в собственных прегрешениях против них, вызвав змеиную злобу Робеспьера новыми доктринами, проповедовавшими милосердие и терпимость, Глиндон отдался его идеям со всей страстью своей души. Камилл Демулен погиб, и Глиндон, с того самого времени потерявший всякую надежду на собственную безопасность и разуверившийся в торжестве гуманизма, искал лишь возможности избежать гнева все пожирающей Голгофы. Он опасался не только за свою, но и за жизнь двух других существ, ради которых пытался изыскать какие-либо способы побега. Хотя Глиндон и ненавидел принципы, партию и пороки Нико, он все же давал бедняку худржнику средства к существованию; в свою очередь Жан Нико делал все возможное, чтобы подвигнуть Глиндона на мученический подвиг Брута, посмертная слава которого вовсе не прельщала его самого. Он строил свой замысел на физической смелости, необузданном воображении, неудержимом гневе и глубоком отвращении английского художника к правительству Максимилиана.

В тот же самый час того же июльского дня, когда Робеспьер совещался со своими союзниками, в маленькой комнатке одной из улиц, выходящих на Сент-Оноре, сидели двое. Один из них, мужчина, нетерпеливо и с угрюмым видом слушал свою собеседницу.

Последняя была женщиной замечательной красоты, лицо ее выражало смелость и решительность, и, по мере того как она говорила, оно принимало выражение сильной, но полудикой страсти.

- Англичанин! - говорила она. - Берегитесь! Вы знаете, что во время бегства или на эшафоте я пойду на все, чтобы быть с вами, - вы это знаете! Говорите!

- Ну, Филлида, разве я когда-нибудь сомневался в вашей верности?

- Нет, сомневаться в ней вы не можете, но вы можете изменить ей. Вы говорите мне, что в вашем бегстве вас должна сопровождать женщина; этого не будет.

- Не будет?

- Не будет! - решительно повторила Филлида, скрестив руки на груди, и прежде чем Глиндон успел ответить, в дверь тихо постучались, и вошел Нико.

Филлида упала в кресло, оперлась головою на руки и казалась одинаково равнодушной к вошедшему и к разговору, завязавшемуся между двумя мужчинами.

- Не могу пожелать вам доброго дня, Глиндон, - сказал Нико, шагая навстречу художнику размашистой походкой санкюлота. На голове у него была потрепанная шляпа, руки в карманах штанов, а подбородок украшала недельной давности борода. - Не могу пожелать вам доброго дня, ибо, пока жив тиран, зло стало солнцем, льющим свои лучи на Францию.

- Это правда; ну и что с того? Мы посеяли ветер, нам и пожинать бурю.

- И все же, - сказал Нико, как бы не слыша сказанного и размышляя наедине с самим собой, - не странно ли, что мясник так же смертен, как и его жертвы; что его жизнь висит на таком же тонком волоске; что между его кожей и сердцем такое же ничтожное расстояние; что, короче говоря, всего лишь одним ударом можно освободить Францию и избавить от несчастий человеческий род.

Глиндон окинул говорящего небрежным и полным презрения взглядом и ничего не ответил.

- Однажды, - продолжил Нико, - я оглянулся вокруг себя, пытаясь найти человека, рожденного для подобной судьбы, и в результате мои шаги привели меня сюда.

- Не лучше ли было, если бы они привели тебя в стан Максимилиана Робеспьера? - усмехнулся Глиндон.

- Нет, - холодно ответил Нико. - Нет, потому что я принадлежу к подозреваемым. Я не мог бы стать своим в его свите. Я не смог бы приблизиться к нему и на сотню ярдов без риска быть схваченным. В то же время вы не рискуете ничем. Внемлите мне! - и его голос стал серьезным и выразительным. - Внемлите мне! Вам кажется, что здесь таится опасность, в то время как никакой опасности нет. Я был у Колло д'Эрбуа и Билло-Варенна; они обеспечат безопасность тому, кто нанесет удар; население встанет на твою защиту, Конвент будет приветствовать тебя как своего избавителя и...

- Остановись, человек! Как смеешь ты связывать мое имя с преступным деянием убийцы? Пусть набатный колокол вон той башни призовет человечество на борьбу с тираном, я буду в первых рядах; однако свобода никогда еще не взывала к защите у преступника.

При этих словах в самом голосе, выражении лица и всем облике Глиндона было столько мужества и благородства, что Нико невольно замолчал. Внезапно он понял, что недооценил этого человека.

- Нет, - произнесла Филлида, поднимая от рук свое лицо. - Нет! У вашего друга более хитроумный план: он хочет бежать, предоставив вам свободу растерзать друг друга. Он прав; однако...

- Бежать! - вскричал Нико. - Разве это возможно? Бежать! Как? Когда? Каким образом? Вся Франция наводнена шпионами. Бежать! Дай Бог, чтобы это было в нашей власти!

- Так ты тоже желаешь скрыться от благословенной Революции?

- Желаю! - вскричал Нико, вдруг падая на колени и целуя руки Глиндона. - О, спаси меня! Моя жизнь - вечная мука, мне угрожает гильотина. Я знаю, мои часы сочтены, знаю, что тиран только выжидает час, чтобы внести мое имя в список своих жертв. Я знаю, что Рене Дюма, этот никогда не прощающий судья, уже давно приговорил меня к смерти. О Глиндон! Во имя нашей старой дружбы, во имя святого братства искусства, во имя твоего английского благородства, заклинаю тебя, возьми меня с собой!

- Если ты этого хочешь, то я согласен!

- Благодарю! Вся моя жизнь будет благодарностью тебе. Но как приготовил ты необходимое... паспорта... одежду...

- Я расскажу тебе все это. Ты знаешь С.... из Конвента, он могуществен и корыстолюбив. "Пусть меня презирают, лишь бы у меня было на что пообедать" - вот что отвечает он, когда его упрекают в алчности.

- Ну и что же?
- С помощью этого стойкого республиканца, у которого много друзей в Комитетах, я приобрел необходимые средства, то есть купил их; за безделицу я могу достать паспорт и для тебя.
- Значит, твое состояние не в ассигнациях?
- У меня достаточно золота для нас всех.
Глиндон провел Нико в другую комнату и в немногих словах объяснил подробности своего плана и как надо переодеться, согласно с паспортами.
- Взамен этой услуги, - прибавил он, - сделай мне одно одолжение, которое вполне в твоей власти. Ты помнишь Виолу Пизани?
- Ее? Да! И любовника, с которым она исчезла.
- И от которого она бежала.
- В самом деле?.. Как!.. Я понимаю, черт возьми! Теперь ты счастливчик!
- Молчи, несчастный! Несмотря на твою вечную болтовню о братстве и добродетели, ты, кажется, не можешь поверить ни в какой добрый поступок или намерение.
Нико прикусил губу.
- Опыт часто разочаровывает, - пробормотал он. - Гм! Какую же услугу могу оказать я тебе по поводу этой итальянки?
- Это я уговорил ее явиться в этот город ловушек и пропастей. Я не могу оставить ее одну среди опасностей, от которых не может спасти ни невинность, ни неизвестность. В вашей прекрасной республике всякому лояльному гражданину, которому понравилась какая-нибудь женщина, девушка или чья-либо жена, стоит только сказать: "Будьте моей, или я донесу на вас..." Одним словом, Виола должна 5 сопровождать нас.
- Нет ничего легче! Я вижу, вы уже достали для нее паспорт.
- Нет ничего легче?.. Ничего нет труднее! Эта Филлида! Лучше бы я никогда не встречал ее, никогда не порабощал бы своей души! Любовь женщины страстной, без воспитания, без принципов, начинается на небе и кончается в аду. Она ревнива, как фурия, и не хочет слышать, чтобы меня сопровождала другая женщина. Когда она увидит красоту Виолы... Я трепещу при одной мысли об этом. Нет такого преступления, на которое она не решилась бы в буре своих страстей.
- О! Я знаю, каковы эти женщины! Моя собственная жена, Беатриче Саккини, на которой я женился в Неаполе после неудачи с Виолой, развелась со мной, когда у меня кончились деньги, и теперь стала любовницей одного судьи и может обрызгивать меня грязью с колес своего экипажа. Черт ее побери! Но терпение, терпение! Это участь добродетели. Хотел бы я быть Робеспьером только на сутки!
- Избавь меня от своих тирад! - с нетерпением вскричал Глиндон. - Перейдем к делу. Что ты мне посоветуешь?
- Брось твою Филлиду.
- Принести ее в жертву ее же невежеству, оставить среди этих сатурналий разврата и убийств! Нет! Я знаю, что виновен перед ней, и, что бы ни случилось, я не оставлю женщину, которая, несмотря на все свои ошибки, доверила мне свою судьбу.
- Ты, однако, оставлял ее в Марселе.
- Да, но там она была в безопасности; я не знал, что ее любовь так сильна. Я дал ей золота и думал, что она легко утешится, но с тех пор мы переживали опасности вместе. И я не могу оставить ее теперь среди них. Она подвергалась им из-за меня... Нет, это невозможно! Мне пришла в голову одна идея! Не можешь ли ты сказать, что у тебя есть сестра, родственница, подруга, которую ты хочешь спасти? Не можем ли мы до выезда из Франции заставить Филлиду думать, что Виола - женщина, в которой ты принимаешь участие и которую я взял только по твоей просьбе?
- Это недурная идея!
- Тогда я сделаю вид, что уступаю желаниям Филлиды и отказываюсь от плана, которому она так противится, - от мысли спасти невинный объект ее безумной ревности. А ты в это время будешь умолять Филлиду, чтобы она уговорила меня взять с нами...
- ..даму (она знает, что у меня нет сестры), которая великодушно помогала мне в несчастии. Да, я устрою это, не бойся ничего. Еще одно: что сталось с этим Занони?
- Не говори мне о нем, я не знаю.
- Он по-прежнему любит Виолу?
- Кажется, она его жена, мать его ребенка, который с нею.
- Жена! Мать! Он ее любит! О!.. Так почему же?..
- Не спрашивай теперь ничего. Я приготовлю Виолу к отъезду, а ты в ожидании этого пойди к Филлиде.
- Но адрес Виолы? Я должен знать его, если Филлида спросит.
- Улица М... N 27. Прощай.
Глиндон взял шляпу и поспешно вышел.

Оставшись один, Нико задумался.
- О! - сказал он сам себе. - Нельзя ли воспользоваться всем этим? Не могу ли я отомстить Занони? Ведь столько раз клялся! Не могу ли я завладеть твоим золотом, твоим паспортом и твоей Филлидой, англичанин? Ты хочешь унизить меня своими отвратительными благодеяниями, ты бросил мне милостыню, точно нищему. Я люблю твою Филлиду, а твое золото еще больше. Марионетки, я держу теперь нити в своих руках!
Он тихо перешел в комнату, где все еще сидела Филлида с мрачною думой на лице и со слезами на глазах, таких же черных, как и ее мысли.
Услышав стук отворяющейся двери, она поспешно обернулась, но, увидав отталкивающую физиономию Нико, снова отвернулась с досадой и нетерпением.
- Глиндон поручил мне, прекрасная итальянка, - сказал художник, подвигая к ней свое кресло, - усладить твое одиночество. Он не ревнует к уроду Нико. Ха-ха! А между тем Нико любил тебя в более счастливые дни... Но довольно об этом безумии, разлетевшемся в прах.
- Ваш друг ушел? Куда он отправился? Вы колеблетесь, вы не смеете поднять на меня глаз. Говорите, заклинаю вас; я требую, говорите!
- Дитя! Чего ты боишься?
- Боюсь? Да, я боюсь, увы! - сказала итальянка. И некоторое время казалось, что она ушла в себя.
Помолчав немного, она откинула волосы, упавшие ей на глаза, и начала быстрыми шагами ходить по комнате. Наконец она остановилась против Нико, взяла его за руку и, подведя к столу, открыла секретный ящик и показала лежавшее в нем золото.
- Ты беден, - сказала она, - ты любишь деньги, возьми сколько хочешь, но скажи мне правду. Кто эта женщина, к которой пошел твой друг, любит ли он ее?
Глаза Нико засверкали, он судорожно сжал руки при виде монет. Едва устояв перед искушением, он сказал с притворной горечью:
- Неужели ты думаешь подкупить меня? Если бы ты и могла это сделать, то, конечно, не с помощью золота. Не все ли равно, если он обманывает тебя? Не все ли равно, если, утомленный твоей ревностью, он думает бросить тебя здесь? Разве ты будешь счастливее, узнав все это?
- Да, - с яростью вскричала итальянка, - потому что ненавидеть и отомстить было бы счастьем! О, ты не знаешь, как сладка ненависть для тех, кто действительно любил.
- Но поклянешься ли ты, что не выдашь меня, если я открою тебе тайну, что ты не предашься слезам и упрекам, когда вернется тот, кто тебя обманывает?
- Слезы! Упреки! Месть прячется под улыбкой!
- Ты храбрая женщина! - вскричал Нико почти с восторгом. - Еще одно условие. Твой любовник хочет бежать со своей новой любовницей и предоставить тебя твоей участи. Согласишься ли ты бежать со мной, если я докажу тебе это, если я помогу тебе отомстить твоей сопернице? Я люблю тебя и женюсь на тебе.
В глазах Филлиды сверкнула молния, она взглянула на него с невыразимым презрением и ничего не ответила.
Нико понял, что зашел слишком далеко, и, полагаясь на свое знание человеческой природы, которое он почерпнул в своем собственном сердце и в опыте своих преступлений, он решился положиться на страсти Филлиды, когда он доведет их до нужной ему степени раздражения.
- Прости меня, - сказал он, - моя любовь сделала меня самонадеянным, а между тем эта любовь и сочувствие к тебе, бедное обманутое дитя, - только одни они могут заставить меня изменить доверию человека, на которого я смотрю как на брата. Могу ли я рассчитывать на твою клятву скрыть все от Глиндона?
- Клянусь!
- Хорошо! Тогда возьми свою шляпку и мантилью и следуй за мной!
Филлида оставила комнату, а глаза Нико снова остановились на золоте. Его было много, гораздо больше, чем он смел надеяться; осматривая ящик, он заметил пакет с письмами и узнал хорошо знакомый ему почерк Камилла Демулена. Он схватил пакет и распечатал его. Его глаза засверкали, когда он прочел содержимое.
- Есть с Помощью чего отправить на гильотину пятьдесят Глиндонов, - проворчал он и спрятал пакет.
О художник! Жертва Призрака! Гляди на двух твоих смертельных врагов, на ложный идеал, не знающий Бога, и ложную любовь, питающуюся испорченностью чувств и не ведающую никакого света в душе своей!

III

ПИСЬМО ЗАНОНИ МЕЙНУРУ

Париж

"Помнишь ли ты, как в давние времена, когда Греция еще оставалась родиной прекрасного, мы с тобой, находясь в огромном Афинском театре, стали свидетелями рождения слов столь же бессмертных, как мы сами? Помнишь ли ты состояние ужаса, охватившего громадные толпы зрителей, когда обезумевшая от яростного гнева Касандра, нарушив зловещее молчание, возопила к своему безжалостному богу? Как страшно у входа в Дом Атрея {В греческой мифологии царь Микен, отец героев Троянской войны Агамемнона и Менелая.}, который должен был стать ее могилой, прозвучали ее обвинения перед лицом настигшего ее несчастья: "О ненавистное, о мерзостное небо! - убогое жилище человека, чей пол забрызган кровью неотмщенной!" Помнишь ли ты, как среди затаивших от ужаса дыхание тысяч зрителей я придвинулся к тебе и прошептал: "Поистине нет лучшего пророка, чем Поэт! Эта знаменитая сцена ужаса приходит ко мне как сон, намекающий на некое сходство с моим отдаленным будущим!" Когда я вхожу внутрь этой бойни, та сцена возвращается ко мне и в моих ушах звенит голос Кассандры. И меня охватывает торжественный и предостерегающий ужас, как будто бы и мне суждено найти могилу и "Сети Гадеса" {Гадес (Аид) - в греческой мифологам владыка царства мертвых, а также само царство.} обволокли меня, как паутина! Какими мрачными сокровищницами превратностей судьбы и горестей стали наши воспоминания! Что есть наша жизнь, как не летопись неумолимой Смерти? Кажется, будто только вчера я стоял на улицах этого города галлов и в глазах рябило от ярких красок, украшенных плюмажами рыцарских доспехов, а в воздухе был слышен шелест великолепных шелковых нарядов. Молодой Людовик, монарх и любовник, стал победителем праздничного турнира! И вся Франция гордилась великолепием своего несравненного короля! Ну а теперь нет ни трона, ни алтаря; и что же вместо этого? Я вижу ясно - ГИЛЬОТИНА! Поистине ужасно стоять посреди поросших мхом развалин городов, вспугивая время от времени змей или ящериц на руинах Персеполиса и Феба; но еще более ужасно стоять подобно мне - чужестранцу из некогда существовавших империй, - стоять ныне среди еще более ужасных обломков Закона и Порядка, знаменующих собой гибель человечества! И все же здесь, даже здесь, Любовь, вносящая в мир Красоту, своей неустрашимой поступью вселяет надежду в этом царстве запустения и Смерти! Поистине странной кажется страсть, являющая собой целый мир, в котором единственное сосуществует со множеством; индивидуальное, которое, несмотря на все превратности моей полной мрачной торжественности жизни, все же продолжает жить, хотя честолюбие, ненависть и гнев давно уже мертвы; тот одинокий ангел, парящий над вселенной могильных плит на своих трепетных, столь человечных крыльях, имя которым - Надежда и Страх!

Когда мое божественное знание оставило меня, когда, чтобы найти Виолу, я мог рассчитывать только на инстинкт обыкновенного смертного, как это случилось, Мейнур, что я никогда не отчаивался, что во всех трудностях я чувствовал непобедимую уверенность, что мы встретимся?

Все следы ее бегства так жестоко скрыты от меня; ее отъезд был таким неожиданным и таинственным, что венецианские власти не могли сообщить мне никаких сведений. Я напрасно объехал всю Италию! Я был в ее доме в Неаполе. Неуловимый аромат ее присутствия все еще витает в этой смиренной обители. Все тайны нашего знания оказались для меня в этой ситуации бесполезными - моя душа не могла видеть ее души. И тем не менее утром и вечером, в духе, я моту входить в общение с моим ребенком. В этих сладких и таинственных узах сама природа восполняет, кажется, то, в чем мне отказывает наша Наука. Пространство, расстояние не в состоянии отделить бдительную душу отца от колыбели его ребенка; я не знаю, где он находится. Мои видения не открывают мне этого места, я вижу только хрупкую юную жизнь, для которой все пространство является домом. Для ребенка, пока разум его еще не развит, пока человеческие страсти еще не затемнили ту духовную сущность, которую человек приносит из духовных миров на землю при своем рождении, нет ни родины, ни родного города, ни родного языка. Его душа еще живет всюду, и в духовном пространстве она встречается с моей; ребенок вступает в общение с отцом.

Жестокая подруга, бросившая меня! Ты, для которой я отказался от мудрости небесных сфер, ты, которая принесла мне роковое приданое человеческих слабостей и страхов, неужели ты могла подумать, что эта юная душа будет в опасности на земле, только потому, что я желаю, чтобы она постепенно поднялась до Неба? Неужели ты думала, что я могу нанести вред столь дорогому мне существу? Неужели ты не знала, что его ясный взгляд упрекал мать, старавшуюся заключить его душу во мраке ее телесной тюрьмы! Неужели ты не чувствовала, что это я с помощью Неба охранял его от страданий и

болезни! И я благословлял этого святого посредника в его чудной красоте, посредника, с помощью которого мой дух мог общаться с твоим.

Каким образом я нашел их здесь? Я узнал, что твой ученик был в Венеции, но когда я старался вызвать перед своим духовным взором его праобраз, то он отказался повиноваться мне, и тогда я понял, что судьба англичанина неразрывно связана с судьбой Виолы. Поэтому я последовал за ним до этого рокового места, я приехал вчера, но еще не нашел его. . . . . .

. . . . . Я только что возвратился из их дворцов правосудия, которые не что иное, как логово тигров, расправляющихся со своей добычей. Среди них я не вижу тех, кого хотел бы отыскать. Пока что они в безопасности; однако я узнаю в преступлениях смертных угрюмую мудрость Непреходящего. Мейнур, здесь я впервые понял, как величественна и прекрасна Смерть! Каких возвышенных добродетелей мы лишили себя, когда, возжаждав добродетели, мы достигли высокого искусства в бегстве от смерти! Когда в какой-нибудь благодатной стороне, где дышать означает блаженствовать, склепы пожирают юных и прекрасных; когда, весь в благородном порыве к знанию, ученый вдруг сталкивается со Смертью, захлопывающей двери в волшебную страну, которая только начала открываться перед ним, - как естественно тогда для нас стремление жить; как естественно сделать главным предметом исследования возможность вечной жизни! Но отсюда, из моей башни времени, оглядывая мрачное прошлое и глядя в сияющее будущее, я познаю, как сладко и как славно для великих сердец положить жизнь за то, что они любят! Я видел, как отец пожертвовал собой ради сына! Ему предъявили обвинения, которые он мог бы опровергнуть одним лишь словом, - его приняли за его сына. Какую радость принесла ему эта ошибка! Он сознался в благороднейших преступлениях доблести и верности, которые действительно совершил его сын, - и взошел на плаху в великой радости, что его смерть будет не напрасной, что она спасет данную им же жизнь! Я видел женщин, юных и нежных, в расцвете красоты, которые по собственной воле заточили себя в монастырь. Руки, запятнанные кровью святых, сняли решетку, отделяющую их от остального мира, и велели им забыть свой обет и отречься от низложенного этими дьяволами Всевышнего, найти себе друзей и возлюбленных и стать свободными. А ведь некоторые из этих юных сердец любили и, несмотря на внутренние борения, продолжали любить. Отреклись ли они от данного ими обета? Отказались ли от веры? Нет! Даже любовь не прельстила их. Мейнур, все они предпочли умереть! Откуда же такое мужество? Причина в том, что такие _сердца живут в жизни более отвлеченной и святой, чем их собственная телесная жизнь. Жить вечно на этой земле - значит жить не в чем ином, как в своей божественной сути_. Воистину, даже среди этой кровавой мясорубки Всевышний доказывает человеку святость своего слуги, Смерти!

* * *

Я снова видел тебя в духе; я видел и благословил тебя, мое дорогое дитя! А ты, узнаешь ли ты меня в своих снах? Не чувствуешь ли ты сквозь сон биений моего сердца? Не слышишь ли ты шума крыльев ангельских существ, которыми я еще могу окружать тебя, чтобы защитить и спасти? И когда после пробуждения улетают твои грезы, когда твои глаза открываются навстречу солнечным лучам, не ищут ли они вокруг себя и не спрашивают ли они мать с молчаливым укором, почему она отняла тебя у отца?

Виола! Не раскаиваешься ли ты? Чтобы спастись от воображаемых ужасов, не явилась ли ты в самое логовище ужаса, где царствует видимая, воплощенная опасность? Если бы только мы могли встретиться, не упала ли бы ты на эту грудь, которую заставила так страдать? И не почувствовала бы ты, бедная странница среди бури, что нашла наконец убежище?

Мейнур, мои поиски по-прежнему тщетны. Я ищу ее всюду, даже среди их судей и шпионов, но не нашел пока ее след. Я знаю, что она здесь, я инстинктивно чувствую это, дыхание моего ребенка кажется мне теплее и ближе!

Глазами, полными ядовитой ненависти, они смотрят, как я иду по их улицам. Одним взглядом я обезоруживаю их злобу и очаровываю василисков. Повсюду я вижу следы и ощущаю присутствие Призрака, который стоит на пороге и чьи жертвы - это души, желающие _дерзать и стремиться_ и могущие лишь _трепетать от страха_. Я вижу нечто неопределенное и лишенное четких очертаний, шествующее впереди простых смертных из плоти и крови и указывающее им путь. Мимо меня крадущейся походкой прошел Робеспьер. Его сердце терзали эти внушающие ужас глаза. Я окинул взглядом сверху их Сенат. На полу, весь съежившись, сидел зловещий Призрак. Он нашел себе приют в городе Страха. Кто же в самом деле эти будущие строители нового мира? Подобно ученикам, тщетно стремившимся приобщиться к высшему знанию, они посягнули на то, что им не по силам.

Из этого мира земных очевидностей и осязаемых форм они ступили в страну призрачных теней, и ее омерзительный хранитель схватил их как свою добычу. Я взглянул в трепещущую от страха душу тирана, неуверенно проковылявшего мимо меня. Там, среди развалин тысячи систем, целью которых было достичь добродетели, сидело Преступление и тряслось мелкой дрожью в отчаянии и одиночестве. И все же этот человек единственный Мыслитель, единственный достойный Претендент среди них всех. Он все еще надеется, что будущее, в котором воцарятся милосердие и мир, наступит - да, кстати, когда именно оно наступит? Когда он расправится со всеми врагами? Глупец! Каждая капля вновь пролитой крови порождает новых врагов. Ведомый глазами Невыразимого, он идет навстречу собственной гибели.

О Виола! Твоя невинность хранит тебя! Ты, которую блаженство человеческой любви отгородило даже от мечтаний об эфирной бесплотности душевной красоты, делающей твое сердце вселенной, заполненной картинами более прекрасными, чем те, которые может наблюдать странник, устремляющий свой взор на вечернюю звезду, - разве не та же чистая любовь окружает тебя своим нежным очарованием даже здесь, где атмосфера страха рассеивается от соприкосновения с жизнью, слишком невинной для мудрости?"

IV

В клубах стоит лихорадочный гул. Лица вождей сосредоточенно-угрюмы. Черный Анрио весь в движении. Он мечется среди своих вооруженных отрядов, бормоча на ходу: "Робеспьер, которого вы так любите, в опасности!" Робеспьер охвачен волнением, список его жертв с каждым часом становится все больше. Тальен, Макдуфф {Персонаж трагедии Шекспира "Макбет".} обреченного Макбета, пытается вселить мужество в своих побледневших заговорщиков. По улицам тяжело громыхают двуколки. Лавки закрыты - горожане пресытились кровью и хотят мира. И каждую ночь толпы детей Революции заполняют восемьдесят театров, чтобы посмеяться над колкими репликами комедиантов или оплакать воображаемые горести вымышленных героев!

В маленькой комнате, в самой середине громадного города, сидела мать и любовалась своим ребенком. Был ясный и теплый день. Ребенок, лежа у ног Виолы, протягивал свои пухлые ручонки, точно желая схватить пылинки, весело танцующие в солнечном луче. Мать отвернулась от этой дивной картины, которая усилила ее грусть. Она печально вздохнула.

Неужели это та самая Виола, которую мы видели блестящей и цветущей под солнцем Греции? Как она изменилась! Как она бледна и утомлена! Она сидела рассеянно, опустив руки на колени; улыбка, прежде не сходившая с ее губ, исчезла. Какое-то тупое и тяжелое отчаяние придавило ее. Она устало и равнодушно глядела на солнечные лучи, проникавшие в комнату. Ее жизнь стала увядать с тех пор, как она порвала связь с источником, питавшим ее. Неожиданный приступ страха и суеверной боязни, заставивший ее бросить Занони, исчез с той минуты, как она ступила на чужую землю. Тогда она поняла, что вся ее жизнь заключалась в улыбке, которую она бросила; но она не раскаивалась: страх прошел, но суеверная боязнь осталась. Виола еще верила, что спасла своего ребенка от мрачной и преступной магии, о которой так много говорят предания всех стран, но которые нигде не пользуются таким доверием и не внушают такого ужаса, как в Южной Италии. Эта уверенность подтверждалась таинственными словами Глиндона и тем, что она сама знала об ужасной перемене, случившейся с этим человеком, выдававшим себя за жертву колдовства. И хотя она не раскаивалась, но ее воля была сломлена.

После их приезда в Париж Виола не видела более своей спутницы, верной жены. Не прошло и трех недель, как муж и жена были казнены. И теперь впервые тяжкие нужды повседневной жизни предстали перед прекрасной неаполитанкой. Ее профессия, дававшая голос и форму искусству поэзии и пения, артистическая среда, в которой прошли ее первые годы, вызывала эйфорию и возвышала ее над обыденным существованием. Жизнь артиста стоит на границе идеального и реального. Но эта жизнь была навсегда закрыта для той, которая некогда была идолом всего Неаполя. Ей, которая поднялась до высот страстной и глубокой любви, казалось, что ее собственный гений, воплощавший на сцене мысли других, растворился в гении, который порождает все мысли из себя самого. И это было бы самой большой неверностью по отношению к тому, кого она потеряла, если бы она снова унизилась до того, чтобы жить аплодисментами других. Таким образом, не желая принимать милостыню от Глиндона, она нашла убежище и средства к существованию для себя и ребенка, занявшись самыми простыми и смиренными ремеслами, доступными для ее пола.

И дитя словно мстило за отца. Ребенок рос, расцветал и развивался. Казалось, что его защищало что-то еще, кроме влияния матери. Его сон был так крепок, что удар

грома не разбудил бы его, и во время сна он протягивал ручонки, точно обнимая кого-то; его уста часто шептали неясные звуки, выражавшие признательность, но не ей, - нередко на его ланитах сиял неземной, райский румянец, а на губах играла улыбка, исполненная таинственной радости.

Потом, когда он просыпался, его пристальный взгляд искал кого-то, но не ее, и наконец останавливался на ее бледном лице с печальным и молчаливым упреком.

Никогда до тех пор Виола не чувствовала всей силы ее любви к Занони, никогда не понимала она так хорошо, что мысли, чувства, сердце, душа и жизнь - все было в ней разбито и омертвело, после того как она обрекла себя на разлуку с тем, кому была предназначена. Она не слышала раскатов грома бушевавшей вокруг нее грозы. Только тогда, когда бледный и измученный Глиндон каждый день, как привидение, проскальзывал к ней, дитя беззаботной Италии, она понимала, как смертелен воздух, окружающий ее. Но в этой чистоте пассивной, бессознательной, почти механической жизни в логове диких зверей она оставалась по-прежнему спокойна и невозмутима.

Дверь быстро отворилась, и вошел Глиндон. Он казался взволнованным более обыкновенного.

- Это вы, Кларенс, - сказала она слабым и кротким голосом, - я не надеялась видеть вас так рано.

- Кто может рассчитывать в Париже время? - спросил Глиндон с пугающей улыбкой. - Разве не довольно того, что я здесь? Ваше спокойствие среди этих ужасов пугает меня. Вы спокойно говорите мне: "Прощайте!" Вы спокойно приветствуете меня: "Здравствуйте!" Будто на каждом углу не скрывается шпион, будто каждый день не учиняют резню.

- Простите меня, но весь мой мир заключается в этих стенах. Я едва могу верить всем вашим рассказам. Все здесь, кроме этого маленького существа, - и она указала на ребенка, - кажется настолько мертвым, что даже в могиле нельзя быть равнодушнее к людским преступлениям.

Глиндон молчал несколько минут, глядя со странным смешанным чувством на это лицо и на все это существо, еще столь молодое и уже окутанное таким печальным покоем, когда кажется, что сердце сознает себя уже постаревшим.

- Виола! - сказал он наконец с плохо сдерживаемым волнением. - В таких ли обстоятельствах я надеялся вас видеть? Это ли я надеялся чувствовать около вас и к вам, когда мы впервые встретились в Неаполе? Почему вы оттолкнули тогда мою любовь? Или почему моя любовь была недостойна вас? Не бойтесь, дайте мне вашу руку! Для меня уже никогда не сможет возвратиться сладкое чувство этой юношеской любви. Я испытываю к вам только то, что чувствовал бы брат к молодой и одинокой сестре. С вами, в вашем присутствии, как бы печально оно ни было, мне кажется, что я дышу самым чистым воздухом моих прошедших дней. Только здесь отвратительный Призрак перестает меня преследовать. Я даже почти забываю про смерть, которая следует за мною по пятам, как тень. Но, может быть, нас еще ждут лучшие дни. Виола, я начинаю наконец понимать, хотя еще смутно, как победить Призрак, который отравляет мою жизнь. Его следует встречать храбро и бросить ему вызов. Я говорил вам, что в кутеже, в разврате он не преследует меня, я могу теперь понять мрачное предупреждение Мейнура: "Ты должен опасаться Призрака в особенности тогда, когда он невидим. В минуты же спокойных и добродетельных решений он появляется..." Да, я вижу его сейчас, там, там, с его ужасным взглядом! - И пот выступил у него на лбу. - Но я не желаю, чтобы он отвратил меня от такого решения. Я гляжу ему в лицо, и постепенно он исчезает во тьме.

Он замолчал, глаза его с диким восторгом остановились на освещенном солнцем пространстве, затем он прибавил с тяжелым вздохом:

- Виола, я нашел средство бежать. Мы оставим этот проклятый город и постараемся в какой-нибудь другой стране взаимно утешить друг друга и забыть прошлое.

- Нет, - спокойно отвечала Виола, - я не хочу двигаться с места до тех пор, пока меня не отнесут на место последнего упокоения. Я видела его сегодня во сне, Кларенс, видела в первый раз со времени нашей разлуки, и... не улыбайтесь, мне казалось, что он прощал беглянку и звал меня своей женой! Этот сон еще витает в этой комнате. Может быть, я еще раз увижу его, прежде чем умру.

- Не говорите о нем, об этом демоне! - вскричал Глиндон, с гневом топнув ногой. - Благодарите Небо за все обстоятельства, которые помогли вам вырваться от него!

- Молчите! - проговорила Виола.

Она хотела продолжать, но ее глаза остановились на ребенке. Он стоял в самом центре столпа солнечных лучей, освещавших комнату; лучи, казалось, окружали нимбом его голову с золотыми кудрями и венчали ее золотой короной. Во всей этой маленькой прелестной фигурке, в больших спокойных глазах было что-то внушавшее благоговение, заставлявшее сердце Виолы сильнее биться от материнской гордости. При последних

словах Глиндона ребенок поднял на него взгляд, в котором, казалось, выражались возмущение и презрение. По крайней мере Виола поняла его как молчаливую защиту Отсутствующего, более действенную, чем могли бы сделать это ее слова.

Наконец Глиндон прервал молчание.

- Вы хотите остаться? - проговорил он. - Для чего? Чтобы изменить долгу матери? Если с вами случится здесь несчастье, то что станется с вашим ребенком? Бедный сирота! Неужели вы хотите, чтобы он был воспитан в стране, которая отреклась от вашей религии, в стране, где не существует более милосердия? Да, плачьте, прижимайте его к сердцу, но слезы" не могут ни защитить, ни спасти его.

- Вы победили! Друг мой, я бегу с вами!

- Будьте готовы завтра вечером, я принесу вам необходимую одежду.

Затем Глиндон поспешно описал путь, по которому они отправятся, и историю, которую надо было рассказывать во время побега. Виола слушала, почти не понимая; он прижал ее руку к сердцу и удалился.

V

Выходя, Глиндон не заметил две человеческие тени, прятавшиеся за углом; он по-прежнему видел перед собой Призрак, скользящий с ним рядом, но не разглядел более опасного взгляда человеческой ненависти и женской ревности следивших за ним.

Нико приблизился к дому, Филлида молча следовала сзади. Как опытный санкюлот, Нико знал, как говорить с привратником.

- Что это значит, гражданин, - сказал он. - У тебя здесь живет подозрительное лицо?

- Гражданин, вы меня пугаете, кто он?

- Дело идет не о мужчине, а о женщине; здесь живет итальянка?

- Да, на третьем этаже, дверь налево. Но что вы имеете против нее? Бедняжка не может быть опасна.

- Берегись, гражданин, неужели ты можешь жалеть ее!

- Нет, конечно, но...

- Говори правду. Кто у нее бывает?

- Никого, кроме одного англичанина.

- Вот именно! Англичанин, шпион Питта и Кобурга.

- Праведное Небо, может ли это быть!

- Ты сказал Небо! Ты аристократ!

- О Боже!.. То есть это старая привычка, это вырвалось у меня помимо воли.

- Часто ли бывает здесь этот англичанин?

- Каждый день.

Филлида вскрикнула.

- Она никогда не выходит, - продолжал привратник, - и занимается только работой и своим ребенком.

- Ее ребенком!

Филлида так стремительно бросилась вперед, что Нико не успел остановить ее. Она взбежала по лестнице и остановилась у двери, указанной привратником. Отворив дверь, она быстро вошла, и при виде все еще прекрасной Виолы ее последняя надежда рухнула. Она увидела и ребенка, над которым склонилась мать, - она, которая никогда не была матерью! Филлида не сказала ни слова, фурии заметались в ее сердце. Виола обернулась и заметила ее; испуганная этим странным привидением, черты лица которого дышали смертельной ненавистью, она вскрикнула и прижала ребенка к груди.

Итальянка громко засмеялась и, повернувшись, сошла вниз, где Нико все еще разговаривал с испуганным привратником.

Отойдя с Нико от дома, она вдруг остановилась.

- Отомсти за меня, - отрывисто сказала она, - и назначь твою цену.

- Мою цену, красавица? Это позволение любить тебя. Ты бежишь со мною завтра вечером, я достану паспорта.

- А они?

- Сегодня же вечером у них будет убежище в Консьержери. Гильотина отомстит за тебя.

- Сделай это, - решительно сказала Филлида, - и я твоя!

До самого дома они не обменялись более ни словом, но, когда Филлида подняла глаза на окно комнаты, которую ее вера в любовь Глиндона превратила в рай, тогда сердце тигрицы смягчилось, что-то женственное проснулось в ее душе, как ни была она мрачна и дика. Она конвульсивно сжала руку, на которую опиралась.

- Нет, нет! Только не он, - вскричала она. - Донеси на нее, пусть она погибнет, но он... я отдыхала на его груди, нет, не он.

- Как хочешь, - сказал Нико с сатанинской усмешкой, - но надо, чтобы его арестовали на время. Ему не сделают ничего дурного, против него не будет никакого обвинения. Но она, не жаль ли тебе ее?

Филлида подняла на него глаза. Их мрачный взгляд был красноречивым ответом.

VI

Итальянка не преувеличила своей способности притворяться, которой издавна славятся представители ее народа и ее пола. Ни одно слово, ни один взгляд не показали в этот день Глиндону ужасной перемены, превратившей ее привязанность в ненависть. Хотя и сам он, погруженный в свои планы и думы о своей странной судьбе, не был проницательным наблюдателем. Поведение Филлиды, более кроткое и сдержанное, чем обыкновенно, подействовало на него успокаивающе, и он стал говорить ей о своих надеждах на верное бегство и на лучшее будущее, ожидающее их в других, менее жестоких краях.

- А твоя прекрасная подруга, - сказала Филлида, отворачиваясь с коварной улыбкой, - та, которая должна была нас сопровождать? Ты отказываешься от нее, как сказал мне Нико, в пользу особы, в которой он принимает участие. Правда ли это?

- А, он сказал тебе это, - заметил рассеянно Глиндон. - Ну что же! Нравится ли тебе эта перемена?

- Изменник! - прошептала Филлида. Она быстро встала, подошла к нему, нежно откинула с его лба волосы и страстно поцеловала.

- Эта голова слишком хороша для палача, - сказала она с легкой улыбкой, потом отошла и сделала вид, что занимается приготовлениями к отъезду.

Встав на следующее утро, Глиндон не увидел итальянки; когда он уходил из дома, ее все еще не было. Ему надо было еще раз увидать С., не только для того, чтобы устроить бегство Нико, но также чтобы убедиться, что у него не возникло никаких подозрений, которые могли бы расстроить его планы. С. не принадлежал к партии Робеспьера и втайне даже был ему враждебен, но умел всюду приобретать себе друзей, когда поднимался к вершинам власти. Выйдя из низшего класса, он, однако, в высшей степени обладал любезностью и грацией, которые можно встретить у представителей любого класса французского общества; во время своей быстрой карьеры он успел разбогатеть никому не известным образом и сделался одним из первых богачей Парижа и в ту пору содержал великолепный и гостеприимный особняк в столице. Он был из тех, кого Робеспьер, по различным причинам, удостаивал своей протекции, поэтому он часто спасал приговоренных к казни или подозреваемых, доставая поддельные паспорта и облегчая им бегство; но он делал это только для богатых. И неподкупный Максимилиан, который не имел недостатка в проницательности, необходимой для всякого тирана, без сомнения отлично понимал все эти махинации и видел его алчность под маскою великодушия, которой она прикрывалась. Но не надо забывать, что Робеспьер очень часто закрывал глаза на некоторые пороки, даже поощрял их в людях, которых затем уничтожал, в особенности когда эти пороки оттеняли в еще более выгодном свете в глазах народа его безупречную честность и пуризм. И очень может быть, он не раз втайне улыбался, глядя на роскошный особняк достойного гражданина С.

К этому человеку и направился в задумчивости Глиндон. Он сказал правду Виоле, что, противясь Призраку, ослабил ужас его влияния. Настало время, когда, видя лицом к лицу пороки и преступления в действительности, он нашел, что они еще ужаснее, чем взгляд Призрака. Его природное благородство стало возвращаться к нему, и, проходя по улицам, он думал о покаянии, составлял планы самосовершенствования. Он дошел до того, что решил пожертвовать ради Филлиды предрассудками, связанными с его происхождением и воспитанием. Он решил искупить свою вину перед нею, пожертвовав собою в браке с женщиной, так мало созданной для него. Он, который некогда возмущался при мысли о браке с благородной и кроткой Виолой, он понял наконец, в этом преступном мире, что справедливое - справедливо и что один пол не создан в жертву другому. Представления его молодости о Красоте и Добре вновь встали перед его мысленным взором, и улыбка пробужденной добродетели, словно лунная дорожка, осветила мрачную гладь океана его сознания. Никогда, может быть, его сердце не было так возвышенно и так мало эгоистично.

Между тем Жан Нико, также погруженный в свои мечты о будущем и распоряжаясь в воображении по своему усмотрению золотом друга, которому собирался изменить, направился к дому Робеспьера. Он вовсе не думал исполнять просьбу Филлиды и пощадить жизнь Глиндона, так как разделял мысли Барера, что "только мертвые не возвращаются".

Во всех тех, кто посвятил себя какой-нибудь науке или искусству, с целью достичь в них определенной степени совершенства, должны быть запасы энергии, несравнимо

большие тех, которыми обладает посредственное большинство. Обычно эта энергия направлена на объекты их профессионального честолюбия, и поэтому все остальные человеческие интересы оставляют их равнодушными. Однако там, где они не могут удовлетворить свою жажду, где бурный поток не может найти выхода, энергия, возмущенная и раздраженная, овладевает всем их существом, и если она не расходуется на осуществление каких-нибудь мелких и незначительных замыслов и не проходит очистительное горнило совести и принципов, то становится опасным и разрушительным элементом социальной системы, внося в нее губительный раздор и насилие. Отсюда та забота, которой все мудрые монархии, вернее, все мудро организованные государства окружали искусства и науки; отсюда почести, воздаваемые проницательными и предусмотрительными государственными мужами служителям искусств и наук, хотя, возможно, сами эти мужи в картине художника видели лишь размалеванный холст, а в математической задаче любопытную головоломку. Нет больше опасности для государства, когда талант, вместо того чтобы посвятить себя естественным для него мирным проблемам, погружается в политические интриги или ставит себе целью добиться личного успеха. Талант, лишенный признания и уважения, находится в состоянии войны с людьми. И здесь становится заметно, что, являясь в глазах общественного мнения при старом порядке наиболее униженным и презренным, чей прах не был даже удостоен чести христианского захоронения, класс актеров (за исключением немногих счастливцев, обласканных двором) оказался самым беспощадным и мстительным бичом революции. В неистовом Колло д'Эрбуа, этом "презренном комедианте", воплотились недостатки и порожденная унижением мстительность целого класса.

Что касается Жана Нико, то его энергия никогда не была в достаточной мере направлена на искусство, которым он занимался. Даже в годы ранней юности политические пристрастия его учителя Давида отвлекали его от скучных занятий у мольберта. Дефекты его личности озлобили его ум; атеизм его благодетеля умертвил его совесть. В любой религии, и прежде всего в религии христианской, самым замечательным является то, что она сначала поднимает Терпение до уровня Добродетели, а затем превращает его в Надежду. Отнимите у человека надежду на другую жизнь, на воздаяние за жизнь прожитую, на улыбку Отца, взирающего на страдания и тяжкие испытания, выпавшие смертным в этой земной юдоли, и что тогда останется от терпения? Но без терпения что такое человек? И что такое народ? Без терпения не может быть высокого Искусства. Без терпения нельзя усовершенствовать Свободу. В жестоких муках и неистовых и бесцельных усилиях Интеллект стремится воспарить ввысь, оставив внизу убожество, а нация - добыть Свободу. И горе обоим, если они не действуют рука об руку и идут к цели вслепую!

В детстве Нико был мерзким мальчишкой. Большинство преступников, даже самых отпетых, не лишены признаков человечности - остатков добродетели; и подлинный творец человечества часто подвергается насмешкам низких сердец и недалеких умов за то, что показывает, как в самых низкопробных сплавах могут присутствовать крупицы золота и в самых лучших представителях Природы - примеси шлака.

Однако, хотя таких и не много, всегда есть исключения из общего правила, когда совесть абсолютно мертва и когда добро и зло становятся лишь средством для достижения эгоистических целей. Так случилось и с протеже атеиста. Зависть и ненависть заполнили все его существо, и сознание высокого таланта заставило его с тем большей злобой проклинать всех тех, кого природа и судьба обделили в меньшей степени, чем его самого. Однако, хотя он и был чудовищем, когда его пальцы убийцы впились в глотку его благодетеля, Время и Царство Крови, этот возбудитель низменных страстей, сделали из его души, прибежища глубочайшего ада, еще более глубокий и зловещий ад. Не имея возможности посвятить себя своему призванию (потому что, хотя он и дерзнул сделать свое имя знаменитым, революции неподходящее время для художников и ни один человек, даже богатейший и надменнейший из магнатов, не заинтересован в мире, порядке и благосостоянии общества больше, чем поэт и художник), весь его беспокойный и лишенный опоры интеллект стал добычей столь естественного для него чувства мести и поиска виновных в своих несчастиях. Все его будущее было в этой жизни; каким же образом удавалось процветать в этой жизни сильным мира сего, этим великим борцам за преобладание и власть? Все доброе, чистое и бескорыстное, как среди роялистов, так и среди республиканцев, было ничтожно, и лишь палачи торжествовали победу, стоя по колено в крови своих жертв! И более благородные сердцем бедняки, чем Жан Нико, впали бы в отчаяние, и тогда Нищета подняла бы свои вселяющие ужас толпы, чтобы перерезать глотку Богатству и затем обескровить саму себя, если бы Терпение, этот Ангел Бедных, не оказалось рядом и не указало бы своим торжественным перстом на приходящую им на смену новую жизнь!

Однако, приближаясь к дому диктатора, Нико начал несколько менять свои вчерашние планы. Не то чтобы он стал колебаться донести на Глиндона и погубить Виолу как его сообщницу, нет, на это он твердо решился, потому что ненавидел обоих, не говоря уж о его застарелой, но живой ненависти к Занони. Виола пренебрегла им, Глиндон оказал ему услугу, и мысль о благодарности была для него так же непереносима, как воспоминание об оскорблении.

Но к чему было теперь бежать из Франции? Он мог овладеть золотом Глиндона и не сомневался, что, играя на гневе и ревности Филлиды, сумеет заставить ее согласиться на все. Украденные им бумаги (переписка Глиндона с Камиллом Демуленом), гарантируя гибель Глиндона, были в то же время бесценными для Робеспьера; они могли заставить тирана забыть прежнюю связь Нико с Гебером и сделать из него союзника и орудие Короля Террора. Перед ним снова начали мелькать надежды на лучшую будущность, богатство, карьеру. Эта переписка, имевшая место за несколько дней до смерти Камилла Демулена, была полна тем, что можно было бы назвать смелой и беспечной неосторожностью, которая характеризовала любимца Дантона. В ней открыто говорилось о планах, враждебных Робеспьеру, указывались имена заговорщиков, против которых тиран искал только предлога, чтобы раздавить их. Что же мог он предложить Максимилиану Неподкупному более драгоценного?

Занятый этими мыслями, он дошел наконец до жилища Робеспьера. У дверей стояли восемь или десять здоровенных и хорошо вооруженных якобинцев, добровольных телохранителей диктатора, вокруг которых теснились молодые, изящно одетые женщины, пришедшие справиться о здоровье Робеспьера, узнав, что у него разлилась желчь. Как ни странно, но он был идолом женщин.

Нико начал проталкиваться сквозь толпу, стоящую перед дверью дома Робеспьера. Дом этот не был достаточно просторным и не имел передней для многочисленных посетителей. Нико поднимался по лестнице, и до слуха его доносились совсем не лестные выражения в его адрес.

- А, славный полишинель! - сказала одна из женщин, которую толкнул Нико. - Но разве можно ожидать вежливости от такого пугала?

- Гражданин, - говорила другая, - я хотела заметить тебе, что ты ходишь по моим ногам, но теперь, глядя на твои, я вижу, что здесь недостаточно места, чтобы ты мог ступать своими.

- А! Гражданин Нико, - воскликнул якобинец из охраны Робеспьера, взваливая на плечи громадную дубину, - что привело тебя сюда? Думаешь, преступления Эберта забыты? Прочь отсюда, выродок! И благодари Верховное Существо, что Оно сотворило тебя таким ничтожеством, которое можно игнорировать!

- Подходящая рожа для гильотины, - заметила женщина, у которой художник измял плащ.

- Граждане, - произнес побледневший от сдерживаемой ярости Нико, отчего слова, казалось, выходили из него со звуками, напоминающими зубной скрежет. - Имею честь сообщить вам, что я ищу Представителя по делу чрезвычайной важности как для народа, так и для него самого; и я, - добавил он, обводя собравшихся медленным и зловещим взглядом, - призываю всех добрых граждан быть моими свидетелями, когда я сообщу Робеспьеру об оказанном мне некоторыми из вас приеме.

Во взгляде и голосе Нико было столько глубокой и тяжелой ненависти, что окружающие буквально отшатнулись, и по мере того, как они припоминали внезапные подъемы и спады в их полной превратностей революционной жизни, несколько осмелевших голосов стали уверять нищего и оборванного художника, что у них и в мыслях не было нанести оскорбление гражданину, сам внешний вид которого свидетельствовал о том, что это был образцовый санкюлот. Нико принял эти извинения в угрюмом молчании. Скрестив на груди руки, он прислонился спиной к стене, терпеливо ожидая приема.

Толпа праздных зевак разделилась на группы по два и по три человека; внезапно общий гул голосов прорезал пронзительный свист высокого часового якобинца, стоящего у лестницы. Рядом с Нико какая-то старуха озабоченно перешептывалась с молодой девицей, и атеист усмехнулся про себя, подслушав, о чем они говорят.

- Уверяю тебя, дорогая, - говорила старая карга, с таинственным видом покачивая головой, - что божественная Катрин Тео, которую теперь преследуют нечестивцы, поистине осенена благодатью Всевышнего. Нет никакого сомнения в том, что избранник, великими пророками которого суждено стать Дому Жерлю и добродетельному Робеспьеру, будет жить вечно и уничтожит всех их врагов. В этом не может быть ни малейшего сомнения!

- Восхитительно! - воскликнула девушка. - _Этот милый Робеспьер!_ - по его виду не скажешь, что он долго протянет!

- Тем более велико будет чудо, - сказала старуха. - Мне всего лишь восемьдесят один год, и я не чувствую себя ни на один день старше, так как Катрин Тео обещала мне, что я буду одной из избранных!

Тут женщин потеснили вновь пришедшие, громко и оживленно переговаривавшиеся друг с другом.

- Да, - воскликнул крепкого вида мужчина, с голыми мускулистыми руками и в революционном колпаке, чье платье выдавало в нем мясника. - Я пришел предостеречь Робеспьера! Они готовят ему западню; они предлагают ему переехать Национальный дворец. Нельзя быть другом народа и жить во дворце.

- Верно, - сказал сапожник. - Мне он нравится больше в своем скромном жилище столяра - там он выглядит как один из _нас_.

Опять прихлынула толпа, и рядом с Нико оказалась еще одна группа людей, которые разговаривали громче и оживленнее других.

- Однако мой план заключается в том...

- К черту _твой_ план. Говорю тебе, _мой_ замысел...

- Чепуха! - кричал третий. - Когда Робеспьер поймет _мой_ новый способ изготовления пороха, враги Франции будут...

- Ба! Кто боится внешних врагов? - перебил его четвертый. - Бояться нужно внутренних врагов. _Моя_ новая гильотина за один раз отрубает пятьдесят голов!

- А _моя_ новая Конституция! - воскликнул пятый.

- _Моя_ новая Религия, гражданин! - миролюбиво пробормотал шестой.

- Тихо, разрази вас гром! - взревел один из охраны якобинцев.

Внезапно толпа расступилась, пропуская свирепого вида человека, в сюртуке, застегнутом до самого подбородка, с позвякивающей на боку шпагой и гремящими шпорами на сапогах. Его одутловатые красные щеки говорили о невоздержанности в еде и питье, а застывший мертвенный взгляд делал его похожим на хищного зверя. Внезапно притихшие, с побледневшими лицами люди расступились, давая дорогу беспощадному Анрио. Не успел этот железный человечек, этот суровый тиран прошествовать сквозь толпу, как она вновь заволновалась, охваченная возбуждением и почтительным страхом, когда в нее бесшумной тенью скользнул улыбающийся скромный гражданин, опрятно и просто одетый, со смиренно потупленным взглядом. Более мягкого и кроткого лица не мог бы себе представить даже певец безмятежных пасторалей, решивший изобразить Коридона или Тирсея. Почему же толпа отпрянула в ужасе и затаила дыхание? Подобно хорьку в своих подземных ходах, это тщедушное тело прокладывало себе путь среди более грубых и крупных существ, подававшихся назад и жавшихся друг к другу, когда он проходил мимо них. Один лишь мимолетный взгляд - и здоровенные якобинцы безропотно расступались и освобождали проход. Он держал путь в квартиру тирана, куда мы и последуем за ним.

VII

Робеспьер сидел, бессильно откинувшись в своем кресле. Его землистое лицо выглядело более усталым и изможденным, чем всегда. Он, которому Катрин Тео обещала вечную жизнь, напоминал человека на пороге смерти.

На столе перед ним стояло блюдо, заваленное апельсинами, сок которых, как считалось, был единственным средством, способным успокоить желчь, переполнявшую его организм. Рядом с ним старуха, одетая в дорогое платье (при прежнем _режиме_ она была _маркизой_), своими тонкими пальцами, украшенными драгоценными камнями, чистила для больного Дракона плоды из садов Гесперид. Прежде я уже говорил, что Робеспьер был кумиром женщин. Довольно странно, не правда ли? Но ведь они были француженки! Старая _маркиза_, как и Катрин Тео, называвшая его сыном, казалось, действительно любила его самоотверженной и благочестивой любовью матери. И, счищая кожуру, она осыпала его самыми нежными и ласковыми именами, вызывавшими жуткое подобие улыбки на его бескровных губах. Чуть поодаль, за другим столом, Пэйян и Кутон что-то быстро писали, время от времени отрываясь от работы и о чем-то советуясь шепотом.

Внезапно один из якобинцев открыл дверь и, приблизившись к Робеспьеру, прошептал ему на ухо имя Герена. При этом имени с больным произошла разительная перемена, как будто в самом звуке для него было обещание новой жизни.

- Мой добрый друг, - сказал он маркизе, - прости меня, но, к сожалению, сейчас не время отдаваться неге твоих ласковых забот. Меня требует Франция. На службе отечеству я всегда здоров!

Старая маркиза возвела очи к небу и прошептала: "Он просто ангел!"

Робеспьер сделал нетерпеливый жест рукой, и старуха, вздохнув, ласково похлопала его по бледной щеке, поцеловала в лоб и покорно удалилась. В следующую минуту

улыбающийся, спокойный господин, которого мы уже имели честь описать ранее, стоял, согнувшись в глубоком поклоне, перед тираном. И Робеспьер с удовольствием приветствовал одного из самых хитроумных и тонких приверженцев своей власти - человека, на которого он полагался больше, чем на дубинки своих якобинцев, красноречие своих ораторов и штыки своих армий. Герен, наиболее известный из его соглядатаев, - вечно рыщущий, вынюхивающий, всеведающий и вездесущий шпион, - который проникал, подобно солнечному лучу, в любую щель или трещину и знал не только людские поступки, но и читал в сердцах!

- Итак, гражданин! Что скажешь о Тальене?

- Сегодня рано утром, в две минуты девятого, он вышел из дома.

- Так рано? Гмм!

- Он пошел по рю де Катр Фис, затем по рю де Тампль, рю де ла Реюньон, Марэ и рю Мартэн; ничего особенного, кроме разве что...

- Кроме чего?

- Он позволил себе удовольствие поторговаться у книжного лотка.

- Поторговаться у книжного лотка! Ага! Ну и шарлатан! Он прячет нутро интригана под плащом ученого! Прекрасно!

- Наконец, на улице Монмартрских могил, к нему подошел какой-то тип в голубом сюртуке (неизвестный). Оба они пошли дальше вместе, и через несколько минут к ним присоединился Лежандр.

- Лежандр! Подойди, Пэйян! Лежандр, ты слышишь?

- Я зашел во фруктовую лавку и нанял двух малышек, заплатив им за то, чтобы они поиграли в мяч недалеко от него. Они слышали, как Лежандр сказал: "Я считаю, что его власть теряет силу". На что Тальен ответил: "Как и он сам. Я не много дам за его жизнь". Не могу сказать определенно, гражданин, имели ли они в виду тебя!

- И я тоже, гражданин, - ответил Робеспьер со свирепой улыбкой, которая сменилась хмурой задумчивостью. - Ха! - воскликнул он. - Я еще молод, я в самом расцвете сил. Я избегаю излишеств. Нет! Мой организм крепок - здоров и крепок. Что-нибудь еще о Тальене?

- Да. Женщина, которую он любит, - Тереза де Фонтенэ, она сидит в тюрьме - все еще продолжает писать ему, убеждая спасти ее, уничтожив тебя. Это подслушали мои люди. Его слуга передает послания узнице.

- Хорошо! Слугу должны схватить на улице. Царство Террора еще не закончено. С письмами, найденными при нем, и при их соответствующем содержании, я выкину Тальена с его скамьи в Конвенте.

Робеспьер встал и, в раздумье походив в течение нескольких минут по комнате, открыл дверь и позвал одного из стоявших за Ней якобинцев. Он отдал ему несколько приказаний по поводу наблюдения и ареста слуги Тальена, после чего снова бросился в кресло. Когда якобинец ушел, Герен прошептал:

- Это был гражданин Аристид?

- Да. Преданный товарищ. Ему бы только помыться и поменьше сквернословить.

- Разве не ты подставил его брата под нож "гильотины?

- Но ведь сам Аристид донес на него.

- И все же, небезопасно ли для тебя такое окружение?

- Да, ты прав. - И, вынув записную книжку, Робеспьер что-то пометил в ней, опять спрятал ее в жилет и вновь обратился к Герену: - Что еще о Тальене?

- Больше ничего. Он вместе с Лежандром и неизвестным прошел до сада Эгалитэ, где они и расстались. Я проследовал за Тальеном до его дома. Но у меня есть еще и другие новости. Ты велел мне наблюдать за теми, кто присылает тебе письма с угрозами.

- Герен! Ты обнаружил их? Ты смог... тебе удалось...

При этом тиран сжимал кулаки и снова разжимал их, как будто он уже держал в руках жизнь этих писак. Его черты исказила судорожная гримаса, напоминающая начало эпилептического припадка, которым он был подвержен.

- Гражданин, думаю, я нашел одного из них. Ты должен знать, что одним из наиболее недовольных является художник Нико.

- Погоди, погоди! - сказал Робеспьер, открывая рукописную книжицу в сафьяновом переплете (Робеспьер во всем, включая свои списки приговоренных к смерти, любил точность и аккуратность), и, найдя нужную страницу, вскричал: - Нико! Он есть в списке! Так, так: атеист, санкюлот (ненавижу нерях), друг Эбера! Ага! Рене Дюма осведомлен о его ранней карьере и преступлениях. Продолжай!

- Этот Нико подозревается в распространении клеветнических трактатов и памфлетов, направленных против тебя и Комитета! Вчера вечером, когда его не было дома, швейцар впустил меня в его квартиру на рю Бо-Репэр. Я отмычкой открыл его письменный стол и бюро, в котором обнаружил рисунок, изображающий тебя и гильотину. Внизу было

написано: "Палач своего отечества, прочти декрет о ждущей тебя каре!" Я сравнил слова с отрывками из разных писем, которые ты мне дал. Почерк один и тот же. Вот, смотри, я оторвал клочок с его подписью.

Робеспьер глянул, улыбнулся и, удовлетворенный, откинулся в кресле. "Это хорошо! Я боялся столкнуться с более сильным противником. Этого человека следует немедленно арестовать".

- И сейчас он ждет внизу. Я столкнулся с ним у лестницы.

- В самом деле? Пусть войдет! Нет, подожди, подожди! Герен, спрячься в другой комнате, пока я не позову тебя. Дорогой Пэйян, присмотри за тем, чтобы этот Нико не пронес с собой оружия.

Пэйян, который был настолько же храбр, насколько Робеспьер малодушен, подавил презрительную усмешку, искривившую на мгновение его губы, и вышел из комнаты.

Тем временем Робеспьер, низко склонив на грудь голову, впал в глубокую задумчивость.

- Жизнь грустная штука, Кутон! - произнес он внезапно.

- Прошу прощения, но, по-моему, смерть хуже, - мягко заметил человеколюбец.

Робеспьер ничего не ответил и вынул из портфеля то знаменитое письмо, которое впоследствии было найдено среди его бумаг и в собрании его письменного наследия значится под номером LXI.

"Вне всякого сомнения, - начиналось оно, - ты чувствуешь себя не в своей тарелке, не получив от меня до сих пор никаких известий. Не следует тревожиться, так как тебе известно, что я могу ответить тебе только через нашего постоянного курьера. Причина в том, что он был задержан во время своей последней поездки. Когда ты получишь это послание, сделай все возможное, чтобы поставить пьесу, в которой тебе придется появиться и исчезнуть в последний раз. Было бы пустой тратой времени напоминать тебе о всех тех причинах, которые могут подвергнуть твою жизнь серьезной опасности. Последний шаг, ведущий к президентскому креслу, может вместо этого привести тебя на эшафот. И толпа станет плевать тебе в лицо так же, как она оплевывала тех, кого судил ты. Поэтому, зная, что ты собрал достаточно богатств для безбедного существования, я жду тебя с великим нетерпением, чтобы посмеяться вместе с тобой над той ролью, которую тебе пришлось сыграть в бедствиях народа, столь же доверчивого, сколь и жадного до всякой новизны. Играй свою роль в соответствии с нашей договоренностью - все подготовлено. И в заключение - наш курьер ждет. Жду твоего ответа".

Диктатор медленно, с углубленным вниманием изучал содержание письма. "Нет, - сказал он про себя, - нет, тот, кто вкусил сладость власти, не может больше довольствоваться покоем. Да, ты был прав, Дантон! Лучше быть бедным рыбаком, чем править людьми".

Отворилась дверь, и вновь появился Пэйян. Подойдя к Робеспьеру, он прошептал: "Опасности нет. Ты можешь принять его".

Довольный услышанным, Диктатор вызвал дежурного якобинца и велел ему провести к себе Нико. Когда художник вошел, на деформированных чертах его лица отсутствовало выражение страха. Гордо выпрямившись, он остановился перед Робеспьером, который окинул его косым взглядом.

Удивительно, но большинство главных действующих лиц Революции отличались на редкость отталкивающей внешностью. Взять хотя бы устрашающую уродливость Мирабо и Дантона или злодейскую свирепость черт Давида и Симона, а также мерзкое убожество Марата и подлую злобность лица Диктатора. Но Робеспьер, походивший, по мнению многих, на кота, был к тому же и чистоплотен, как кот, и его изысканное платье, его гладко выбритое лицо, женственная белизна его изящных рук еще более подчеркивали неприглядную грубость и убогость одежды и всего облика художника-санкюлота.

- Итак, гражданин, - мягко сказал Робеспьер, - ты хочешь говорить со мной. Я знаю, что твоими достоинствами и патриотизмом слишком долго пренебрегали. Ты, верно, пришел просить какого-нибудь места; не бойся, говори.

- Добродетельный Робеспьер, просветитель мира, я пришел не для того, чтобы просить милости, но чтобы оказать услугу отечеству. Я нашел письма, указывающие на заговор лиц, которые до сих пор были вне подозрения.

Говоря это, он положил бумаги на стол, а Робеспьер жадно стал пробегать их.

- Хорошо, хорошо! - забормотал он про себя. - Вот все, чего я желал. Барер и Лежандр в моей власти. Камилл Демулен был игрушкой в их руках. Я любил его, но этих я не любил никогда. Благодарю, гражданин Нико. Я вижу, что письма адресованы англичанину. Какой француз не должен бояться этих волков в овечьей шкуре! Франция больше не желает иметь у себя граждан мира. Этот фарс окончен. Да, прости, гражданин Нико, но, кажется, Клоотс и Зебер были твоими друзьями?

- Да, - сказал Нико извиняющимся тоном, - но мы все можем ошибаться! Я прекратил с ними всякое общение, когда ты выступил против них, ибо я скорее усомнюсь в своих чувствах, чем в твоей справедливости и твоем правосудии.

- Да, я претендую на справедливость и правосудие. Это те добродетели, которые меня особенно трогают и которые я особенно ценю, - сказал насмешливо Робеспьер.

С его пристрастием к хитрости и коварству, которыми он наслаждался даже в этот критический и опасный для него час, когда он замышлял грандиозную интригу, строя планы мести, ему доставляло удовольствие играть с какойнибудь одинокой и беззащитной жертвой.

- И моя справедливость больше не будет слепой; к твоим услугам, добрый Нико. Ты знаешь этого Глиндона?

- Да, и довольно близко. Он был моим другом, но я бы отказался от своего родного брата, если бы он был одним из потакающих врагам Революции. И я не стыжусь признаться, что пользовался услугами этого человека.

- Ага! Значит, ты неукоснительно придерживаешься принципа, что если человек угрожает моей жизни, то все личные услуги, которые он мог оказать тебе, должны быть забыты!

- Все!

- Ты поступил похвально, гражданин Нико, сделай мне удовольствие, напиши адрес Глиндона.

Нико наклонился к столу. Вдруг, когда он уже взял в руки перо, в голове у него мелькнула одна мысль, которая заставила его со смущением остановиться.

- Пиши же.

Нико медленно повиновался.

- Кто же еще числится среди друзей Глиндона?

- Я хотел поговорить с тобой по этому поводу. Каждый день он ходит к одной женщине, иностранке, которая знает все его тайны. Она делает вид, что бедна и содержит работой себя и своего ребенка. Это жена одного итальянца, который страшно богат. Нет сомнения, что она тратит громадные деньги на то, чтобы подкупать граждан. Ее следовало бы арестовать.

- Напиши также ее имя.

- Но нельзя терять времени, так как я знаю, что они оба хотят оставить Париж сегодня же ночью.

- Не бойся, Нико, мы не опоздаем! Гм-гм! Робеспьер взял написанное Нико и поднес к глазам, так как был близорук.

- Всегда ли у тебя такой почерк, гражданин? - спросил он с улыбкой. - Этот кажется мне измененным.

- Я не хотел бы, чтобы они знали, что это я донес на них.

- Хорошо, хорошо! Твоя добродетель будет вознаграждена, рассчитывай на меня. Да здравствует Братство! Он привстал наполовину; Нико вышел.

- Эй, кто-нибудь! - закричал Диктатор, звоня. Появился верный якобинец.

- Следуй за этим человеком, гражданином Жаном Нико, и арестуй его, как только он выйдет за двери. Отправь его в Консьержери. Погоди! Вот приказ. Общественный обвинитель получит мои инструкции. Иди скорее!

Якобинец исчез.

Все следы болезни и слабости исчезли с лица этого хилого и мнительного человека. Он выпрямился, лицо конвульсивно задергалось, он сложил руки на груди.

- Эй, Герен! Появился шпион.

- Возьми эти адреса. Через час этот англичанин и эта женщина должны быть в тюрьме, их показания дадут мне оружие против более опасных врагов. Они должны умереть. Они погибнут вместе с другими десятого... через три дня. Вот, - он поспешно написал несколько слов, - вот приказ. Ступай!

"Теперь, Кутон, Пэйян, мы не можем тянуть с Тальеном и его шайкой. Я имею информацию, что Конвент не будет присутствовать десятого. Мы должны доверять только мечу Правосудия. Я должен собраться с мыслями и приготовить свою речь. Завтра я вновь предстану перед Конвентом. Завтра храбрый Сен-Жюст присоединится к нам сразу же по прибытии из нашей победоносной армии; завтра с трибуны я обрушу громы и молнии на скрытых врагов Франции; завтра я потребую перед лицом всей страны головы заговорщиков".

VIII

Между тем Глиндон, после свидания с С, на котором окончательно устроил все для отъезда, и не видя более никаких препятствий, полный надежд, направился снова к дому Филлиды.

Внезапно посреди своих радостных мыслей ему показалось, что он слышит ужасный и слишком знакомый ему голос, который шептал ему на ухо: "Как, ты хочешь ускользнуть от меня, хочешь возвратиться к добродетели и счастью? Напрасно, слишком поздно. Нет, теперь я не стану преследовать тебя. Человек, не менее безжалостный, чем я, преследует тебя. Меня ты увидишь только в тюрьме, в полночь, в последнюю минуту твоей жизни!"

Глиндон машинально повернул голову и заметил кравшегося за ним человека, которого уже видел, когда выходил из дома гражданина С., видел, как тот несколько раз пересекал ему путь, но англичанин не обратил на него особенного внимания. В ту же минуту он инстинктивно понял, что за ним следят, его преследуют. Улица, по которой он проходил, была затемненной и пустой, так как жара была настолько сильна, что все попрятались по домам. Несмотря на всю его храбрость, холодок пробелил по спине Глиндона. Он слишком хорошо знал страшную систему, царившую в Париже, чтобы не понять всей опасности. Для жертвы Революции впервые заметить шпиона, который, крадучись и скрываясь, следует за ней по пятам, было то же самое, что для жертвы чумы увидеть на своем теле первый нарыв. Преследование, арест, суд и гильотина - вот каковы были обычные и быстрые шаги чудовища, которое анархисты называли законом. Дух у него захватило, и он ясно слышал биение своего сердца. Он остановился и затаил дыхание, глядя на тень, которая также остановилась позади него.

Вскоре, однако, уверенность, что шпион один, и пустота улицы придали ему храбрости, и он сделал несколько шагов навстречу преследователю, который попятился при виде его.

- Гражданин, ты следовал за мною, - сказал он, - что тебе от меня надо?

- Мне кажется, - отвечал последний с любезной улыбкой, - что улицы достаточно широки для двоих. Надеюсь, что ты не такой уж дурной республиканец и не желаешь присвоить себе весь Париж?

- В таком случае иди вперед, а я последую за тобой.

Незнакомец поклонился и прошел вперед. Минуту спустя Глиндон бросился в узкий переулок, поспешно пошел по лабиринту улиц, пассажей и аллей. Мало-помалу он собрался с мыслями, успокоился и, поглядев назад, подумал, что оторвался от шпиона; тогда он круговым путем снова направился к дому.

В то время как он выходил в одну из более широких улиц, прохожий, завернутый в плащ, поспешно прошел мимо него и шепнул:

- Кларенс Глиндон! За вами следят, идите за мной...

Затем незнакомец пошел вперед, а Кларенс обернулся и снова увидел за собою того же человека с угодливой улыбкой, от которого думал избавиться. Он забыл повеление незнакомца следовать за ним и, увидав недалеко толпу, собравшуюся перед выставкой карикатур, бросился в середину группы, нырнул в соседнюю улицу, изменил направление и, после долгой и быстрой ходьбы, не видя больше шпиона, достиг уединенного квартала.

Здесь действительно все казалось спокойным и прекрасным, и художник даже в этот час нависшей над ним опасности с удовольствием рассматривал открывшуюся перед ним картину. Это было сравнительно просторное место. Рядом величественно текла Сена, неся на себе лодки и суда. Солнце золотило шпили и купола и сверкало на стенах беломраморных дворцов поверженной в прах знати. Здесь, утомленный и тяжело дышащий, он остановился на мгновение - прохладный ветерок с реки овевал его горячий лоб.

- Хоть на минуту я здесь в безопасности, - пробормотал он.

Не успел он это сказать, как в тридцати шагах от себя увидал шпиона. Глиндон остановился как вкопанный; он был так утомлен и измучен, что бегство было для него исключено. С одной стороны была река, бежать через которую было невозможно, так как поблизости не было моста, с другой стороны - вереница особняков.

В ту минуту, как он остановился, он услыхал грубый смех и непристойные песни, раздавшиеся из одного дома между ним и шпионом. Это было кафе, пользовавшееся дурной репутацией, обычное место сбора шайки Черного Анри и шпионов Робеспьера. Итак, шпион преследовал свою жертву в самом логовище своры. Он медленно подвигался к дому и, остановившись перед открытым окном, всунул в него голову, как бы для того, чтобы вызвать оттуда вооруженных собутыльников.

В ту же минуту, в то время как голова шпиона еще была в окне, Глиндон увидал в полуоткрытую дверь противоположного дома того самого незнакомца, который предупредил его. Закутанный в плащ, который делал его неузнаваемым, незнакомец сделал ему знак войти. Он без шума бросился под гостеприимный кров; едва дыша, поднялся вслед за

незнакомцем по широкой лестнице, прошел через пустую квартиру, и наконец, когда оба вошли в маленький кабинет, незнакомец сбросил с себя шляпу и плащ, до сих пор скрывавшие его фигуру и лицо, и Глиндон узнал Занони.

IX

- Вы здесь в безопасности, молодой англичанин, - сказал Занони, предлагая кресло Глиндону. - Для вас большое счастье, что я наконец нашел вас.

- Я был бы гораздо счастливее, если бы никогда не встречался с вами! Однако, в эти последние часы моей жизни, я рад увидеть еще раз лицо зловещего и таинственного существа, которому я могу приписать все мои страдания. Здесь по крайней мере ты не можешь ни обмануть меня, ни уйти от меня. Здесь, прежде чем мы расстанемся, ты объяснишь мне мрачную загадку, если не твоей жизни, то хотя бы моей.

- Ты сильно страдал, бедный неофит? - с сочувствием произнес Занони. - Да, я это вижу по твоему лицу, но почему ты обвиняешь меня в этом? Разве я не предупреждал тебя, чтобы ты боялся стремлений твоего собственного духа? Разве я не советовал тебе остановиться? Разве я не говорил тебе, как много в испытании ужасного и непредвиденного? Разве я не был готов отдать тебе сердце, вполне достойное, чтобы удовлетворить тебя, когда оно принадлежало мне? Разве не сам ты бесстрашно выбрал опасности посвящения? Ты свободно избрал Мейнура в свои учителя и его науку для изучения!

- Но откуда явилась у меня ненасытная жажда этого странного и ужасного знания? Я не знал ее, пока твой недобрый взгляд не упал на меня и не завлек в окружающую тебя магическую атмосферу!

- Ты ошибаешься. Эти желания были в тебе и проявились бы тем или другим способом. Ты спрашиваешь у меня загадку твоей и моей судьбы. Взгляни на все живущее. Разве не повсюду видишь ты тайны? Разве твой взгляд может следить за созреванием семени, прорастающего под землей? В нравственном и физическом мире есть множество мрачных и загадочных чудес, более удивительных, чем могущество, которое ты приписываешь мне.

- Разве ты отрицаешь это могущество? Сознаешь ли ты, что ты обманщик, или смеешь сказать мне, что ты действительно продался духу зла, что ты чародей и колдун, чей близкий друг преследует меня день и ночь?

- Не важно, кто я такой, - отвечал Занони, - важно только, смогу ли я помочь тебе прогнать твой отвратительный Призрак, чтобы ты снова мог вернуться к обыкновенной здоровой жизни. Но есть, однако, вещь, которую я хочу сказать тебе, не для того, чтобы оправдать самого себя, но Небо и Природу, на которых ты злобно клевещешь в твоих подозрениях.

Занони замолчал на мгновение, затем продолжал с легкой улыбкой:

- В дни твоей молодости ты, без сомнения, читал великого христианского поэта, муза которого, как заря, которую она воспевала, являлась на землю, украшенная райскими цветами. Никогда ничей дух не был более наполнен рыцарскими предрассудками своего времени, как его, и, конечно же, поэт "Освобожденного Иерусалима" предал анафеме, проклял, к полному удовольствию инквизитора, с которым советовался, всех тех, кто занимался чародейством.

Но в своем горе и страданиях, во время заточения в Бедламе, сам Тассо нашел утешение и спасение в признании святой и духовной Теургии - магии, которая умела вызывать ангелов и добрых гениев, а не демонов. Разве ты не помнишь, как он, кто еще в юном возрасте был так хорошо сведущ в мистериях величественного Платонизма, который намекает на тайны всех звездных братств, от халдеев до поздних розенкрейцеров, он в своих прелестных стихах проводит различие между черной магией Исмены {Исмена - героиня поэмы "Освобожденный Иерусалим".} и чудным знанием Волшебника, который руководит защитниками Святой Земли. Этот Волшебник не пользуется помощью адских духов, но употребляет в дело тайные свойства источников и растений, тайны неизвестной природы и влияние различных звезд и планет. Разве христианский отшельник, обративший Волшебника (это совсем не выдуманный персонаж, но тип духоиспытателя, который поднимается от Природы к Богу), приказывает ему отказаться от всех этих тайных знаний и возвышенных учений? Нет! Но только развивать и направлять их к достойной цели. И в этом грандиозном замысле поэта заключается тайна его истинной Теургии, которая так пугает ваше невежество в более просвещенный век, порождая у вас ребяческие страхи и кошмарные видения расстроенного воображения. Занони остановился, потом продолжал снова: - В отдаленные века среди цивилизации, вполне отличной от настоящей, которая поглощает отдельную личность в государстве, жили люди, одаренные пылкой душой и ненасытной жаждой знания. В могущественных и мрачных деспотиях, в которых они жили, не было беспокойных и земных путей для

изживания лихорадочных стремлений их разума. Они должны были жить среди древних каст, в которых никакой разум не мог проявить себя, никакая доблесть - пробить себе дорогу. Только одна жажда знаний царила в сердцах тех, кто перенимал науку и мудрость от отца к сыну. Вот почему, даже из ваших несовершенных анналов прогресса человеческого знания, вы сможете видеть, что в первые века своего существования Философия не спускалась до земных забот людей. Она жила среди чудес более возвышенного рода, она старалась познать образование материи, сущность духа, который управляет ею, проникнуть в тайны звездных сфер, погрузиться в глубины природы, в которых, по утверждению ученых, Зороастр первый открыл искусство, которое ваше невежество называет магией. В эти-то века нашлись люди, которые, среди фантазий и иллюзий своего класса, думали, что уловили лучи более грандиозного и верного знания. Они верили в сродство всех творений природы, они полагали, что самое ничтожное из них имеет тайное влечение, способное возвысить его до самого великого. Прошли века, много жизней погибло в этих исследованиях, но каждый шаг фиксировался и отмечался и делался новой ступенью для небольшого числа избранных, которые, по праву наследства, следовали по этому пути. Наконец из этого мрака блеснул свет, но не думай, чтобы эта заря занялась для тех, чьи мысли были нечисты и над кем злое начало сохраняло еще какую-нибудь власть. Тогда, как и теперь, это благодеяние было доступно только чистому воображению и возвышенному уму, которых не смущали ни заботы о грубой жизни, ни унизительные страсти. Вместо того чтобы прибегать к помощи демонов, они стремились приблизиться к источнику всякого добра, и чем более освобождались они из-под влияния планетарных сил, тем более проникались величием и добротою Создателя, и если они искали и наконец открыли, каким образом все тончайшие изменения бытия, жизни, человека и материи могут открыться духовному зрению, если они открыли, что для Духа пространство не существует и в то время, как тело остается здесь, точно пустая гробница, свободная мысль может перелетать от звезды к звезде, - если они действительно сделали такие открытия, то высшим блаженством их знания были восхищение и обожание! Так как, согласно словам одного мудреца, посвященного в эти высшие вопросы, в душе находится начало, превосходящее все во внешней природе. Благодаря этому началу мы можем возвыситься над земным миром и принять участие в бессмертной жизни Небесных Иерархий. Когда душа поднимается до существ более высоких, чем она сама, она оставляет род, с которым временно связана, и возвышается до высшего ранга существ, с которыми отождествляется. Допустите же тогда, что подобные существа наконец нашли тайну остановить, отодвинуть смерть... отвращать опасности и врагов... проходить невредимо чрез земные перемены. Неужели вы думаете, что эта жизнь могла внушить им другие желания, кроме стремления к бессмертию и к тому, чтобы лучше приготовить их ум к этому более возвышенному существованию, в котором они могли пребывать, уничтожив раз и навсегда действие Времени и Смерти? Прогоните ваши мрачные подозрения о демонах и волшебниках... душа может стремиться только к свету, и наша чудная наука ошибалась только в том, что забывала про слабости и страсти, какие может уничтожить только смерть, которую мы все-таки напрасно победили.

Глиндон никак не ожидал услышать что-нибудь подобное и некоторое время не мог произнести ни слова. Наконец он прошептал:

- Но почему же тогда для меня...

- Почему, - перебил Занони, - почему для тебя одно раскаяние и ужас? Потому что существует Порог духовного мира и страшный Призрак - Страж этого порога. Безумный! Взгляни на самые простые основы любой науки. Может ли ученик, как только захочет этого, превратиться в учителя? Разве достаточно купить Эвклида, чтобы сделаться Ньютоном? Разве юноша, которому покровительствуют музы, может сказать: "Я сравняюсь с Гомером"? Когда в отдаленные века, о которых я говорю, мыслитель стремился к высотам, коих ты хотел достичь одним прыжком, он уже с колыбели приготовлялся к этому. Внутренняя и внешняя природа открывалась его глазам мало-помалу, год за годом, по мере того, как его зрение приучалось к свету. Он приступал к практическому посвящению только тогда, когда у него не оставалось ни одного земного желания, которое связывало бы божественную способность, что вы зовете воображением, ни одного желания, что могло бы омрачать ум. И даже тогда число достигавших последней ступени посвящения было очень невелико. Но счастливы те, кто ранее достиг небесной славы, входом в которую служит смерть.

Занони остановился, по лицу его пробежала тень тяжелой думы.

- Существуют ли другие смертные, кроме тебя и Мейнура, которые обладали бы твоим могуществом и знали твои тайны?

- До нас были другие, но в настоящее время мы одни остались на земле.

- Обманщик! Ты сам изобличаешь себя! Если они могли победить смерть, то почему же они теперь не живут?

- Дитя дня! - печально возразил Занони. - Разве я не говорил тебе, что ошибка нашего знания заключается в забвении силы желаний и страстей, которые ум не может победить вполне, пока заключен в телесной оболочке? Неужели ты думаешь, что легко отказаться от всех человеческих уз, отбросить всякую дружбу, всякую любовь? Или видеть, как день за днем дружба и любовь вянут и уходят из нашей жизни, как недолговечные цветы вянут и осыпаются со своих стеблей? Неужели ты можешь удивляться, что, имеющие возможность жить до конца света, мы, однако, можем предпочесть умереть гораздо ранее? Скорее удивляйся тому, что еще существуют двое, которые так привязаны к земле. Для меня, признаюсь, земля еще имеет свою прелесть. Я достиг последней тайны в то время, когда моя молодость была еще в полном блеске, и молодость придает всему окружающему свою чудную красоту; для меня дышать - значит еще наслаждаться. Чело природы не потеряло для меня своей свежести, нет ни одной травинки, в которой я не мог бы открыть новой красоты. То, что для меня моя молодость, то для Мейнура его старость. Он скажет тебе, что для него жизнь есть только возможность изучать, и только тогда, когда он исследует все чудеса, порожденные Творцом на земле, - только тогда он потребует для своего ума новых областей познания. Мы представляем две вечные сферы - искусства, которое наслаждается, и науки, которая изучает. А теперь, чтобы ты утешился в том, что не получил доступа к этим тайнам, знай, что мысль должна настолько отделиться от всего, что волнует и занимает людей, должна быть так свободна от всякого желания, любви, ненависти, что для честолюбца, влюбленного, завистника это могущество недоступно. Я сам, наконец связанный, ослепленный самыми обыкновенными семейными узами, беспомощный, я заклинаю тебя, тебя, побежденного и отвергнутого ученика, я заклинаю тебя руководить мною... Где они? О, скажи мне... Говори! Моя жена! Мой ребенок! Ты молчишь! О! Ты знаешь теперь, что я не враг и не волшебник. Я не могу дать тебе того, что несовместимо с твоими способностями, я не могу преуспеть там, где потерпел неудачу невозмутимый Мейнур, но лучший дар после этого - я могу вручить тебе его: я могу примирить тебя с жизнью и успокоить твою совесть.

- Ты обещаешь?

- Во имя их дорогих жизней, обещаю тебе это!

Глиндон взглянул на него и поверил. Он тихо прошептал адрес дома, куда его роковое присутствие уже навлекло отчаяние и смерть.

- Будь благословен! - страстно вскричал Занони. - Как! Неужели ты не замечал, что у входа во все высшие миры стоят существа страха и ужаса? И даже в этом мире никто никогда не оставлял области привычек и предрассудков, не чувствуя сначала, что его охватывает непреодолимый безымянный ужас? Всюду вокруг тебя, всюду, где человек трудится и стремится к своей цели, в келье мыслителя, в собрании демагогов, в стане воинов - всюду, хотя люди его и не замечают, их стережет невыразимый ужас, мрачный и угрожающий. Но только тогда, когда ты осмеливаешься подняться над собой духовно, Призрак становится видим, и он никогда не перестанет преследовать тебя до тех пор, пока ты не перейдешь в бесконечность, как серафим, или не возвратишься, как ребенок, к обыкновенной жизни! Но ответь мне на один вопрос. Когда ты старался остаться верным какому-нибудь добродетельному решению, принятому спокойно, и когда Призрак вдруг появлялся перед тобой, когда его голос шептал тебе об отчаянии, когда его мертвенный взгляд старался запугать и отбросить тебя в жизнь интриг или кутежей, во время которых он исчезал, оставляя тебя на растерзание врагам, более безжалостным, чем он сам, противился ли ты когда-нибудь Призраку и охватывавшему тебя страху? Говорил ли когда-нибудь: "Что бы ни случилось, я хочу быть верен добродетели"?

- Увы! - сказал Глиндон. - Я совсем недавно осмелился это сделать.

- И ты почувствовал, что Призрак становится неясным, а его власть слабее?

- Это правда.

- В таком случае радуйся! Ты преодолел истинный ужас этого таинственного испытания. Решимость есть первая победа. Радуйся, потому что ты сделал первый шаг на пути к изгнанию Призрака. Ты не принадлежишь к числу тех, которые, отрицая будущую жизнь, делаются жертвами неумолимого Ужаса. Когда же люди поймут наконец, что Великая Религия так сурово настаивает на необходимости веры не потому только, что вера ведет к будущей жизни, но и потому, что без веры нет ничего хорошего в этой жизни! Без веры нет совершенства и в этом мире. Вера - это нечто более мудрое, счастливое, божественное по сравнению с тем, что мы видим на земле. Артист зовет ее Идеалом, священник Верой. Идеал и Вера тождественны. Вернись, заблудший, пойми, как много прекрасного и святого в обыкновенной жизни! Прочь, ужасный Призрак! Назад, в твое

мрачное жилище! А ты, лазурное Небо, улыбнись и излей покой на это детское сердце, успокой его лучом твоей утренней и вечерней звезды, звезды Воспоминаний и Надежды!

Говоря таким образом, Занони положил руку на пылающий лоб своего изумленного и возбужденного собеседника. В то же мгновение им овладел род экстаза: ему казалось, что он возвратился на родину своего детства, он снова был в маленькой комнате, где около его колыбели мать смотрела на него и молилась. Эта детская комнатка была ясно видна ему, и ничто в ней не изменилось. В углу стояла простая постель, на стенах - полки со священными книгами. Рядом мольберт, на котором он впервые пытался передать свой идеал, - холст покрыт пылью и разорван в нижнем углу справа. Из окна виднеется вдали старое кладбище; солнце весело глядит сквозь ветви тисовых деревьев; он видит сквозь зелень могилу, где лежат рядом его отец и мать, и шпиль колокольни, устремленный в Небо - в этот символ надежд тех, кто доверил свои бренные останки земной пыли; в его ушах раздается праздничный благовест колоколов. Видения ужаса далеко отлетели от него; молодость, детство, самые первые годы жизни возвратились к нему с их невинными радостями и надеждами, ему казалось, что он падает на колени, чтобы молиться. Он проснулся... Он проснулся с чудными слезами на глазах: он чувствовал, что Призрак исчез навсегда. Глиндон оглянулся вокруг: Занони не было, а на столе лежала записка, чернила которой были еще влажны:

"Я найду средства помочь тебе бежать. Сегодня вечером, ровно в девять часов, лодка будет ждать тебя на реке перед этим домом, лодочник отвезет тебя в убежище, где ты можешь в безопасности ждать конца этого Царства Террора, которое кончается. Не думай более о чувственной любви, которая соблазнила и чуть ли не погубила тебя. Она изменила бы тебе и уничтожила тебя. Ты безопасно возвратишься в свое отечество; тебе остаются еще долгие годы, чтобы обдумать прошлое и исправить его. Что касается будущего, то пусть твое видение будет твоим руководителем и твои слезы - твоим крещением!"

Глиндон буквально исполнил эти предписания и убедился в их благотворности и справедливости.

X

ЗАНОНИ К МЕЙНУРУ

"Она в одной из их тюрем, их ужасных тюрем. Это приказание Робеспьера. Я открыл, что Глиндон причина этого. Вот какова была ужасная связь их судеб, которую я не мог распутать, но которая, до тех пор, пока не оборвалась, как теперь, закрывала от меня Глиндона так же, как и ее, густым туманом. В тюрьме! В тюрьме! Это дверь в могилу! Суд и неизбежная казнь, следующая за таким судом, произойдут через три дня. Тиран назначил десятое термидора днем исполнения всех своих кровавых планов. Смерть невинных наведет ужас на город, а в это время его сторонники уничтожат его врагов. Мне остается одна надежда: что власть, которая будет судить теперь этого судью, сделает из меня орудие для ускорения его падения. Мне остается только два дня! Дальше - тьма и одиночество. Я еще могу спасти ее. Тиран падет накануне дня, назначенного им для резни. Я в первый раз вмешиваюсь в борьбу и интриги людей; мой дух порывает с моим отчаянием - он во всеоружии и готов к борьбе. . . . . .
. . . . . .

Около улицы Сент-Оноре собралась толпа - только что арестовали по приказу Робеспьера одного молодого человека. Все знали, что он служит у Тальена, предводителя оппозиции в Конвенте, врага, на которого тиран не осмеливался нападать до сих пор. Этот случай вызвал большее волнение, чем обычный арест во время Царства Террора. В толпе было много друзей Тальена, много врагов тирана, наконец, много людей, уставших созерцать, как тигр таскает все новые и новые жертвы в свое логовище. Слышался глухой и зловещий ропот, глаза, налитые ненавистью, глядели на офицеров, когда они схватили юношу, и, хотя люди не смели открыто сопротивляться, последние ряды теснили передние и мешали продвигаться арестованному и его стражам. Молодой человек пытался бежать, и отчаянным усилием ему удалось вырваться из рук конвоя. Он бросился в толпу и исчез в ее рядах, которые сомкнулись за ним. Но вдруг раздался лошадиный топот. Разъяренный Анрио и его свита врезались в толпу, которая в испуге рассеялась, и пленник был снова схвачен одним из солдат Робеспьера. В эту минуту чей-то голос шепнул пленнику:

- У тебя есть письмо, если его найдут, твоя последняя надежда погибла. Дай мне его! Я отнесу его к Тальену.

Удивленный пленник обернулся, и выражение глаз незнакомца внушило ему доверие; кавалерия приближалась, якобинец, державший пленника, отпрянул, чтобы не попасть под

копыта лошадей; в этот момент возникла блестящая возможность передать письмо, и мгновение спустя незнакомец уже исчез.

. . . . . .

Главные враги тирана собрались в доме Тальена. Опасность теснее сблизила всех. Все фракции отложили в сторону свои распри на время, чтобы объединиться наконец против ужасного человека, который устремился, давя их всех, к своему окровавленному трону. Среди них были храбрый Лекуэнтр, уже провозглашенный врагом Франции; раболепствующий Барер - герой толпы, который обычно пытался примирять все крайности; Баррас, спокойный и сдержанный; Колло д'Эрбуа, дышащий ненавистью и мщением и не видящий, что только одни преступления Робеспьера могут покрыть его собственные.

Собрание было бурное, но нерешительное, так как ужас, который вызывали постоянный успех и невероятная энергия Робеспьера, все еще довлел над умами большей части присутствующих. Тальен, которого тиран боялся больше всех и который один мог быть руководителем его врагов, сам был слишком подавлен воспоминаниями о своих жестокостях, чтобы не чувствовать смущения в своей новой роли - приверженца милосердия.

- Это правда, - сказал он после взволнованной речи Лекуэнтра, - узурпатор угрожает нам всем. Но толпа все еще любит его; якобинцы все еще поддерживают его. И лучше было бы отложить открытые враждебные действия, до тех пор пока не наступит более подходящий момент. Если мы сделаем попытку и потерпим неудачу, то это приведет нас, связанных по рукам и ногам, на гильотину. Но каждый день его власть должна убывать. Ожидание - наш лучший союзник.

В самый разгар совещания Тальену доложили, что какой-то незнакомец желает его видеть по делу, не терпящему отлагательства.

- У меня нет времени, - с нетерпением вскричал он.

Слуга подал ему записку. Тальен развернул ее и прочел написанные карандашом следующие слова: "Из тюрьмы от Терезы де Фонтенэ".

Он побледнел, встал и бросился в переднюю, где увидал совершенно незнакомую ему личность.

- Надежда Франции! - сказал незнакомец голосом, заставившим затрепетать сердце Тальена. - Ваш слуга арестован на улице. Я спас вашу жизнь и жизнь женщины, которая станет вашей женой. Я принес вам письмо Терезы де Фонтенэ.

Тальен дрожащими руками развернул письмо и прочел: "Неужели я должна опять напрасно умолять Вас? Еще раз повторяю Вам, не теряйте ни одного часа, если Вы дорожите Вашей и моей жизнью. Приговор и казнь состоятся через три дня, десятого термидора. Нанесите удар, пока еще есть время, поразите чудовище, Вам остается два дня. Если Вы будете колебаться, откладывать, то увидите меня в последний раз, когда я проеду перед Вашими окнами на эшафот".

- Суд над ней скомпрометирует вас, - сказал незнакомец, - ее смерть только ускорит вашу. Не бойтесь ничего со стороны народа: народ пытался освободить вашего слугу. Не бойтесь Робеспьера, он сам сдастся вам. Завтра он будет в Конвенте; завтра вам надо, рискуя своей головой, потребовать его голову.

- Он будет завтра в Конвенте? Кто же вы, знающий так хорошо то, чего я не знаю?

- Я человек, который хотел бы, как и вы, спасти любимую женщину.

И прежде чем Тальен пришел в себя от удивления, незнакомец исчез.

Тальен вернулся к своим сообщникам.

- Я получил известия, неважно от кого, которые меняют мои планы. Десятого термидора нас всех отправляют на гильотину. Я советовал вам ждать, - сказал он, - но теперь я беру свои слова назад. Робеспьер отправляется завтра в Конвент, там надо разбить и уничтожить его. С горы он увидит мрачную тень Дантона, из Долины - призраки Верньо и Кондорсе в кровавых саванах.

Было отмечено (и этот факт можно найти в некоторых мемуарах того времени), что в течение дня и ночи седьмого термидора какой-то человек, не принимавший участия в предыдущих бурных событиях, появлялся в разных концах города - в кофейнях, клубах, на собраниях различных фракций - и там, к удивлению и ужасу слушателей, громко говорил о преступлениях Робеспьера и предсказывал его неизбежное падение; его слова волновали сердца, рассеивая страх, и воспламеняли их негодованием и необычайной смелостью.

Но что было всего удивительнее - это то, что ни один голос не возражал ему, ни одна рука не поднялась против него, ни один приспешник тирана не вскричал: "Арестуйте изменника!"

Эта безнаказанность ясно говорила, что народ отвернулся от кровавого злодея. Один только раз смуглый якобинец с суровым лицом вскочил из-за стола, за которым он пил, и, подойдя к незнакомцу, сказал, положив ему руку на плечо:
- Именем Республики, я тебя арестую!
- Гражданин Аристид, - тихо сказал незнакомец, - пойди к Робеспьеру, его нет дома, и в левом кармане оставленного им камзола ты найдешь бумагу. Прочти ее и возвращайся назад. Я буду ждать тебя и, если ты и тогда захочешь меня арестовать, сдамся без сопротивления. Посмотри вокруг, на эти ожесточенные лица; если ты тронешь меня сейчас, тебя разорвут на куски.
Якобинец почувствовал, что какая-то сила против воли заставляет его повиноваться. Он ушел, ворча, а когда возвратился, то незнакомец все еще был в таверне.
- Благодарю, гражданин, - сказал он, сопровождая эту благодарность энергичным проклятием, - благодарю! В списке у негодяя значилось мое имя!
После этого якобинец Аристид вскочил на стол и закричал:
- Смерть тирану!

XI

Наступило утро восьмого термидора (двадцать шестого июля). Робеспьер отправился в Конвент, со своей вымученной, натянутой речью, полной фраз о филантропии и добродетелях, - он отправился туда, чтобы выбрать новую жертву. Все его агенты готовы были встретить его, свирепый Сен-Жюст приехал из армии, чтобы поддержать его мужество и воспламенить его гнев. Его зловещее появление вызвало кризисную ситуацию в собрании.
- Граждане! - раздался голос Робеспьера. - Другие рисовали льстивые картины, я пришел, чтобы сообщить вам полезные истины...

* * * *

- И они приписывают мне - мне одному! - все совершенные злодеяния. Это выгодно Робеспьеру! Все это дело рук Робеспьера! Стоит ввести новый налог, и они кричат, что Робеспьер разоряет их. Они называют меня тираном! Почему? Потому что я приобрел некоторое влияние. Но как? Потому что говорю правду. И кто утверждает, что правде, исходящей из уст представителей французского на- рода, не нужна сила? Нет никакого сомнения в том, что в правде есть своя власть, своя ярость, свой деспотизм, свои предпочтения и оттенки, трогательные или ужасные, которые терзают чистые сердца, как больную совесть, и которым Лицемерие способно подражать не более, чем Сальмонеус, силящийся изобразить небесный гром. Кто же такой я, которого они обвиняют? Раб свободы, живой мученик Республики, жертва ненависти к преступлению! Всякая грубость и насилие претят мне, а действия, законные для других, считаются преступлением, когда их совершаю я. Достаточно знать меня, чтобы быть оклеветанным. В самом моем усердии они видят вину. Отнимите у меня совесть, и я стану несчастнейшим из смертных.
Он замолчал, и Кутон вытер выступившие на глазах слезы. Сен-Жюст издал одобрительный возглас и суровым взглядом окинул мятежную Гору. В толпе воцарилась мертвая, скорбная и леденящая кровь тишина. Прочувствованная речь Робеспьера не вызвала отклика в сердцах его слушателей.
Оратор окинул взглядом собравшихся. Ну что ж! Сейчас он снимет с них эту апатию. Робеспьер продолжает; он больше не хвалит и не жалеет себя. Он обличает и обвиняет. Переполненный ядом, он извергает его на всех и вся - на внутреннее положение, на опасность извне, на состояние финансов в стране, на войну - на все! Его голос становится все резче и пронзительнее...
- Существует заговор против Свободы. Своей силой он обязан преступной коалиции, свившей себе гнездо на груди Конвента: его соучастники нашли себе приют в Комитете общественного спасения. Как избавиться от этого зла? Наказать изменников; провести чистку в Комитете; сокрушить все фракции с помощью власти народа; воздвигнуть на их руинах власть Свободы и Справедливости. Таковы основные принципы этой Реформы. Неужели открыто признавать их, заявлять о них - значит удовлетворять свои честолюбивые замыслы?! Или вы хотите отречься от этих принципов, чтобы среди нас царила тирания? Ради чего выступаете вы против человека, чья правота очевидна и ко- торый по крайней мере обладает знанием, знает, как умереть за отечество? Мне предопределено судьбой бороться с преступлением, а не возглавлять его. Увы, еще не наступило время, когда достойные люди смогут служить своей стране без всяких

опасений за свою жизнь. Пока страной правят мошенники, защитники свободы будут вне закона.

Целых два часа аудитория внимала с холодным равнодушием этому мрачному гимну смерти. В полной тишине он начался, в полной тишине завершился. Враги оратора побоялись высказывать свое недовольство. Пока еще они не знали, на чью сторону склонится чаша весов. Его сторонники боялись выражать свое одобрение; они еще не знали, кто из их друзей и родственников станет жертвой очередных обвинений. "Остерегись! - шептал один другому. - Его угрозы направлены на тебя". Но несмотря на враждебную тишину, поначалу аудитория выглядела вполне покорной. В этом ужасном человеке все еще чувствовалась власть всесокрушающей воли. Как всегда, хотя он и не был прирожденным оратором, его слова были наполнены решимостью и точно били в цель. В устах человека, кивком головы приводившего в движение отряды Анрио и оказывавшего влияние на самого Рене Дюма, сурового председателя трибунала, они приобретали особый вес. Внезапно поднявшийся с места Лекуэнтр из Версаля вызвал среди собравшихся чувство настороженной тревоги, так как был одним из самых яростных противников тирана. Каков же был ужас во фракции Тальена, какое удовлетворение в самодовольной улыбке Кутона, когда Лекуэнтр потребовал, чтобы речь оратора была напечатана! Казалось, всех охватил внезапный паралич. Наконец Бурдон де Луаз, чье имя было дважды отмечено в черном списке Диктатора, прошествовал к трибуне и предложил смелую контррезолюцию: речь должна быть передана тем двум Комитетам, против которых в ней были выдвинуты обвинения. И опять никакого одобрения со стороны заговорщиков: они сидели в напряженной неподвижности, как будто их заморозили. Трусоватый и всегда осторожный Барер, прежде чем встать, быстро оглядел собравшихся. Он поднимается и присоединяется к Лекуэнтру! Затем, воспользовавшись моментом, со своего места (привилегия, данная лишь одному человеколюбцу-паралитику) выступил Кутон и, используя достоинства своего мягкого, вкрадчивого голоса, попытался поражение обратить в триумф.

Он не только потребовал, чтобы речь была напечатана, но и предложил разослать ее по всем общинам и войскам. Необходимо было успокоить несправедливо оскорбленные и уязвленные сердца. Депутаты, наиболее верные сторонники Робеспьера, обвинялись в пролитии крови. "Ах! Если бы он был причастен к смерти хотя бы одного невинного человека, он стал бы жертвой невыносимых страданий". Какое благородство чувств! Все время, пока он говорил, Кутон ласкал пригревшегося на его груди спаниеля. Браво, Кутон! Робеспьер торжествует! Царство Террора продолжается! До боли знакомая покорность вновь воцаряется в собрании. Они голосуют за опубликование этого гимна Смерти и передачу его во все муниципалитеты страны. Со скамеек Горы Тальен, охваченный ужасом и тревогой, нетерпением и негодованием, кинул взгляд туда, где сидели незнакомцы, допущенные послушать дебаты. Внезапно он встретился глазами с Неизвестным, который днем раньше принес ему письмо от Терезы де Фонтенэ. Его взгляд зачаровал Тальена. Позднее он вспоминал, что выражение этих глаз, напряженных, серьезных, таящих в себе немой укор и одновременно веселых и ликующих, вдохнуло в него новую жизнь и мужество. Они взывали к его сердцу, подобно трубе, зовущей в строй боевого коня. Он то и дело вставал со своего места, подходил к своим союзникам и о чем-то шептался с ними. Он создавал вокруг себя какую-то заразительную атмосферу. Те, которых Робеспьер поносил с особенным усердием, кто уже видел меч, занесенный над их головами, пробуждались от сонного оцепенения. Вадье, Камбон, Билло-Варенн, Пани, Амар - все они разом вскочили со своих мест и потребовали слова. Первым взял слово Вадье, за ним последовали остальные. Гора взорвалась огневым вихрем и потоками все сокрушающей лавы. Прилив сменяется очередным стремительным приливом. Их целый легион, этих Цицеронов, набросившихся на изумленного Катилину! Робеспьер дрогнул, он колеблется, он готов на уступки, он отступает. Его неожиданный страх вселяет в них новое мужество. Они прерывают его, его голос тонет в их крике, они требуют нового голосования. И вновь Амар предлагает, чтобы речь была отправлена в Комитеты. В Комитеты! К его врагам! Суматоха, смятение, шум, гам! Лицо Робеспьера выражает молчаливое и высокомерное презрение. Побледневший, потерпевший поражение, но не поверженный, он сам подобен шторму в центре бури!

По залу пронеслось движение. Все увидели в этом поражении падение Диктатора. Кто-то крикнул с галерки, и крик был подхвачен, он перекинулся в залу - аудиторию: "Долой тирана! Да здравствует Республика!"

XII

Когда Робеспьер оставил залу и вышел на улицу, то его встретило зловещее молчание. Стадо везде на стороне победителей, и крысы бегут с тонущего корабля. Но Робеспьер,

которому недоставало храбрости, никогда не испытывал недостатка в гордости, и последняя часто заменяла ему первую. Он медленно прошел сквозь толпу, опираясь на руку Сен-Жюста и сопровождаемый Нейаном и его братом.

- Сколько голов должно пасть десятого? - отрывисто спросил он, когда они вышли на открытое пространство.

- Восемьдесят, - отвечал Пэйян.

- Мы не должны ждать: один день может погубить империю. Террор должен еще раз послужить нам.

Он на несколько минут задумался, с беспокойством оглядывая улицу.

- Сен-Жюст, - сказал он наконец, - ты знаешь, что англичанин, показания которого и суд над которым должны были раздавить Тальенов и Амаров, не найден. Нет! Нет! Мои якобинцы становятся слепы и глупы. Но они схватили женщину - только женщину!

- Рука женщины убила Марата, - заметил Сен-Жюст. Робеспьер внезапно остановился, тяжело дыша.

- Сен-Жюст, - сказал он, - когда минет эта опасность, мы создадим Царство Мира. В нем будут дома и сады для престарелых. Давид уже проектирует портики. Будут назначены добродетельные наставники, чтобы воспитывать молодежь. Впрочем, порок и беспорядок не будут уничтожены - нет, нет! Они будут изгнаны, объявлены вне закона. Нам рано еще умирать. Потомство не может судить нас, пока наша работа еще не окончена. Мы вернулись к поклонению Верховному Существу. Мы должны переделать этот развращенный мир! Все отношения должны стать любовью и братством... и... Симон! Симон! Подожди! Дай карандаш, Сен-Жюст!

Взяв его, он поспешно написал несколько строк.

- Отнеси это гражданину Дюма. Иди скорее, Симон. Эти восемьдесят голов должны пасть завтра. Дюма ускорит суд на один день. Я напишу Фукье-Тенвилю, общественному обвинителю. Мы встретимся у якобинцев вечером, Симон. Там мы обвиним и разоблачим сам Конвент. Там мы сплотим вокруг нас последних друзей Свободы и Франции.

Позади на некотором расстоянии раздались возгласы: "Да здравствует Республика!"

Глаза тирана мстительно сверкнули.

- Республика! Тьфу! Разве мы разрушали тысячелетний трон ради этих каналий!

Итак, суд и казнь были ускорены на один день. С помощью сверхчувственных существ, которые до сих пор направляли и поддерживали его, Занони понял, что все его усилия были напрасны. Он знал, что Виола была бы спасена, если бы хоть одним часом пережила тирана. Он знал, что часы Робеспьера сочтены, что десятого термидора, день, назначенный им для расправы над его последними жертвами, будет днем его собственной казни. Все усилия Занони были направлены к свержению палача и его кровавого царства. И каков же был результат? Одно слово тирана перечеркнуло все его старания. Казнь Виолы была назначена днем раньше. Беспомощный наблюдатель, который желал сделать из себя орудие Провидения! Опасности, обступившие теперь тирана, только ускоряют гибель его жертв! Завтра! Восемьдесят голов, и голова той, которая покоилась на его груди! Завтра! И Максимилиан жив сегодня вечером!

XIII

Завтра! Однако уже наступают сумерки. Одна за другой на небе тихо разгораются звезды. Безмятежно текущая Сена посылает последний поцелуй догорающему дню, а в темной голубизне неба все еще мерцает шпиль собора Парижской богоматери.

У Заставы Трона мрачно темнеет гильотина. Поверните к этому старому зданию, что когда-то было церковью и монастырем доминиканцев, уже тогда называемых якобинцами. Теперь здесь клуб новых якобинцев. Здесь, в этом узком и длинном зале, некогда служившем библиотекой для мирных монахов, собираются поклонники святого Робеспьера. На двух громадных трибунах, возведенных в обоих концах зала, собрались самые ужасные отбросы общества, а большая часть аудитории представляет собой свирепых фурий гильотины (furies de guillotine). В центре зала бюро и кресло председателя. Это кресло было сохранено благочестивыми монахами как память о святом Фоме Аквинском! Над ним мрачно высится суровый бюст Брута. Железная лампа с двумя подсвечниками бросает на просторную комнату свой тусклый свет, в лучах которого хмурые лица собравшихся кажутся особенно суровыми и изможденными. С ораторской трибуны доносится гневный и пронзительный голос Робеспьера.

Тем временем в Комитете его врагов царит полный хаос, смятение и беспорядок. В нем не чувствуется ни настоящей решимости, ни настоящего мужества. Все в состоянии неопределенности. Улицы и дома полны слухов. Низко над землей проносятся ласточки, жмется друг к другу скотина. Все предвещает шторм. И в этот ранний час над всем этим

ревом испуганных жизней в полном одиночестве в своей комнате стоял тот, на фоне звездной юности которого бесследно проносились облака сменяющих друг друга веков.

Все действия, которые могли быть подсказаны Занони человеческим разумом и мужеством, не принесли результатов. Подобные усилия обычно обречены на неудачу там, где разыгрываются сатурналии смерти и человеческая жизнь не имеет никакой цены. Только падение Робеспьера могло спасти его жертвы, но теперь оно запаздывало и могло послужить только мести.

Тогда последним отчаянным усилием Занони снова погрузился в тишину и одиночество, чтобы вызвать таинственных посредников между землею и небом, которые отказывались служить духу, связанному земными узами с судьбой простых смертных. В его страданиях, в упорном желании его сердца заключалось, может быть, могущество, которое он еще не использовал. Ибо кто же не ведает, что острота предельного страдания и горя разрывает и уничтожает крепчайшие оковы немощи, нерешительности, слабости и сомнения, которые замыкают души людей в темнице текущего часа? Кто же не знает, что из туч и бури часто внезапно слетает к нам Олимпийский, Зевесов орел, который может вознести нас в выси?

Призыв Занони был услышан, пелена чувств упала с его ясновидящего разума. Он всмотрелся и увидел... нет, не то существо, которое он вызывал, - не сверкающее создание с ясной, спокойной улыбкой, его дорогого Адон-Аи, сына славы и звезды, но... дурное предзнаменование, мрачную химеру, беспощадного врага, адский взгляд которого был исполнен торжествующей ненависти. Призрак не удалялся более, не уползал во мрак, но возвышался перед ним во весь свой гигантский рост - его лицо, покрывала с которого не приподымала ни одна человеческая рука, было все еще скрыто, но фигура вырисовывалась более отчетливо и распространяла вокруг себя атмосферу ужаса, ярости и страха. Его дыхание, само его присутствие, словно айсберг, леденило воздух, как черная туча заполнил он комнату и затмил собой звезды, глядевшие в окно.

- И вот, - заговорил он, - я снова возвратился. Ты отнял у меня более скромную жертву, теперь попробуй освободить себя от моей власти. Твоя жизнь оставила тебя, чтобы жить в сердце смертной жертвы могильных червей. В этой жизни я буду неумолимо и безжалостно преследовать тебя. Ты снова вернулся к Порогу духовного мира, ты, чей путь пролегал по грани Бесконечности. И как домовой из сказки завладевает сознанием ребенка в темноте, так я теперь, о могучий, покоривший Смерть, завладеваю тобой. Теперь ты в моей власти.

- Раб! Назад в свои оковы, в свое рабство! Если ты явился на мой голос, который звал не тебя, то явился не для того, чтобы приказывать, а чтобы повиноваться. Ты, которому я обязан жизнями, более драгоценными, чем моя, ты обязан повиноваться душе, более могущественной, чем твоя злоба. И я приказываю тебе снова служить мне и повторить тайну, которая может спасти жизни, что ты обещал мне, с разрешения Творца Вселенной, удержать еще некоторое время на земле.

Страшный блеск глаз Призрака сделался еще сильнее, он выпрямился во весь свой исполинский рост, презрительная и беспощадная ненависть зазвучала в его голосе:

- Неужели ты надеялся, что мой дар может быть для тебя чем-нибудь иным, кроме проклятия? О, для тебя было бы счастьем оплакивать утраты, которые приносит сама благодетельная природа, если бы ты никогда не знал, какой ореол святости дарует красоте материнство, если бы ты никогда не испытал, склоняясь над твоим первенцем, сладость отчей любви! Они спасены, но для чего? Мать - для позорной насильственной смерти, для того, чтобы палач перерубил ее шею, которую ты столько раз целовал. Ребенок - твой первый и последний отпрыск, через которого ты надеялся основать расу, предназначенную слушать вместе с тобой гармонию небесных сфер и плыть рядом с твоим Адон-Аи по лазурным рекам радости, - ребенок спасен лишь для того, чтобы просуществовать несколько дней, как гриб в склепе, и умереть в мрачной темнице жертвою жестокости, забвения и голода. Ха, ха! Ты, который презирал смерть! Узнай, как умирают бессмертные, когда полюбят то, что смертно. Вот каковы мои дары, халдей. А теперь я овладеваю тобой, я окружаю тебя моим зловещим присутствием, теперь и всегда, до конца твоего длинного пути, мои глаза будут проникать в твой мозг, мои руки будут держать тебя, когда ты захочешь подняться.

- Нет, говорю я тебе, и еще раз повторяю, что ты должен отвечать, как раб господину. Моя наука изменила мне, это правда, но я знаю, что жизнь, о которой я вопрошаю, еще может быть вырвана из рук палача. Я вижу, ее будущее скрыто во мраке твоей тени, но ты не в состоянии изменить его. Ты можешь указать лекарство, но не можешь сделать ада. Я требую у тебя тайны, раскрытие которой для тебя пытка. Я без страха гляжу тебе в глаза. Душа, которая любит, имеет право на все. Отвратительный Призрак, я презираю тебя и требую повиновения.

Призрак потускнел и отступил: как туман рассеивается под лучами солнца, так и Призрак съежился до размеров карлика, и в окно снова проник свет звезд.

- Да, - раздался его глухой, замогильный голос, - ты можешь спасти ее от палача, ибо закон гласит, что жертва спасает. Ха, ха!

И Призрак снова стал громадным, а его злобный смех зазвучал еще громче, как будто, на минуту побежденный, он снова обрел прежнюю силу.

- Ха, ха! Ты можешь спасти ее жизнь, если захочешь пожертвовать своей. Так вот для чего ты жил столько веков, когда на твоих глазах разрушались целые империи и поколение проходило за поколением! Смерть наконец похитит тебя! Ты хочешь спасти ее? Умри для нее. Умри, для того чтобы трава под твоими ногами несколько лишних часов наслаждалась светом солнца! Ты не отвечаешь? Ты готов на эту жертву? Посмотри, день близится! О, прекрасный и мудрый, станешь ли ты просить ее улыбаться завтра, когда она увидит твой обезглавленный труп?

- Прочь отсюда, мерзкая тварь! Душа моя, отвечая тебе из тех сфер, куда ты не можешь за нею следовать, снова нашла того, кого она жаждет видеть, и я слышу музыку крыльев Адон-Аи, рассекающих воздух.

Едва сказал он это, как Призрак с пронзительным криком ярости и ненависти исчез, а в комнату вдруг проник серебристый, чудный свет.

В ту минуту, как небесный посетитель появился в сверкающем ореоле и взглянул на Теурга с невыразимой любовью и нежностью, все пространство, казалось, осветилось его улыбкой. Начиная от комнаты, в которую он спустился, и до самой отдаленной звезды свода, его полет, казалось, оставил за собою длинный серебристый след, точно отблеск луны в воде. Как цветок испускает благоухание, так эманацией этого существа была радость. Через далекие миры, в миллион раз быстрее света или электричества, сын Славы направил свой полет к тому, кого любил, и его крылья несли с собой отдохновение и отраду, как утро приносит с собой росу. В это короткое мгновение нищета перестала печалиться, болезнь оставила свою жертву и надежда исполнилась небесной мечтой во тьме отчаяния.

- Ты прав, - сказал мелодический голос. - Твое мужество возвратило тебе могущество. Твоя душа снова привлекает меня к тебе. Теперь, когда ты познаешь Смерть, ты становишься еще мудрее, чем когда твой свободный дух познавал священную тайну Жизни. Человеческие привязанности, которые долго связывали тебя, в эти последние часы твоего смертного существования даруют тебе божественное преимущество твоей расы: бессмертие, которое начинается за могилой.

- О, Адон-Аи! - отвечал халдеянин, весь осиянный светом Присутствующего, в то время как красота более лучезарная, чем человеческая, осенила все его существо, так что, казалось, он уже принадлежал той Вечности, о которой говорил Блистательный. - Человек, умирая, видит и понимает смысл тайн, скрытый от него до сих пор, так и в этот час, когда жертва, приносимая мною, оканчивает длинный ряд моих веков, приводя их к завершению, я вижу ничтожество жизни в сравнении с величием смерти, но, Божественный Утешитель, даже здесь, даже в твоем присутствии, привязанности, вдохновляющие меня, делают меня печальным. Оставить одних в этом страшном мире, без помощи и покровительства, тех, для которых я умираю, - жену и ребенка! О! Утешь меня, успокой меня!

- Как! - возразило небесное создание тоном легкого упрека и божественного сострадания. - Как! При всей твоей мудрости и знании тайн, похищенных у звезд, со всем твоим знанием прошедшего и видениями будущего, что ты значишь в сравнении с Тем, Кто всем управляет, Кто все знает? Неужели ты думаешь, что твое присутствие на земле может дать сердцу, любимому тобою, убежище, которое самые низшие существа находят у Небесного Отца! Не бойся за их будущность. Умрешь ты или нет, их будущее в руках Создателя. На того, кто в тюрьме и на эшафоте, всегда обращен взор Того, Кто любит сильнее тебя, Кто руководит мудрее тебя, Кто более могуществен, чем ты, чтобы спасти души!

Занони склонил голову, а когда поднял ее, то последняя тень исчезла с его лба. Собеседника уже не было, но его присутствие, казалось, до сих пор ощущалось в комнате, даже воздух как будто трепетал от счастья. И так всегда будет с теми, кого посетит ангел веры, когда они отторгают все узы, связывавшие их с жизнью. Пустыня и пространство хранят их величие и славу, которые сияют нимбом вокруг их могил.

XIV

Занони все еще стоял на высоком балконе, с которого виден был спящий город. Вдали самые разрушительные страсти плели сети злостной борьбы и смерти, но все, что открылось его взору, было тихо и спокойно под лучами луны, так как душа его была

далеко от бренных забот человека. Ясная и величественная красота творения предстала его взору. Так стоял он, одинокий и задумчивый, навсегда прощаясь с удивительной и чудесной жизнью, которую он узнал. Дух его, пробегая пространство, прозревал воздушные образы и формы, чьи игры и радости он так часто разделял. И там, в звездной тишине, кружились группами эти существа, такие разные в своей невообразимой красоте, вкушая капли амброзии и ясный и тихий свет. В его экстазе вся вселенная сделалась ему видима: в зеленеющих долинах он видел танцы фей, в глубине гор он видел существ, которые дышат огненными парами вулканов и скрываются от небесного света; на каждом листке, в каждой капле воды ему виделись целые миры, кишащие живыми существами; а высоко, в далекой голубизне неба, он прозревал, как формировались новые небесные светила и планеты, рождаясь из огненного ядра, начинали свой бег, свой день, длящийся тысячелетия. Дух Создателя парил надо всем и повсюду вдыхал жизнь. Наконец вдали одинокий человек заметил своего брата-мага. Там, среди развалин Древнего Рима, за работой, со своими цифрами и каббалой, невозмутимый и спокойный, сидел в своей келье мистик Мейнур. Он живет, пока существуют миры, безразличный к тому, что приносит его знание - счастье или горе, благо или зло, - механическое орудие той любящей и мудрой Воли, которая направляет каждую энергию, каждое начало к их непостижимым, загадочным целям. Он продолжает жить, как и наука, которая интересуется только знанием, и не задумывается над тем, может ли знание принести счастье, и как человеческий Прогресс, проносясь сквозь цивилизацию, давит на своем пути всех, кто не смог ухватиться за его колесницу, - так вечно со своей каббалой и цифрами живет он, чтобы менять с помощью своих бескровных деяний лик обитаемого мира.

- Итак, прощай, жизнь! - прошептал чудесный ясновидец. - Ты была сладостной для меня. Как глубоки были твои радости! Как восторженно моя душа стремилась ввысь! Как велико счастье жить для того, кто постоянно возрождает свою молодость в чистых источниках природы! Прощайте, небесные лампады, прощайте, бесчисленные существа, населяющие воздух! Каждая пылинка в луче света, каждая травинка в горах, каждый камень на берегу, каждое семя, занесенное в пустыню, - все они помогают добыть знание, которое стремится найти во всем истинный принцип жизни, Прекрасное, Радостное и Бессмертное. Другие имели своим жилищем страну, город, дом - мое жилище было всюду, куда мог проникнуть ум, всюду, где может дышать дух.

Он замолчал, и чрез неизмеримое пространство его взгляд проник в мрачную темницу, где находился его ребенок. Он увидел его спящего на руках его бледной матери, и его душа заговорила с ним:

"Прости меня, если мое желание было греховно. Я мечтал возвысить и воспитать тебя для божественной судьбы, которую я только мог узреть в своих видениях. По мере того как твой смертный, телесный состав укреплялся бы против болезней, я желал очистить твой духовный состав от всякого греха, хотел показать тебе в экстазе жизнь и деяния высших Иерархий, образовав из твоих возвышенных чувств и стремлений чистую и бессмертную связь между твоей матерью и мною... Это была мечта - мечта, и ничто более... На краю могилы я понял наконец, что истинное посвящение в святость и мудрость происходит за могилой... За нею я жду вас обоих, мои возлюбленные!"

Склонясь над своими вычислениями, один в своей уединенной келье среди развалин Рима, Мейнур вздрогнул, поднял глаза и почувствовал, что дух далекого друга обращается к нему:

"И с тобою также прощаюсь я на этой земле! Твой последний товарищ оставляет тебя. Твоя старость переживет всякую молодость, и Последний День найдет тебя размышляющим над нашими могилами. Я по собственной воле схожу в страну мрака. Но новые солнца и планетные системы воспламенятся и засияют, когда мы сойдем в могилу. Я иду туда, где души тех, кому я пожертвовал моей смертной оболочкой, будут моими товарищами в вечной юности. Наконец я понял, в чем истинное испытание и истинная победа. Мейнур, брось твой эликсир и сложи с себя тяжесть лет! Повсюду, где может странствовать твоя душа, Вечная душа всего сущего будет покровительствовать тебе".

XV

Была уже поздняя ночь, когда Рене-Франсуа Дюма, председатель Революционного Трибунала, вошел в свой кабинет, возвратившись из клуба якобинцев. С ним было два человека, один из которых, можно сказать, представлял мораль, а другой - физическую силу Царства Террора. Фукье-Тэнвиль, общественный обвинитель, и Франсуа Анрио, генерал парижской Национальной гвардии. Этот ужасный триумвират собрался обсудить предстоящее судебное заседание, которое должно было состояться на следующий день. Даже три шекспировские ведьмы в их ворожбе над адским котлом были бы не так

воодушевлены присутствием еще более дьявольского духа, чем они, и с меньшим ликованием замышляли бы свои гнусные дела, чем эти три героя революции, обсуждавшие планы завтрашней запланированной резни.

Дюма мало изменился внешне с тех пор, как в предыдущих главах мы представили его читателю, разве что его манеры приобрели черты некоторой резкости и большей суровости, а взгляд стал еще более беспокойным. Но рядом со своими сообщниками он казался неким высшим существом. Рене Дюма, сын почтенных родителей, получивший хорошее образование, несмотря на всю свою свирепость, не был лишен некоей утонченности, которая, возможно, тем более привлекала педантичного и строгого пуританина Робеспьера. В противоположность ему Анрио был по натуре лакеем, а по призванию вором и полицейским шпионом. Он поистине выпил всю кровь из мадам де Ламбалль и обязан был своим теперешним положением лишь беспардонной грубости. Фукье-Тэнвиль, сын провинциального земледельца, впоследствии чиновник Полицейского Управления, немногим уступал в низости Анрио и в то же время, благодаря своему отвратительному шутовству, был еще более омерзителен своими манерами и речью. Благодаря своей бычьей голове, черным прилизанным волосам, низкому мертвенно-бледному лбу и маленьким злобным глазкам, всей своей коренастой плебейской фигуре он выглядел тем, кем и был на самом деле, - наглым служителем жестокого и беззаконного судопроизводства.

Дюма обрезал фитили у свечей и склонился над списком завтрашних жертв.

- Довольно длинный перечень, - сказал Председатель. - Восемьдесят заседаний в один день! Приказ Робеспьера отправить в лучший мир всю эту компанию не оставляет места сомнению.

- Разумеется, - хрипло расхохотался Фукье, - мы должны судить их скопом. Я знаю, как уладить дело с присяжными. Я думаю, граждане, вы не сомневаетесь в преступлении обвиняемых? Ха-ха! Чем длиннее список, тем меньше работы.

- О да! - прорычал, выругавшись, Анрио. Как обычно навеселе, он покачивался на стуле, положив ноги, обутые в сапоги со шпорами, на стол. - Маленький Тэнвиль как нельзя лучше подходит для этой работы.

- Гражданин Анрио, - сказал с мрачной серьезностью Дюма, - позволь мне предложить тебе выбрать другую скамейку для ног. К тому же позволь мне предупредить тебя, что завтра - критический и очень важный день, который решит судьбу Франции.

- Фигу нашей маленькой Франции! Да здравствует добродетельный Робеспьер, столп Республики! Черт побери всю эту болтовню. От этой работы у меня пересохло в глотке. Не найдется ли в твоем шкафу немного горячительного?

Во взгляде, которым обменялись Дюма и Фукье, промелькнуло отвращение. Дюма пожал плечами и сказал:

- Я пригласил тебя сюда специально, гражданин генерал Анрио, чтобы оградить от пагубного пристрастия к крепким напиткам. Слушай, если все еще в состоянии!

- Болтай, болтай! Твое ремесло - болтать, мое - сражаться и пить.

- В таком случае я скажу тебе, что завтра все население выйдет на улицы. Все фракции будут активно действовать. Они даже могут попытаться задержать наши двуколки по пути на гильотину. Твои люди должны быть вооружены и находиться в полной готовности. Очисти все улицы, расправляйся беспощадно с теми, кто попытается встать у нас на пути.

- Ясно, - сказал Анрио и так громко звякнул своей шпагой, что Дюма невольно вздрогнул. - Черный Анрио будет беспощаден.

- Смотри же, гражданин! Смотри же, - добавил Дюма, грозно нахмурившись, - держись подальше от вина, чтобы удержать свою голову на плечах.

- Моя голова! Разрази меня гром! Ты смеешь угрожать генералу армии Парижа?

Дюма, такой же надменный педант, как и Робеспьер, собирался было ответить, когда более хитроумный и вкрадчивый Тэнвиль взял его за руку и, повернувшись к генералу, сказал:

- Мой дорогой Анрио, твой неукротимый республиканизм, всегда готовый ответить оскорблением на оскорбление, должен научиться выслушивать замечания от представителя Закона Республики. В самом деле, мой дорогой, ты должен оставаться трезвым в течение ближайших трех-четырех дней. Когда кризис минует, мы разопьем с тобой бутылочку вместе. Полно, Дюма, умерь свою суровость и пожми руку нашему другу. Между нами не должно быть ссор!

Дюма, поколебавшись, протянул наконец свою руку, которую грубый солдафон с готовностью пожал. Глаза его наполнились слезами умиления, сменившими недавнюю свирепость. Сквозь бурные всхлипывания с трудом прорывались уверения в дружбе и обещание сохранить трезвость.

- Ну что ж, мы полагаемся на тебя, мой генерал! - сказал Дюма. - А теперь, так как завтра нам всем понадобятся силы, пойдем по домам и как следует выспимся.
- Да, я прощаю тебя, Дюма, я прощаю тебя. Я не злопамятен. Я! Однако, если кто-то угрожает мне, если меня оскорбляют... - Внезапно его настроение переменилось, и опять в его наполненных слезами глазах загорелся зловещий огонь. С трудом удалось Фукье успокоить грубияна и вывести его из комнаты. Но, подобно хищнику, чья добыча ускользнула, Анрио все никак не мог успокоиться и сердито ворчал, грохоча сапогами по лестнице. В ожидании Анрио высокий кавалерист, сидя верхом, прогуливал его коня по прилегающей улице. Пока генерал ждал у крыльца приставленного к нему верхового, к нему бросился стоявший у стены незнакомец.
- Генерал Анрио, я хотел говорить с тобою. После Робеспьера ты самый могущественный человек во Франции или должен быть таковым.
- Гм! Да, я должен быть. Что же дальше? Не всякий имеет то, что заслужил!
- Тсс! - сказал незнакомец. - Того, что ты получаешь, едва хватает на твои нужды.
- Это правда.
- Даже во время революции надо думать о своих доходах.
- Черт возьми! Объяснитесь, гражданин.
- У меня здесь тысяча золотых. Они твои, если ты окажешь мне небольшую услугу.
- Гражданин, я обещаю тебе ее! - с величественным жестом сказал Анрио. - Ты хочешь, чтобы донесли на какого-нибудь негодяя, оскорбившего тебя?
- Нет, просто напиши следующие слова президенту Дюма:
"Прими подателя этих строк и, если можешь, исполни его просьбу. Этим ты бесконечно обяжешь Франсуа Анрио".
Говоря таким образом, незнакомец дал в руки Анрио карандаш и бумагу.
- А золото, где оно?
- Вот!
Анрио не без труда написал продиктованные ему слова, схватил золото, вскочил на лошадь и исчез.
Тем временем Фукье, закрыв дверь за Анрио, накинулся на Тэнвиля:
- Разве не безумие с твоей стороны распалять этого головореза? Разве ты не знаешь, что наши законы ничто без Национальной гвардии? А ведь не кто иной, как он, возглавляет ее!
- Я знаю лишь то, что Робеспьер сделал глупость, поставив во главе ее этого пьяницу. Попомни мои слова, Фукье. Если нам придется вступить в схватку, то именно неспособность и трусость этого человека погубят нас. И тогда ты сам станешь обвинять своего любимого Робеспьера, а его падение будет означать и твою смерть.
- И несмотря на это, мы должны ладить с Анрио, до тех пор пока не подвернется возможность схватить и обезглавить его. Для собственной безопасности мы должны подлаживаться к тем, кто пока еще обладает властью. Чем больше мы будем лебезить перед ними теперь, тем страшнее будет их участь, когда мы их низложим. Не думай, что Анрио, проснувшись завтра, забудет твои угрозы. Он самый злопамятный из смертных. Завтра утром ты должен сделать что-нибудь, чтобы успокоить его!
- Верно, - согласился Дюма. - Я был слишком неосмотрителен. А теперь, я думаю, у нас нет больше никаких дел, так как мы согласовали все, что касается наших завтрашних забот. Я вижу в списке мошенника, которого давно отметил для себя, хотя его преступление обеспечило мне целое состояние, - Нико, этот эбертист!
- А молодой Андре Шенье, поэт? Да, совсем забыл. Это его мы обезглавили сегодня! Революционная добродетель торжествует. Его собственный брат отрекся от него!
- Здесь есть еще иностранка - итальянка. Но не могу найти предъявленных ей обвинений.
- Все равно мы должны казнить ее, для круглого счета. Восемьдесят звучит лучше, чем семьдесят девять!
Тут судебный исполнитель принес записку с просьбой Анрио.
- Ага! Прекрасно, - сказал Тэнвиль, схватив брошенный ему Дюма свернутый в трубку лист со списком приговоренных. - Не отказывай никому в последней молитве; по крайней мере, это не уменьшит наш поминальный список. Но я должен отдать справедливость Анрио и сказать, что он никогда, не просит уменьшить, а, напротив, всегда требует увеличить число включенных сюда врагов. Покойной ночи! Я очень устал. Мой эскорт ждет внизу. Только так я могу осмелиться выйти на улицу среди ночи. Фукье громко зевнул и покинул комнату.
- Пусть проситель войдет, - сказал Дюма. Он выглядел увядшим и высохшим, точно практикующий адвокат. Незнакомец вошел.

- Рене-Франсуа Дюма, - сказал он, садясь напротив президента и нарочно говоря на "вы", как бы с презрением к революционному жаргону, - я не уверен, можете ли вы из-за волнений и трудов последних лет вспомнить, что мы уже встречались.

Судья пристально взглянул на посетителя и слегка покраснел.

- Да, гражданин, я это помню.

- А помните ли вы также мои тогдашние слова? Вы говорили о своем отвращении к смертной казни, вы радовались приближению революции, которая положит конец кровавым расправам. Вы почтительно цитировали высказывание Максимилиана Робеспьера, уже тогда известного государственного деятеля, о том, что палач - это изобретение тирана. И тогда же я сказал вам, что предчувствую, что мы еще встретимся, когда ваши идеи о смертной казни и ваша философия революции сильно изменятся! Был ли я прав, гражданин Дюма, президент революционного суда?

- Но... - возразил Дюма не без некоторого замешательства, - я говорил тогда, как говорят, пока не знают дела на практике. Однако оставим это. Я припоминаю также, что ты спас жизнь одного моего родственника, и, может быть, тебе приятно будет узнать, что его убийца будет завтра казнен.

- Это касается вас - вашего правосудия или вашего мщения. Позвольте же и мне напомнить вам ваше обещание. Вы сказали тогда, что если мне когда-нибудь понадобятся ваши услуги, то ваша жизнь в моем распоряжении. Не думайте, суровый судья, что я хочу злоупотребить вашим обещанием. Я просто пришел просить у вас один день отсрочки для другого.

- Это невозможно, гражданин! По приказанию Робеспьера завтра будут судить всех означенных на моем листе, и ни одним меньше. Что же касается приговора, то он зависит от присяжных.

- Я не прошу уменьшать это число. Выслушайте меня! В вашем листе есть имя одной итальянки, чьи молодость, красота и невиновность не только в каком-либо преступлении, но даже во всем, что может подать только повод к обвинению, возбудят к ней одно сострадание. Вы сами, гражданин Дюма, не могли бы без трепета осудить ее. Было бы опасно в такой день, когда народ будет возбужден, когда повозки с приговоренными могут быть остановлены, было бы опасно, если бы ее красота и невинность вызвали сострадание и бунт взволнованной толпы.

Дюма поднял глаза и быстро опустил их под взглядом иностранца.

- Я не говорю, гражданин, что твои слова лишены доли истины. Но я получил определенные приказания.

- Определенные только относительно количества жертв. Для этой я вам предлагаю замену. Я предлагаю голову человека, знающего все подробности заговора, который угрожает в настоящую минуту Робеспьеру и вам самому, и вы были бы рады узнать эту тайну в обмен на все восемьдесят голов.

- Это меняет дело, - поспешно сказал Дюма. - Если ты можешь это сделать, то я своей властью отложу суд над итальянкой. Теперь назови, кто заменит ее.

- Вы видите его перед собою!

- Ты! - вскричал Дюма, и невольное опасение выразилось в его возгласе. - Ты! И ты пришел ко мне один, ночью, выдать себя правосудию! Это ловушка. Трепещи, безумец! Ты в моей власти, вы оба в моей власти!

- Возможно, - со спокойным презрением отвечал незнакомец, - но моя жизнь для вас бесполезна без моих признаний. Оставайтесь на месте, я вам приказываю, и слушайте меня!

Блеск его глаз вселил страх в сердце судьи.

- Вы отправите меня в Консьержери {Парижская тюрьма.} и прикажете судить меня в завтрашней партии приговоренных под именем Занони. Если мои слова на суде не удовлетворят вас, то в вашей власти останется женщина, которую я хочу спасти. Я прошу для нее только отсрочки на один день. Послезавтра я буду прах, и вы сможете отомстить мне, лишив жизни ту, которая остается в вашей власти. Решайтесь же, судья и обвинитель тысяч, вы колеблетесь? Неужели вы думаете, что тот, кто добровольно идет на смерть, дрогнет пред вашим судом и скажет хоть одно слово против своей воли? Неужели ваш опыт не научил вас, что гордость и мужество непоколебимы? Вот перо и чернила. Пошлите тюремщику записку с отсрочкой на один день для женщины, смерть которой не имеет для вас никакого смысла, и я сам отнесу это приказание в тюрьму и отдам себя в руки тюремщика. А в подтверждение того, что я могу открыть, я говорю вам, что ваше имя значится в списке приговоренных. Я могу сказать вам, чья рука вписала его туда, я могу сказать, откуда вы должны ждать опасности, я могу сказать вам, откуда грянет гром на Робеспьера и его царство.

Дюма побледнел, он напрасно старался освободиться от гипнотизирующего взгляда незнакомца и машинально, как бы под влиянием чужой воли, написал под диктовку иностранца.

- Ну, - сказал он с принужденной улыбкой, - я обещал быть тебе полезным и, видишь, держу свое слово. Я вижу, что ты принадлежишь к чувствительным глупцам, к проповедникам антиреволюционной добродетели, каких я нередко видел у себя в суде. Мне надоело видеть тех, кто добродетелен из отсутствия патриотизма и идет на верную гибель, чтобы спасти какого-нибудь плохого патриота только на том основании, что это их сын, отец, жена или дочь.

- Да, я принадлежу к числу этих чувствительных глупцов, - сказал, вставая, посетитель. - Вы угадали.

- Но не хочешь ли ты, в обмен на мою услугу, сделать сегодня вечером те признания, которые ты собираешься сделать завтра, и тогда, может быть, ты и женщина, которую ты хочешь спасти, получите не отсрочку, но прощение.

- Я буду говорить только перед судом. Впрочем, я не хочу вас обманывать, Председатель, очень может быть, что мои признания не послужат вам ни к чему и в ту минуту, как я укажу вам тучу, гром уже грянет.

- Подумай о себе, несчастный пророк! Ступай, безумец. Я слишком хорошо знаю упрямство людей твоего сорта, чтобы терять даром слова. Мы теперь так привыкли видеть смерть, что забываем уважение, которое должны были бы чувствовать к ней. Так как ты предложил мне свою голову, то я принимаю ее. Завтра ты, может быть, раскаешься, но будет уже поздно.

- Да, слишком поздно, - повторил его невозмутимый собеседник.

- Но не забывай, что я обещал не прощение, а однодневную отсрочку для этой женщины. Она будет жить или умрет в зависимости от того, буду ли я тобой доволен завтра. Я говорю откровенно, гражданин, и твоя тень, надеюсь, не придет упрекать меня за обман.

- Я просил только один день, остальное я предоставляю правосудию и Небу.

XVI

Виола была в тюрьме, в тюрьме, которая открывалась лишь для тех, кто был приговорен еще до суда. Со времени разлуки с Занони ее разум был, казалось, парализован.

Все богатство фантазии, которое было если не плодами гения, то его цветами; весь этот поток изысканных мыслей, который, по словам Занони, покорял его своими таинственными и тончайшими оттенками, всегда новыми даже для него, умудренного в знании, - все это прошло, сгинуло: цветы увяли, фонтан иссяк. Вдохновение исчезло вместе с вдохновителем; отказавшись от своей любви, она потеряла и свой гений.

Виола едва понимала, почему ее оторвали от привычной домашней жизни. Она едва понимала, чего хотели от нее эти люди, которые, пораженные ее редкой красотой, собрались вокруг нее в тюрьме с печальным видом, но со словами сострадания и утешения. Она, которую учили страшиться тех, кого осуждало правосудие, удивлялась, что эти сострадательные, сердечные люди с такой благородной наружностью могли быть преступниками, для которых не нашлось меньшего наказания, чем смерть.

Но другие, дикари, с угрожающими, мрачными, исхудалыми лицами! Те, которые выволакивали ее из дома; которые пытались вырвать из ее рук ребенка, когда она крепко прижала его к груди, и которые презрительно смеялись, видя ее дрожащие губы, - это ведь были избранные граждане, добродетельные люди, любимцы властей предержащих, исполнители закона! Вот каковы твои страшные причуды, вечно изменчивый, клеветнический человеческий суд!

В те дни здания тюрем, несмотря на всю свою убогость, представляли собой все же довольно яркую картину. В них, как в могилу, были с одинаковой небрежностью брошены люди самого разного общественного положения. И все же там почтительное благоговение, всегда сопутствующее великим чувствам, восстановило в правах самый главный и неистребимый, самый прекрасный и благородный закон Природы - НЕРАВЕНСТВО МЕЖДУ ОДНИМ И ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ! Там узники, роялисты, равно как и санкюлоты, смиренно уступали место Возрасту, Знанию, Славе и Красоте; там Сила, с присущим ей врожденным благородством, возносила на пьедестал беспомощных и слабых. Стальные мускулы и атлетические плечи Геркулеса уступали место женщине и ребенку, и благословенная Человечность, давно уж забытая в обыденной жизни, нашла себе приют в этой обители Террора.

- Почему они привели тебя сюда? - спросил Виолу один седой священник.

- Я не могу понять этого.

- О! Если ты не знаешь своего преступления, то приготовься к худшему.

- А мое дитя? - (Ребенок все еще покоился на ее груди.)
- Увы! Они сохранят ему жизнь.
- Сирота в тюрьме! - прошептала Виола, обвиняя сама себя. - Вот что я сделала из его сына! Занони! Не спрашивай меня даже в мыслях, что я сделала с нашим ребенком!
Наступила ночь. Толпа бросилась к решетке, чтобы выслушать имена приговоренных к казни на завтра, или, как это называли на жаргоне того времени, "вечернюю газету". Имя Виолы было в их числе. Старый священник, более расположенный умереть, но не попавший в роковой лист, положил руки ей на голову и со слезами благословил ее. Она слушала с удивлением, но не плакала. С потупленными глазами и скрещенными на груди руками она покорно восприняла приговор. Но вот произнесли следующее имя, и человек, грубо толкнувший ее, чтобы лучше видеть и слышать, испустил крик отчаяния и ярости. Она обернулась, их взгляды встретились, и Виола узнала это отвратительное лицо.
Нико в свою очередь узнал ее, и на его губах появилась дьявольская усмешка.
- Наконец-то, прекрасная неаполитанка, хоть гильотина соединит нас. Мы хорошо поспим в нашу свадебную ночь! - И, захохотав, он направился сквозь толпу к своей лежанке.
Виолу бросили в мрачную камеру дожидаться завтрашнего дня. Однако ей оставили ребенка, и Виоле казалось, что он понимает весь ужас происходящего. По пути в тюрьму он не плакал и не стонал, а смотрел своими ясными, широко открытыми глазами на сверкающие на солнце пики и свирепые лица служителей закона.
И теперь, в одиночестве темницы, он обвил руками ее шею и издавал какие-то непонятные тихие и сладостные звуки, как будто это был какой-то неизвестный язык утешения и небесного покоя. И поистине это был язык Неба! Милый лепет ребенка изгонял ужас из ее души и возносил ее ввысь; прочь от этой темницы, ввысь, туда, где радостные херувимы воспевают милосердие Всемилостивого, шептал этот ангельский голос. Она пала на колени и стала молиться. Губители всего, что украшает и освещает жизнь, осквернили алтарь и отреклись от Бога! В эти последние часы они отняли у своих жертв Священника, Святое Писание и Крест! Но Вера возводит в темнице самые возвышенные святыни, и ввысь, сквозь каменные крыши, скрывающие от них взоры Неба, поднимается лестница, на ступеньках которой резвятся ангелы и чье имя - МОЛИТВА.
А там, в соседней камере, бесстрастно восседает в темноте безбожный Нико и постигает мысль Дантона, что смерть - это возвращение в ничто. В его душе нет ничего похожего на объятую страхом или смятенную совесть! Раскаяние - это эхо потерянной добродетели, а добродетель всегда была ему чужда. Приведись ему жить снова, он прожил бы точно такую же жизнь. Но страшнее смертного одра для верующего и отчаявшегося грешника тот пустынный мрак апатии, то видение могильных червей и крыс в склепе, то зловещее и отвратительное НИЧТО, которое в его глазах, глазах смертного, падает подобно темной пелене на вселенную, имя которой - жизнь. И все же, уставившись в пространство и жуя помертвевшими губами, он взирает в темноту, веря, что темнота пребудет вовеки!
- Место, место! Потеснитесь-ка еще в ваших камерах. Вот новая голова, назначенная палачу.
Тюремщик с лампою в руке ввел нового арестанта. Незнакомец дотронулся до его руки, сказал что-то шепотом и снял с пальца кольцо. Бриллиант ослепительно засверкал в свете лампы.
- Если вы цените каждую голову завтрашней партии в тысячу франков, то этот камень стоит более! - сказал незнакомец.
Тюремщик колебался: бриллиант ослепил его. О, Цербер! Тебя укротили, в тебе умертвили любовь, сострадание, жалость, одна скупость пережила все. Незнакомец одержал победу. Они прошли темным коридором и приблизились к двери, на которой тюремщик поставил роковой знак, который теперь стер, так как пленница получила отсрочку на один день.
Ключ заскрипел в замке, дверь приотворилась, незнакомец взял лампу и вошел.

XVII

Виола молилась. Она не слыхала, как отворилась дверь, не видала тени, упавшей на пол. Его власть и его магическое искусство исчезли. Но прелесть и тайна ее простого и благочестивого сердца не оставили ее в часы испытания и отчаяния.
Там, где Наука падает, как фейерверк с неба, куда она вторглась, там, где Гений увядает, как цветок в ледяном дыхании склепа, там Надежда детской души пронизывает сам воздух светом и невинность невопрошающей Веры покрывает могилу цветами.

Она стояла на коленах в самом темном углу, и ребенок, как бы подражая тому, что он не мог понимать, также склонил свое улыбающееся личико и опустился на колени рядом с нею.

Занони остановился, глядя на эти фигуры, освещенные спокойным светом лампы. Свет падал на облако золотистых волос, растрепанных и приподнятых над чистым высоким лбом; он освещал черные глаза, возведенные к небу и сквозь слезы светившиеся небесным огнем. Вся фигура Виолы излучала святость и трогательную женственность. Он слышал ее голос, едва различимый, - тот голос, которым говорит сердце и который достаточно внятен божественному слуху.

"И если я никогда не увижу его, - говорила она, - о, Небесный Отец, то позволь, чтобы любовь, которая не умирает даже по другую сторону могилы, служила бы ему и помогала в его смертной судьбе! Позволь, чтобы эта любовь парила над ним как живой дух, более прекрасный, чем все те, которые может вызвать его наука. О, какова бы ни была судьба их обоих, Создатель, сделай так, чтобы наконец, очищенные и возрожденные, хотя бы и через тысячу лет, мы снова встретились. Этот ребенок молится Тебе из глубины тюрьмы. На чьей груди заснет он завтра? Чья рука будет кормить его? Кто будет молиться за него?"

- Ты, Виола! Ты сама! Тот, от кого ты бежала, здесь, чтобы спасти мать и ребенка!

Она вздрогнула от этого дрожащего голоса и вскочила.

Он стоял около нее во всем блеске своей неувядаемой молодости и нечеловеческой красоты в этом жилище страха и в этот ужасный час как воплощение любви, которая может пройти через долины мрака и ревущие адские пропасти.

С криком счастия и восторга, какого, может быть, никогда не слыхали эти стены, она бросилась к нему и упала у его ног.

Он наклонился, чтобы поднять ее, она вырвалась из его рук. Он называл ее всеми нежными именами прошлого, она лишь рыдала в ответ. Виола страстно целовала ему руки, платье, но не произносила ни слова.

- Посмотри! Я пришел спасти тебя! Подними глаза, неужели ты не хочешь показать мне твое лицо? Или ты хочешь опять бежать от меня?

- Бежать от тебя! - сказала она наконец прерывающимся голосом. - О! Если мои мысли о тебе были несправедливы, если мой сон, мой ужасный сон, обманул меня, то станем здесь, друг около друга, и будем вместе молиться на наше дитя.

Затем она быстро выпрямилась, схватила ребенка, передала его на руки отцу и громко зарыдала.

- Я не ради себя... не ради себя бежала от тебя, но ради...

- Молчи! - сказал Занони. - Я знаю все мысли, которые твой спутанный и взволнованный ум не может сам выразить. Посмотри, как наш ребенок взглядом отвечает тебе.

Действительно, лицо этого странного ребенка, казалось, озарила безмолвная радость. Он как будто узнал отца, обнял его, прижался к его груди и, улыбаясь, глядел на Виолу ясными сияющими глазами.

- Молиться за моего ребенка! - печально сказал Занони. - Мысли души, с такими устремлениями, как мои, уже есть молитва!

Затем, сев рядом с нею, он стал объяснять ей некоторые святые тайны своего сверхъестественного существования.

Занони говорил ей о глубокой и святой вере - единственном источнике его чудесного знания, о вере, которая очищает и возвышает все смертное вокруг себя, о честолюбии, сферой которому служат не интриги и преступления земли, но святые чудеса, говорящие не о человеке, а о Боге, о чудесной силе, отделяющей душу от ее бренной оболочки, силе, которая дарует душе способность утонченного ясновидения, дарует ей крылья духа, с помощью которых она способна достигнуть любых сфер и миров. Он говорил ей о том чистом, строгом и дерзновенном посвящении, при котором Разум воскресает, пробуждаясь от смертного сна, и начинает воспринимать все существа и явления в их истинной сути, созвучной с Отчими принципами жизни и света, так что в своем собственном чувстве прекрасного воскресший Разум обретает свою радость; в ясности своей воли - свою силу; в своей любви к вечной молодости Бесконечного Творчества, сущностью и частью которого он, Разум, сам является, он находит средства, которые наполняют благоуханием бренную оболочку человека, освещают ее и обновляют в ней силы жизни с помощью божественной амброзии - таинственного сна.

Пока он говорил, Виола слушала его, затаив дыхание. Если она и не понимала всего, то по крайней мере не осмеливалась сомневаться, а еще менее не доверять. Она чувствовала, что в этом восторге вдохновения, будь он даже самообманом, не могло скрываться ничего дьявольского, и скорее сердцем, чем умом, поняла всю глубину и таинственную красоту души, которую она так оскорбительно подозревала. И однако,

когда в конце этой странной исповеди Занони сказал, что мечтал поднять ее жизнь до своей жизни, ее охватил страх, и по молчанию Виолы Занони понял, насколько, несмотря на все его знания, мечты его были тщетны.

Но когда он кончил, когда, прижавшись к его груди, она почувствовала себя защищенной в его объятии, когда, в святом поцелуе, прошедшее было прощено, а настоящее забыто, в ней снова начали возрождаться сладкие надежды на обычную земную жизнь - такие естественные для любящей женщины. Он пришел спасти ее; она не спрашивала как, она поверила ему без вопросов. Они снова соединятся, они покинут это место насилия и крови; они снова скроются на их чудном острове - свидетеле стольких счастливых дней. Виола засмеялась с детской радостью, когда во мраке ужасной тюрьмы представила себе эту картину счастья. Ее душа, верная простым и кротким чувствам, отказывалась принимать величественные образы, пронесшиеся перед нею, и снова возвращалась к человеческим видениям - еще более обманчивым мечтам о земном счастье, о домашнем уюте и покое.

- Не говори мне более о прошлом, мой любимый, ты здесь, ты спасешь меня, мы будем жить вместе; жить с тобою - для меня счастье и блаженство. Пусть твоя дерзновенная душа, если желает, путешествует по всей Вселенной, мой мир - это твое сердце, которое снова возвращено мне. Еще совсем недавно я думала, что готова умереть, но вот я вижу тебя, я дотрагиваюсь до тебя и снова чувствую, как прекрасна жизнь. Посмотри сквозь решетку: звезды бледнеют на небе, скоро наступит завтра, то "завтра", которое откроет двери тюрьмы! Ты говоришь, что можешь спасти меня. Теперь я верю тебе. Мы не будем больше жить в городах. Я никогда не сомневалась в тебе на нашем счастливом острове, мои сны там были только о любви и радости, и при моем пробуждении твой взгляд делал жизнь еще прекраснее. Завтра! Почему ты не улыбаешься? Завтра, мой любимый, благословенное завтра! Жестокий! Ты снова хочешь наказать меня, ты не разделяешь моей радости? О, посмотри на нашего маленького ангела, как он улыбается тебе. Дай мне поговорить с ним. Дитя! Твой отец возвратился!

Виола взяла его на руки, села рядом с Занони и стала говорить с ребенком, пересыпая слова поцелуями, она качала его, прижав к груди, смеялась и плакала, украдкой бросая на отца счастливые и радостные взгляды. В них ему виделись гаснущие звезды, которые грустно улыбались ему на прощание. Как она была прекрасна в своем неведении будущего! Она, сама еще наполовину ребенок, и ее дитя, смехом отвечавшее на ее смех, - два нежных, беззащитных существа играли на краю могилы. Она наклонила голову, ее волосы рассыпались как золотистое облако и покрыли младенца, словно завесой из солнечного света. Ребенок, смеясь, раздвигал их своими маленькими ручонками, улыбаясь сквозь пряди, и снова прятался в них. Было бы жестоко прерывать эту радостную игру, еще более жестоко - принять в ней участие.

- Виола, - сказал наконец Занони, - помнишь ли ты, как однажды в лунную ночь, сидя у грота на берегу нашего Свадебного острова, ты просила у меня этот амулет, знак давно исчезнувшего суеверия? Это последняя святыня моей родины, моя мать на ложе смерти надела мне его на шею. Я обещал дать тебе его в тот день, _когда законы нашего существования будут одинаковы_.

- Я хорошо помню это!

- Завтра он будет твой.

- О! Это дорогое завтра!

Она тихонько положила уснувшего ребенка и бросилась на шею мужу, показывая ему на светлеющее небо. Там, в этих овеянных дыханием ужаса стенах, свет утренней звезды проник сквозь мрачные решетки и упал на эти три существа, в которых сосредоточилось все самое нежное, что может быть между людьми, самое таинственное, сокрытое в извивах человеческой мысли: спящую Невинность, доверчивую Привязанность, которая, довольствуясь прикосновением, дыханием, не предвидит скорби, утомленное Знание, которое, познакомившись со всеми тайнами творения, приходит в конце концов к Смерти за их разрешением и все же, приближаясь к ее порогу, припадает на грудь Любви. И таким вот образом внутри - темница; снаружи, во внешнем мире с его площадями и просторными зданиями, дворцами и храмами, - Месть и Террор плетут свой заговор и контрзаговор; и в вечном движении, влекомые приливами и отливами изменчивых страстей, несутся судьбы людей и целых народов; и вот почти рядом, стоит лишь протянуть руку, утренняя звезда, тающая в пространстве, смотрит одинаково равнодушно как на церковь, так и на гильотину. Весело и радостно приходит утро. В садах птицы вновь запевают свои знакомые песни. Стайки рыб резвятся в полных утренней свежести водах Сены. Живая прелесть божественной природы, шум и гам земной жизни вновь пробуждаются к бытию. Торговец открывает окна своей лавки, цветочницы весело спешат занять свои излюбленные места; люди деловито приступают к своим нехитрым занятиям и этим рутинным ритмом как бы подчеркивают, что революции, разящие королей и царей,

оставляют все тот же Каинов удел простому люду. По пути на рынок стонут и гремят телеги. Тирания уже давно на ногах, она не спускает глаз со своего неотлучного спутника - Заговора, который и вовсе не спал; он слышит бой часов и нашептывает собственному сердцу: "Час близится". Вокруг здания Конвента собирается группа людей с тревожным блеском в глазах. Сегодняшний день решит судьбу Франции. В местах, окружающих скамейки Трибунала, обычный шум и гул голосов. И не важно, как выпадут кости и кто станет правителем, - сегодня падут восемьдесят голов!

* * * *

Она спала так сладко! Утомленная счастьем, чувствуя себя в безопасности под защитой того, кто снова вернулся к ней. Она столько смеялась и плакала, что сон наконец одолел ее, и даже во сне она, казалось, сохраняла эту счастливую уверенность, что любимый рядом с ней, что тот, кого она потеряла, нашелся. И даже во сне она улыбалась и говорила сама с собой, шептала его имя, протягивала руки и вздыхала, когда они не касались его. Отойдя на несколько шагов, он долго глядел на нее, переполненный чувствами, которые невозможно описать. Для него она не должна была просыпаться, она не должна была знать, какою ценою была куплена безмятежность ее сна.

Это завтра, которого она так ждала, наконец наступило. Какое отчаяние принесет ей вечер? Ведь сон смежил ей глаза среди радостных надежд, сквозь которые любовь и юность обыкновенно созерцают будущее. И во сне эти радужные надежды все еще витали над нею. Она проснется, чтобы жить! Завтра конец Царству Террора, двери тюрем распахнутся, и она снова возвратится с ребенком в мир света и свободы.

А он? Занони обернулся, и его взгляд упал на ребенка: он не спал, и его ясный, серьезный и задумчивый взгляд был устремлен на отца с выражением торжественной решимости. Занони наклонился и поцеловал его в губы.

- Никогда более, - прошептал он, - наследник любви и горя, никогда более ты не увидишь меня в своих видениях, никогда более свет твоих очей не будет питаться лучом божественного откровения, никогда более моя душа не сможет удалить от твоего изголовья несчастья и болезни. Твоя судьба не будет такой, на какую я напрасно надеялся. Как и всем людям, тебе придется страдать, бороться и ошибаться. Но пусть твои испытания будут не столь тяжкими, пусть душа твоя будет сильна в любви и вере. И пока я смотрю на тебя, я хочу передать тебе мое последнее страстное желание. Пусть моя любовь к твоей Матери перейдет к тебе с этим поцелуем! Пусть в твоих взглядах она найдет мои утешение и поддержку!.. Они идут!.. Да... Я жду вас обоих за могилой!

Дверь медленно отворилась, вошел тюремщик, и вместе с ним в комнату проник солнечный луч; он осветил прекрасное, спокойное и счастливое лицо Виолы, он заиграл, как улыбка, на губах ребенка, который, по-прежнему молчаливый и неподвижный, следил взглядом за движениями отца. В эту минуту Виола прошептала во сне:

- День наступил, двери открыты, дай мне руку, идем! В море, в море!.. Как солнце играет на волнах; идем, мой возлюбленный!

- Гражданин, пора!

- Тише! Она спит. Одну минуту! Готово!.. Слава Богу, она все еще не проснулась.

Из страха разбудить ее он не поцеловал ее, но тихонько надел на шею амулет, как знак, который должен был передать ей его прощальное обетование и в этом обетовании - обещание их единения на Небе. На пороге он обернулся несколько раз. Потом дверь затворилась, и он исчез навсегда.

Наконец она проснулась и поглядела вокруг.

- Занони, день наступил!

Никакого ответа, кроме слабого стона ребенка. Небо! Неужели это был сон? Она отбросила волосы, которые мешали ей видеть, и почувствовала на груди амулет. Нет! Это был не сон!

Боже! Он ушел!

Она бросилась к двери с пронзительным криком.

Вошел тюремщик.

- Где мой муж, отец моего ребенка?!

- Он отправился вперед тебя, гражданка!

- Куда? Говори, говори!

- На гильотину!

И мрачная дверь снова затворилась.

Виола потеряла сознание.

Слова Занони, его печаль, истинный смысл его таинственного подарка, даже жертва, которую он приносил ей, в одно мгновение открылись ее душе. И тогда мрак охватил ее,

мрак, в котором был, однако, свой свет. В то время как она сидела там, безмолвная и окаменевшая, в глубине ее души, как ветер, промелькнуло видение. Мрачный суд, судья, присяжные, обвинитель и среди жертв - один, невозмутимый и спокойный.

- Ты знаешь опасности, угрожающие Республике; говори.

- Я их знаю! Я держу мое обещание. Судья, я открываю тебе твою судьбу. Я знаю, что анархия, которую ты зовешь государством, кончится с заходом солнца. Слышишь этот шум шагов и голосов? Я вижу тебя в камере для особо опасных преступников! Я вижу тебя мертвым! Я вижу место в аду для Робеспьера и его приспешников!

Они спешат в суд, торопливые и бледные посланцы. Всюду смятение и ужас.

- Уведите заговорщика! И завтра умрет та, которую ты хотел спасти.

- Завтра, президент, падет твоя голова!

По шумным и заполненным людьми улицам движется процессия смерти! Мужественный народ, ты пробудился наконец. Они не умрут. Смерть свергнута с трона! Робеспьер пал, несчастные будут спасены.

Рядом с Занони рвался и жестикулировал тот, кого в своих пророческих видениях он созерцал как своего соседа на месте смерти.

- Спасите нас, спасите нас! - орал атеист Нико. - Вперед, вперед, храбрый народ! Мы должны быть спасены!

Сквозь толпу пробиралась женщина с черными растрепанными волосами и огненными глазами.

- Кларенс! - вскричала она на мягком южном диалекте родного языка Виолы. - Палачи, что вы сделали с моим Кларенсом?!

Ее глаза впились во взволнованные лица приговоренных, она не нашла того, кого искала.

- Слава Богу! Я не убила тебя!

Народ все ближе и ближе подступал к повозкам, еще минута - и палач будет лишен своей добычи. Но почему на лице Занони видна прежняя покорность судьбе?

По мостовой раздается звонкий стук лошадиных копыт. Это всадники черного Анрио, верные его приказу, быстро врезаются в трусливую толпу, люди мечутся в беспорядке, падают в грязь под копыта лошадей. И между этими вопящими от ужаса "спасителями", пораженная ударом сабли, обливаясь кровью, падает итальянка, и ее губы еще шепчут:

- Кларенс! Я не убила тебя!

Вот застава Трона... Издалека видно ужасное орудие казни! Один за другим ложатся под нож приговоренные. О, пощады! Пощады! Разве так коротко расстояние между солнцем и тьмой? Коротко, как вздох! Вот наступила его очередь.

- Не умирай еще! Не оставляй меня одну. Выслушай меня! Выслушай меня! - закричала вдохновенная визионерка. - Как! Ты еще улыбаешься!

Его бледные губы улыбались, и с этой улыбкой исчезло все окружающее - место казни, палач, ужас. С этой улыбкой все пространство, казалось, наполнилось вечным сиянием. Он поднялся над землею... Он парил над нею, как идеальный образ радости и света! Небо разверзлось в глубину, и стали видны мириады духов красоты и гармонии, и раздались чудные мелодии небесного хора:

- Привет тому, кто очистился жертвой, тому, кто через смерть достиг бессмертия... Вот что означает смерть!

И светлый образ любимого протянул руки к спящей пленнице и прошептал:

- Подруга вечности, вот что значит умереть!

* * * *

"Ха! С чего бы это они подавали нам знаки с крыш? Откуда эти толпы на улицах? Почему звонит колокол? К чему этот набатный звон? Вы слышите ружейную пальбу? Это вооруженные столкновения! Братья узники, неужели и для нас блеснул наконец луч надежды?" Так возбужденно переговариваются друг с другом заключенные в тюрьме. День идет на убыль, вечер превращается в ночь, а они все стоят, прижавшись побледневшими лицами к тюремным решеткам, и видят в окнах и на крышах домов улыбки друзей, подающих им сигналы руками! И наконец: "Ура! Робеспьер пал! Правлению Террора пришел конец! Господь даровал нам жизнь!"

Да! А теперь, читатель, окинь своим взглядом зал, где тиран конклавом вслушивается в доносящийся с улицы рев парижан! Как и предсказывал Дюма, Анрио, опьяневший от крови и алкоголя, вбегает в зал и швыряет окровавленную саблю на пол. "Мы проиграли!"

"Несчастный, нас погубило твое малодушие!" - дико закричал свирепый Коффиналь, выбрасывая труса в окно. Воплощение отчаяния, недвижно стоит неумолимый СенЖюст. Парализованный страхом, подобно жалкому пресмыкающемуся, заползает под стол Кутон.

Внезапно раздается громоподобный выстрел - Робеспьер решил покончить с собой! Однако дрожащая рука не смогла верно направить пулю и лишь изуродовала его. На Городской Гостинице часы бьют третий час. Через разбитую дверь по темным переходам в зал Смерти хлынула толпа. С изувеченным и мертвенно-бледным лицом, весь в крови, онемевший, но все еще в сознании, как всегда, надменно выпрямившись в кресле, сидит Главный Убийца! Он окружен воющей, орущей, проклинающей его толпой! Лица людей озаряют блики ярко полыхающих факелов! Это он - не звездный Маг, а настоящий колдун! И в его последние часы устроили свистопляску демоны, вызванные им из преисподней!

Толпа схватила и куда-то тащит его! Открой свои двери, жестокая темница! Консьержери, принимай свою добычу! Земля так и не услышала больше ни одного слова из уст Максимилиана Робеспьера! Выплескивай на улицы тысячи, нет, десятки тысяч своих граждан, освобожденный Париж! Двуколка Короля Террора катит по направлению к площади Революции, везя к могиле его сообщников - Сен-Жюста, Дюма, Кутона! Какая-то женщина, бездетная седоволосая старуха, выскакивает из толпы и оказывается возле него. "Твоя смерть пьянит меня чувством великой радости!" Он открывает свои налитые кровью глаза. "Пусть проклятья жен и матерей низринут тебя в преисподнюю!"

Палачи срывают грязную повязку с изувеченного лица. Раздается резкий выкрик, толпа смеется, топор падает, и его стук заглушает многотысячный рев собравшихся на площади людей. И душа твоя устремляется во тьму, Максимилиан Робеспьер! Так завершилось Царство Террора!

* * * *

В тюрьме из камеры в камеру перелетает новость, толпа все увеличивается, радостные пленники смешиваются с тюремщиками, которые из страха также выражают свою радость. Наконец все устремляются через коридор мрачной обители к выходу. На своем пути они врываются в одну забытую с утра камеру. Там на убогой постели, сложив руки на груди и подняв глаза к небу, сидела молодая женщина с блаженной улыбкой на губах. При виде этого зрелища толпа, еще минуту назад шумно ликовавшая, отпрянула в удивлении и страхе. Никогда еще они не видели такое прекрасное создание. И когда осторожнприблизились к ней, то заметили, что ее губы не шевелятся, грудь не поднимается... ее покой был покой мрамора, а ее красота и экстаз не принадлежали более этому миру. Все сгрудились вокруг нее в молчаливом созерцании, и, разбуженное их шагами, у ее ног проснулось дитя, пристально посмотрело на них и принялось играть платьем мертвой матери. Сирота под сводами тюрьмы!

- Бедный малютка, - сказала одна женщина, тоже мать, - говорят, что отец погиб вчера, а сегодня мать! Один на свете! Каково-то ему будет?

В то время как женщина говорила это, ребенок бесстрашно улыбался им.

Тогда священник, стоявший в толпе, кротко сказал:

- Посмотрите, дитя улыбается! Бог заботится о сиротах!

РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВСКИЙ РОМАН ЭДВАРДА БУЛЬВЕР-ЛИТГОНА

Эссе о другой действительности

Есть две действительности: одна, которую знают все и о которой нечего говорить, и другая, которая начинает существовать лишь тогда, когда о ней говорят...

Разумеется, критик может быть и истолкователем, если ему вздумается... Однако задача его не всегда будет заключаться в разъяснении художественного произведения. Он может стремиться углубить его таинственность, окружить как само произведение, так и творца его дымкой чудесного...

Великие произведения - живые существа, пожалуй, только они одни и живы.

Оскар Уайльд

Творчество Эдварда Джорджа Бульвер-Литтона (1803-1873) - глубоко своеобразное и интересное явление в английской литературе. Ему принадлежат 24 романа, 9 пьес, несколько поэм и сборник стихотворений. Он был талантливым историком и публицистом, блестящим оратором и крупным политическим деятелем - сначала либералом, потом консерватором. Семейная его жизнь сложилась весьма неудачно. Ранний брак не способствовал взаимопониманию супругов, и после развода бывшая жена еще долго пыталась делать все от нее зависящее, чтобы жизнь этого удивительного человека не казалась ему сладкой.

Аристократическое происхождение и литературная слава обеспечили Бульвер-Литтону блестящую политическую карьеру. В 1858 году он назначен министром колоний, в 1866-м получает титул лорда и становится членом палаты лордов. Его сын, Эдвард Роберт Литтон, дипломат и поэт, был впоследствии вице-королем Индии.

Творчество Бульвер-Литтона стало в Англии одним из связующих звеньев между романтизмом и критическим реализмом XIX века.

Байронизм сильно ощущается в наиболее известном из ранних романов Бульвер-Литтона - "Пелам" (1828) - и в образе Юджина Эрама, ученого-убийцы из одноименного романа. Резкие сатирические зарисовки буржуазного и аристократического мира отличают его лучшие романы - "Пелам" и "Кенелм Чиллингли". А исторические романы "Последний день Помпеи" и "Риенци, последний римский трибун" стали блестящими образцами этого жанра в английской литературе.

Вот, пожалуй, и все существенное, что мог узнать до сего времени наш читатель о выдающемся английском Посвященном XIX века лорде Бульвер-Литтоне, создавшем не больше и не меньше, чем английского "Фауста", великий оккультный, розенкрейцеровский роман европейской литературы - "Занони" (в русском переводе - "Призрак"), который наши литературоведы квалифицировали как реакционную романтическую фантастику {См.: История английской литературы. Том II, вып. 2, 1955.}, до того он не увязывался с самой передовой и прогрессивной в мире идеологией. Авторы же предисловий к четырем изданным у нас за последние 75 лет романам Бульвер-Литтона даже не упоминали это произведение (конечно, по вполне понятным причинам), предпочитая исследовать мотивы критического реализма в творчестве автора или изображая его чуть ли не писателем для среднего и старшего школьного возраста, автором "Последнего дня Помпеи", весьма интересного исторического романа, не уступающего многим романам Вальтера Скотта.

Попытаемся же, сдав в архив "характеристики творческого пути" этого писателя, которые успели составить наши "румяные" критики, дать хотя бы самое приблизительное представление об этой поразительной индивидуальности.

Одной из самых ярких особенностей личности БульверЛиттона была его страсть к оккультным наукам. Он серьезно увлекался ими еще с юности. Известно, что он имел в своем распоряжении магические инструменты: медные прутья - проводники магического воздействия, хрустальные шары, в которых он видел изображения приближающихся к нему событий и людей...

Основатель Антропософии Рудольф Штайнер в одном из циклов своих лекций дает весьма любопытную зарисовку образа жизни Бульвер-Литтона на склоне лет. Благодаря особой индивидуальной конституции он оказался способен духовно проникнуть в некие древние Мистерии, но именно поэтому он отдалился от обыденной жизни своего времени и круга. По нему было видно, как человек начинает относиться к жизни, когда он проникает в духовный мир и воспринимает его не просто в понятиях, интеллектуально (как в европейской культуре начиная с XV века), но всеми силами своей души, в глубинных переживаниях. Он появлялся в светском обществе, в разных аристократических салонах в странном одеянии, садился и у ног своих усаживал девочку с арфой. Он произносил одну фразу, затем девочка играла на арфе, потом он произносил еще фразу, и она снова играла. Так пытался он настроить души слушателей и представить нечто миру человеческой обыденности и филистерства. И это вполне оправданно, подчеркивает Штайнер: ведь когда-то по миру странствовали старые люди в сопровождении юных и приятной музыки. В Бульвер-Литтоне вспыхнуло нечто от древней традиции, хотя это было уже совсем не в духе времени.

О нем также известно, что он водил дружбу со спиритами и медиумами. По воспоминаниям его сына, он был членом Розенкрейцеровского Братства. Плоды этих мистических, оккультных увлечений мы видим в его романах "Занони", "Странный человек" и "Грядущая раса" - произведениях, наиболее дорогих сердцу автора, в которые он вложил все силы своего духа, укрепленные чтением разнообразной литературы по тайным наукам и инстинктивным пониманием и умением ориентироваться в духовных учениях Запада и Востока. Эти таинственные романы, где Бульвер-Литтон развивает свою теорию магии, стоят особняком в его творчестве. В них действуют существа, принадлежащие совсем другой, сверхчувственной, сфере реальности. Мир предстает читателю сквозь призму гнозиса, неоплатонизма, каббалы, алхимии и учения розенкрейцеров XV-XVIII веков!

С этой точки зрения характерно Введение к роману "Занони". Пользуясь литературным приемом второго рассказчика, Бульвер-Литтон выступает здесь в роли издателя, который повествует о том, как случайно познакомился со стариком чернокнижником, владельцем антикварной книжной лавки и большим знатоком оккультных учений. В беседах на разные философские, литературные и эзотерические темы (о таинственных розенкрейцерах, о философии Платона, о пифагорейцах) издатель пытается вдохновить мудреца на написание

беллетристического произведения и открыть кое-что из тайнознания, которым он обладает. Старик соглашается со временем исполнить такую просьбу. Однако только после смерти своего друга Бульвер-Литтон получает обещанную ему рукопись - на совершенно непонятном ему языке иероглифических знаков и символов. Проходит несколько лет, прежде чем издателю удается расшифровать эту каббалистику с помощью словаря-ключа, приложенного к рукописи таинственным антикваром, придать ей современную форму романа и дополнить неясные места образами своего собственного воображения.

В романе изображены два человека, достигшие бессмертия. Один из них - Мейнур, бесстрастный и бесчувственный, скорее воплощение чистого ума, нежели человек. Другой - Занони, ученик Мейнура, воплощение совершенной жизни, достигший вечной молодости, абсолютного могущества, абсолютного знания, полной способности любить и - как следствие такой любви - скорбеть и отчаиваться. Любовь к Виоле вынуждает Занони спуститься со своих невообразимых духовных высот на грешную землю, расстаться с вечным спокойствием, стать причастным к заботам и горестям людей. Это его "падение" довершается рождением сына. В конце романа он приносит себя в жертву, чтобы спасти любящую его и любимую им жену, которая избавила его от одиночества и изоляции. Жена и ребенок - смертны, а пережить их и свою любовь к ним для него невозможно. Мейнур же, который является в романе воплощением чистого интеллекта, лишенного всяких привязанностей, остается жить дальше.

Вот как характеризуются в романе эти два главных его персонажа:

"Характер Мейнура сильно отличался от характера Занони. Он менее очаровывал Глиндона, но зато более подавлял и производил впечатление. Речи Занони выдавали его глубокий интерес ко всему человечеству, чувство, сходное с энтузиазмом к искусству и красоте. Слухи, ходившие про его жизнь, еще более увеличивали ее таинственный характер, приписывали ему щедрость и благотворительность; во всем этом было что-то человеческое и симпатичное, смягчавшее строгость уважения, которое он внушал, и, может быть, заставлявшее сомневаться в том, что он действительно обладает высшими тайнами. Мейнур, напротив того, казался совершенно равнодушным к внешнему миру. Если он не делал зла, то казался точно так же равнодушен к добру. Его поступки не облегчали страданий нищеты, его слова не сострадали несчастью. Он думал, жил и действовал скорее как спокойная и холодная отвлеченность, чем как человек, еще сохранивший какую-нибудь симпатию к человечеству".

Даже самый неискушенный и материалистически мыслящий читатель может убедиться, что в произведениях, подобных "Фаусту" Гете или "Занони" Бульвер-Литтона, он имеет дело с символическими образами. Сам Бульвер-Литтон в приложении к первому изданию своего романа помещает аллегорическо-символическую характеристику основных действующих лиц, которую, как он утверждает, прислал ему один из близких друзей, выдающийся писатель, чьим мнением он очень дорожит, но чье имя предпочитает сохранить в тайне. Вот эта характеристика, автор нигде ее не опровергает, считая ее достаточно глубокой Параболой, ибо сам он "не дает ключ к тайнам, будь они незначительными или важными".

Мейнур воплощает собой Созерцание Реальности - Науку. Он всегда стар и должен существовать, пока существует Реальность. Его мировоззрение менее подвержено ошибкам и заблуждениям, чем Идеализм, но оно же и менее убедительно, менее сильно в практическом отношении, так как ему неведомо человеческое сердце.

Занони - Созерцание Идеала, Идеализм. Всегда полный сочувствия, благожелательный, живет наслаждаясь и поэтому воплощает в себе образ вечной молодости. Идеализм является глубочайшим Интерпретатором и Пророком Реальности, но его мощь и сила ослабевают и уменьшаются пропорционально подверженности человеческим страстям {Здесь Бульвер-Литтон приводит упрек своего комментатора в том, что автор показывает Идеализм как менее долговечное устремление человеческого духа, чем Наука, и возражает: Идеализм подвержен страстям и инстинктам, рано или поздно вынуждающим его погрузиться в Действительность, а она-то и сводит Идеализм на нет. Некоторые критики романа высказывали мнение, что заключительные главы, рисующие Царство Террора во времена Французской революции, не согласуются с фантастическими частями. Но если бы эти критики правильно поняли намерение автора, они убедились бы, что самые грубо реалистичные сцены того времени, в котором разворачивается действие, являются совершенно необходимым и гармоничным завершением романа. "Эксцессы и преступления человечества являются могилой Идеала, могилой Идеализма".}.

Виола - Человеческий Инстинкт (ее чувство вряд ли можно назвать Любовью, ибо Любовь не расстается со своим любимым под влиянием религиозных предрассудков). Вначале этот инстинкт стремится к Идеалу, чтобы придать себе блеск и скрыть свои недостатки. Затем он оставляет это стремление ради высокой любви. Но по своей природе он не соответствует требованиям такой любви, ибо подвержен подозрительности и недоверию.

Его высшая потенция - Материнский Инстинкт - может проникать сквозь завесу некоторых тайн и прозревать движение Идеала. Но он слишком слаб, чтобы воспринять Идеал, он видит грех там, где его нет, и сам творит грех под ложным водительством, пытаясь найти убежище среди мятежных страстей в Действительности, покинув ясный, спокойный Идеал. Он исходит в муке (но не умирает, а преображается), стремясь примирить законы двух природ: Материнского Инстинкта и Идеала.

Три главных образа романа, о которых только что шла речь, можно было бы охарактеризовать как воплощения Разума, Воображения (фантазии) и Сердца.

Ребенок (сын Занони и Виолы) - Новорожденный Инстинкт. Если бы он был воспитан и обучен Идеализмом, то мог бы стать Посвященным, судя по раннему развитию его внимания и ума. Но, обреченный на сиротство, при котором может проявиться только половина закономерностей его судьбы, он обречен на заурядное существование.

Адон-Аи - Вера (доверие, верность, преданность, ручательство), которая проявляется во всем своем блеске; она рождает своего оракула и делится своими чудесами только с самыми высокими состояниями души. Эта Вера противостоит Страху; те, кто служит Страху, должны быть готовы к встрече с теми, в ком живет Вера. Само стремление к ней открывает путь к возрождению души, даже если призыв исходит из-под пресса Страха.

Страж Порога - Страх (или Ужас), от чьего страшного, ужасного вида люди защищены только непрозрачностью обыденного, привычного физического мира. В тот момент, когда эта защита рушится и человеческий дух начинает видеть, проницать сквозь этот непрозрачный мир и в одиночестве входит в неведомые ему сферы Природы, этот Природный Ужас встает перед ним. Его можно победить, только бросив ему вызов, только воззвав к Самому Творцу Природы, чьим посланцем и орудием и является Вера.

Мервиль - Условность, рутинность, трафаретность, традиционность.

Нико - низменная, лебезящая и злобная Страсть.

Глиндон - Нетвердое Стремление. Обычно следует Инстинкту, но сдерживается условностями; испытывает благоговение перед Идеализмом, может увлечься им, но мимолетно и случайно. У него нет постоянства и твердости для связанных с Посвящением созерцания и размышления над Реальностью. Оно соединяет их случайно схваченные положительные и полезные стороны с постоянным, неизменным сенсуализмом и страдает одновременно как от страха перед Посвящением, так и от отвращения к сенсуализму. Это втягивает невинную душу в роковой конфликт со своим духом. И когда этому Нетвердому Стремлению на грани его гибели приходит на помощь Идеализм, то оно, не в силах подняться на духовный уровень существования, с радостью снова ныряет в сферу Известного и находит свое убежище в Привычном.

Эта интерпретация основных образов романа интересна, на наш взгляд, тем, что она поднимает, потенциирует уровень их восприятия с социально-психологического (типы) на символический, прафеноменальный уровень, если воспользоваться известным понятием гетевской науки.

Однако необходимо отметить, что в наши дни аллегорическо-символический уровень восприятия этого великого произведения английской литературы уже недостаточен, ибо в конце XIX века реально закончилась эпоха Просвещения, время всякого позитивизма, рационализма, наивных реализмов (критического, социалистического, наверное, и символического). Не может быть уже реализма без познания сверхчувственных миров и существ, то есть без "второй половины" действительности.

Мир, казалось бы уже окончательно расколдованный, некоторое время тому назад начал снова заколдовываться: материализм, особенно в некоторых науках, становится оккультным. Закончилась эпоха Утопии. Начинается апокалиптическая эпоха одухотворения человека и мира, Посвящения человечества. Бердяев условно и абстрактно назвал ее Новым средневековьем. Выдающийся русский антропософ, поэт, писатель Николай Белоцветов в первый год первой мировой войны дал следующую любопытную спиритуальную характеристику этой наступающей эпохи:

"Загадочен и недостроен мир, и блажен тот, кто не боится этого многообразия. Блажен тот, кто с доверием смотрит на свою волю и достаточно силен для того, чтобы найти свое место и свои цели в этой недостроенной и незаконченной Вселенной.

К нам в двери стучится мудрое безумие богов. Скоро расшатает оно неподвижные устои философской мысли.

Падет западное рассудочное познание, затрещит и рухнет огромное здание кантовской философии. И из всех щелей, из всех трещин глянет на нас множество богов, светлых и темных, бездна творческих случайностей, многоликий и свободный мир!" {Николай Белоцветов. Религия творческой воли. Петроград, 1915, с. 40.}

И на пороге этого мира перед нами, перед всеми и каждым, перед целыми народами, перед всем человечеством, раньше или позже предстанет его Страж, тот самый Призрак, Воплощенный Ужас - если мы его не узнаем, не выдержим, не просветлим на пути нашего

Посвящения, - он же главный "герой" романа Бульвер-Литтона (шестью годами позже, в 1848 году, этот Призрак мелькнет на страницах основополагающего документа "самого непобедимого в мире" учения - конечно же, как метафора).

Он может встать на пути не только отдельного человека, легкомысленно пожелавшего проникнуть в духовный мир без подготовительных усилий, без выработки соответствующих качеств характера, как Глиндон, но в определенные эпохи (революции, гражданские войны, кризисы) на крестном пути Посвящения всего народа и его вождей, возжаждавших реализовать свои утопии и ничего не знающих и не желающих знать о законах и существах духовного мира.

Вот это место в романе великого англичанина, где приоткрывается самая тайная завеса над Царством Террора Великой французской (и не только французской) революции. Занони пишет Мейнуру о своих впечатлениях от Парижа 1793-го - начала 1794 года, куда он приехал в поисках Виолы: "Глазами, полными ядовитой ненависти, они смотрят, как я иду по их улицам. Одним взглядом я обезоруживаю их злобу и очаровываю василисков. Повсюду я вижу следы и ощущаю присутствие Призрака, который стоит на пороге и чьи жертвы - это души, желающие "дерзать и стремиться" и могущие лишь "трепетать от страха". Я вижу нечто неопределенное и лишенное четких очертаний, шествующее впереди простых смертных из плоти и крови и указывающее им путь. Мимо меня крадущейся походкой прошел Робеспьер. Его сердце терзали эти внушающие ужас глаза. Я окинул взглядом сверху их Сенат. На полу, весь съежившись, сидел зловещий Призрак. Он нашел себе приют в городе Страха. Кто же в самом деле эти будущие строители нового мира? Подобно ученикам, тщетно стремившимся приобщиться к высшему знанию, они посягнули на то, что им не по силам. Из этого мира земных очевидностей и осязаемых форм они ступили в страну призрачных теней, и ее омерзительный хранитель схватил их как свою добычу. Я взглянул в трепещущую от страха душу тирана, проковылявшего мимо меня. Там среди развалин тысячи систем, целью которых было достичь добродетели, сидело Преступление и тряслось мелкой дрожью в отчаянии и одиночестве. И все же этот человек - единственный Мыслитель, единственный достойный Претендент среди них всех. Он все еще надеется, что будущее, в котором воцарятся милосердие и мир, наступит. Да, кстати, когда именно оно наступит? Когда он расправится со всеми врагами? Глупец! Каждая капля вновь пролитой крови порождает новых врагов. Ведомый глазами Невыразимого, он идет навстречу собственной гибели" {*}.

{* В связи с этим читателю, может быть, небезынтересно узнать, что выдающийся Посвященный русской культуры Максимилиан Волошин в своем блестящем и глубоком эссе "Пророки и мстители" (М.А. Волошин. Лики творчества. Л., "Наука", 1988) о роли тамплиеров и масонов во Французской революции также касается этого сверхчувственного уровня реальности, приоткрывая завесу не только над Французской революцией, но и над первой русской и всеми нашими последующими революциями. Это эссе, написанное в 1905 г., заканчивается эстетизированной имагинацией кошмара - стихотворением, в котором Страж Порога выступает как реальное сверхчувственное существо, как Ангел Справедливости и Отмщения. Последняя строфа звучит предостережением, обращенным к "бесам" любых революций:

Не сеятель сберет колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.}

В седьмой, заключительной книге романа с особенной силой звучит трагическая тема социальной утопии, которую начинают осуществлять "слепые вожди слепых":

"Робеспьер внезапно остановился, тяжело дыша.

- Сен-Жюст, - сказал он, - когда минет эта опасность, мы создадим Царство Мира. В нем будут дома и сады для престарелых. Давид уже проектирует портики. Будут назначены добродетельные наставники, чтобы воспитывать молодежь. Впрочем, порок и беспорядок не будут уничтожены. Нет, нет! Они будут изгнаны, объявлены вне закона. Нам рано еще умирать. Потомство не может судить нас, пока наша работа не окончена. Мы вернулись к поклонению Верховному Существу. Мы должны переделать этот развращенный мир! Все отношения должны стать любовью и братством... и... Симон! Симон! Подожди! Дай карандаш, Сен-Жюст!

Взяв его, он поспешно написал несколько строк.

- Отнеси это гражданину Дюма. Иди скорее, Симон. Эти восемьдесят голов должны пасть завтра. Дюма ускорит суд на один день".

И хотя "бесы" разных революций, в том числе и самых "демократических", вовсе не собираются ни погибать, ни оканчивать свою работу, в конце XX столетия потомство уже может судить о плодах их работы, в особенности в России - излюбленном месте их беснования {См.: эссе М. Волошина "Россия распятая" и "Русская бездна".}. Не возникает также вопроса, какому Верховному Существу поклоняются "бесы". Однако в словах Робеспьера из романа Бульвер-Литтона есть мысль, которую саму по себе невозможно оспорить: "Все отношения должны стать любовью и братством". И это не просто демагогия в устах одержимого тирана. Это проблема эволюции человека и человечества. Вопрос заключается в том, как, каким образом, каким путем. Известно, что знаменитый лозунг Французской революции "Свобода, равенство, братство" был взят из идеалов Розенкрейцеровского Братства Европы, но в применении к социальной реальности был сознательно и бессознательно искажен политиканствующими масонскими ложами и пришедшими к власти вождями Французской революции, разнуздавшими самые низменные инстинкты масс.

Свое понимание проблемы "свободы народа" БульверЛиттон выразил в романе "Риенци, последний римский трибун": "Истинными деспотами народа являются его собственные страсти", "нельзя мгновенно перепрыгнуть от рабства к свободе", "свобода должна выращиваться веками" и, наконец, "негодовать на свои цепи еще не значит заслуживать свободы".

Дальнейшее развитие этих идеалов мы находим уже в XX веке у Великого Посвященного Эзотерического христианства, основателя Духовной науки - Антропософии Рудольфа Штайнера (1861-1925).

В нашу эпоху развития души сознательной, самосознающей с человечеством происходит нечто значительное, грандиозное: мысль, чувство и воля людей начинают разделяться, эти три области душевной жизни становятся самостоятельными. В прошлом душа была более централизована в себе, в будущем она станет переживать себя как тройственная, трехчленная. И это разделение непосредственно связано с прохождением человечества через область Стража Порога духовного мира. В XX веке человечество переступило этот Порог, и Страж как бы говорит людям: не оставайтесь связанными с тем, что произрастает из прошлого, смотрите в свое сердце, смотрите в свои души, чтобы создать новое, и тогда из духовного мира придут силы познания и силы воли для этого нового душевного творчества {Здесь мы хотели бы обратить внимание на особую актуальность темы Стража Порога в романе Бульвер-Литтона для нашего времени. В речи при закладке Камня Основы Всеобщего Антропософского Общества на Рождественском собрании 1923 г. в Дорнахе (Швейцария) Р. Штайнер подчеркивал, что в XX веке все человечество исторически понуждается в какой-либо форме пройти мимо Стража Порога. Понуждается же оно, как, наверное, догадывается читатель, высокими Иерархическими Существами сверхчувственных миров, осуществляющими водительство человечества (см.: Р. Штайнер. Духовное водительство человека и человечества. Духовно-научное рассмотрение развития человечества. Калуга, 1992).}.

И как познающий человек должен понять, что мышление, чувство и воля разделяются при прохождении Порога духовного мира, и должен удержать их вместе, так должно современное человечество понять, что духовная, правовая (или государственная) и хозяйственная жизнь должны разделиться и люди должны найти их более высокое соединение, чем в настоящее время. Тогда свобода будет развиваться в духовной области, в сфере культуры. Равенство может быть реализовано в государственно-правовой сфере (равенство перед законом). А братство люди призваны развивать в экономической, хозяйственной сфере. Эти три сферы должны действовать независимо, в то же время составляя единое целое. Дальнейшее развитие человечества зависит от того, сможет ли оно от веры в дух перейти к знанию о духе и на основе этого знания осуществить социальное устройство общества {См.: Рудольф Штайнер. Сущность социального вопроса. Калуга, "Духовное познание", 1992.}.

А теперь остановимся на космософии розенкрейцеров XVIII - начала XIX века, какой воспринял ее Бульвер-Литтон и какой раскрыл ее в своем романе.

Читатель, верно, обратил внимание на ту характеристику пространства, воздушного и безвоздушного, которую дает Мейнур в своих первых беседах с Глиндоном. Естественно, она не влезает в ньютоновско-эйнштейновские абстрактные, выхолащивающие и убивающие всякую жизнь во Вселенной, очень умные теории (и даже гениальные, если они напрямую используются в этих целях). Находится она в непримиримом противоречии и с самыми новейшими теориями полей современной физики.

Материалистическая наука рассматривает восприятия внешних чувств, чувственные наблюдения как основу познания. Все, что не может быть построено на этой основе, она считает недоступным знанию. Из впечатлений внешних чувств она делает выводы и заключения, но что превышает эти впечатления - ею отрицается. Для Духовной же науки

такая позиция подобна позиции слепого, который допускает существование только того, что следует из доступного ему осязания, и отрицает сообщения зрячего как лежащие за пределами человеческого познания. Духовная наука объясняет, что существует много миров вокруг человека и он сможет их воспринимать, если разовьет новые органы восприятия.

Именно азы той Розенкрейцеровской Духовной науки, с которых Учитель обычно начинал беседу с учеником, к тому же азы в самом популярном изложении, и раскрывает Мейнур Глиндону. Прося у читателя извинения за обширный объем цитаты, мы все-таки рискнем привести ее, чтобы указать на малознакомую ему Реальность и на розенкрейцеровский путь познания этой Реальности:

"Простого здравого смысла (если бы ваши школьные учителя имели его) было бы достаточно, чтобы научить людей, что окружающая Землю со всех сторон бесконечность, которую вы называете пространством, бесконечное Неосязаемое, которое отделяет Землю от Луны и звезд, - также наполнено соответствующей этой среде жизнью. Разве не явный абсурд предполагать, что жизнь, кишащая на каждом листе, отсутствует в необъятном, безмерном пространстве?.. Микроскоп показывает вам тварей в капле. Но еще не изобрели никакого механического инструмента, который смог бы обнаружить более высокие, благородные и способные существа, живущие в безграничной воздушной среде. Между ними же и человеком существует таинственная и ужасная, страшная связь. Отсюда, с помощью сказок и легенд, которые не во всем лживы и не во всем правдивы, возникала время от времени вера в существование духов и привидений...

Но прежде, чем приподнять завесу, отделяющую человека от других, ему невидимых существ, душа должна пребывать в состоянии экстаза и быть очищенной от всех земных желаний. Недаром те, кого называли магами во все века, предписывали воздержание, созерцание и пост как условие всякого экстаза. Когда душа приготовлена таким образом, наука может явиться к ней на помощь, зрение может сделаться более проницательным, нервы - более чувствительными, ум - более широким, саму стихию воздуха, пространство можно очистить с помощью тайн высшей химии, и это не магия в смысле нарушений законов природы, как думают люди. Я уже сказал, что магии нет, это просто наука, которая управляет природой. В пространстве существуют миллионы созданий, не совсем бестелесных, так как все они... имеют известную материальную форму, но настолько тонкую, воздушную, что она служит как бы неосязаемой оболочкой духа, гораздо более легкой, чем осенняя паутинка, сверкающая в лучах солнца... Посмотрите в каплю воды: какое разнообразие инфузорий! Какой ужасный вид у многих из них! То же самое мы встречаем и в жителях атмосферы: одни обладают высшим знанием, другие - странной хитростью; одни враждебны человеку, как демоны, другие кротки и благосклонны, как посланники и посредники между небом и землей. Тот, кто хочет войти в сношения с этими различными существами, подобен путешественнику, вступающему в неизвестную страну. Он подвергается опасностям и ужасам, которые не может предвидеть {Да простит нас драгоценный читатель за улыбку в нашем столь серьезном трактате. Но заметьте, пожалуйста, что это краткое и точное описание НЛО дано еще в 1842 году!}. Когда ты проникнешь в эту страну, то я уж не смогу защитить тебя от грозящих там опасностей. Я не могу указать тебе на места безопасные от нападения самых ожесточенных врагов. Тебе одному придется все решать и противостоять опасностям...

Между стражами Порога есть один превосходящий всех остальных своей злобной ненавистью, взгляд его парализовал самых бесстрашных, и власть его над душой увеличивается вместе с возрастающим страхом".

Что же это все-таки за существо - Страж Порога, ужасающий Призрак из романа Бульвер-Литтона?

Его сущностную характеристику мы находим в книгах и многочисленных лекциях Рудольфа Штайнера ("Порог духовного мира" и др.)- В работе "Путь к самопознанию человека" он подчеркивал, что мы живем теперь в такое время, когда люди должны все более знакомиться с сущностью сверхчувственного мира, если они хотят быть душевно на высоте предъявляемых им жизнью запросов. Распространение сверхчувственных познаний, а вместе с тем и познаний о Страже Порога принадлежит к задачам настоящего и ближайшего будущего.

За внешним миром, который дан нам в обычной жизни, сокрыт иной. У порога его стоит строгий Страж, чтобы неподготовленный человек ничего не узнал из законов сверхчувственного мира. В самом человеке таится духовное существо, которое есть он сам, но которого он не может познать обыкновенным сознанием, подобно тому как глаз не может видеть сам себя. Человек познает его в такой момент, когда он не только фактически становится им самим, но и противопоставляет ему себя как другого, находясь как бы вне его.

Нет особой необходимости, чтобы встреча со Стражем принадлежала к первым переживаниям ясновидения. Укрепление души может происходить в различных направлениях, однако сравнительно скоро после вступления в сверхчувственные миры наступит и эта встреча. Здесь надо отметить, что встреча наступает не только для человека, ставшего ясновидящим, а каждый раз для всякого человека при засыпании и продолжается все время, пока длится сон. Во сне душа восходит к своему сверхчувственному существу, но ее внутренние силы не бывают тогда достаточно крепки, чтобы пробудить в ней сознание себя самой.

Но что же происходит, если человек сознательно вступает в сверхчувственный мир на пути Посвящения? Человек видит то существо, которым он был всегда; но теперь видит его не из чувственного мира, а из духовного и без всяких иллюзий, во всей его истине. При таком рассмотрении себя выявляется также, почему человек не без боязни соглашается вступить в сверхчувственный мир, выявляется та степень крепости, которой он обладает для этого вступления. И чем точнее наблюдает он себя таким образом, тем сильнее выступают и все наклонности, благодаря которым он стремится оставаться своим сознанием в чувственном мире. Повышенное сознание словно из потаенных глубин души вызывает на свет эти наклонности. Необходимо познать их, ибо лишь таким образом можно их преодолеть. Но при познании их они еще раз, совсем особым образом, доказывают свою силу: пытаются одолеть душу, и она чувствует, как они увлекают ее вниз, в какие-то смутные глубины. Момент самопознания суров.

Когда мы с нашим сознанием странствуем в физическом мире, то наше Высшее "Я" является поистине иным, чуждым нам существом, мы противостоим ему как более чуждому, чем другому человеку в земном мире. И это другое "Я", это истинное "Я" облекается в наши пороки, во все то, что мы должны покинуть, но покидать не хотим, поскольку мы, как физически-чувственные люди, привязаны к этому своими привычками. Так встречаем мы на Пороге в духовный мир существо, отличное от всех других духовных существ, которых мы можем встретить в сверхчувственном мире. Все другие духовные существа являются нам в оболочках, в большей степени подходящих их собственному бытию, чем Страж Порога. Он же облачен во все то, что пробуждает в нас не только заботу и печаль, но часто отвращение и ужас. Мы дрожим от страха и не в состоянии оторваться от него. Мы не только краснеем, мы сгораем от стыда, взглянув на то, чем мы являемся и во что облачен Страж Порога. Таким образом, это есть встреча с самим собой, и тем не менее это встреча с другим существом.

Встреча со Стражем Порога - это также встреча со Смертью и Воскресением в глубине человеческой души: те качества и свойства в человеке, которые не приемлет мир Духовно-Божественных Иерархий, должны быть преосуществлены, чтобы состоялось истинное Воскресение человека и его вхождение в этот мир.

Из Антропософии известно, что когда человек подходит к Стражу Порога, то нечто, делающее человека инстинктивно одержимым, для людей Запада выступает в облике Призрака. И только когда человек подходит к ясному сознанию, эта одержимость прекращается, инстинктивное, предстающее в виде призрака (можно сказать, двойника {Тема двойника блестяще разработана в западноевропейской литературе.}), становится объективно созерцаемым и может быть познано в полном сознании и вчленено в духовную жизнь.

Другая форма, в которой выступает инстинктивное перед Стражем Порога, - кошмар. Эта форма, характерная для человека Восточной Европы, не является внешним восприятием, как призрак, а ощущением или видением, в котором выразились последствия того, что подавляет человека (народ): чисто имагинативным переживанием, ощущаемым как кошмар {Картины кошмара мы встречаем в художественных произведениях и мемуарах выдающихся русских писателей первой четверти XX века, которые спонтанно или бессознательно подходили к Порогу духовного мира, переживая события первой мировой войны, русских революций и гражданской войны ("Красный смех" Л. Андреева, "Окаянные дни" И. Бунина, мемуары З. Гиппиус и А. Белого, "Голос из хора" А. Блока, цикл "Усобица" М. Волошина).}.

В работе "Как достигнуть познания высших миров" Рудольф Штайнер характеризовал Стража Порога как астральный образ, который открывается пробуждающемуся высшему зрению духовного ученика. К этой сверхчувственной встрече ведет путь Посвящения через тайноведение. Однако с помощью приемов низшей магии Стража Порога можно сделать видимым и для чувственного зрения. И если перед глазами человека без достаточной подготовки выступит его еще не погашенная карма в виде чувственноживого существа, то он подвергнется опасности впасть в тяжелые заблуждения.

Подготовка духовного ученика должна быть направлена на то, чтобы без всякого страха выдержать ужасное зрелище и в момент встречи почувствовать свою силу действительно настолько возросшей, чтобы совершенно сознательно взять на себя преображение Стража.

Если душа слишком слаба для переживания сверхчувственного мира, то при вступлении в него ускользает ее самостоятельность, подобно тому как ускользает мысль, слабо запечатленная в душе, чтобы продолжать жить как отчетливое воспоминание. В сущности, душа тогда вообще не может вступить в сверхчувственный мир со своим сознанием. При попытке сделать это Страж Порога снова отбрасывает ее назад в чувственный мир. И если при этом ей удается как бы "отведать" сверхчувственный мир, так что после возвращения у нее что-то остается в сознании, то подобная добыча нередко вызывает путаницу в представлениях. Чувство "Я", необходимое для переживания в духовных мирах, легко заглушается, оставаясь часто лишь слабым, угасающим мысленным воспоминанием, а чувства ненависти, бессердечия, безнравственные влечения становятся именно после вступления в сверхчувственный мир могучими переживаниями души; они встают перед душой как ожившие упреки, становятся отвратительными образами.

Вспомним в связи с этим переживания и поведение Глиндона в пятой и шестой книгах романа, в первую очередь его хаотичную душевную жизнь, где мышление, чувство и воля почти не связаны между собой, его метания в тщетных попытках заглушить совесть, избавиться от явления ему Стража Порога.

Чтобы не мучиться этими образами, ясновидческое сознание прибегает к крайнему средству: оно начинает искажать духовные силы, ослабляющие впечатления от образов, что гонят человека прочь от благих областей духовного мира и направляют его к дурным. Опасность устраняется, если развивать здоровую силу суждения, какой она может быть выработана в чувственном мире. Благодаря этому развивается правильное отношение души к событиям и существам духовного мира. С другой стороны, истинная любовь, подлинное благоволение - такие переживания души, которые укрепляют силы сознания в необходимом для ясновидения смысле.

Чтобы сознательно жить в сверхчувственных мирах, душе необходимо иметь одно влечение, которое в чувственном мире не может раскрыться с той силой, с какой оно выступает в духовном: это влечение отдаться тому, что переживаешь. Нужно уметь совершенно окунуться в переживание, уметь слиться с ним воедино. Необходимо довести это до такой степени, чтобы узреть себя вне своего собственного существа и почувствовать себя внутри другого. Это превращение себя, это вчувствование в другие существа и есть жизнь в сверхчувственных мирах. Через это вживание человек познает события и существа этих миров, он замечает родственность с одним существом и отдаленность от другого.

Необходимо, чтобы человек не домогался вступления в духовный мир прежде, чем он своей обыкновенной, выработанной в физически-чувственном мире способностью суждения не поймет и не усвоит известных истин о духовном мире. Если же человек избежит этой встречи - что тоже вполне возможно - и все-таки вступит в сверхчувственный мир, то он никогда не будет в состоянии познать духовный мир в его истинном облике. Ибо для него будет совершенно невозможно отличить то, что он сам влагает в созерцаемые вещи, от того, чем они являются в действительности. Это различие можно сделать лишь в том случае, если воспринимать собственное существо как самостоятельный образ и отделять от окружающего мира все, что проистекает из глубин собственной души.

С этим Стражем Порога человек встречается также и при прохождении через смерть. Страж постепенно раскрывается в душевно-духовном развитии человека в течение его жизни между смертью и новым рождением. Но тогда эта встреча уже не сможет подействовать на человека подавляющим образом, ибо он кое-что узнал о духовных мирах, незнакомых ему при жизни между рождением и смертью.

К сказанному можно добавить, что существуют не один, а два Стража Порога - Малый и Великий. С первым человек встречается тогда, когда связующие нити между волей, мышлением и чувством начинают ослабевать. Перед Великим же Стражем Порога человек предстает, когда расторжение связей охватывает и головной мозг.

Великий Страж указывает духовному ученику, что он не должен останавливаться на достигнутой ступени развития. Он вызывает в ученике сознание, что завоеванный им мир только тогда станет истиной и не превратится в иллюзию, если он надлежащим образом будет продолжать свою работу дальше. На переживаниях, приводящих к Великому Стражу Порога, ученик может проверить, в состоянии ли он оказать противодействие той могучей иллюзии, которая представляет ему завоеванный мир образов как богатое достояние, между тем как он сам только их пленник. Если бы ученик вследствие неправильного обучения подошел к этому переживанию неподготовленным, то при приближении к Великому Стражу Порога в его душу вошло бы нечто такое, что можно обозначить как "чувство безмерного ужаса" или "безграничного страха". (Вспомним, что именно так переживал Глиндон свою встречу со Стражем Порога после принятия эликсира бессмертия.) {Если читатель пожелает узнать больше о Великом Страже Порога, то он

может найти его подробное описание в работе Р. Штайнера "Как достигнуть познания высших миров" в главе "Жизнь и смерть".}

В романе Бульвер-Литтона действует и другое сверхчувственное существо, могучее, прекрасное, светозарное, - Адон-Аи ("Господь мой", по созвучию соотносится с личным местоимением "ani" - "я"). Это Высшее "Я" Занони. В то же время в этом "Я" является его Ангел-водитель. Божественные Ангелы - духи свободы, вестники богов - более высоких Божественно-Духовных Иерархий. Это космические первообразы людей, ибо человек когда-нибудь достигнет чина, ступени ангела. В них есть понимание того, что человек может пережить как страдание и радость. В Антропософии подробно раскрывается их деятельность в современную эпоху.

В жизни человека нет ничего труднее истинного самопознания. Для вхождения в духовный мир необходимо иметь крепкое _"я"_, но, возвращаясь в чувственный мир, нужно уметь отказываться от чрезмерно усиленной самости, дабы не впасть в чрезмерный эгоизм. Человек, вставший на путь Посвящения, должен быть способен к любви, согласию, состраданию, сорадости.

Пример этих душевных свойств, развитых до высшей степени, являет нам солнечный Посвященный Занони {Хаддейское "Zan" - солнце.}, который стал Посвященным в Солнечные Мистерии еще в халдейскую эпоху (Страж Порога называет его халдеем) и который жертвует своим бессмертием на физическом плане не ради абстрактного блага или идеалов абстрактного человечества, а чтобы спасти, продлить жизнь любимого человека - смертной женщины {Весьма схожий путь проходит и русский Занони, так сказать - "Занони с русскою душою". Есть, оказывается, в великой и могучей русской литературе, которую мы с вами, дорогой читатель, еще и не знаем как следует, и такой удивительный образ! Тем более удивительный, что творец его не подозревал о существовании прототипа. И это не кто иной, как князь Захарьев-Овинов, главный герой блистательной и мудрой дилогии "Волхвы" и "Великий розенкрейцер" замечательного русского писателя Всеволода Соловьева (брата великого русского философа). Князь, представитель тайной европейской ложи розенкрейцеров, отдав лучшие годы постижению тайных наук, приходит к пониманию, что только любовь к ближнему может принести человеку, обладающему колоссальными знаниями, но лишенному душевности, духовное возрождение и помочь обрести смысл жизни.}. Кстати, мотив бессмертия в физическом теле и мотив эликсира бессмертия, скорее всего, почерпнуты Бульвер-Литтоном из литературных традиций романтизма и готики конца XVIII - начала XIX века и, насколько нам известно, не исходят непосредственно из Розенкрейцеровского учения, как оно было тогда известно очень немногим. А вот мотив "последнего посвященного розенкрейцера", Мейнура, не проявляющего особого интереса к делам и эволюции человека и человечества (в отличие от Занони) и олицетворяющего больше лунные, каббалистические и алхимическо-герметические аспекты Розенкрейцеровской мудрости, связанные с познанием тайн природы, имеет под собой более глубокие основания.

Дело в том, что в начале XIX века, как отмечал Рудольф Штайнер в своем цикле лекций "Теософия розенкрейцеров" (1907), когда Розенкрейцеровская мудрость должна была влиться в общеевропейскую культуру, произошло нечто вроде ее предательства - некоторые ее представления и идеи проникли в искаженном виде во внешнюю культуру. И необходимость того, чтобы внешняя, экзотерическая культура Запада оставалась некоторое время вне влияния эзотеризма, развиваясь из своих собственных импульсов, привела к тому, что источники Розенкрейцеровской мудрости и ее великий основатель Христиан Розенкрейц, который в это время втайне от людей пребывал на физическом плане, не оказывали особого влияния на культуру. Поэтому в первой половине XIX века и в большей части второй мало что открылось из этой мудрости. Только начиная с XX века стало возможно опять открыть источники Розенкрейцеровской мудрости, дать ей влиться в общую культуру Европы. Можно сказать, что в первой четверти XX века эта мудрость, пройдя своеобразную пралайю, метаморфозу, вступает в мир, но уже как Антропософия, данная человечеству Рудольфом Штайнером {Квинтэссенция Антропософии дана в его работе "Очерк тайноведения". Л., 1991.}.

Так как в основе романа "Занони" лежит Розенкрейцеровское учение, каким оно было известно немногим в XVIII - начале XIX века, то мы должны (хотя бы очень коротко) изложить основные положения этого учения. Оно раскрыто для нас в таких книгах и циклах лекций Рудольфа Штайнера, как "У врат теософии", "Теософия розенкрейцеров", "Как достигнуть познания высших миров", "Розенкрейцеровское христианство. Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца" и др.

Тот, кто знает внешнюю историю Розенкрейцерства, знает очень мало об истинном содержании Розенкрейцеровской теософии, подчеркивал Рудольф Штайнер. Розенкрейцеровская мудрость живет с XIV века как нечто, что истинно, независимо от своей истории и ее постоянного внешнего развития. _Эта Розенкрейцеровская мудрость

есть не что иное, как оккультная форма христианского гнозиса_. Здесь следует отметить, что само Розенкрейцерство является метаморфозой более ранней формы Эзотерического Христианства, известного в культуре средневековой Европы как течение Святого Грааля.

В 1459 году воплощенная в человеческую личность высокая духовная индивидуальность, которая носит перед миром имя Христиана Розенкрейца, выступила как Учитель вначале лишь для небольшого кружка (Братства) посвященных учеников. Эти Посвященные предвидели, что в Европе скоро наступит такое время, когда вследствие постепенно развивающегося знания начнется отход от веры, разверзнется пропасть между верой и знанием. Поэтому встал вопрос о новом пути для тех, кто занимается наукой. И Христиан Розенкрейц предложил такой путь, метод Посвящения, при котором высочайшее знание мира (природы) соединяется с высочайшим знанием духовных истин. _Каждый может с помощью этого метода, на этом пути вполне правильно и с глубоким пониманием постичь Истину Христа Иисуса_.

В течение веков многие люди старались найти, прозреть эту мудрость, но им не удавалось. Так, напрасно старался приблизиться к источнику Розенкрейцеровской мудрости Лейбниц. И все же в одном экзотерическом произведении как внешнее выражение этой мудрости она вспыхивает молнией, а именно - в работе Лессинга "Воспитание человеческого рода".

С особым величием проявляется она в том человеке, который в конце XVIII столетия отражал в себе культуру тогдашней Европы, - в Гете. Когда Гете в сравнительно ранние годы подошел к одному из источников этой мудрости, он воспринял нечто от высокого Посвящения. Оно действовало в его душе как поэтическое влечение и этим путем проникло в неоконченное стихотворение "Тайны". Ближайшие друзья Гете указывали на это стихотворение как на загадку его творчества. Затем Посвящение все более в нем утверждалось, пока он не создал замечательное стихотворение в прозе, известное нам как "Сказка о зеленой Змее и прекрасной Лилии", - одно из глубочайших произведений мировой литературы. Исходящий из гетеанизма РозенкрейцеровскиЙ импульс вдохновил и Владимира Одоевского на создание философского, фаустовского романа "Русские ночи", вышедшего, кстати, в том же 1842 году, что и "Занони" Бульвер-Литтона.

Розенкрейцеровская мудрость добывается на пути развития _точного ясновидения и яснослышания_ - в них источник всякой скрытой, тайной мудрости мира. Подлинное познание духовного мира не может возникнуть ни из какого другого источника. Но для Розен крейцеровского метода _существенно различие между нахождением этой мудрости и ее постижением, пониманием_.

Тот, кто, являясь ясновидящим, рассказывает обо всем, что видел и слышал в духовных мирах, тем самым давая нужные современному человечеству сведения, тот всегда может быть понят обыкновенным человеческим разумом, для этого вовсе не требуется быть ясновидящим.

Другая существенная сторона Розенкрейцеровской мудрости в том, что положение ученика по отношению к Учителю здесь не может быть определено как вера в авторитет. Учитель здесь друг и советник, а не гуру. И еще один важнейший аспект: эта Мудрость должна проникать не только в голову и в сердце ученика, но и во все дела рук его - и в его сокровенное, и в то, что он совершает каждый день.

Сущность Розенкрейцеровского учения можно обозначить двумя словами - истинное самопознание.

Существуют два рода самопознания. Низшее - посредством которого преодолевается низшая самость человека. И высшее - рождающееся через самоотречение.

Важно исходить из следующего положения: все качества односторонни и ты должен стараться их гармонизировать, не в теории, а на практике. _Кто, например, прилежен, тот должен уяснить себе, не прилежен ли он в ложном направлении_. Живость также одностороння, и надо дополнить ее заботливой задумчивостью. Каждое качество имеет свою противоположность. Нужно усвоить его и стремиться их гармонизировать. К примеру, поспешность связать с медлительностью, живость - с вдумчивостью, стремиться стать осмотрительным, но не ленивым. Так, работая, начинают превосходить себя. Очень важно внимание даже к незначительным чертам своего характера. Например, приучать себя говорить не слишком громко и не слишком тихо и т.д. Выработка этих качеств должна дополняться медитациями.

Для самопознания первого рода необыкновенно важно вырабатывать такие качества, как контроль мыслей, контроль действий, невозмутимость, беспристрастие, доверие, внутреннее равновесие.

Высшее же самопознание возникает только тогда, когда мы начинаем сознавать и переживать следующее: в том, что является нашим повседневным "я", совершенно нет нашей высшей самости. Она находится вовне, во всем мире, в звездах, Солнце, Луне, в

камне, цветке, животном. Если кто-нибудь говорит: "Я хочу развивать свою высшую самость, удалясь от мира, я не хочу ничего знать о материальном", - такой человек не знает, что эта его самость разлита повсюду во внешнем мире. Трудно назвать такого человека христианином. Ведь христианство во всем видит откровение Божественного. Отрекаясь от внешнего мира, отрицая материю, в которой раскрывается Бог, мы, по существу, отрицаем Бога. Нужно выйти из себя, чтобы понять Божественное.

Здесь можно вспомнить истинных алхимиков средневековья и Ренессанса, настоящих исследователей, искавших разгадку тайн человека и мироздания в метаморфозах субстанции в реторте. Все эти люди были в высшей степени фаустовскими натурами. Они глубоко чувствовали: когда мы экспериментируем, то с нами говорят природные духи - духи земли, воды, воздуха, огня. Мы вслушиваемся в их шелест, шепот, в их удивительные жужжащие звуки, которые затем переходят в гармонии и мелодии, чтобы вернуться в свою стихию. Алхимик как благочестивый человек внимательно наблюдает процессы, происходящие в реторте. Они начинают говорить сначала с помощью цветовых явлений, потом алхимик вживается в процесс перехода цветового в звучащее и тогда обретает чувство: природные вещи и природные процессы открывают еще нечто из того, что говорят боги. Плоды этих опытов часто обращались на пользу человека, для его врачевания.

А, скажем, золото в реторте, добытое, трансмутированное из свинца, являлось лишь показателем предельной очищенности оболочек души и духа истинного алхимикарозенкрейцера, деянием Высших Духовно-Божественных Иерархий и, естественно, не могло быть использовано в целях наживы или с другими корыстными намерениями.

Учение розенкрейцеров содержит в себе также и метод Розенкрейцеровского обучения, который состоит из следующих ступеней:

1. Изучение Духовной науки. Ученик здесь должен как можно лучше изучать, проникать в элементарную теософию. Необходима тренировка мышления, привычка жить в чистом элементе мышления и ткать в нем. Это чистое мышление исходит не от предметов, а течет от мысли к мысли {В самом конце XIX века в целях подобной тренировки мышления Рудольфом Штайнером были написаны замечательные философские работы "Истина и наука" и "Философия свободы".}.

2. Имагинация. Ученик должен усвоить моральное отношение к вещам. Во всех преходящих вещах видеть лишь подобие вечного. Тогда вещи открывают свою суть. Ученик вырабатывает на этой ступени видение эфирного тела растений.

3. Изучение оккультного письма. Оно дает человеку возможность глубоко проникать в явления мира и имеет много знаков {*}. Например, знаком такой стадии развития, когда одна культура прекращается и начинается новая, являются вихри. Подобные вихри встречаются в природе повсюду (в звездной туманности, например в туманности Ориона, где разрушается один мир и появляется другой).

{* Пусть здесь читатель припомнит, что в предисловии Бульвер-Литтона к "Занони" (содержание которого мы кратко пересказали и которое так и не решились дать в начале книги, дабы не напугать нашего в этих вещах малоискушенного читателя всякой каббалистикой и гнозисом и не отвратить его от чтения) фигурировала таинственная рукопись старика антиквара, написанная на неведомом издателю языке. Теперь мы могли бы предположить, что это как раз и было такое оккультное письмо. Вот его образчик, приведенный в предисловии: рис.

}

В качестве другого примера можно привести букву "М". Каждая буква имеет оккультное происхождение. "М" есть знак мудрости. Он возник из изображения верхней губы и в то же время является символом волны, поэтому мудрость символизируется волной. Изучая оккультные знаки, розенкрейцер закалял юлю.

4. Изучение жизненных ритмов. Подготовление "камня мудрых". Регулирование дыхания, в результате чего вдыхается углекислота, а выделяется кислород. Средством для этого служат медитации, выполняемые в одно и то же строго установленное время, а также просмотр истекшего дня в обратном порядке. В будущем физическое тело человека будет строиться из вдыхаемой углекислоты, от этого оно станет прозрачным и легким. Именно это подразумевается под "камнем мудрых".

5. Изучение соотношения между макро- и микрокосмосом. Личное, чисто духовное, полное любви отношение ко всем вещам. Размышление над эволюцией глаза дает на этой ступени познание Солнца, другие упражнения дают познание истории Земли за миллионы лет и т.д.

6. Погружение в макрокосмос. Созерцание. Концентрация на точке между бровями позволяет проникнуть во времена, когда "Я" вошло в человека. Тогда человек врастает сознанием в макрокосмос и в любую вещь, где бы она ни нахо- дилась.

7. Блаженство в Боге. Человек вырастает из своей оболочки и живет в макрокосмосе.

Предварительными качествами, необходимыми для прохождения этого пути, являются также доверие к себе, самообладание, присутствие духа.

Семь ступеней Розенкрейцеровского Посвящения не обязательно должны следовать одна за другой. Учитель отбирает для ученика то, что наиболее подходит его индивидуальности.

Рудольф Штайнер отмечал, что в Розенкрейцеровской инициации можно было дойти до 5-й ступени (мистическая смерть) и все же не нуждаться еще в полной ясности по отношению к озаряющим душу человека учениям о реинкарнации и карме. В романе Бульвер-Литтона, к примеру, где раскрыты образы двух высочайших Посвященных, поднявшихся до 6-й ступени Розенкрейцеровского Посвящения (вспомним видение Виолы, где образы Занони и Мейнура из космоса созерцают начало творения Земли), эта тема вообще не присутствует {Христианское учение о карме и перевоплощении впервые было дано миру Рудольфом Штайнером как составная часть Антропософии народу с Христологией (ядром Антропософии), а также с учением о Духовных Иерархиях, о трех ликах зла, об эволюции и метаморфозах Земли. Антропософия обладает своей космософией, социологией, историей, антропологией, наукой христианского Посвящения; она содержит в себе и учение о будущей славяно-германской культурной эпохе, связанной с нисхождением Святого Духа в души людей. Сам Штайнер определяет Антропософию как путь познания, который приводит духовное в человеке к духовному во Вселенной.

Несмотря на замалчивание и борьбу внешней, материалистической цивилизации с Антропософией, она несет импульсы к обновлению науки, религии, искусства, противостоящие "закату Европы" на самом конкретном, практическом жизненном уровне: медицина, педагогика, сельское хозяйство, социология, драматическое искусство, совершенно новое искусство эвритмии, учение об эфирах и т.д.}.

Основной символ розенкрейцеров - розы и крест: мертвое черное дерево креста и живые розы, цветущие на нем. По учению розенкрейцеров, темное дерево - это наша низшая природа, подвластная смерти, которая должна быть преодолена; красные розы - это наше высшее. Умереть на кресте и воскреснуть в розах - вот что заложено в этом символе победы вечного над временным...

В заключение обратим внимание читателя на поэтическую квинтэссенцию Розенкрейцеровской мудрости, вложенную Бульвер-Литтоном в уста Занони. Вот этот гимн Духовной науке Иоаннова христианства - христианства будущего. Он звучит под сводами тюрьмы и только для слуха любимого человека:

"Занони говорил ей о глубокой и святой вере - единственном источнике его чудесного знания, о вере, которая очищает и возвышает все смертное вокруг себя, о честолюбии, сферой которому служат не интриги и преступления, но святые чудеса, говорящие не о человеке, а о Боге, о чудесной силе, отделяющей душу от ее бренной оболочки, силе, которая дарует душе способность утонченного ясновидения, дарует ей крылья духа, с помощью которых она способна достигнуть любых сфер и миров. Он говорил ей о том чистом, строгом и дерзновенном Посвящении, при котором Разум воскресает, пробуждаясь от смертного сна, и начинает воспринимать все существа и явления в их истинной сути, созвучной с Отчими принципами жизни и света, так что в своем собственном чувстве прекрасного воскресший Разум обретает свою радость; в ясности воли - свою силу; в своей любви к вечной молодости Бесконечного Творчества, сущностью и частью которого он, Разум, сам является, он находит средства, которые наполняют благоуханием бренную оболочку человека, освещают ее и обновляют в ней силы жизни".

Г. Пархоменко

□ПРИМЕЧАНИЯ□

Роман Эдварда Джорджа Бульвер-Литтона на языке оригинала называется "Zanoni" ("Занони"). Впервые он был издан в Лондоне в 1842 г. Первый русский перевод под заглавием "Призрак" появился в 1879 г. в Санкт-Петербурге и напоминал скорее несовершенный подстрочник. В этом переводе (а других, насколько нам известно, не имеется) многие абзацы и целые страницы английского текста были опущены, в особенности это касается тех мест, где речь идет об оккультной стороне Розенкреицеровского учения. Кроме того, в последней, 7-й книге романа - "Царство Террора" - неизвестным переводчиком пропущены первые три главы английского оригинала, а в других главах исключены значительные по объему фрагменты текста. В настоящем издании все эти пропуски восстановлены и осуществлена литературная обработка перевода.

Редактор и издательство выражают признательность переводчику О. Чоракаеву.

Пери, Якопо (1561-1633) - итальянский композитор и певец, участник Флорентийской камераты - содружества музыкантов, поэтов и философов в 1570-е годы, с которым связано возникновение оперы. Написал музыку (совместно с Я. Кореи) первой оперы - "Дафна", а также оперу "Эвридика" (1600), где исполнял партию Орфея.

Генрих Наваррский (Генрих IV, 1553-1610) - король Франции с 1589 г. (фактически - с 1594 г.), первый из династии Бурбонов; король Наварры с 1562 г. Во время Религиозных войн - глава гугенотов. В 1593 г. принял католичество и вступил в Париж. Нантским эдиктом 1598 г. предоставил гугенотам свободу вероисповедания и многие привилегии. Политика Генриха IV способствовала укреплению абсолютизма, он играл главную роль в организации антигабсбургской оппозиции, вел подготовку к войне с Габсбургами. Был убит религиозным фанатиком.

Монтеверди, Клаудио (1567-1643) - итальянский композитор. Создал первые образцы классической оперы. Работал капельмейстером в Мантуе, с 1613 г. - в Венеции. Написал оперы "Орфей", "Ариадна" и "Возвращение Улисса", большое количество мадригалов и других сочинений. Свой музыкальный стиль композитор называл "взволнованным".